ISSN 0130 – 6545

10. 1984

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Цветные иллюстрации номера —
работы художника Хорста Янсена (ФРГ)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

10 октябрь 1984

Содержание

ЭНЦО РУССО — Логово горностаев *(Роман. Перевод с итальянского А. Богемской и Л. Вершинина. Вступление Г. Богемского)* 3

РОБЕРТ БЛАЙ — Девять стихотворений из книги «Человек в черном пальто оглядывается» *(Перевод с английского и вступление Михаила Дудина).* В поисках американской музы *(Перевод с английского А. Зверева)* 79

РАШИД БУДЖЕДРА — Идеальное место для убийства *(Роман. Перевод с французского Ирины Волевич)* 91

ХАНС ЛИДМАН — Рассказы *(Перевод с шведского и вступление В. Якуба)* 153

Литературное наследие

У ЦЗАО — Стихи *(Перевод с китайского и вступление М. Басманова)* 167

Критика

Т. БАЛАШОВА — Сорок лет спустя в памяти тридцатилетних *(По страницам французского романа)* 172

С. ПРОЖОГИНА — «Пока не сбудутся мечты...» *(О творчестве Рашида Буджедры)* 180

Трибуна переводчика

ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ — Квадратура круга — перевод нерифмованного стиха 185

Культура и современность

Писатели против апартеида. ХУАН ГОЙТИСОЛО. ХУЛИО КОРТАСАР. МИШЕЛЬ БЮТОР *(Перевод с французского Р. Драгуновой)* 192

Документальная проза

К 40-летию освобождения Белграда. САША БОЖОВИЧ. ВЕЛИБОР ГЛИГОРИЧ. РАДОНЯ ВЕШОВИЧ. ИВО АНДРИЧ *(Перевод с сербскохорватского и вступление Александра Романенко)* 194

ПЕТЕР ВАЙС — Место, для которого я был предназначен *(Перевод с немецкого Н. Тишковой)* 206

Публицистика

ГЮНТЕР ВАЛЬРАФ — «БИЛЬД»: в своем репертуаре *(Главы из книги. Перевод с немецкого М. Г. Федорова)* 210

Антирубрика

У нас в гостях писатели ГДР

КЛАУС МЁКЕЛЬ. ГЕРХАРД БРАНСТНЕР. РИХАРД КРИСТ. РУДИ ШТРАЛЬ. ВИЛЬГЕЛЬМ ТКАЧИК. МАНФРЕД ШТРОЙБЕЛЬ. КИТО ЛОРЕНЦ *(Переводы с немецкого В. Сенаторова, Б. Хлебникова, Владимира Лебедева, Елены Кащеевой, Юрия Гинзбурга)* 221

К нашим иллюстрациям

М. СОКОЛОВ — Хорст Янсен и его «Московская сюита» 230

Среди книг

Издано в СССР

Л. ДЕЛЮСИН — Люди и бесы *(Человек и его тень. Сборник повестей)* ✦ АЛЕКСАНДРА СПАЛЬ — Бесценные уроки *(Рольф Флос. Уроки танцев)* ✦ А. БОРИСОВ — Кошка для одиноких вечеров *(Сильвио Блаттер. А тоска все сильней...)* 231

Издано за рубежом

Ц. ХАСБААТАР — «Выявлять лотосы души...» *(Д. Маам. Земля. III книга)* ✦ РОБЕР АНДРЕ — Стендаль сегодня ✦ Г. СМИРНОВ — Неправое правосудие *(Рене Реджани. Опрокинутый треугольник)* 236

Из месяца в месяц 242

Авторы этого номера 254

На обложке — портреты русских писателей, работы художника ХОРСТА ЯНСЕНА (ФРГ).

© «Иностранная литература», 1984

ЭНЦО РУССО

Логово горностаев

РОМАН

Перевод с итальянского А. БОГЕМСКОЙ и Л. ВЕРШИНИНА

Авторам романов и фильмов в сегодняшней Италии не надо ломать голову над захватывающими сюжетами: их щедро подсказывает сама действительность. Чуть ли не ежедневно газеты сообщают о политических убийствах, покушениях, раскрытых планах государственного переворота. Вспомним обстоятельства злодейского похищения и убийства Альдо Моро, одного из лидеров христианско-демократической партии, выступавшего за сотрудничество с коммунистами, вспомним убийство префекта Палермо, генерала карабинеров Альберто Далла Кьезы и его жены, гибель десятков прокуроров, следователей, судей, рядовых стражей порядка, а с другой стороны, авантюристическую деятельность скрывшегося от правосудия Личо Джелли — главаря разоблаченных профашистских заговорщиков из масонской ложи «П-2» — и загадочную смерть банкира этой ложи Роберто Кальви.

В ложу «П-2», организацию, которая вынашивала зловещие планы дестабилизации общественного и государственного порядка, наряду с известными политиками, финансистами, промышленниками входили многие высшие чины из судебных органов, корпуса карабинеров, армии, полиции, секретных служб.

Масоны, экстремисты, террористы всех мастей, используя мафию, стремятся создать в Италии атмосферу страха, насилия, хаоса, привести к власти правительство «сильной руки», которое покончило бы с институтами буржуазной демократии. Эта подрывная деятельность сплошь и рядом направляется всякого рода спецслужбами — итальянскими и заокеанскими...

Подобной проблематикой пронизан роман Энцо Руссо. Герои его — «горностаи», «судейские», то есть и собственно судьи, и чиновники прокуратуры, и адвокаты, все те, кто на судебных заседаниях надевают мантию, отороченную белоснежным мехом горностая. Одни из них честно исполняют свой долг, другие же следуют директивам, исходящим из различных тайных центров, ставят правосудие на службу тем, против кого оно призвано бороться.

Энцо Руссо сравнительно молод, он написал публикуемый роман, когда ему было около тридцати, еще до того, как была разоблачена преступная деятельность масонов. Он родился на Сицилии, жил в Неаполе и Риме, теперь работает в Милане. Писатель свободен от столь распространенного в итальянской литературе регионализма, мешающего вникать в проблемы общенационального характера.

Жанр романа «Логово горностаев» знаком нам по некоторым итальянским фильмам, например лентам режиссера Дамиано Дамиани «Признание комиссара полиции прокурору республики» или «Я боюсь». Это — «детектив по-итальянски», то есть роман вместе с тем политический и психологический, социально-бытовой. Сохраняя элементы классического детектива, автор стремится максимально приблизить повествование к подлинным фактам и событиям жизни современной Италии. Он тщательно выписывает служебные и внеслужебные дела и отношения своих героев. В результате складывается довольно широкая картина итальянской действительности и жизни «среднего итальянца» — государственного чиновника.

Обнажая механизм действия итальянского судопроизводства, деятельность органов прокуратуры, писатель показывает, насколько сложны, громоздки, противоречивы связи между отдельными службами, учреждениями, инстанциями, тем более что нередко они находятся между собой в конкурентных отношениях. Не просто сразу во всем разобраться: над помощниками прокурора, наделенными следовательскими функциями, стоят главный прокурор Рима и его заместитель, а еще выше — генеральный прокурор Итальянской Республики. Распоряжения прокуратуры выполняют различные подразделения судебной полиции, а в особо важных случаях прокурор может обратиться к следственному отделу корпуса карабинеров (жандармов) или к «финансовой гвардии», несущей пограничную, таможенную и налоговую службу. Карабинеры и «финансовая гвардия» подчинены военному ко-

© 1977, Arnoldo Mondadori Editore S.P.A., Milano.

мандованию, а полиция — министерству внутренних дел, однако последнее, разумеется, не оставляет без внимания деятельность и прокуратуры и карабинеров. А за всем этим стоит СИД — военная разведка и контрразведка...

В центре повествования — следователь прокуратуры Балестрини и капитан карабинеров Де Дженнаро, его помощник. Оба — герои проницательные, активные, привлекательные, хотя по характеру — полная противоположность. Балестрини — типичный северянин, неторопливый и рефлектирующий, человек долга, глубоко порядочный, воспитанный по старинке, хотя в личных отношениях нерешительный, даже робкий. Капитан Де Дженнаро — импульсивный южанин, жизнелюб и донжуан, под внешним легкомыслием и бесшабашной удалью которого скрываются личное мужество, высокая профессиональная подготовка и такая же, как у Балестрини, преданность делу. Итальянцы полюбили эти жизненные и во многом новые для национальной литературы персонажи. Когда по роману «Логово горностаев», ставшему бестселлером, был поставлен телевизионный сериал, благородные «судейские» сделались еще более популярными и имена их стали чуть ли не нарицательными.

Симпатия, с которой читатели и телезрители относятся к этим персонажам, объясняется той трансформацией, которой в последние годы подвергся в итальянской литературе образ полицейского: из фигуры непопулярной, одиозной он превратился в «положительного» героя. В одиночку, часто рискуя жизнью, рядовые служители закона пытаются вести борьбу против преступных сил, искоренить которые возможно лишь путем радикальных социальных преобразований. Стражи порядка заслуживают тем большего сочувствия, что вынуждены иногда вести войну на два фронта — против политических преступников и собственного высокого начальства, нередко покровительствующего заговорщикам, а то и выступающего заодно с ними.

...Горностай — полезный зверек, уничтожающий вредных грызунов, однако он хищник, хоть и не крупный, и потому может быть опасен.

Г. БОГЕМСКИЙ

Часть первая

1

Никаких дорожных происшествий — ни столкновений, ни аварий — здесь отроду не бывало. Внизу, под окнами, никто не ссорится, не дерется, в доме напротив, за полуоткрытыми ставнями, никто даже не целуется. Впрочем, это не жилой дом, а больница Сан-Сатурнино. Ее весьма унылый фасад оживляет лишь лавка с самыми красивыми цветами во всем квартале Триесте.

Днем тесная маленькая площадь немного оживает. Хотя сидеть на балконе от этого ничуть не веселее, но все-таки — развлечение. Уличное движение тут слабое. Редкие машины едут неторопливо, наверно, поэтому и нет ни аварий, ни наездов. То и дело появляются знакомые — кто-нибудь из соседей, нагруженный покупками; всегда в один и тот же час пробегают в гимназию Юлия Цезаря стайки ребят да раз двадцать на дню мелькнет священник дон Улиссе. Вечно одно и то же. Жарким летом нос на балкон высунешь только вечером, после десяти, и то лишь если подует ветерок — тогда можно глотнуть хоть чуточку свежего воздуха,— не слушать же, что там болтают по телевизору в последних известиях. Полагать, будто на улице произойдет что-то интересное, увы, не приходится.

— ....А где же боковое зеркало?.. Оно строго предусмотрено правилами... Не морочьте мне голову! — вновь повторил карабинер. Ему без всякого раздражения, тоном пониже, отвечал другой голос.

Не слишком часто кто-нибудь останавливал свою машину тут, под самым балконом. Но и в таких редких случаях ничего не происходило. Нынче все по-другому, вплоть до самых мелочей: женщина чувствовала это, хотя давно уже отказалась от «фиата-600», своего последнего автомобиля, пусть он был еще и в довольно приличном состоянии. В популярных совсем недавно телевизионных комедиях, вроде «Совпадает?» и «Вы не знаете, кто я!», было полно сценок в духе той, что разыгрывалась сейчас внизу. Когда-то штраф в тысячу лир

считался целой трагедией, и, чтобы избежать его, от водителя требовалось крайнее напряжение всех умственных и физических сил.

Полицейские остановили еще одну машину. Наверно, и здесь не все в порядке, потому что сразу же начались пререкания. Однако и теперь голоса звучали все так же негромко. Что за безумные времена, когда измученные полицейские, давно разуверившиеся в своем ремесле, уже почти не обращают внимания на автомобилистов, а тем словно все равно, возьмут с них штраф или нет!

Когда машина без зеркальца уезжала (женщина так и не поняла, заплатил ли водитель штраф), внизу на балконе появился старик Феррацца. Хотя он тоже был пенсионер и сидел дома, на балкон он выходил редко. В самом деле, даже перевесившись через перила, ей почти никогда не удавалось его увидеть. Феррацца и летом и зимой вылезал только за тем, чтобы взглянуть на свою канарейку или полить цветы, и тотчас же скрывался в квартире. На сей раз он вышел полить цветы. В темноте ей удалось разглядеть, как он поднял и наклонил пластмассовое ведерко. С шумом полилась вода.

— Эй вы там, осторожней! — крикнул карабинер, задрав голову. Видно, на него упало несколько капель, рядом на асфальте появилось черное пятно. Карабинер разглядел белевшую в темноте седую голову. «Тоже мне фея Бефана[1]»,— подумал он, ожидая, что старуха извинится. Однако она молчала.

— Останови-ка вот этого,— приказал карабинеру старшина. Вылетевший с улицы Вольсинио мотороллер тотчас же вильнул влево и сбавил ход. Это была старая модель; мотороллер грохотал — наверно, у него был не в порядке глушитель. Карабинер сделал шаг вперед, подняв жезл. На какое-то мгновение показалось, что новый «клиент» не собирается подчиниться приказу «стой». Правда, резко затормозить было не так-то легко: мотороллер оказался зажатым между тротуаром, припаркованными посреди площади автомобилями и металлическим ограждением. Впрочем, возможно, старухе лишь показалось. Она подождала, пока мотороллер остановится. За рулем сидел совсем мальчишка.

— Заглуши-ка мотор,— приказал карабинер.

Старшина со смехом пожелал доброго пути владельцу задержанной ранее «бета-купе» и, повернувшись к машине спиной, направился в сторону мотороллера. Казалось, у него прекрасное настроение.

— Ну что? — спросил он, беря из рук карабинера водительские права; потом более внимательно взглянул на парня.

— Да никак это Алигьеро?[2]

— Мы разве с вами встречались? — сухо поинтересовался паренек.

— Как знать? Может, и встречались — в полицейском управлении, в колонии для несовершеннолетних или в психушке.

— Очень смешно.

— Он на редкость способный парень,— пояснил старшина, не глядя на задержанного мотоциклиста.— Мальчишку прозвали Алигьеро, потому что он прекрасно умеет подражать чужим голосам. Другого такого не сыщешь.

Между тем из полицейской «газели» вылез еще один карабинер. Алигьеро со скучающим видом сидел на мотороллере. Однако старшина, видно, не собирался проверять уровень шума выхлопа и словно забыл о других водителях.

— Думаете, почему он мне запомнился? Знаете лейтенанта Пелликано? Ну того, бородатого?

---

[1] Персонаж итальянского фольклора — добрая старушка, которая в ночь святой Епифании (6 января) спускается в печную трубу и приносит, как Дед Мороз, детям подарки. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Алигьеро Носкезе — популярный в 70-х годах комик и имитатор.

Карабинеры ответили, что, конечно, знают, и старшина продолжал, обращаясь к вылезшему из «газели»:

— Алигьеро сам угодил в засаду, и мы его взяли. Представьте себе, к тому делу он не имел никакого отношения, но все равно показался подозрительным. И тут лейтенант оборачивается к старшине Стеллини, он теперь в Кальяри...

— Да, я его знаю.

— И говорит ему: «Позвони-ка в управление и узнай, не проходит ли этот тип по какому-нибудь делу». Стеллини делает два шага к машине с рацией, но Алигьеро, подражая голосу лейтенанта, приказывает: «Впрочем, оставь его в покое. Мне кажется, он вполне приличный человек». Бедняга Стеллини замирает как вкопанный и оборачивается. Видели бы вы его физиономию... Но это было ничто по сравнению с тем, какую рожу скорчил лейтенант. Он дико разозлился и стал орать как сумасшедший, ну, а потом мы расхохотались, и все кончилось миром.

Пока карабинеры, смеясь, с интересом разглядывали парня, с его лица постепенно сходило напряженное выражение. Атмосфера воцарилась чуть ли не дружеская. В сторону площади Вербано на дикой скорости пронесся мотоцикл, но никто даже не взглянул ему вслед.

— Наш Алигьеро — парень что надо,— усмехаясь, проговорил старшина, разглядывая документы.— Так, значит, тебя зовут Джакомо? А поверь мне, Алигьеро красивее. На, держи. Заметь, я даже не посмотрел, уплатил ли ты налог, но за это ты нам покажешь свое искусство.

— Не хочется,— все так же сухо ответил парень.

— Не хочется? Ты, может, спешишь?

— Вот именно

— Ну, конечно, в такой час. Тебя что, женишок, ждет невеста?

Двое других карабинеров ухмыльнулись, и на лице у Алигьеро вновь появилось настороженное выражение. Он молча смотрел прямо перед собой. Старшина преувеличенно громко вздохнул, он был чуточку разочарован.

— Ну ладно, ладно.

С усмешкой взглянув на парня, он отдал ему документы, потом перевел взгляд на багажник старенького мотороллера.

— А что ты везешь?

Целлофановый пакет с маркой магазина был завязан двойным узлом. Карабинер с любопытством потрогал его, потом, улыбаясь, посмотрел на Алигьеро.

— Похоже, эти, как их... вибраторы. А для чего они тебе?

— Это вас не касается.

— Что правда, то правда,— с серьезным видом согласился с ним старшина. Однако пальцы его уже развязывали двойной узел. Алигьеро напряженно следил за его руками. Мгновение спустя пакет был развязан, и старшина, слегка отстранив одного из карабинеров, при свете фонаря заглянул внутрь. Когда старшина поднял голову, улыбка уже сбежала с его лица.

— Так что же это такое?

— Как что? Вибраторы! — ухмыльнулся Алигьеро. Он еле успел зажмуриться и вобрать голову в плечи. По пустой площади гулко разнесся звон сильной оплеухи и отозвался эхом, отскочив от фасада Сан-Сатурнино.

Пенсионерка с третьего этажа тихо охнула, когда мотороллер с грохотом упал на мостовую. Напрягая зрение, она перегнулась с балкона, стараясь понять, что же происходит внизу. Почему они ударили его? Сперва так долго болтали, мешая людям спать, все было вроде бы мирно, а потом вот — нате вам. Она увидела, как парень пытается подняться с мостовой. В окружении трех темных фигур карабинеров он, казалось, скорчившись, плакал.

— Вставай, сукин сын! — заорал самый толстый из них. Голос у него был хриплый и грубый. Ужасный голос, как и вся эта жестокая сцена.

Поеживаясь от холода, старушка вошла в комнату и закрыла балконную дверь. На кухне было приятно, тепло. Продолжая размышлять об увиденном, она, как всегда, налила себе стакан молока. Потом пошла в спальню и поставила стакан на старинный письменный столик. Всегда, когда ей становилось не по себе, она начинала медленно массировать виски, пока неприятное ощущение не проходило. На сей раз это не помогло. Одним глотком допив молоко, она взяла бумагу и ручку.

На мгновение ее внимание отвлекла муха, но потом она стала думать о том, что же написать. Усилием воли прогнала сон и подавила желание отложить письмо на завтра. Нет, ни в коем случае нельзя после такого укладываться спать как ни в чем не бывало. Нет! И она принялась водить шариковой ручкой по желтоватому листку бумаги.

«Главному редактору газеты «Мессаджеро».
Улица Тритоне, Рим.
Уважаемый синьор главный редактор!

Совершенно случайно я сегодня ночью оказалась свидетельницей ничем не оправданного акта насилия (еще одного!) как раз под балконом своей квартиры. Я — пенсионерка и обычно каждый вечер после ужина...»

2

— Это я, Де Дженнаро.

Он понял, что затянувшееся молчание в трубке свидетельствовало об удивлении, и ждал, оглядываясь по сторонам. Кругом бурлила жизнь — толпы пешеходов и еще больше машин. Целый хвост автомобилей тянулся к бензоколонке «Эссо». Рядом с телефонной будкой он заметил молодого человека, который, засунув руки в карманы, с явным интересом его разглядывал.

— Вы не подниметесь, капитан?

— Нет, спасибо, доктор. Я подожду вас здесь.

— Как хотите. Буду через две минуты.

— Можете не торопиться.

Ответ Де Дженнаро заглушил грохот промчавшегося мотоцикла. Капитан, незаметно осматриваясь вокруг, направился к углу улицы Ославиа и там тоже огляделся. Пожалуй, никто из двух-трех десятков человек, едущих, идущих или стоящих, не заслуживал особого внимания. Когда, повернувшись на каблуках, он пошел обратно, Балестрини уже стоял у подъезда со своей неразлучной черной папкой и неизменной улыбкой («Добрый силач»[1] — прозвали его в прокуратуре). На лице у Балестрини не было и тени удивления, хотя так рано утром Де Дженнаро никогда еще к нему не приходил.

— Доброе утро, доктор.

— Привет.

— Я подвезу вас до прокуратуры.

— Да... спасибо.

Улыбаясь, капитан повернул ключ зажигания и одновременно бросил взгляд на молодого человека, которого заметил раньше. Лет под тридцать, спортивного вида, элегантный. Парень этот весьма внимательно рассматривал его пассажира.

Разворачивая машину, Де Дженнаро успел, словно в картотеке, порыться в памяти, пытаясь отыскать что-нибудь подходящее. Но поиски оказались тщетными.

— Какие-нибудь новости? — любезно спросил Балестрини.

[1] Персонаж рекламы одной из итальянских кондитерских фирм.

— Новости? Пожалуй, да,— пробормотал Де Дженнаро и ответил улыбкой на улыбку. Он просто физически ощущал какое-то доверие к этому человеку. От него всегда, даже в самую жару, словно веяло свежестью и чистотой.

Капитан изучал двух девушек, переходивших улицу, и думал, с чего лучше начать разговор. Та, что повыше, заметила, как он смотрит на нее, и слегка улыбнулась. Он подмигнул ей и еще раз окинул взглядом с ног до головы.

— Итак, какие новости? — спросил Балестрини.

— Ночью задержали одного парня. Он вез мешочек с тротилом. Пока молчит — наверно, дожидается допроса у следователя, чтобы все выложить.

— Кто такой?

— Некий Баллони. Джакомо Баллони.

— Что о нем говорит приходский священник?

— Ничего.

— Имеет приводы?

— Да уж, конечно, не без этого!

— Почему же «не без этого»? — спросил Балестрини. Капитан, которому хорошо было знакомо такое выражение лица судьи, не ответил, воспользовавшись тем, что неожиданно перед ними откуда ни возьмись вывернуло такси. Таксист, хотя сам был неправ, громко выругался по адресу капитана.

— Что за идиот! — воскликнул Балестрини, и тут Де Дженнаро решил, что тянуть дальше было бы просто странно и трусливо.

— Ферриньо бежал из тюрьмы. Сегодня ночью.

Неожиданный для солнечного дня порыв ледяного ветра словно проник в машину сквозь забрызганное грязью лобовое стекло.

— Потому-то вы и заехали за мной сегодня? Да, конечно, в автобусе не совсем безопасно. А уж о том, чтобы идти пешком, и говорить не приходится.

— Да нет, дело совсем не в этом. И во всяком случае сегодня утром еще слишком рано чего-то остерегаться,— поспешно возразил Де Дженнаро и, только заметив, как уставился на него собеседник, понял, что сморозил глупость.

— Ну, разумеется, дадим ему, черт побери, немного времени...

— Да нет, я в том смысле, что...

— Ну что вы, капитан, я шучу.

— Я хотел сказать, что он, быть может, даже и не попытается приехать в Рим. Вот если бы он тут появился, тогда другое дело...

— Я знаю, о чем вы думаете. Но все же не считаю, что существует опасность. Если Ферриньо захочет отомстить тем, кто упрятал его за решетку, он, ясное дело, начнет не с меня. А кроме того, мы ведь с вами знаем, что от охраны толку мало. Ведь так?

— Увы, да,— пробормотал капитан и почему-то вдруг вспомнил о парне лет под тридцать, таком спортивном и элегантном.

3

— Подойди-ка ближе,— сказал Балестрини, посмотрев на часы. Еще половина двенадцатого, а уже ощущается какая-то усталость, словно в конце рабочего дня. Не спеша, он осторожно помассировал веки. Не только потому, что устали глаза, но и руководствуясь известным положением: при виде утомившегося и слегка расслабившегося следователя преступник сам тоже расслабляется.

— Значит, ты и есть Джакомо Баллони? — спросил Балестрини, поднимая голову, и неожиданно для себя удивился. Он думал увидеть перед собой приземистого, вызывающе наглого толстогубого парня, изъясняющегося на вульгарном диалекте.

— Да, я,— ответил юноша лет восемнадцати. Не очень высокий,

худощавый, белокожий, голубоглазый, он держался как мальчик из приличной семьи, убежавший от няни. Хлопчатобумажная красная клетчатая рубашка не опрощала его, а скорее придавала Баллони вид жизнерадостного ковбоя, совсем неуместный в унылой обстановке служебного кабинета.

— Добрый день, доктор Балестрини,— приветствовал адвокат, назначенный судом, обрюзгший старик крючкотвор, которого Балестрини раньше знал только в лицо. Обменявшись с ним рукопожатием, Балестрини пристально посмотрел на юношу.

— Садись! — приказал он и тут же про себя отметил: подчиняется без вызывающего кривляния, но и не слишком поспешно. Нормальная реакция. Он быстро просмотрел заметки, в которых резюмировал содержание заведенного на Баллони «дела». Всего несколько скупых строчек: угон автомобиля, одна-две автомобильные кражи, вождение машины без прав, соучастие в ограблении (отняли сумку у женщины) и тому подобное. Список длинный, но нарушения не слишком серьезные. Никаких данных о принадлежности к политическим партиям и группам, несколько месяцев вовсе не попадал в полицию. Следователю показалось, что с этого и следует начать.

— Чем ты занимался в последнее время?

— Делал все возможное, чтобы меня не загребли,— ответил, чуточку подумав, юноша без намека на юмор.

Балестрини с интересом взглянул на него. Вот уже года два как он перестал повторять «хорошо-хорошо-хорошо» всякий раз, сталкиваясь с подобными типами или получая подобный ответ. Это была его обычная реакция, когда он не знал, как дальше поступить.

— Молодец, Баллони. Но вот вчера ты попался. Всегда этим кончается, когда разъезжаешь с пакетом взрывчатки. Где ты его взял?

— Нашел.

— На дороге?

— Да нет. Где это видано, чтобы тротил валялся на дороге? Я нашел пакет на тротуаре, на улице По. Увидел, что-то белеет, и остановился взглянуть.

— Наверно, его потерял какой-нибудь прохожий?

— Вряд ли. Скорее оставили нарочно.

На сей раз было труднее удержаться от «хорошо-хорошо-хорошо»; эти слова чуть было уже не сорвались с языка, но Балестрини удалось вовремя удержаться, и вместо «хорошо» он нетерпеливо спросил, пытаясь придать вопросу оттенок иронии:

— И что же ты собирался делать с этой находкой?

— Почем я знаю? Может, продать.

— Кому?

— Кому-кому? Покупатель всегда найдется.

Римская манера вести разговор становилась все заметнее, проявляясь в привычке отвечать вопросами на вопрос. Наглость допрашиваемого была замаскирована так тонко, что Балестрини даже не мог припомнить, встречался ли он когда с чем-либо подобным.

— Выходит, ты совершенно чист и мы должны принести тебе извинения? — спросил он, пристально глядя в лицо юноше, и, когда тот поднял голову, увидел, что под глазом у парня — синяк, левая щека чуть припухла. Он почувствовал, что Баллони успокоился, но уже немного устал.

— Кстати, Баллони, а как ты догадался, что в пакете тротил? Ты что, понял это, когда открыл его? Разве ты разбираешься во взрывчатке?

— Ну я просто предположил,— не слишком уверенно ответил парень.

Итак, первое попадание, но успех достигнут, скажем, лишь теоретически. Надо было придумать еще какой-то ход, чтобы парень

раскололся. Балестрини тяжело вздохнул, изобразив на лице терпеливую скуку.

— Ты слыхал про почтальонов, Баллони? Молодец! Так вот, видишь ли, ты тоже почтальон. Кто-то, не знаю, кто именно, поручил тебе отвезти тротил, надеясь, что, если тебя схватят, ты будешь молчать. Пока мне еще неизвестно, для чего могла пригодиться твоя находка — чтобы глушить рыбу или чтобы взорвать сейф, да это меня и не очень волнует. Я не прошу тебя говорить — для чего, ты должен ответить мне — для кого. Вот что меня интересует.

— Что я должен сказать?

— Ты должен назвать человека, который дал тебе взрывчатку,— повторил Балестрини, спохватившись слишком поздно, что его самого подловили. Сукин сын, мальчишка, посадил-таки в лужу.— Хорошо-хорошо-хорошо. Раз уж ты такой разговорчивый, объясни мне одну вещь. Объясни мне, как вышло, что на пакете с тротилом стоит адрес гастрономического магазина Росселли с улицы... с улицы Мануцио, которая пересекает улицу Джинори, где как раз ты и живешь.

Не переставая говорить, Балестрини то и дело заглядывал в свои заметки, где значились имена и названия, и только собирался исправить умышленно допущенную ошибку, как парень его перебил:

— Сроду не слыхал о таком магазине. Мы живем на улице Джинори недавно, а кроме того, за покупками ходит мать. Наверно, чистое совпадение.

— Как раз это я и собирался тебе подсказать.

— Да ведь все так и есть.

— Ну, конечно, конечно, я тебе верю,— с довольным видом кивнул Балестрини и пристально посмотрел на адвоката, не спускавшего с парня глаз. Лицо у старика было какое-то мертвенное, его чуть оживляла лишь надежда, что допрос скоро кончится.

Допрос продолжался еще минут десять, но походил уже на отвлекающий огонь. По существу Балестрини просто пытался скрыть, что в голове у него порядочная неразбериха. Наконец, с притворным удовлетворением он кивнул и проговорил:

— Во всяком случае, ты мало чего добился, рассказывая все эти басни. Значит, ты решил просто отсрочить свое признание. Доволен?.. А что касается меня, то мне спешить некуда.

Он позвонил конвоиру и, не глядя больше на парня, который вяло поднялся со стула, углубился в досье.

Но не успел Балестрини прочитать и строчки, как в дверь постучали, и не успел он произнести «войдите», как на пороге со словами «разрешите войти» уже появилась девушка. Не дожидаясь ответа, она вошла в кабинет.

— Меня зовут Казуччи Кьяра. Извините за беспокойство.

И на этот раз он не сумел опередить: только собрался протянуть руку, чтобы указать на единственный стул, как Казуччи уже уселась. Вблизи он разглядел, что перед ним была вовсе не девчонка легкого поведения, как ему показалось вначале, и лет ей от силы пятнадцать. Он сразу перешел к делу.

— Кто вас сюда впустил?

— Вы арестовали моего парня. Я хотела бы получить разрешение на свидание в тюрьме.

— А кто этот ваш парень?— спросил Балестрини, невольно подавшись вперед.

— Петрони, Андреа Петрони — тот, который участвовал в перестрелке в баре «Ласточка».

Без всякого усилия он вспомнил. Перестрелка произошла две-три недели назад. Правда, это была не только «перестрелка», а убийство.

— Дело в том, что я жду от него ребенка и думаю...

Она замолчала, не от смущения, а скорее умышленно, со значением. Балестрини кивнул, проговорив про себя «хорошо-хорошо-хоро-

шо». Все в порядке, в известном смысле идет как по нотам. Просто сегодня утро каких-то странных несовершеннолетних.

— Сколько вам лет?

— Четырнадцать.

— Родители знают?

— Еще бы! Мы с Андреа живем вместе. А, вы имели в виду ребенка?

— Не важно,— ответил он, пытаясь подыскать какую-нибудь легкомысленную фразу, и она тут же пришла ему в голову: — Вы похожи на несовершеннолетних актрисок, играющих в фильмах, смотреть которые им запрещается. Девочки снимаются, а увидеть, что получилось, не позволяют. Нелепость, но по закону вход в зал им воспрещен.

Он ожидал ответа, но посетительница молчала. Она холодно разглядывала Балестрини, что вовсе не успокаивало его, а вызывало еще большее раздражение.

— Вижу, вы не отдаете себе отчета... в ненормальности вашего положения, и не моя задача вам это объяснять. А главное, было бы бесполезно. Разрешения на свидание я не дам. Можете обратиться к прокурору, возможно, он...

Мгновенная реакция, подумал Балестрини, видя, как девчонка вскочила со стула. Вышла не попрощавшись, но хотя бы дверь за собой закрыла вежливо, без стука.

Он вызвал звонком дежурного, и тут же затрещал телефон — оказалось, ошиблись номером. Он еще раз нажал на кнопку — тщетно, никто не являлся. Дело Баллони по-прежнему лежало на столе. Он вложил в него листок со своими заметками, теперь уже ненужными. Взял водительские права Баллони, машинально раскрыл их, закрыл и снова с легким волнением открыл. Фамилия предыдущего владельца двухколесного транспортного средства, мотороллера Баллони, была Россетти, то есть та же, что значилась на целлофановом пакете. Неужели просто удивительное совпадение? Нет, такого не бывает.

Он закрыл книжечку, размышляя. Итак, если предположить, что Россетти, указанный в водительских правах и на пакете,— одно и то же лицо, значит, Баллони врет, утверждая, будто не знает гастрономического магазина. И врет умело, не пожелав возразить следователю, когда тот нарочно исказил фамилию: вместо «Россетти» сказал «Росселли» в надежде, что парень его поправит. Почему? Ответа имелось, по крайней мере, два, но не стоило их обдумывать, пока первоначальная версия не подтвердится. Он попытался узнать, где Де Дженнаро, не задержался ли у прокурора, но ему ответили, что капитан уже ушел (тут Балестрини вспомнил, что уже почти половина второго). Тогда он позвонил еще раз дежурному и опять без всякого результата. Дома телефон у него оказался занятым, и он решил, что на сегодня хватит.

— Идешь заправиться? — приветствовал его коллега Люпика. За два года он впервые увидел Люпику без фотокопий под мышкой.

— Да. А ты?

— Гм... каждый день мечтаю смыться пораньше, но...

Дежурный курьер сидел на своем месте с таким видом, словно никуда и не отлучался.

4

Уже много лет подряд прокурор Рима непрерывно твердил, что скоро уйдет в отставку. Целая серия неудач в служебной карьере за последние годы еще больше усилила его вечную привычку ворчать и жаловаться. Тем не менее он занимал такое положение, когда твои разглагольствования слушают внимательно, причем был настолько глуп, что внимание собеседников принимал за чистую монету.

— Дорогие мои,— приветствовал он гостей, бесстыдно выставляя напоказ свою ослепительную, как у киноактера, вставную челюсть. Тут он наклонился целовать ручки дамам, и челюсть чуть не выпала у него изо рта.— Благодарю, что пришли.

— Поздравляем!

— Спасибо, дорогой. О, Якопетти!

— Синьор прокурор...

— Поздравляем.

— Поздравляем.

— Спасибо, спасибо. Как поживаете, Балестрини?

— Ничего, потихоньку. А вы как себя чувствуете?

Гости испуганно переглянулись. Де Леонибус, стоявший за спиной хозяина дома, укоризненно покачал головой, на что Балестрини ответил лишь растерянным взглядом.

— Ну как я могу себя чувствовать? Мое счастье, что скоро в отставку, только это и помогает справляться со всеми болезнями, которые...

Прокурорша, болтавшая с дамами в другой комнате, с любезной улыбкой обернулась к вновь вошедшим.

— А где мой супруг? Разве он был не с вами?

— Наверно, он задержался с Балестрини,— улыбнулся Фонтана, но его улыбка осталась без ответа. Прокурорша уважала субординацию: она была не прочь пошутить над странностями мужа, но только не с претором[1].

— Не хотите ли чего-нибудь выпить?

В гостиной собралось уже немало народа, не меньше, наверно, было и в кабинете-библиотеке, где над всеми царил написанный маслом портрет прокурора во весь рост. На портрете он выглядел помоложе, чем сейчас, и не столь страдающим от своих — подлинных и мнимых — болезней. Средний возраст гостей и в кабинете и в гостиной был весьма солиден: и мужчин, которые, входя, разумеется, поздравляли прокурора с днем рождения, выражая свои наилучшие пожелания, и дам — они если и не были на «ты» с прокуроршей, то только по причине недостаточной с ней близости, но никак не потому, что выглядели моложе.

— Смотрите, сам префект столицы,— прошептал Де Леонибус, указывая глазами на маленького человечка. Работники прокуратуры кучкой сбились в углу, и, возможно, поэтому казалось, что в гостиной просторно. Гости все продолжали прибывать, среди них мелькали знакомые лица. Несколько адвокатов, парочка военных, двое-трое высших судейских чинов — все было дозировано с аптекарской точностью. Остальные — судейские, равные по рангу хозяину дома.

— И в этом году мы самые последние в классе,— сказал, усмехаясь, Якопетти, но Фонтана энергично покачал головой.

— Ты что, забыл, я-то всего лишь претор? Практически представитель младшего командного состава. Так что вы лишь предпоследние в классе. А, вот и наш Андреа, оглушенный, но целый и невредимый.

Балестрини тяжело плюхнулся на диван, изображая всем своим видом мучительное страдание.

— Что такое?

— Артрит,— простонал он. И продолжал, подражая тоненькому голоску прокурора: — Ах, ничего особенного... Но руки, понимаешь, руки утратили всякую гибкость. Знаешь, что означает слово «одеревенеть»? Бывает, вдруг деревенеет рука или нога. Так вот, они у меня деревенеют. Конечно, ничего страшного, пустяки... Но какая боль!

Неожиданно перед ними выросла пожилая служанка и, не колеблясь, обратилась прямо к Витторио Де Леонибусу, вероятно привлеченная импозантностью его стокилограммовой фигуры:

---

[1] Одна из низших должностей в итальянской судебной системе, районный судья.

— Доктор Балестрини?

— Нет. Это вон тот господин в очках,— ответил Де Леонибус, говоря о Балестрини так, словно тот находился где-то далеко от него. Женщина, однако, не смутилась и повернулась к Балестрини:

— Вас к телефону, это в библиотеке.

— Что-нибудь с девочкой! — воскликнула Рената, стремительно приподнявшись. Сегодня они оставили дочку с новой приходящей няней, девушкой, которая показалась им совсем неопытной.

— Погоди. Если понадобится, я тебя позову.

Войдя в библиотеку, Балестрини несколько смутился. Прокурор разглагольствовал в окружении трех-четырех господ более чем почтенного возраста. Он тотчас же умолк и с любопытством уставился на Балестрини, заставив и других повернуться в его сторону. По счастью, спрашивать, где телефон, оказалось не нужно: аппарат стоял на виду на маленьком столике. Балестрини взял трубку:

— Слушаю.

— Говорит Де Дженнаро.

Балестрини испытал скорее облегчение, чем изумление. Между тем старики продолжали разговор.

— Извините, что беспокою вас... няня сказала, что вас нет дома, и дала этот номер.

— Да-да, мы в гостях у прокурора...

— Ах, вот почему номер показался мне знакомым!

— Слушаю вас, капитан.

— Дело вот в чем: я только что закончил обыск на складе у Россетти.

— И что же?

— Там я нашел это.

Балестрини, прежде чем до него дошел смысл слов капитана, секунду-другую собирался с мыслями. О колбаснике, честно признаться, он совсем забыл.

— На дне одного из ящиков мы обнаружили еще пакет тротила. А также ручные гранаты — «лимонки» и противотанковые. Целую дюжину.

— Это уже серьезно,— пробормотал Балестрини; на другом конце провода ему ответило молчание, выражающее полное с ним согласие. Затем Де Дженнаро добавил:

— Больше ничего нет.

— А что говорит Россетти?

— Будто ни о чем не знает. Что это ящик с колбасами. Да, я забыл сказать: тротил и гранаты лежали под колбасами...

— Так...

— Что, видимо, ящик ему доставили с такой начинкой. Или взрывчатку и гранаты кто-то туда подсунул, тайком от него.

— Да, хитер. Ну, утро вечера мудренее. Посмотрим, что он запоет завтра утром. А сейчас я доложу обо всем прокурору.

— Как вы думаете, доктор, надо его посадить?

— Да... разумеется.

— А может, лучше оставить еще погулять на свободе и не спускать глаз? Рано или поздно выплывут какие-нибудь связи. Вообще-то он полный идиот: через некоторое время наверняка успокоится и чем-нибудь себя выдаст. Как вы считаете?

— Возможно.

Какое-то мгновение Балестрини в нерешительности молчал. Прокурор между тем продолжал распространяться перед внимавшими ему слушателями на свою любимую тему — о Верховном судебном совете. Его помощники все до одного могли бы повторить наизусть любимое изречение старика: «Во время фашизма давление со стороны политической власти проявлялось очень редко (легкое покашливание), более того, были созданы особые трибуналы, чтобы работать спокой-

нее и без помех. Но с тех пор, как учредили Верховный судебный совет, черт бы его побрал, наш орган самоуправления...»

— А что слышно о Ферриньо?

— Ничего нового,— поспешно ответил капитан без тени иронии или, что было бы еще хуже, заботливого сочувствия.

— Хорошо. Еще какие новости?

— Мне вспоминается один случай... разумеется, я не могу назвать имена,— доверительным тоном продолжал прокурор, и Балестрини предположил, что сейчас, наверно, последует история насчет министра юстиции и его ночного звонка...

— Больше никаких новостей.

— Тогда до завтра.

— До свидания, доктор, и извините, если я...

— Да будет вам, перестаньте. Спокойной ночи.

Однако Балестрини не угадал: прокурор повествовал, оказывается, не о министре, а о советнике кассационного суда, который покончил с собой.

— Конечно, у него, возможно, и были какие-то неприятности личного характера...— всегда добавлял в этом месте рассказчик и вздымал руки к небу,— а может быть, он застрелился, услышав, что приговор по одному делу, в которое он ушел с головой, поставив на карту весь свой престиж опытного судейского работника, был отменен без его ведома. Коллеги, не успев надеть пальто, ждали его внизу, а узнав о случившемся, сразу вернулись в зал заседания и пересмотрели решение суда...

— Беда в том, что члены совета, избранные парламентом, хотя и составляют меньшинство...— начал, подпевая прокурору, какой-то франтоватый толстяк, чье лицо показалось Балестрини знакомым.

«Что это со мной, страх?» — с чувством стыда спросил себя Балестрини, проходя под еле различимым в полутьме кабинета портретом прокурора. На сам оригинал, с жаром продолжавший ораторствовать, он даже не взглянул.

А почему бы, в сущности, ему и не бояться? Однако страх был какой-то смутный, он сразу же слабел и проходил, стоило только проанализировать ситуацию.

Мысль о том, что и на него может уставиться темный коварный зрачок пистолета, казалась Балестрини просто неправдоподобной. Как и то, что вдруг перед ним в темноте вырастут две фигуры. Например, когда он паркует машину. Так, как случилось с беднягой Альбини. Он слышал о нем одно хорошее, но никогда не перекинулся и парой слов. И все же в ночь, когда Альбини убили, он не мог уснуть из-за леденящего холода одиночества, которое ощущал физически — весь, с головы до ног, у него даже сосало под ложечкой. Ему удалось забыться коротким сном только на рассвете.

Однако, если хорошенько подумать, перед ним витали лишь неясные образы, навеянные кино и телевидением. Совершенно призрачные. Но как он ни убеждал себя в том, что его страхи необоснованны, тревога за Ренату и Джованнеллу не отпускала. И беспокоился он, в сущности, не за их жизнь — того, что с ними может случиться беда, он даже не допускал. Волновало его другое, куда более обыденное: он боялся, что им тоже придется жить в вечном страхе. Вдруг кто-то, к примеру, будет постоянно угрожать по телефону. И беспокойство Ренаты за Джованнеллу сейчас, когда его позвали к телефону, служило плохим признаком. Правда, газет она никогда не читает. Но ведь вполне возможно, что кто-нибудь... ну, хотя бы эта дура, жена Фонтаны, расскажет ей о бегстве из тюрьмы осужденного террориста...

— Бокал шампанского? — спросил аристократического вида лакей. Прокурор брал официантов так же, как и угощение, из кондитерской «Алеманья», но кому только мог давал понять, что все у него собственное, домашнее.

— Нет, спасибо, шампанского не надо.
— Желаете чего-нибудь другого?
— Нет, спасибо.

Ферриньо был человек необузданный и жестокий. «Пролетарская ярость ищет выхода в политике»,— написал о нем один журналист. Но при бешеном темпераменте Ферриньо удивляло именно полное отсутствие внешних проявлений злобы, раздражения — он весь был словно сгусток концентрированной, холодной ненависти. «Я убегу из тюрьмы и тогда посчитаюсь с тобой!» — выкрикнул Ферриньо, когда Балестрини заканчивал свою обвинительную речь, еще до того, как был вынесен суровый приговор. Свое обещание Ферриньо произнес, грозя прокурору кулаком, что было запечатлено на фотографиях добрым десятком репортеров. Это обошлось террористу увеличением срока еще на пару лет, а газеты напечатали снимки под крупным заголовком: «Ферриньо в зале суда угрожает государственному обвинителю».

Несколько минут Балестрини бродил по комнатам в поисках знакомых. У стола с угощением гости стояли плотной стеной, а те, кому не удалось туда пробиться, бросали по сторонам притворно-равнодушные взгляды. По углам кое-кто из гостей, разбившись на пары, беседовал вполголоса, некоторые сидели молча, в одиночку, с дурацким видом уставившись в пустоту. Из толкучки у стола вдруг вынырнул прокурор, ведя под руку Вивиану Якопетти.

— А, Балестрини, мне с тобой надо переговорить, не то я забуду, что хотел тебе сказать...

И если он еще не добавил: «...потому что, знаешь, последнее время у меня плохо с памятью», то только из-за дразнящего присутствия Вивианы, подумал, улыбаясь, Балестрини. Жене Джиджи, как и Ренате, было тридцать лет. Эта хрупкая светлая блондинка в совершенстве владела нехитрым искусством покорять мужчин: носила, например, черное платье без рукавов, подчеркивающее белизну ее кожи и золото волос. Иногда, правда, обаяние жены даже вредило Якопетти. В прокуратуре лишь немногие помнили, что Джиджи стал любимчиком шефа еще до того, как представил ему свою красотку жену. Но, возможно, и сам прокурор об этом забыл.

— Я тоже хотел вам кое-что сообщить. Минуту назад звонил капитан Де Дженнаро...

— Так это был он?

— Да.

— Ну, слава богу, значит, по работе? — спросила Вивиана.

— Да, но почему «слава богу»?

— Неожиданный звонок немного испугал Ренату. Пойду успокою ее... если, конечно, разыщу.

Балестрини восхитился, с какой непринужденностью Вивиана освободилась от руки прокурора, который несколько мгновений молча смотрел ей вслед, пока ее фигурка не затерялась в толпе гостей.

— В мое время были в моде женщины — ну, как бы это сказать? — несколько более...— И прокурор описал руками широкую окружность, словно изображая арену стадиона.— Несколько более цветущие... Представляешь, как у Тициана. Да, вот это были настоящие женщины — подлинное торжество женственности.

Балестрини лишь едва улыбнулся, его слегка раздражала болтовня прокурора: он находил ее вульгарной и бестактной. Но прокурор, увлеченный тициановскими образами, ничего не замечал. Он тяжело вздохнул, что обычно служило прелюдией к нескончаемым жалобам на усиливающуюся астму. На сей раз поводом для вздоха была, оказывается, опять-таки Вивиана.

— М-да... Однако надо признать, Балестрини, что девочка эта весьма недурна... Как, по-твоему?

Не получив ответа, прокурор взял собеседника под руку и много-

значительно взглянул на него, как бы говоря: мы, мужчины, понимаем друг друга.

— А ты что скажешь?

— Слов нет, хорошенькая.

— Ну, ладно. Поговорим о более серьезных вещах, хотя они, увы, куда менее приятны. Пошли ко мне в кабинет.

Несмотря на дружеский тон, они все же расположились официально за письменным столом друг против друга, причем так, что перед Балестрини оказалось сразу два прокурора. Одного из них, более важного, в золоченой раме, он еле удостоил взглядом. Другому в двух словах изложил сообщение Де Дженнаро. При этом пришлось напомнить и о задержании Джакомо Баллони, везшего тротил, чтобы упредить обычную просьбу прокурора резюмировать факты, ибо «...наверно, все из-за склероза, но я просто не знаю, кто такой этот Россетти, и говорили ли мы о нем когда-нибудь раньше». Впрочем, прокурор, казалось, встревожился из-за сообщения Балестрини не больше своего двойника на портрете.

— За этим, возможно, скрывается нечто серьезное? Вам не кажется?

— Да, да, очень может быть. Конечно, серьезное. Допроси-ка его завтра утром и доложи мне. Однако не будем при взрыве каждой петарды думать о новой площади Фонтана[1].

— Я только хотел...

— Ладно, Балестри, оставим это. Тебе виднее. Разберись сам, потом доложишь.

Балестрини не ответил, чтобы скрыть охватившее его раздражение. В свое время, когда были в моде «вестерны-спагетти» [2], Витторио Де Леонибус прозвал старика «Ринго — гроза прокуратуры». Витторио предпочитал кинотеатры с эстрадным концертиком перед фильмом дорогим кабаре. Юмор у него был грубоватый, но все равно насмешить он умел.

— Во всяком случае, надеюсь, история эта не будет раздута, и я забочусь не только о благе родины, дорогой Балестрини. Можно тебя кое о чем попросить? Мне хотелось бы, чтобы делом Буонафортуны занялся ты.

— Но разве им уже не занимается Де Леонибус?..

Прокурор резким жестом прервал Балестрини. Осторожно оглянулся вокруг. Никого, разумеется, рядом не было, и он просто хотел подчеркнуть особую конфиденциальность беседы.

— Балестри, ты же знаешь, каковы мои отношения с вами, ближайшими помощниками. Не в моих принципах — править сильной рукой. Да между нами говоря, это вряд ли и имело бы смысл. Но все-таки когда чиновник прямо заявляет мне о том, что он, мол, не в состоянии... Ну, в общем, что он не может...

— Не может?

— Ну, как бы то ни было, не чувствует себя в силах. Понимаешь? Раньше в таких случаях обычно заболевали. Стоило только вызвать подчиненного на минутку к себе в кабинет — и готово дело: человек на месяц укладывался в постель. Де Леонибус вел себя более откровенно. У него ведь тоже семья, и каждый из нас...

Все это было вполне понятно. На такие темы в судебном городке[3] говорить было не принято. Опасность грозила в первую очередь судьям, выносящим приговоры террористам, а не помощникам прокурора. Однако все судейские жили в атмосфере, отравленной страхом,

---

[1] На этой площади 12 декабря 1969 года в Милане во время массового митинга произошел взрыв бомбы фашистских террористов, повлекший за собой много жертв.

[2] Так иронически называли итальянские фильмы, пользовавшиеся успехом в шестидесятые годы и подражавшие американским «вестернам».

[3] Так в Риме называют квартал возле площади Клодио, где расположены здания судебных учреждений и прокуратуры.

тревогой, неуверенностью, от которой некуда было деться. Иногда шепотом, на ушко называли чье-то имя и фамилию, но никогда прямо и открыто не осуждали даже самого трусливого коллегу.

Но Балестрини волновало другое — почему Де Леонибус ничего ему не сказал, не намекнул ни словечком.

— Понимаю.

— Но только если у тебя лежит душа к этому делу. Потому что я — ты же хорошо меня знаешь — не намерен ни на кого давить, ни-на-ко-го.

Старик действительно никогда ни на кого не нажимал. Его любимым методом были «дружеские контакты».

— Беда только в том, что у меня уйма работы,— улыбнулся Балестрини.— И мне даже иногда кажется — поймите мои слова правильно, я вовсе не хочу жаловаться,— что в последнее время, словно в наказание, слишком много всего наваливают.

— Ерунда! Главное, повторяю, чтобы у тебя лежала к этому душа. Расследование затянется надолго, уж поверь моему опыту. Но мы во что бы то ни стало должны довести дело до суда... Я на тебя рассчитываю... но опять-таки при условии, если ты не против.

— Все ждут виновника торжества,— прохрипел, заглядывая в дверь, какой-то глубокий старец, и хозяин дома поспешно поднялся.

— Да-да, что, пора резать торт?

— Еще нет, но ведь без тебя...

— Сейчас иду.

Судя по оживлению, царившему в гостиной, веселье было в разгаре. Комната, служившая буфетной, была переполнена, гости, сначала державшиеся несколько натянуто, теперь вели себя более непринужденно, на лицах играли улыбки.

— Ждем речи, ждем речи! — нестройным хором потребовали подвыпившие гости.

Балестрини увидел Ренату и Вивиану — они беседовали в уголке, у открытой двери на балкон. Поискав взглядом Витторио Де Леонибуса, он почувствовал, как кто-то коснулся его руки. Это был Джиджи Якопетти, рядом с ним стоял адвокат Вальери. Пристально глядя на Балестрини, Якопетти спросил:

— Куда это ты запропастился?

— Выходил поговорить по телефону. Приветствую вас, дорогой адвокат.

— Добрый вечер, Балестрини. Как поживаете?

— Спасибо, неважно.

Они пошутили по поводу ораторских усилий виновника торжества: начав с извинений «за несколько хриплый из-за разыгравшейся простуды голос», он принялся разглагольствовать о том, что из-за серьезных опасений, которые внушает его здоровье, ему, возможно, раньше времени придется подать в отставку; в ответ раздался хор огорченных голосов, отвергающих такую возможность. Тут из бутылок с шампанским с треском вылетели пробки и загремели аплодисменты.

— Я слышу его жалобы уже двадцать лет. А он и не собирается умирать,— заметил изысканно одетый господин с бородкой, обращаясь к своей соседке, и с усмешкой посмотрел на троих судейских, ожидая одобрения, которого, однако, не последовало. Только адвокат Вальери чуть смущенно улыбнулся. Он напоминал одного из персонажей Мордилло[1], хотя и не выглядел столь комично.

Возможность поговорить представилась только около одиннадцати, когда дуэт пожилых гитаристов во фраках начал развлекать присутствующих традиционными народными римскими мелодиями, а официанты стали разносить прохладительные напитки.

[1] Современный итальянский художник-карикатурист.

— Послушай, извини, мне нужно тебя кое о чем спросить,— сказал Балестрини, увлекая коллегу в сумрачный уголок большого балкона. Де Леонибус уже подвыпил и поэтому был как никогда любвеобилен. Он попытался обнять Балестрини, а когда это не удалось, крепко взял его под руку.

— Ну, конечно. Слушаю тебя.

Балестрини почувствовал, что, только сразу все выложив, он сумеет скрыть свое возрастающее замешательство. Он решил принять шутливый тон.

— Шеф попросил меня заняться делом Буонафортуны, поскольку ты, видите ли, пожелал умыть руки. Однако и ты хорош, иуда! Хоть предупредил бы меня заранее, тогда и я сумел бы отвертеться.

Де Леонибус попался на удочку и заговорщически толкнул его локтем.

— Значит, ты согласился? Ну что ж, тем хуже для тебя. Что до меня, то я не желаю даже слышать об этом деле. Никто не имеет права заставить меня заниматься им насильно.

— Ну, это ты уж слишком. Да и чего ты, в сущности, так боишься?

Витторио Де Леонибус ростом был под два метра и весил соответственно. Он по-медвежьи облапил Балестрини, но на лице у него появилось настороженное выражение.

— Слушай, Андреа, внимательно. Еще раз повторяю: никто не имеет права заставить меня заниматься этим делом насильно.

Необходимость продолжать дипломатическую игру явно отпадала. Балестрини посмотрел на приятеля, не пытаясь скрыть охватившего его замешательства.

— Тебе не кажется, что ты преувеличиваешь? В конце концов, кто они такие? Кто такой этот Буонафортуна?

— Думаю, он из «красных бригад», а остальное меня не касается. Косой ли он, кривой, любит компот, избегает ли женщин — не желаю ничего о нем знать! Ты слышал, что они говорят? Все их идейные вожди за решеткой, но рядовые бойцы на свободе. Идеологически они, может, и не очень-то на высоте, зато стрелять умеют. Но, послушай, ведь нам-то с тобой все это прекрасно известно, и, по-моему, просто идиотство повторять одно и то же...

— А по-моему, нет. Ведь я согласился вести расследование. И поверь мне, я не такой уж смельчак. Не отрицаю, некоторый риск, возможно, и есть. Мы-то знаем, что они за люди, и мы...

— Вот и молодец,— прервал его, саркастически усмехаясь, Де Леонибус.— Я рад, что ты, раз уж ввязался в такое дело, сознаешь... хотя бы в какой-то степени, чем это грозит. Во всяком случае, ты волен поступать как хочешь. А у меня на этот счет вполне определенное мнение. Когда я получил диплом, то колебался, заняться ли частной адвокатской практикой, идти на службу в нотариальную контору или в прокуратуру. И то, что я стал помощником прокурора,— простая игра случая. Один бог знает, чего мне иногда стоит выполнять свой долг так, чтобы, уходя с работы домой, чувствовать удовлетворение. Один бог знает... Но, черт возьми, я вовсе не самоубийца. Ведь никто никогда не предупреждал, что меня смогут пристрелить, когда я сажусь в машину, или хотя бы что мне придется жить в постоянном страхе за себя и своих близких. Может, я, по твоим словам, и преувеличиваю, но мне наплевать и на долг судебных органов, и на «бригадиста» Буонафортуну, и на господина прокурора, на все и вся, если это угрожает моему спокойствию, а главное — моей безопасности.

Хотя Де Леонибус и говорил вполголоса, но постепенно он все больше горячился, и кое-кто уже начал обращать на них внимание. Раздраженный этим потоком ненужных слов, Балестрини кивнул.

— Ну вот и поговорили по душам.

— Я рад, что ты не...

— Однако я остаюсь при своем мнении. Ты просто начитался иллюстрированных журналов. Ты же знаешь, как это у них делается: заголовок «Теперь судейские трясутся от страха». Рядом какое-нибудь фото из тех, что фабрикуют сразу после... «прискорбного случая», и готово дело — эффект обеспечен. Публика убеждена, что судейские действительно дрожат за свои шкуры, и самое печальное, что некоторые из нас, кто еще недавно ничего не боялся, вдруг начинают дрейфить.

— Я-то не столь впечатлителен,— сказал, смеясь, Де Леонибус.— И потом, я имел в виду не только, как ты их называешь, «прискорбные случаи». Черт возьми, покушения — это, конечно, так сказать, крайность. Они действительно происходят, но не так уж часто. Но всякого рода неприятности? У Эспости новенький «фиат-131» весь изгадили надписями несмываемой краской. Ингала целый год трясся из-за угроз похитить ребенка и даже хотел просить перевести его в другой город...

— Мы с тобой хорошо знаем, что за человек Ингала...

— Возможно, и так, но факты есть факты. И мы говорим лишь о тех, кого хорошо знаем, надеюсь, мне не надо приводить тебе другие примеры из полицейской хроники?

— О чем это вы тут беседуете? — прервала их Вивиана, подходя с бокалом в руке, и, не ожидая ответа, сказала, пристально глядя на Балестрини: — Андреа, мне кажется, что Рената не слишком хорошо себя чувствует.

— Где она?

— На балконе. Она говорит, что все в порядке, но я уверена...

Видя, что коллега уходит, Витторио Де Леонибус испытал радостное чувство, словно неожиданно получил приятное известие. Уж не выдумала ли все это Вивиана, чтобы на минутку остаться с ним наедине?

5

— Так, значит, до завтра,— повторил Джиджи Якопетти, отъезжая от тротуара и поднимая стекло машины.

Держа под руку жену, Витторио Де Леонибус слишком долго стоял и смотрел вслед удаляющимся красным фонарикам автомобиля, уносившего Вивиану,— теперь он не сможет ни увидеться, ни поговорить с ней целую неделю, если только они не надумают в субботу все вместе пойти в кино.

— Ну, в чем дело? — поторопила его жена.

— Извини, пожалуйста,— пробормотал он и наконец сдвинулся с места.

— У тебя что — плохое настроение?

— Да нет,— солгал Де Леонибус и сразу же пожалел. Ведь у него после столь нудного приема было множество предлогов ответить утвердительно. И это явилось бы прекрасным алиби на оставшийся вечер.— Нет-нет, я чувствую себя даже слишком хорошо,— попытался он шуткой исправить положение и стал быстрыми движениями массировать солнечное сплетение.

— Ты, как всегда, перепил.

— Да, пожалуй.

Оказалось, Вивиана отослала Андреа без всякой задней мысли. Едва тот отошел, она принялась с любопытством глядеть по сторонам, не проявляя к Де Леонибусу ни малейшего интереса. Напрасно он два-три раза пытался как-то ее расшевелить. Потом, когда первые уходящие гости уже начали шумно прощаться и прокурор, провожая их, щелкал своими вставными челюстями, словно колол орехи, Де Леонибус устремил на нее предельно многозначительный взгляд, надеясь получить в ответ хоть какой-нибудь намек. И, тщетно его ожидая, упустил последнюю в этот вечер возможность попросить о свидании.

В лифте Мариолина начала, как всегда, поправлять прическу. Это была маленькая и нервная женщина, склонная к худобе, обещавшая к старости стать некрасивой и нудной. Де Леонибус внимательно наблюдал за ней, хотя и знал, что жена не оторвется от зеркала, пока лифт не минует все двенадцать этажей, и его сейчас не ждут никакие сюрпризы.

В свои сорок лет Мариолина вполне могла быть довольна жизнью. Она преподавала в университете, где с ней, очевидно, считались, сотрудничала в нескольких журналах. Их сын учился в Англии, не употреблял и, видимо, не собирался употреблять наркотики, более того — он регулярно присылал ей письма, проникнутые любовью; он даже каждый раз неизменно прибавлял: «привет папе». И у нее не было никаких опухолей, варикозных вен и прочих хворей. С каким-то упрямым упорством, в котором скорее проявлялся ее характер, чем ум, она создала себе полностью удовлетворяющий ее образ жизни, чем и гордилась. Мариолина не выставляла напоказ своей уверенности в собственных силах, но вместе с тем не знала колебаний и сомнений.

— О чем это вы рассуждали с Андреа? — спросила она, когда они раздевались. Ее худенькие, смуглые, отнюдь не привлекательные ножки скрыла шелковая ночная рубашка.

— Да ни о чем особенном. Говорили о деле этого террориста из «красных бригад», который застрелил полицейского возле кино...

— Буонафортуны?

— Да,— хмуро ответил он, расшнуровывая ботинки. Надо же, она даже помнит фамилию арестованного.

— И что же?

— Я попросил прокурора, если возможно, избавить меня от этого хлопотного дела. Он и передал его Андреа. Вот и все.

— Как, по-твоему, история опасная?

— Не знаю... наверно, нет. Но когда речь идет о террористах, то может стать опасной. Знаешь, чтобы собрать веские улики и построить обвинение, придется немало попотеть. А потом может вылезти наружу куча имен, политика... обычные грязные делишки...

Он подождал, пока Мариолина нырнет под простыню и с легким щелчком выключит, как обычно, радио.

— Когда я прошел по этому проклятому конкурсу, никто не предупреждал, что меня ждут подобные пакости. Знаешь, кто такой, в сущности, судейский чиновник? Просто человек, который хорошо справился с письменным заданием, хотя, может, и списал его, а потом кое-как выплыл на устных экзаменах. Вот так и становятся нотариусами, судебными исполнителями, работниками прокуратуры — всей честной компанией судейских. Протяни мой папаша еще два-три годика, я уж как-нибудь сделался бы адвокатом. А теперь вот...

Чуть повернув голову, он покосился на жену. Мариолина по-прежнему лежала на спине, натянув простыню почти до самого остренького носика, и, казалось, уснула. Но на самом деле она, разумеется, вовсе не спала. Мариолина молча уставилась в потолок, и хотя Де Леонибус полагал, что жена его слушает, вполне возможно, что ее мысли витали где-то далеко.

— И вот я прошел по конкурсу. Но если бы знал, что настанут такие тяжелые времена, будь уверена, я крепко бы подумал, прежде чем решиться стать прокурором. И нас еще называют высшими государственными чиновниками! Да, да, именно так.

Он умолк, массируя ногу. Его мысли занимали вовсе не Андреа, не Буонафортуна, не служебные неприятности, он думал о Вивиане. Вот уж хорошенькое дело для пятидесятилетнего мужчины так втюриться, размышлял он, пытаясь вызвать жалость к самому себе. Мариолина же, притворяясь, будто слушает и вникает в его слова, на самом деле наблюдала за ним и ждала. Уже много недель между ними не было близости — за последний год они постепенно совсем охладе-

ли друг к другу, если не считать короткой вспышки во время летнего отдыха на Сардинии.

— А вообще-то лучше выкинуть все это из головы,— заключил вслух слегка смущенный Де Леонибус и протянул руку за журналом на тумбочке. Мариолина еще минуты две-три не шевелилась. Потом краешком глаза он увидел, как жена незаметно потянулась и смежила веки. Она была не такой женщиной, чтобы обижаться и устраивать сцены. В построенном Мариолиной для себя маленьком, удовлетворяющем ее мирке было предусмотрено и это — она уверяла себя, что никто ей не нужен.

Через несколько минут он увидел, как она повернулась к нему спиной, уже несомненно засыпая, и его смутное чувство вины развеялось, уступив место какой-то глухой зависти, а затем — скрытому приступу злобы. Хотя Де Леонибус испытывал к жене известное уважение и привык к ней за долгие годы совместной жизни, он ее ненавидел.

6

В последний раз, если ему не изменяет память, Сильвана съязвила: «Хорошо еще, что ты не палач!» Хотя они жили вместе уже полгода — ровно столько же он проклинал себя за этот безумный эксперимент,— он все-таки, как всегда, попался. Положив рядом с собой на постели папку с документами — предмет шуточек Сильваны — он, не понимая, с глупым видом переспросил: «Палач?» Она расхохоталась: «Ну да! При твоей привычке вечно брать работу на дом, то-то было бы весело!»

Он твердо решил никогда больше с ней не связываться — пусть сама портит себе нервы — и часто утешался мыслью о том, что теперь все скоро кончится: разрыв между ними — вопрос дней. Но он тогда слишком устал, чтобы сдерживаться, и ответил: шутка ее такая же старая и глупая, как она сама. Стычка на том и закончилась, и он весь вечер не отдавал себе отчета в том, что сегодняшняя ссора, быть может, последняя. Тем более что атмосфера разрядилась, когда они отправились ужинать с друзьями — супружеской парой, находившейся проездом в Риме.

Он снял форму и аккуратно повесил ее на плечики. Раздеваясь, он заглянул в документы, которые положил на тумбочку. Надо было по крайней мере еще часок поработать. Позолоченные часы на комоде пробили, как обычно, одиннадцать раз. Они всегда били дважды в сутки и сейчас шли относительно точно: на самом деле было тридцать пять минут одиннадцатого. Он только успел взглянуть на ручные часы, как зазвонил телефон.

— Алло,— ответил он не слишком любезно. Сначала до него донесся гудок автомобиля. Потом в трубке прошипело:

— Капитан Де Дженнаро, ты — идиот.

Голос звучал на фоне шума уличного движения: странно, что в такое позднее время оно было столь оживленное.

«На этот раз звонят с набережной»,— предположил он, вешая трубку. Вот уже целый месяц, как почти каждый вечер раздается телефонный звонок и кто-то, изменив голос, его поносит. Затем аппарат перестает работать, пока какой-нибудь прохожий не войдет в телефонную будку и не повесит трубку, болтающуюся на шнуре. И нередко — наверно, это бывало, когда будка находилась не на бойком месте,— его телефон не работал до следующего утра. Он просил знакомых, если они захотят позвонить ему, сначала набрать его номер и повесить трубку сразу же после первого гудка, а потом набирать снова. Но этого, конечно, никто не делал. Не подходить же к телефону он не мог, это было свыше его сил. Раз или два он пробовал не реагировать на звонки, однако в конце концов сдавался. К тому же, как угадать, кто звонит? Звонили нерегулярно, в разное время, но всегда вечером.

Он вытянулся на шезлонге, занимавшем почти весь балкон, и тут же различил в темноте на соседнем балконе какую-то фигуру.

— Добрый вечер, капитан.

— Добрый вечер...

Легко произнести, как принято, «добрый вечер, синьора или инженер, адвокат, коммендаторе[1]». Но у соседа на дверной табличке значилось непонятное: «Пр. эксп. Никола Джунти», неужели же так и отвечать ему: «Добрый вечер, промышленный эксперт»?

— Чувствуете, какой душный вечер?

— Еще бы. Пора бы лечь спать, но, увы, надо еще немного поработать,— любезно ответил Де Дженнаро, и «пр. эксп.» больше не пытался завязать разговор.

На этих листочках было записано все, что известно об Алчиде Россетти, владельце гастрономического магазина, он, наверно, уже храпел в своей спальне с кондиционером (эта деталь не требовала уточнений, так как кондиционер был заметен с улицы). Толстяка Россетти капитан имел честь лицезреть лишь однажды и, проверяя его документы, просто изумился, узнав, что колбаснику всего сорок лет. На вид ему было, по крайней мере, пятьдесят, полнота его выглядела нездоровой, а глаза были то ли воловьи, то ли поросячьи... да, да, один глаз как у вола, другой как у свиньи, подумал, улыбаясь, Де Дженнаро. Россетти напоминал характерного актера, сумевшего завоевать известность, исполняя маленькие роли и до самой смерти обреченного не снимать свою жалкую маску.

Когда колбасник, прежде чем ответить на вопрос, знает ли он Джакомо Баллони, надолго задумался, Де Дженнаро решил, что с этим типом будет не много хлопот. Но это было не так. Россетти размышлял даже тогда, когда его спрашивали, к примеру: «Магазин принадлежит вам или вы его арендуете?» Не понять, в чем тут дело — то ли в осторожности, то ли Россетти просто тугодум.

Следственный отдел весьма тщательно занимался этим колбасником уже несколько дней. Результаты были собраны в досье, которое капитан держал сейчас в руках. Но чем внимательнее он вникал в материалы, тем больше они утрачивали свое единственное достоинство — свежесть и непосредственность.

— Не хотите ли, капитан, стаканчик вина со льдом? — раздался голос с соседнего балкона. Отозваться было рискованно, ибо это могло послужить предлогом для начала разговора. Но промышленный эксперт не обратил внимания на затянувшееся молчание — не то что капитан на допросе колбасника Россетти. По ту сторону барьерчика что-то забулькало.

— Вот, держите.

— Благодарю вас.

— Не за что. Знаете, оно ведь натуральное, без обмана. Из Кастелли[2]. У моего брата там маленький виноградник. Я помогаю ему собирать урожай и разливать вино в бутылки. А потом мы все делим пополам.

— В следующий раз, может, возьмете и меня? Тогда поделили бы на троих. Ведь работа, наверно, приятная...

— Да нет, это стариковское занятие. Ну, не буду вам больше мешать,— решительно закончил разговор собеседник, оставив капитана в некотором смущении. В этом перенаселенном большом доме, где балкончики были расположены вплотную друг к другу, люди жили словно в общей квартире, особенно летом. Поэтому капитана приятно удивило поведение старика соседа: Де Дженнаро привык к гораздо большей навязчивости. Капитан громко щелкнул языком.

[1] Отмененный ныне почетный гражданский титул в Италии.

[2] Кастелли Романи (римские замки) — название нескольких селений, расположенных поблизости от Рима. Они издавна славятся своими винами.

— В самом деле, хорошее вино. Поздравляю,— сказал он, и это не было ложью.

— Хотите еще стаканчик?

— Нет-нет, спасибо. Я еще свой не допил.

Сын колбасника Алчиде Россетти получил свою лавчонку на улице Пренестина в наследство от родителей и лет десять как торговал в ней сам. Первое время у него было полно хлопот: опротестованные векселя, неоплаченные счета, всякие жалобы, штрафы, частые визиты агентов финансовой гвардии[1], которые, как свидетельствуют документы, каждый раз не напрасно проверяли счета и весы лавочника. Женат на Розанне Паскуалетти — она на три года его старше. Детей нет. Через несколько лет переехал на улицу Мануцио. Дела нового магазина, большого и расположенного на бойком месте, шли полным ходом, и болезненный толстяк завел себе «мерседес». Сперва лавочник отрицал знакомство с Баллони, потом, услышав, что речь идет о «парне на мотороллере», вдруг вспомнил, кто это. «Ах, да, я о нем совершенно забыл»,— пробормотал он.

Вот, в сущности, почти все, что содержало досье. Однако две детали были весьма существенны. Первая: магазин процветал. Но прежде всего ведь Россетти надо было приобрести этот процветающий ныне магазин, оборудовать его, закупить товар. А между тем он только что выкарабкался из серьезных финансовых затруднений! Не прошло и двух лет, как у него не осталось ни одного неоплаченного векселя, и больше того: он купил себе «мерседес», снял большую квартиру над магазином и недурно ее обставил. Предположение, что Паскуалетти могла принести приданое, отпадало — она из небогатой семьи.

Второе обстоятельство, над которым стоило задуматься,— поведение лавочника после обыска. На следующий день он минут десять проторчал в ближайшей телефонной будке и набрал четыре-пять номеров. Вечером ему звонил кто-то домой: «Это я, Ферруччо...» — начал было молодой голос, но колбасник его сразу прервал: «Ты ошибся» — и повесил трубку. Если Россетти полагал, что никакой Ферруччо звонить ему не может, тогда почему же он назвал на «ты» незнакомого человека, который ошибся номером? Значит, колбасник наверняка знал, что его телефон прослушивается. Эта его уверенность по меньшей мере весьма подозрительна. Так сказал и доктор Балестрини. Подумав о Балестрини, капитан поднял голову от бумаг. Он-то, Де Дженнаро, достаточно хорошо знает Андреа и понимает...

— Спокойной ночи, капитан.

— Спокойной ночи и спасибо за вино.

— Не за что...

...что дело Баллони—Россетти сильно его тревожит. «Я чувствую, что за всем этим кроется нечто очень серьезное»,— сказал Балестрини как всегда с улыбкой. Это, однако, вовсе не означало, что он улыбался. Просто безмятежное выражение его чисто выбритого лица и дружеский тон создавали подобное впечатление. Как-то он хотел объяснить свое отношение к Балестрини Сильване, но потом забыл. Она и так обо всем догадывалась. Вечером она объявила: «Тебя к телефону твоя любовь». В темноте капитан усмехнулся. Любовь? Ему не в чем было себя упрекнуть, да и ждал он совсем другого звонка: самых изощренных, гнусных угроз и оскорблений, и не понял, кого имеет в виду Сильвана, пока не взял трубку...

Неужели за всей этой историей действительно кроется нечто серьезное? В ней много неясного и подозрительного, но это ведь еще ничего не значит.

[1] Полицейская служба, в обязанности которой наряду с пограничными и таможенными функциями входит и надзор за торговлей.

Неожиданно зазвонил телефон.

— Господин капитан, говорит Визинтин,— донесся издалека голос сквозь треск электрических разрядов. На сей раз тому, кто забавлялся, блокируя его телефон, не повезло.

— Да, докладывай.

— Господин капитан, мы его упустили.

— Упустили?

— Он сел в машину, мы поехали за ним, но едва тронулись, господин капитан, обнаружили, что баллон спустил.

Капитан громко выругался, проклиная судьбу, баллон и младшего сержанта. Визинтин объяснил, что раньше они ничего не заметили: когда парковались, все было в порядке. Они быстро сменили колесо, но...

— Ладно, ладно,— нетерпеливо прервал его Де Дженнаро.— Сейчас одиннадцать часов, если будут новости, звоните мне до двенадцати.

Едва Визинтин успел произнести «слушаюсь, капитан», Де Дженнаро повесил трубку и вернулся на балкончик в самом скверном настроении. Может быть, этот Алчиде Россетти, зная, что за ним следят, отправился куда-то поразвлечься — к родственникам, к проституткам, к приятелям, не замешанным в его делишках. А может, наоборот — думая, что за ним уже нет слежки, решил рискнуть и побежал с кем-нибудь посоветоваться. Но запасемся терпением — ведь с полицейскими машинами никогда ничего не случается только в кино.

На кухне было прохладно. Он открыл банку мясных консервов и нарезал помидор. Лежалый помидор вполне под стать волокнистому и безвкусному консервированному мясу. Зато пиво было крепкое и ледяное.

Осенило его в полночь: сидя на унитазе, он задумчиво созерцал рулон туалетной бумаги. За долгие годы перед капитаном прошли сотни самых разных людей, но никогда еще ничья фамилия так сразу, вдруг ему столь много не говорила. Конечно, это могло быть и совпадением, но достаточно лишь заглянуть в отдел записей актов гражданского состояния, чтобы развеять сомнения. Завтра же утром он пошлет туда Визинтина. Однако пешком, а не на машине, решил он, улыбаясь. С каждой минутой пришедшая догадка волновала его сильнее.

7

Все произошло совершенно неожиданно, хотя ничто этого не предвещало, и все присутствовавшие были застигнуты врасплох. Даже карабинер, хотя его задача как раз и заключалась в том, чтобы всегда быть начеку.

Анджело Буонафортуна производил впечатление человека вполне нормального. Высокий, худой, с неторопливой, правильной, без диалектизмов, речью. Казалось, с ним не будет никаких хлопот. И действительно, в течение получасового допроса он усыпил бдительность не только Балестрини, но и своего, назначенного судом, адвоката — некоего Вальери, известного в судебном городке под именем Вальери-старший (с тех пор как в суд пришел работать и его сын), а также карабинера и секретаря. Задачей допроса — первого, проводимого Балестрини,— было проверить алиби обвиняемого в тот вечер, когда при выходе из маленького кинотеатра двумя выстрелами в упор был убит полицейский.

Витторио Де Леонибус, передавая дело Балестрини, назвал Буонафортуну «хорошим парнем, страдающим революционными отклонениями». Несравненный Витторио славился подобными остротами — несколько надуманными, но меткими. И это доставляло ему явное удовольствие. Сперва Де Леонибус испытывал к Буонафортуне даже

некоторую симпатию, полагая, что тот случайно замешан в игре людей, куда более опасных, чем он сам. Однако спокойный нрав Буонафортуны оказался лишь видимостью, и очень скоро Де Леонибус столкнулся с первыми вспышками яростной злобы. На допросах между ними начались стычки, а затем последовали телефонные звонки с угрозами, лобовое стекло его машины было разбито вдребезги (впрочем, о последнем знал только прокурор, которому Де Леонибус доложил лично).

Постепенно дело принимало неприятный оборот. Либо Буонафортуна не убивал полицейского и ничего общего не имел с «красными бригадами» — в таком случае повинны были его излишне энергичные приятели или какая-нибудь одинокая экзальтированная девица. Либо же он действительно был виновен, и в этом случае угрозы по телефону и разбитое стекло машины — всего лишь первое предостережение, так сказать, вежливое покашливание, предупреждающее о чем-то куда более худшем. «Чепуха!» — отрезал прокурор. «Будем надеяться, что так»,— сухо ответил Де Леонибус. А своему приятелю Балестрини он сказал: «Буонафортуна — в общем-то хороший парень, только страдает революционными отклонениями. Эта детская болезнь пройдет...»

— Однако кассирша в кинотеатре продолжает утверждать, что стреляли именно вы,— проговорил Балестрини, пристально глядя на парня.

Подобного рода допрос служил лишь для того, чтобы у следователя сложилось впечатление об обвиняемом или вдруг в его ответах случайно выявилось какое-нибудь противоречие.

— Кассирша лжет. Если бы она носила очки, то можно было бы подумать, что она меня плохо разглядела. Но, помнится, она очки не носит, значит, просто лжет,— довольно любезным тоном ответил Буонафортуна.

— Но зачем ей лгать? Я ее вызывал, говорил с ней и могу вас заверить — на фантазерку она не похожа. К тому же она вовсе не относится к вам с какой-то предвзятостью или враждебностью...

— Может быть. Но она лжет. Вероятно, вы ее запугали.

— Буонафортуна! — предостерегающе подняв руку, остановил его патетическим тоном старик Вальери, но парень даже не посмотрел на него.

— Мне она не показалась человеком, которого легко запугать. Не говоря уже о том, что никто, разумеется, и не пытался этого делать.

— Поди, вам не впервой подкупать свидетелей, чтобы они...

— Буонафортуна! — вновь прогремел адвокат, и Балестрини взглянул на него с раздражением. Он отнюдь не собирался привлекать парня к ответственности за эти ставшие уже обычными инсинуации.

— Прекратите подобные разговоры. Неужели вы в самом деле можете думать, будто кто-то подкупает свидетелей. Какое у вас представление о правосудии?

— Какое представление? — заорал парень, вскакивая, и лицо его неожиданно исказилось.— А вот какое!— и, перегнувшись через письменный стол,— он был высокого роста, и лицо его почти вплотную приблизилось к Балестрини — плюнул следователю в физиономию. Все остальные вскочили со своих мест. Адвокат, пытаясь удержать парня, схватил его за плечи и закричал:

— Буонафортуна, умоляю тебя, прекрати!

Но Буонафортуна не только не прекратил, а резко обернулся, и, вырвавшись из рук конвоира, прямым коротким ударом в лицо послал старого пеналиста в нокаут.

— На помощь! — пронзительно взвизгнул секретарь, выскакивая за дверь. Балестрини, сохраняя спокойствие, вынул из кармана пла-

ток и стал протирать очки. Конвоир и Буонафортуна, сплетясь в клубок, катались по полу, с грохотом опрокидывая стулья. На шум мгновенно сбежалось человек двадцать, но все толпились в коридоре, и никто не спешил войти. Минуло несколько секунд, прежде чем кто-то пришел на помощь конвоиру, но все равно было уже поздно. «Смирный» Буонафортуна, злобно вцепившись зубами в левую кисть конвоира, чуть не начисто откусил ему мизинец.

— Правосудие получило очередной урок,— прокомментировал происшедшее несколько минут спустя Джиджи Якопетти в мужской уборной, пока Балестрини тщательно мыл лицо.

— Смейся, смейся. А я действительно порядком сдрейфил.

— Хотя дрейфить и отмывать плевки полагалось бы Витторио Де Леонибусу,— уже без улыбки задумчиво ответил Джиджи, прислонившись к стене.

— Сколько сейчас времени? — спросил Балестрини, надевая очки.

— Скоро час, и на сегодня с меня хватит.

— Ты едешь обедать?

— Да, а ты?

— Нет, мне надо увидеть шефа, если он еще не ушел. Пожалуй, вот что: будь добр, позвони Ренате и скажи, что я задержусь на работе.

— Слушаюсь.

— Знаешь, зачем я иду к шефу? Чтобы попросить разрешения уехать в четверг до конца недели.

— Ну и нарвешься на отказ. Старик мирится с отсутствием на службе только по болезни.

— Да, но теперь у меня в активе плевок в физиономию. Он не посмеет отказать.

Однако старика у себя не оказалось. Балестрини решил поехать пообедать. Перед уходом он попробовал пару раз позвонить Ренате, но дома у них было все время занято. Затем попытался вызвать по внутреннему телефону Де Дженнаро — там ему ответил какой-то дурацкий, совершенно незнакомый голос:

— Капитан сегодня с утра не появлялся. Что ему передать?

— Вы не знаете, будет он после обеда?

— Затрудняюсь ответить.

Похоже на то, что капитан вчера загулял и еще не проспался, подумал, вешая трубку, Балестрини. Но в следственном отделе такая недисциплинированность маловероятна. Он не спеша собрал бумаги, газеты и сунул все в папку.

Выйдя на площадь Клодио, он изумился. Можно было подумать, что лето уже в разгаре: прохожих два-три и обчелся, все без пиджаков, уличное движение почти замерло, воздух тяжел и неподвижен, дышалось с трудом.

Балестрини медленно зашагал по бульвару Мадзини, стараясь держаться в тени деревьев. Де Дженнаро, наверно, отправился на охоту, и, возможно, на большую охоту. Балестрини было немного обидно, что он не мог ближе следить за действиями капитана, но ничего не попишешь: административная рутина и это пренеприятное дело Буонафортуны отнимали все время. Однако Де Дженнаро действовал в создавшейся обстановке как нельзя лучше. Без лишнего шума, не роняя достоинства, он почти в одиночку распутывал эту историю с тротилом, предназначавшимся бог знает для какого взрыва. Время от времени капитан ему кое-что докладывал: всегда коротко и лаконично. Последний раз, когда они с ним болтали в баре, Балестрини даже захотелось взять его под руку. Он уже готов был, наполовину шутя, наполовину всерьез, пооткровенничать с Де Дженнаро. Это выглядело бы вполне естественно и по-дружески, но удержался, а потом корил себя за дурацкую сдержанность. «Ты весь какой-то скованный»,— когда-то еле слышно прошептала ему

одна из его немногих девушек, знакомая по университету, которую он впервые поцеловал в сумраке виллы «Ада».

При этом воспоминании Балестрини улыбнулся. Теперь смешно, но тогда ее слова крепко его задели. Звали девушку Милена. Да и потом многие высказывали о нем подобное мнение. Мариолина, жена Витторио Де Леонибуса — они как-то вместе ужинали в Трастевере[1],— сказала Ренате: «Я думала, что Витторио — типичный судейский. Ну, знаешь, он никогда не улыбнется, всегда такой правильный, серьезный... в общем, ты меня понимаешь. Но даже ему, мне кажется, далеко до твоего Андреа».

Думая о Де Дженнаро, Балестрини вспомнил о Ферриньо, которого до сих пор не поймали. Балестрини уже начал свыкаться с мыслью о нависшей над ним опасности, но все же было бы спокойнее, если бы этого типа снова засадили в тюрьму.

В отличие от Буонафортуны с Ферриньо все было ясно, и можно биться об заклад, что этого террориста приговорят к пожизненному заключению. И вот еще одна глупость. Сколько раз ему хотелось спросить Де Дженнаро: «Ну что слышно нового о Ферриньо?» Балестрини не сомневался, что Де Дженнаро и сам доложит, но все же, задай он такой вопрос, поделись мучившим его беспокойством, ему стало бы легче. «Да, от скованности не так-то легко избавиться, это уж, наверно, у меня навсегда»,— подумал он, направляясь к лифту.

— Ах, вот и вы, доктор! — преградила ему путь консьержка, размахивая белым конвертом.

— В чем дело?

— Вам «экспресс».

— Спасибо,— ответил он, беря письмо. Повертев его в руках, он узнал почерк матери — донны Амалии Балестрини. Ну конечно, разве председательша могла не послать спешное письмо? И лишь для того, чтобы, как обычно, изложить свои соображения насчет погоды, здоровья и планов на летний отпуск. Продолжая улыбаться, он отпер дверь и вошел.

— Рената!

Он вспомнил, что девочка сегодня приглашена к подруге. Но где Рената? На кухне ее не было. Он бросил пиджак и папку в кабинете и прошел в гостиную.

— Ты что, спишь? — с улыбкой спросил он, подходя к дивану. У жены было какое-то опухшее лицо, и она с трудом открыла глаза.

— Ты спишь?

— М-м-м,— пробормотала Рената, недовольно морщась и поворачиваясь к нему. Пробившиеся в щели спущенных жалюзи солнечные лучи падали ей на лицо и шею.

— Ну вставай, спящая красавица,— сказал он, подходя, и потряс ее за плечо. Сначала он не понял, что с ней такое. Она не сразу, лишь сделав усилие, пришла в себя.

— Ты... обедал?

— Нет. Пытался позвонить тебе, предупредить, что задержусь...

— А я немножко перекусила.

— И правильно сделала,— сказал он, помогая ей встать, и тут сразу понял, что с ней. Не то чтобы она была совсем пьяна, но несомненно — сильно под мухой.

8

— А, привет! — сказала Рената, открывая Вивиане дверь. Она всегда так с ней здоровалась с тех пор, как они подружились. И как обычно, чмокнула Вивиану в щеку. На Ренате был новый ярко-желтый халат, и Вивиана сразу заметила, что подруге очень хочется спросить, нравится ли он ей.

[1] Район Рима на правом берегу Тибра.

Когда Вивиана впервые увидела Ренату под руку с Андреа, с которым была знакома раньше, жена Балестрини произвела на нее самое невыгодное впечатление. Первые произнесенные при знакомстве слова: «Очень приятно», так же как и сказанные на прощание: «Была рада с вами познакомиться», уже предвещали мало хорошего и свидетельствовали о явной провинциальности Ренаты. Изящная, миниатюрная, но плохо одетая, почти без косметики, Рената держалась смущенно, словно чувствуя себя не на своем месте. Ногти у нее были обкусанные, и, видно, по привычке она не поднимала глаз. За руку она держала худенькую девочку, которая не сказала ни «здравствуйте», ни «до свидания» и все время, пока они сидели у Вивианы, с жадностью разглядывала хозяйку.

В долгие послеобеденные часы, которые они проводили вместе на их любимой скамейке в сквере, Вивиана пыталась понять, что же таится под этим жалким обликом. Несомненно, Рената была непосредственна и восторженна, ее головку переполняли очень милые, сумасбродные фантазии.

Но зачем мне тратить драгоценное время на эту женщину? — порой задавала себе вопрос Вивиана. Правда, не слишком часто, так как не любила копания в себе и отвлеченных рассуждений. Но все-таки, когда ее одолевала скука, она над этим задумывалась. Может, в ней заговорили материнские чувства? Да нет, она их отроду не испытывала. Искренняя дружба? Тоже вряд ли, она никогда не верила в дружбу. Возможно, это объяснялось желанием покровительствовать, а также некоторой симпатией и любопытством. Играло роль и то, что они жили по соседству и им было удобно видеться. Что же касается Ренаты, тут не оставалось никаких сомнений: для нее Вивиана была «лучшей подругой, которой она могла открыть душу», «самым близким человеком» и так далее и тому подобное. Андреа иногда шутя просил Вивиану убедить Ренату что-то сделать, или чего-то не делать, поскольку, мол, «у себя в доме командую не я, а ты».

— Как жизнь? Все нормально?

С этими словами Вивиана швырнула свою плетеную соломенную сумку на претенциозный сундук «под старину», украшавший прихожую. В этом вопросе вовсе не заключалось никакого скрытого смысла, но Рената почему-то покраснела.

— У меня? Все в порядке, а почему ты спрашиваешь?

Однако выглядела она ужасно — лицо опухшее, под глазами синяки. Вивиана поняла, что ничего из нее не вытянешь. Если, конечно, не проявить некоторой настойчивости. Но в такую жару кому охота этим заниматься?

— Хочешь кофе? Холодного?

— Холодного — хочу.

Вивиана огляделась вокруг, скорее по привычке, чем из любопытства. Эту комнату, служившую одновременно гостиной и столовой, она уже прекрасно изучила. Достаточно было посмотреть на Андреа, чтобы понять, какую мебель он может выбрать, а Рената слишком считалась с возможностями и вкусами мужа и не высказывала собственных желаний.

— Кофе хороший?

— Если не считать, что мог бы быть и покрепче и не такой сладкий, то в общем ничего.

С полчаса они болтали о всякой чепухе, и только однажды их прервал телефонный звонок. Рената, запахивая халат, выскочила в коридор, но почти сразу вернулась.

— Ошиблись номером. Ты начала что-то рассказывать о Витторио,— продолжала она разговор, но вид у нее был отсутствующий, и мысли витали далеко. Она слегка оживилась лишь тогда, когда Вивиана принялась выкладывать последние новости о Витторио Де

Леонибусе. Когда Рената впервые услышала, что толстяк Витторио, казалось бы так преданный Мариолине, вот уже два месяца как волочится за Вивианой, и у нее захватило дух от изумления.

— Просто невероятно! Слушай, каждый раз, когда я его вижу, я думаю об этом и...

— Вся беда в том, что он мне не нравится. Уж если бы пришлось лечь в постель еще с каким-нибудь судейским, кроме моего мужа, то я бы выбрала Андреа,— сказала Вивиана улыбаясь и улыбнулась еще шире и откровеннее, видя, что этой дурочке Ренате неприятны ее слова.— Да нет, нет, ты не волнуйся,— успокоила ее Вивиана.

Беда в том, что она по глупости как-то рассказала Ренате о пресловутых «трех днях», проведенных ею в августе в Чирчео, и с тех пор подруга смотрела на Вивиану с таким искренним восхищением и вместе с тем с осуждением, что ее было просто жаль. И, разумеется, любая шутка, содержащая эротический намек, сразу вызывала у Ренаты подозрение.

Наблюдение, сделанное несколько минут назад Вивианой, ее просто озадачило. Когда они уже прощались в прихожей, опять зазвонил телефон.

— Нет, вы ошиблись. Хорошо,— пролепетала Рената и повесила трубку. Вид у нее был какой-то странный, даже смущенный.

Вивиана была слишком ленива и равнодушна к людям, чтобы проявлять любопытство, и ее никогда не интересовала чужая психология. Но на улице, хотя и с некоторым опозданием, она задала себе вопрос: уж не грешит ли этот грациозный воробушек? Если так, то, значит, Ренате удалось удивить ее за время их знакомства во второй раз.

Впервые жена Балестрини озадачила подругу в самом начале их только зародившейся дружбы. Вивиана, болтая о том о сем, сказала, что девочка почти совсем не похожа на Андреа. Рената призналась, что Джованнелла не его дочь, но тут же явно раскаялась. Грызя ногти, она бросала на подругу вопрошающие взгляды. Рената еще не понимала, что Вивиана слишком ленива и для того, чтобы сплетничать, тем более когда речь идет о таком серьезном деле.

История, конечно, неприятная, но не более того. Первый девический опыт; рука в руке; мне кажется, что я тебя люблю; шоколад со взбитыми сливками; поклянись мне; если он не позвонит, я тоже не буду звонить; нет, нет, прошу тебя; о, боже мой, что мы натворили; глупые бессонные ночи; девятнадцать дней задержки — вот так это и произошло. Вивиана ничего или почти ничего не знала о семье Ренаты, но сразу же представила себе, какие там должны были разыгрываться отвратительные скандалы, тем более что пылкий, но неосторожный (это явствовало из простодушного рассказа Ренаты) соблазнитель не пожелал на ней жениться. То ли просто отказался, то ли сбежал, то ли еще что — было не ясно.

Печальная и скучная история. Но невероятным, потрясающим и трогательным было поведение Андреа Балестрини. Вивиана получила истинное удовольствие, представляя себе комичного, чуть неловкого юношу... такого скованного — вот правильное слово. Юношу, насквозь буржуазного, полного предрассудков, робкого по характеру, но уже помощника прокурора, что полностью отвечало его устремлениям, — словом, судейского чиновника, существо весьма опасной и непонятной породы. И вот такой молодой человек вдруг предстает (наверняка в темно-синем костюме и однотонном синем галстуке) перед Ренатой и Джованнеллой и обручается с матерью чужого ребенка! «Андреа заявил, что он — отец ребенка»,— с гордостью уточнила Рената.

С того дня как она выслушала эту исповедь, Вивиана стала смотреть на Андреа другими глазами, увидела настоящего Андреа. Ай да

молодец, ай да притворщик, этот старый храбрый хамелеон, лишенный предрассудков честный альтруист, только прикидывающийся скучным серењким чиновником! Как-то вечером, когда неразлучное трио Якопетти — Балестрини — Де Леонибус ужинало с женами, она попробовала представить себе, что за человек скрывается в Андреа. Раз — и вот он в чем мать родила! Что ж, в сущности, совсем не плох, только ему бы недельки две попоститься, чтобы сбросить пару лишних килограммчиков. Два — наденем на него вельветовые джинсы, рубашку с открытым воротом прямо на голое тело, а на шею небрежным узлом повяжем фуляровый шарф. Остальное оставим как есть — ни бороды, ни усов не надо, только волосы чуть подлиннее и без пробора. Для оригинальности какую-нибудь живописную деталь (браслет? Амулет на шею? Пенковую трубку?), потом красную спортивную машину «купе»... Да, и, разумеется, никаких очков.

Последнее, что нужно, — насмешливый, иронический вид. Но с этим, пожалуй, легче всего. Беседуя с Андреа, она обнаружила в нем чувство юмора — глубоко запрятанное, словно уснувшее от слишком долгого бездействия. Но Андреа умел по временам взглянуть так иронично и умно, что не мог не нравиться. А стоило ему чуточку оттаять, он сразу же начинал выдавать отменные остроты, хотя сам порой был не способен оценить смешной анекдот. В конечном счете в ее представлении сложился какой-то новый — и внешне и внутренне — образ Андреа Балестрини. И, уж конечно, отнюдь не помощника прокурора. Ему бы подходило быть, к примеру, художественным директором рекламного агентства. Или модным архитектором. Или отпрыском богатого римского семейства.

Она очнулась от своих мыслей только в лифте, еще более грязном, чем обычно, и заметила, что чуть улыбается. Вот было бы забавно описать в разговоре с Андреа сидевшего в нем другого человека. Но кто знает — может, он и сам об этом догадывается. Иной раз она замечала, что его мысли витают где-то далеко, словно он заворожен какими-то видениями, и ей не хотелось думать, что единственный предмет его размышлений — какой-нибудь следственный эксперимент или данные судебной экспертизы. В то мгновение, когда она вставляла ключ в замочную скважину, в квартире зазвонил телефон.

9

— Паскуалетти? А кто это?

Надо же было, черт возьми, задать такой глупый вопрос. Даже не глядя на капитана, сохраняющего по-прежнему невозмутимый вид, Балестрини почувствовал, что дал маху.

Он начал вертеть в руках магнитофонные кассеты, а Де Дженнаро в своем обычном стиле — отрывисто и кратко — объяснял ему, кто такой Гуидо Паскуалетти. Раньше он был агентом СИДа[1], ныне частный детектив, а кроме того, и это главное, старший брат Розанны Паскуалетти, по мужу — Россетти.

Материалов о нем не так уж много, но того, что успел за двадцать минут рассказать Де Дженнаро, было более чем достаточно. Кроме того, на магнитофонной пленке оказалась запись парочки довольно любопытных телефонных разговоров. И еще кое-что.

— Еще?

— Да. В первой же записи, которую мы сделали, Паскуалетти, болтая с сестрой о всякой ерунде, сказал, будто подозревает... в общем, что его телефон подслушивают.

— Так ведь оно и было, — подтвердил Балестрини, улыбаясь. Он чувствовал, что капитан чего-то не договаривает. Де Дженнаро тоже утвердительно кивнул, но без улыбки.

---

[1] СИД — до реорганизации в конце 70-х годов название тайной службы итальянского министерства обороны.

— Он был совершенно прав.

— Конечно, я знаю.

— Да нет, доктор. Дело в том, что его телефонные разговоры слушали другие уши, не только наши.

— А... Вы можете узнать, кто его подслушивает?

— Наверно, надо выяснить...

— Да, кстати... Полковник в курсе того, как идет расследование?

— Ему известно, что этим делом занимаюсь я.

— Да, но...

— Он не вдается в детали, — ответил капитан, хитро улыбнувшись.

«Мы с ним похожи на любовников, наставляющих рога своим законным половинам», — с досадой подумал Балестрини. Начальник следственного отдела наверняка почти ничего не знал о всей этой истории, а Де Дженнаро не проявлял никакого желания информировать его о каждом шаге в ходе расследования. Прокурору, возможно, было известно и того меньше. Да ведь и пытаться докладывать ему — пустое дело: даже если он не болен или не занят своими представительскими обязанностями, отнимавшими у него те редкие дни, когда он ненадолго появлялся на работе; он все равно почти не слушал, о чем ему докладывали.

— Ну как там с Буонафортуной? — каждый раз спрашивал он, о чем бы ни заходил разговор — о задержании Баллони или о невиданно сильном ливне в прошлом июне. Казалось, только дело типа из «красных бригад» не давало ему покоя. Во время одной из демонстраций с требованием освобождения Буонафортуны произошла перестрелка с полицией и несколько человек было ранено. «Вот видишь, Балестри, люди думают, будто мы решили засадить его, обвиняя в преступлении, которого он не совершал. Будто мы воспользовались тем, что у него нет алиби. И впрямь расследование его дела здорово затянулось...»

— Придется поговорить с прокурором, — пробормотал Балестрини, поглаживая свой тяжелый округлый подбородок. («У тебя все лицо подо ртом»,— подшучивала над ним Вивиана.) Капитан промолчал, но Балестрини показалось, что он смотрит на него как-то многозначительно, словно еще чего-то ожидает.

— Хорошо... Ну, а мы с вами тем временем будем не спеша продолжать работу... — добавил следователь.

— Вот это я и хотел знать.

— М-м. Будем надеяться, что теперь прокурор...

— А он сейчас здесь? Я слышал, он был нездоров.

— Как раз сегодня, после обеда, вышел на работу. Надеюсь, на этот раз мне удастся его убедить, что речь идет о серьезном деле. Мы задержали мальчишку с таким запасом тротила, которого хватило бы, чтобы взорвать весь Палаццаччо[1]. И почти уверены, что взрывчатку дал ему этот подозрительный лавочник. Жена же лавочника, как вы докладываете, сестра Паскуалетти. Теперь я вспоминаю эту фамилию. К сожалению, у меня плохая память на имена, но в пору скандала между СИДом и Генеральным штабом я сотни раз встречал фамилию Паскуалетти в газетах. Если бы нам только удалось выяснить, кто такой «лейтенант», с которым Паскуалетти беседовал по телефону... В самом деле, какой лейтенант? Тут что-то не так. По голосу я дал бы ему лет пятьдесят-шестьдесят. И хотя записанный телефонный разговор очень короток, но тону, каким неизвестный говорит с бывшим агентом СИДа, можно наверняка сделать вывод, что «лейтенант» занимает куда более высокое положение, чем Паскуалетти.

[1] Так в Риме называют Дворец Правосудия (Палаццо ди Джустиция) — огромное здание претенциозной и безвкусной архитектуры, построенное в 1870 году.

— Половая тряпка! — воскликнул Де Дженнаро, вдруг крайне оживившись.

— Что?

— Я хотел сказать, что «лейтенант» говорил со своим собеседником так, словно вытирал об него ноги.

— Да, пожалуй.

— Знаете, о чем я подумал, доктор? Очень может быть, что «лейтенант» — просто кличка. Все равно как «шеф» или «агент 007». Если же нет, то, возможно, этот неизвестный когда-то действительно служил в чине лейтенанта. И тогда Паскуалетти называет его лейтенантом, потому что был с ним знаком в те времена. А главное, в голосе «лейтенанта» действительно есть что-то военное. Я говорю так, доктор, потому, что кое-что смыслю в военной службе,— закончил с улыбкой Де Дженнаро. В ответ Балестрини тоже улыбнулся, но еле заметно — его начало раздражать, что собеседник непрерывно употребляет обращение «доктор». Но как раз это-то и помогло ему кое-что вспомнить.

— Однажды, когда я был еще мальчишкой, отец взял меня с собой в одну поездку. Во время остановки в Виареджо он вдруг вспомнил, что его бывший сержант оттуда родом. Весь вечер мы разыскивали его по всему городу. Людей с такой фамилией были десятки. Короче говоря, на следующее утро мы отправились к еще одному человеку, носившему эту фамилию,— торговцу овощами. Они с отцом тотчас узнали друг друга, обнялись и, конечно, предались военным воспоминаниям. Ну так вот: больше всего меня удивило, что отец называл этого огромного толстяка «Тонино», а уже начавший седеть Тонино обращался к моему отцу «синьор лейтенант». Понимаете, что я хочу сказать?

— Да, но, пожалуй, это было бы слишком просто. Во всяком случае, узнать о военном прошлом Паскуалетти труда не составит, и мы проверим, кто были у него командиры.

— Скажите, пожалуйста... — начал Балестрини, снимая очки и потирая веки. Его не удивило, что капитан так внимательно его разглядывает. Опять-таки Вивиана как-то заметила: «Когда ты снимаешь очки, у тебя совсем другое лицо».

— Как вы считаете, эта ниточка, которая пока что оборвалась...— он указал на выключенный магнитофон: — Оборвалась на голосе «лейтенанта», куда она нас может привести?

Он понял, что капитан готов к этому вопросу.

— В штаб-квартиру заговора.

Щекотливый вопрос? А почему бы, в сущности, его не задать? И он спросил очень осторожно, чуть ли не тоном заботливого участия:

— Какого? Правого или левого?

Капитан задумался, но Балестрини видел, что он был готов ответить и на это и его долгое размышление предусмотрено разработанным заранее сценарием.

— Пожалуй, еще рано утверждать что-либо с полной определенностью, — проговорил наконец Де Дженнаро. В этот момент зазвонил телефон.

У прокурора был больной голос — как в его самые черные дни. В подобных случаях шеф не только еле говорил, но, казалось, и сам ничего не слышал, как бы громко ни кричал собеседник. После каждой фразы прокурор страдальческим и раздраженным тоном переспрашивал: «А?» Если же он недолюбливал собеседника, то его «А?» сопровождалось еще резкими подергиваниями всем телом, и он подносил ладонь к уху на манер акустической трубки. Все это неприятно действовало на любого, кто еще не привык к его фокусам.

— Он хочет поговорить со мной. Вот я и воспользуюсь случаем, чтобы сообщить ему последние новости, — сказал, поднимаясь, Ба-

лестрини. Де Дженнаро тоже встал и взял со стола фуражку.

— Вот еще что...

— Да?

— Вы не собираетесь вновь допросить Баллони?

— Да. Как только у нас будут какие-нибудь новые данные, я попытаюсь его хорошенько припугнуть. Это не так-то легко, но попробовать можно.

Он понял, почему капитан пожал плечами: для расследования от допросов обвиняемых толку мало.

У двери они обменялись рукопожатием. Каждый раз оба молча старались пожать друг другу руку возможно крепче и сердечнее. Не победив, но и не проиграв в этом состязании — своеобразном проявлении дружеских чувств,— Балестрини вышел в коридор. Хотя на улице еще не стемнело, длинный коридор тонул в полумраке. Кто-то, проектируя здание, придумал оригинальное покрытие для пола, выложив его темной плиткой, поглощающей свет. Те, кто приходил сюда впервые, всегда боялись споткнуться и упасть, что, впрочем, нередко и происходило.

Балестрини объявил о своем приходе, два раза легонько постучав в дверь, но, вспомнив, что сегодня прокурор прикидывается глухим, осторожно ее приоткрыл.

Прокурор разговаривал по телефону, чистя ногти ножом для бумаги, он жестом указал ему на стул:

— Да, да, садись... Нет, я говорю это не тебе, при чем тут ты? — уточнил он в телефонную трубку и вновь заработал ножом.

10

— Он сейчас ужинает, — вполголоса доложил старшина, указывая подбородком на освещенное окно.

— Один?

— Так точно.

— Жди здесь, — приказал Де Дженнаро и перешел на противоположную сторону улицы. Читая таблички с фамилиями жильцов у интерфона, он несколько замешкался. Тут был и Паскуалини и даже Де Паскуале. Когда он нажал кнопку у фамилии Паскуалетти, тускло освещенное табло еще более померкло. Ему пришлось нажать на кнопку еще раз, прежде чем ответил далекий, хриплый голос:

— Кто там?

— Я капитан Де Дженнаро из следственного отдела. Мне нужно с вами поговорить.

Балестрини вряд ли бы одобрил такой образ действий: к чему спешить, никуда этот лавочник не денется. Но это был единственный способ, не поднимая шума, добиться каких-то результатов.

Капитан подождал, пока до Паскуалетти дойдут его слова. Потом ему то ли послышалось, то ли он и вправду услышал:

— Подымайтесь!

Ответ заглушило жужжание электрического устройства, открывающего замок. Входная дверь приотворилась.

Де Дженнаро поразило в вестибюле полное отсутствие запахов. Даже из двери первого этажа, украшенной табличкой «швейцар», не шел, как из всех швейцарских, неизменный тяжелый дух овощного супа — вечной пищи бедняков. Также и из-за других дверей не доносилось никаких запахов, свидетельствующих о том, что за ними ужинают, как и полагалось в этот час. Но воздух в вестибюле казался удивительно чистым не только из-за этого. Не пахло мастикой, хлоркой, абсолютно ничем не пахло. И уж совсем необычным показалось то, что в лифте не было столь унизительной для толстяков неминуемой таблички (она явно была недавно сорвана), предупреждающей об опасности перегрузки. Паскуалетти, хоть и был невысок ростом, весил, наверно, не меньше центнера. «Мало того, что я

врываюсь к нему в квартиру, я еще подозреваю беднягу в том, что он сорвал табличку в лифте»,— подумал капитан и улыбнулся своему отражению в овальном зеркале. Лифт резко остановился. На узкой площадке было всего две двери, так что долго искать не пришлось. За одной из них семейство Романацци смотрело телевизор; из-за другой — таблички на ней не было,— словно приглашая войти, пробивался в щелку луч света.

— Разрешите?

Судить о том, как обставлена квартира, оказалось довольно трудно: весь пол был заставлен вынутыми ящиками, лампами и разными безделушками, завален бумагами. Однако ничего не было разбито или сломано. Только два креслица в уголке комнаты, служившей гостиной, вспороли и выпотрошили — вокруг валялись куски яркой обивки.

— Паскуалетти!

Догадаться, почему в квартире царит тишина, было нетрудно. Вынув револьвер, Де Дженнаро прошел в освещенную кухню, где, как полагал простофиля Салерно, ведущий наблюдение за домом, ужинал Паскуалетти. Здесь беспорядок не столь бросался в глаза. Горы кастрюль и посуды высились на полу и на столике, но тоже все было в целости и сохранности.

Зато в маленькой и чудовищно безвкусно обставленной спальне царил невероятный хаос. Среди сваленных кучей подушек, белья, одежды капитан не сразу разглядел, что темнеет на полу. В комнате не было люстры, и чтобы зажечь настольную лампу под аляповатым малиновым абажуром, ему пришлось перешагнуть через лежащее тело. Но и при свете капитан, однако, не обнаружил никаких особенно жутких деталей. Паскуалетти лежал ничком, вытянув руки вдоль тела, уткнувшись лицом в пол, следов крови не было видно. Де Дженнаро осторожно опустился на колени, пощупал пульс, и по спине у него пробежал холодок — рука была ледяной. С лихорадочной поспешностью он схватил револьвер, который положил рядом с собой на пол, и вскочил на ноги. Прислушался. В открытую входную дверь доносились лишь звуки телевизора из квартиры Романацци. Тогда, вдруг поняв, как все произошло, капитан выскочил на лестничную площадку, но, передумав, побежал на кухню. Споткнувшись о какие-то кастрюли и сковородки, поддал их ногой, кинулся к окну и, повернув ручку, распахнул его. От свежего воздуха и высоты у него слегка закружилась голова. Внизу, рядом с полицейской машиной, темнела неподвижная фигура ожидающего его Салерно. Но кроме карабинера Де Дженнаро разглядел еще чью-то тень. Она удалялась направо по улице и была уже еле различима в неверном свете фонарей.

— Салерно, держи его! Держи вон того человека! — заорал Де Дженнаро во все горло. За то мгновение, пока его крик летел до пустынной улицы, внизу ничего не изменилось. Потом Салерно трусцой перебежал на другую сторону, задрал голову вверх, и Де Дженнаро увидел белое пятно его лица.

— Это вы, капитан?

— Кто-нибудь выходил сейчас из подъезда? — снова прокричал капитан и смог убедиться, как туго соображает его подчиненный. Полсекунды на то, чтобы понять вопрос, столько же, чтобы затем взглянуть направо и, наконец, броситься в погоню.— Да беги же, черт тебя возьми, беги! — крикнул, подгоняя его, капитан. Но между Салерно и преследуемым было не меньше тридцати метров, да и беглец был, наверно, проворнее, к тому же вооружен, и, конечно, у него имелись сообщники.

Слушая, как топот старшины замирает в глубине улицы, Де Дженнаро в ярости бил кулаком по подоконнику и ругался сквозь зубы.

— Что случилось? — вдруг раздался рядом в темноте чей-то голос, и он вздрогнул от неожиданности. Из соседнего окна высунулась довольно миленькая и полненькая девушка в очках. Со стуком поднялись десятки жалюзи, в окнах дома напротив зажегся свет.

Капитан не спеша вернулся в комнаты и огляделся. Нашел ли тот человек, который так хладнокровно ответил ему по интерфону, открыл, нажав кнопку, дверь подъезда, а затем преспокойно спустился по лестнице, пока Де Дженнаро поднимался в лифте, нашел ли он то, чего искал? Судя по тому, что труп уже остыл, в распоряжении незнакомца имелось по крайней мере часа два, чтобы перерыть вверх дном квартиру в восемьдесят квадратных метров. Тем более, что тут не было ни тяжелой мебели, ни сейфов, ни шкафов с книгами.

Однако ванная наводила на размышления. Она, казалось, была не тронута, в ней тоже царил беспорядок, но он был естествен для жилища холостяка, у которого убирает приходящая прислуга. Почему ванная не была перевернута вверх дном? Потому ли, что убийца уже нашел то, что искал, или же потому, что вызов по интерфону помешал ему закончить поиски? Ответить на этот вопрос было нелегко.

К счастью, телефон находился не в спальне. Паскуалетти держал его на специальной подставке в гостиной. Телефон работал. Капитан стал набирать номер карандашом, а трубку держал, обернув носовым платком. Раздался гудок, потом другой, прежде чем ему ответил женский голос. Голосок шестнадцатилетней девушки, подумал он; ему всегда так казалось. На этот раз голос прозвучал еще более тоненько.

— Говорит капитан Де Дженнаро. Извините, что так поздно беспокою вас, синьора, но мне необходимо срочно поговорить с вашим мужем.

— Одну минутку.

Судя по доносившимся из трубки звукам, семейство Балестрини, вероятно, смотрело ту же телепрограмму, что и Романацци. Голос Балестрини звучал оживленнее, чем обычно на работе.

— Хорошо, что позвонили, капитан. Теперь я могу сказать: вы были правы.

— То есть? — спросил капитан, одновременно прислушиваясь к шуму лифта, который, стукнув, остановился на этаже.

— Сегодня после обеда я получил письмо с угрозами. Все как обычно, только, пожалуй, чуточку подлиннее. Меня называют врагом итальянского народа и обвиняют в преследовании Буонафортуны...

На пороге появился запыхавшийся и огорченный Салерно, растерянно разводя руками. Де Дженнаро метнул на него злой взгляд и уронил карандаш, которым набирал номер.

— У меня тоже есть что вам рассказать, доктор.

11

В вопросе «Ну как ты находишь меня, Андреино? Я изменился?» не было ничего оригинального, если не считать того, что задан он был на расстоянии в добрых полтора десятка метров и оглушительно громко. Пассажиры «Сеттебелло»[1] не спеша сходили на перрон. Многие из них обернулись, но заросшая бородой краснощекая физиономия Эмилио Бауэра выражала лишь искреннее нетерпение услышать ответ.

— По-моему, ты выглядишь лучше, чем в последний раз,— ответил Балестрини, но только когда они уже подошли друг к другу и смогли обняться.

Ах, значит, Андреа не хочет поддержать их старую игру! Светлая

[1] Название экспресса Милан — Рим.

борода Бауэра раздвинулась, и на губах появилась широкая, подозрительно ласковая улыбка.

— Знаешь, ты тоже хорошо выглядишь. Можно сказать, тюрьма пошла тебе на пользу!

Обернулись только наименее воспитанные и наиболее непосредственные, пытаясь различить на гладко выбритом, добропорядочном лице помощника прокурора Балестрини преступную печать. Наконец Бауэр понизил голос:

— Вот видишь, они тебя испугались. И если бы ты им рассказал, что взаправду только отбыл срок за преднамеренное убийство с отягчающими обстоятельствами, они бы ни секунды не сомневались. Они боятся всех и вся, даже самих себя, ни во что больше не верят. Они способны принять за убийцу даже тебя, нашего Доброго Силача!

— Знаешь, сегодня Рената неважно себя чувствует, так что нам лучше пообедать в ресторане...

— Ну, разумеется. Надеюсь, ничего серьезного?

— Нет... Немного...

— Что — трудная беременность?

— Слава богу, нет,— весело ответил Балестрини и, воспользовавшись тем, что машина застряла перед светофором, смог наконец получше разглядеть приятеля. Изменился? Пожалуй, только появились легкие морщинки у глаз. А вообще он остался прежним — старый, добрый Эмилио Бауэр, для друзей просто Бауэр. В этой привычке называть его по фамилии было что-то студенческое, но она глубоко укоренилась. А для незнакомых он был «доктор Эмилио», ибо сам так представлялся. Друзья же продолжали называть его Бауэром просто так, без всякой ностальгии по университетским временам. Тогда этот еврейский парень только начинал пописывать в газетах. Смирившись с необходимостью взяться всерьез за учебу, чтобы получить диплом, он давал выход бившей ключом энергии в вечных шутках, розыгрышах, самых необычных выходках. Оригинальничая, он завел дружбу с «...типом, у которого на лбу написано, что он будет прокурором». «Подумай, что произошло бы, если бы вдруг всю эту юриспруденцию отменили,— смеялся он над Андреа еще на третьем курсе, когда они готовились к экзамену по судоустройству.— Ну что бы ты тогда делал? Ведь крючкотворство — единственная профессия, для которой ты создан».

— Так куда же мы отправимся? — спросил Андреа.

— Не знаю, на твое усмотрение. Мне помнится, в переулочке возле улицы Националe есть одна траттория, где здорово готовят макароны по-аматричански [1].

— А как называется переулок, не помнишь?

— Не помню, но, может, узнаю.

Однако переулок он так и не нашел, и, подхваченные потоком уличного движения, они очутились в маленькой траттории где-то возле площади Арджентина. Но макароны и там были отличные.

Между первым и вторым блюдом, посреди неизвестно зачем затеянного разговора насчет точности итальянских поездов-экспрессов, Бауэр вдруг умолк, улыбнулся и ласково похлопал приятеля по руке:

— Ну так как, старик, жизнь?

Балестрини тоже улыбнулся. Забавно было вновь испытать знакомое приятное ощущение: оно осталось абсолютно неизменным, хотя с тех пор прошло уже столько лет и они с Бауэром встречались за это время всего раз пять-шесть. Он чувствовал себя таким заурядным, таким скучным рядом с Бауэром — известным журналистом, публицистом, археологом (хотя археологией Бауэр занимался как любитель, он был далеко не дилетантом). А главное, Бауэр — личность яркая, человек, жизнь которого так необычна — необычны его женщины, увле-

[1] Аматриче — городок в области Лацио, центром которой является Рим.

чения и работа, почти совсем лишенная твердого распорядка. И вместе с тем Балестрини никак не мог взять в толк, почему Бауэр вот уже столько лет тоже питает к нему такое глубокое и непоколебимое уважение.

— Да жаловаться особенно не на что. Конечно, работы всегда выше головы. Но ты ведь знаешь, я это люблю... Ну, в чем дело?

Бауэр беззвучно смеялся, устремив на него насмешливый взгляд и наблюдая, как он пытается подцепить на вилку кружок жареного картофеля.

— Слушай, сколько лет как ты покинул Брианцу?[1] Уже целую вечность! И вот при вопросе, как жизнь, ты, сын Брианцы, сразу же начинаешь говорить о работе. Да расскажи, как твоя жена, как девочка, как здоровье? Завел ли ты подружку?

— Ты же знаешь, я не такой человек.

— Знаю, но никак не могу с этим смириться... Послушайте, вы когда-нибудь принесете нам рогалики?

— Конечно, принесу, немножко терпения,— ответил молоденький официант, пробегая мимо их столика. Посетителей в траттории было много, но обслуживали их только двое.

— А у тебя есть подружка? Я начинаю думать, что ты уже никогда не женишься.

— Не переводи разговор, Андреино. Ведь речь шла о тебе. Так о чем я говорил?

— О том, что...

— Ах да. Я хотел сказать: у меня впечатление, что столица не оказала на тебя никакого влияния. А если и повлияла, то только в мелочах. Наш официантик — неотесанный грубиян; в Милане такого встретишь нечасто, ты-то ведь помнишь? В Риме готовят вкуснее, но обслуживают отвратительно. А ты ничего не замечаешь — видно по лицу. Меня же это раздражает.

— Нет, я замечаю, но постепенно привыкаешь.

— Только ли к невоспитанным официантам? Ну ладно, если тебе доставляет удовольствие, поговорим о работе. Пока у меня не прошло желание состряпать статейку подлиннее под каким-нибудь броским заголовком. Если я в ней не задену министров — христианских демократов, мой редактор с радостью предоставит столько места, сколько я пожелаю. Например...

Балестрини улыбнулся. Он не помнил ни одной их встречи, даже самой короткой, когда бы Бауэр, подтолкнув его локтем и подмигнув, не делал бы своего неизменного предложения. Он шутил, но в то же время вполне серьезно подбивал приятеля дать ему материал для статьи. Бауэру до смерти хотелось получить от Андреа интересные сведения о каком-нибудь громком судебном деле, но решительно настаивать он не отваживался. И эта игра между друзьями продолжалась уже не первый год.

— Дело Ферриньо? Теперь, когда он удрал из тюрьмы, о нем вновь все говорят. Помнишь предположение о том, что у него высокопоставленные покровители, а также и миллионы — выкуп, который он получил за похищенного Рамбальди? И вот он удирает, о его побеге тотчас узнают, но целых десять дней поймать никак не могут. Значит, все же есть высокие покровители?

Они чокнулись и выпили. Тем временем наконец прибыли долгожданные рогалики.

— Еще бутылку «фраскати», пожалуйста.

— Сейчас принесу.

— Да, кстати, о Ферриньо. Ты знаешь, в прокуратуре беспокоятся за мою жизнь. Думаю, все это глупости, но пришлось доставить

[1] Сельская местность в области Ломбардия, к северу от Милана, жители которой славятся своим трудолюбием.

удовольствие прокурору: с понедельника мой телефон поставят под контроль и мне дадут охрану. Конечно, чтоб не слишком бросалось в глаза. Тогда и выясним, подслушивает ли кто-нибудь мой телефон и выслеживают ли меня на улице.

— По-моему, обычная зависть твоих сослуживцев! Просто боятся, что, если тебя убьют, ты попадешь на первые страницы всех газет. В моей ты, может, даже удостоился бы цветной фотографии. Они бы не пережили!

— Мне это не слишком нравится.

— Что — рогалик с маслом и майоран? А по-моему, довольно вкусно...

— Да нет! Перспектива попасть в газеты! Ты все шутишь, а я как дурак попадаюсь. Расскажи-ка лучше о себе. Чем ты сейчас занят?

— Все тем же... Дай-ка мне соль... Одним и тем же: пытаюсь не поддаваться главному редактору, его заместителю и десятку старших редакторов. Торчу на совещаниях, на которых болтают о необходимости сделать нашу газету более интересной и увеличить тираж, играю в шахматы, когда наборщики бастуют. Вот большая часть моего рабочего дня и заполнена. Изредка кто-то вспоминает, что мне довольно много платят, и тогда выдают командировочные и посылают куда-нибудь спецкором. В общем, еле выкраиваю время выращивать мои цветы зла и писать что-нибудь для себя.

— Еще одно эссе?

— Увы, да, и я даже привез экземплярчик для тебя.

— Спасибо.

— Нет, не притворяйся. Я знаю, ты мне настоящий друг, но только не ври. Видишь ли, вообще у публицистики один недостаток...

В действительности Бауэр принимал свою писательскую работу куда ближе к сердцу, чем хотел показать. Так же, как в университете, когда делал одинаково скучающее лицо и зевал, получая и «тридцать с похвалой»[1], и лишь «восемнадцать». Но на самом деле «тридцати» он радовался, а на «восемнадцать» досадовал. Без тени улыбки Балестрини кивнул, как бы говоря, что вполне с ним согласен. Бауэр жестом отказался от фруктов, и они заказали кофе. Официант отошел, бросив любопытный взгляд на этого забавного бородача.

— Видишь ли, Андреино, мы «журналисты-стострочники», особенно если работаем в ежедневной газете, должны сочинять только нечто интеллектуальное и возвышающее. В газете все умеют писать прекрасные статьи на любые темы. И чем хуже газета расходится, тем больше довольны авторы, потому что, мол, «эссе, статьи — это не для всех». А с художественной прозой совсем другое дело. Если получилось,— но только один бог знает, как это трудно! — ты на коне; лучшее свидетельство успеха — когда твои коллеги начинают о тебе злословить. Но если не получилось, то тут-то уж не так, как с публицистикой, понимаешь? Тут тебя примутся честить на все лады — и жалкий писателишка, и дешевый беллетрист...

Рим уготовил им в этот предвечерний час самую радушную встречу, словно они были туристами, впервые попавшими в «вечный город». Ярко светило солнце, вокруг высились величественные купола и громоздились древние палаццо, люди двигались не спеша, лениво, разнеженные атмосферой субботнего вечера. И вдобавок ко всему навстречу попались две потрясающие американки в бикини — их словно откуда-то извлек для оживления общей картины спрятавшийся за углом режиссер. Бауэра Рим опьянил.

— Пусть это звучит избито, но в вашем проклятом городе и впрямь приятно жить. И не только из-за ласкового солнца. Особенно Рим злит меня, когда я приезжаю зимой. Тут все равно голубое небо, люди ходят без пальто, а у нас, на Севере, мы тонем в таком густом тумане,

[1] Высшая оценка в итальянском университете.

что иногда сами собой напрашиваются экзистенциалистские вопросы: кто мы, откуда пришли, куда идем?.. Ой, погляди, какой танк! Наверно, американка...

Медленным шагом они дошли до улицы Куатро Новембре, лишь изредка перекидываясь словами и внимательно оглядывая все вокруг. Когда им хотелось поделиться впечатлением по поводу чего-нибудь или кого-нибудь, они незаметно подмигивали друг другу. «Совсем как на миланском проспекте Витторио-Эмануэле, когда учились в университете»,— подумал Балестрини. И был рад, что вовремя удержался и не произнес эту фразу вслух. Она шла от сердца, но была слишком наивна, и Бауэр со своей безжалостной иронией его бы сразу высмеял. Для Бауэра все было по-другому: ему, конечно, тоже было приятно ощущение их чуть легкомысленной, но крепкой студенческой дружбы, однако он не придавал этому такого значения. Нет, он почти совсем не переменился, разве только потолстел да стал еще чуточку циничнее.

— Что, старик, у тебя дома нелады? — вдруг спросил Бауэр, повергнув его в изумление своим вопросом. Повернувшись к Балестрини, Бауэр смотрел ему прямо в лицо, и в его взгляде не было и тени иронии.

— С чего ты взял?

— Сам не знаю. Вижу, ты повесил нос, а что, кроме работы, может еще беспокоить такого праведника, как ты? Или Рената, или девочка.

— С девочкой все в порядке. Но несколько дней как меня беспокоит Рената. Она мне кажется... не знаю... какой-то напряженной, недовольной. Кто бы мог подумать... она иногда даже прикладывается к бутылке.

— А...

— Наверно, тот самый кризис, который, говорят, переживают супруги каждые семь лет брака... Как ты думаешь?

— Не знаю, я никогда не жил семь лет ни с одной женщиной. Я могу говорить о кризисе самое большее на седьмой месяц знакомства. Да, это нехорошо. Никуда не годится. Послушай, а ты пробовал с ней поговорить?

— Об этом? Нет, то есть да: как-то я спросил ее, в чем дело... Но ты же знаешь Ренату: она всегда такая скрытная, замкнутая...

— А ты, конечно, не настаивал и никогда больше не спрашивал.

— Нет.

— Советую это сделать.

Когда они, возвращаясь к машине, повернули обратно, Балестрини захотелось взять под руку этого тридцативосьмилетнего толстяка, остающегося прежним мальчишкой, ласково похлопать его по щеке и признаться в своем желании хоть немного отвести душу — поговорить с ним о том, о чем он никогда ни с кем не обмолвился ни словом.

— Подвезешь меня до площади Индипенденца?

— Конечно. А потом заскочу в прокуратуру,— кивнул Балестрини. Подходящий момент для разговора уже был упущен. Бауэр все больше замедлял шаг, раскуривая маленькую пенковую трубочку, которой Балестрини еще ни разу у него не видел. Эта операция полностью поглотила внимание Бауэра. И, только когда он уселся в машину, удобно расположив на коленях свой портфель, можно было попытаться продолжить разговор.

— Скажи, пожалуйста...

Их автомобиль все еще стоял на перекрестке улиц Национале и Куатро Новембре; регулировщик остановил его столь решительно и резко, что, казалось, рисковал вывихнуть себе руку. Они оказались в первом ряду и не пропустили ни одного кадра из молниеносно промелькнувшего перед ними «фильма». Одна, вторая, третья карабинерская «газель», за ними двенадцать мотоциклистов в белых мундирах,

непостижимым образом сохраняющие строй, несмотря на крутые повороты и скользкую порфировую мостовую. И еще одна «газель», а за ней три-четыре президентские «фламинии», первая — с флажками на крыльях, и позади — шесть-семь набитых до отказа темно-синих «альфа-ромео». Следом еще четыре мотоциклиста, а кортеж замыкали две «газели». Машины пронеслись на скорости восемьдесят километров в час, совершенно бесшумно, так что рассеянные вечерние прохожие на них даже не обратили внимания. Наконец регулировщик открыл путь. Бауэр присвистнул.

— Потрясающе. Знаешь, я просто взволнован. Честное слово.

Балестрини нерешительно хмыкнул. Шутит?

— Оставим в стороне суть и посмотрим на форму. Такое можно увидеть только у вас в Риме, да и то лишь, если тебе здорово, здорово повезет. Это замечательно, замечательно. Что, сегодня кто-то прибыл с официальным визитом?

— А я откуда знаю?

— Великолепно! — заорал Бауэр, подпрыгивая от радости, и Балестрини в изумлении на него уставился.— Вот власть, которая проходит, безразличная ко всему окружающему, и люди, которые относятся к ней с таким же безразличием, какое проявил ты. По одну сторону — власть, по другую — мудрость, обе насчитывают тысячи лет жизни, и каждая в своей сфере независима и суверенна. Ах, мой дорогой Андреино, я чувствую, что сотворю еще один потрясающий опус на эту столь волнующую тему!

— Все для того же издательства? — в тон ему осведомился Балестрини.

— Конечно. Они не получают ни гроша прибыли, но все равно довольны. В наше время «стострочники» в моде. Все равно — пишут ли они о нравах, пишут ли об экономических теориях или сочиняют романы в духе политической фантастики — двери перед ними открыты.

— А платят хорошо?

— Нет, мой сын практичной Брианцы, платят плохо. Во всяком случае, мне. Единственное, на чем в последнее время можно заработать,— это статьи и книги, где речь идет как раз о власти. Знаешь, как рекламируют такие произведения? «Италия, показанная в разрезе: страна, разделенная на «клиентуры»[1] и раздираемая борьбой множества различных групп. Преследуя с виду противоположные интересы, они на деле стремятся к одной цели: установить экономический и политический контроль». Или же более персонифицированно: «Невероятное восхождение к вершине власти человека, который сейчас вызывает у всех наибольшую ненависть и возмущение».

— Думаю, ты прав — улыбаясь, согласился с ним Балестрини.

— Между нами говоря, я тоже так думаю. Ведь скандальный оттенок может носить не только фоторепортаж о каком-нибудь актере или юной старлетке, поданный под заголовком: «Осторожно, Клара: это не дружеский поцелуй!»... А Клара-то — жена этого актера.

— Понимаю.

— Скандальные сенсации не ограничиваются такой дешевкой, дорогой мой супербюрократ. Ныне подобная чепуха предназначается лишь для миллиона-двух домохозяек, страдающих комплексом неполноценности и не поддающихся влиянию феминизма. А большинство читателей хотят знать, кто вывозит за границу свои капиталы, каким образом и на какую сумму; прочна ли позиция Чефиса[2] и кто стоит у него за спиной; правда ли, что какое-то количество акций Пирелли[3]

---

[1] Так в Италии называют группы лиц, зависящих от какого-нибудь политикана, поддерживающих его и голосующих за него на выборах.

[2] Эудженио Чефис был президентом компании «Монтэдисон», когда она вместе с компанией СИР контролировала почти всю итальянскую химическую промышленность.

[3] Одна из крупнейших в Италии частнокапиталистических монополий (предприятия резиновой промышленности в Милане и др.).

уплыло за границу, а если правда, то когда это произошло; сколько судейских чиновников, депутатов парламента и промышленников являются членами масонской ложи. Вот чем теперь интересуются люди. Кое-что из этого удается уместить в серию статей, кое-что попадает в издательства и выходит в виде книг. Выше всего ценится компетентность, профессиональный уровень изложения информации и прогнозов. Беда, если материал производит впечатление сплетни. Представь себе, например, такой заголовок: «Осторожно, Петрилли! Управляющий Банком Италии поклялся, что тебе это даром не пройдет!»

— Да, конечно, такой заголовок впечатляет,— усмехнулся Балестрини. Но Бауэр реагировал на его слова совершенно неожиданно. Он холодно исследовал свою трубку, потом впился в Балестрини своими светлыми глазами.

— Знаешь, по-моему, ты никак не можешь спокойно оставаться в сторонке и вот так ухмыляться. Ты ведь прокурор, а не какой-нибудь курьер. Видишь ли, если б я сейчас написал взрывоопасную статью насчет наиболее громких в последние годы скандальных случаев, когда некоторые неоконченные судебные дела... конечно, если бы у меня на руках были доказательства...

— Да перестань! Всякий раз, как мы с тобой видимся, ты заводишь разговор о каких-то замятых делах. С таким же успехом ты можешь говорить о судебных процессах без предварительного следствия или об обжалованиях в кассационный суд. Вы, журналисты... вернее, вы, «стострочники»...

— Браво!

— ...морочите нам голову разными словами и потом от них уже никуда не денешься. Я не умею так ловко, как ты, приводить примеры... Но вот термин «еврокоммунизм» разве придумали не вы, газетчики? Или тот, который ты только сейчас употребил и которым вы клеймите всякого вашего...

— Супербюрократы?

— Я не скажу, что это слово невыразительно, но что оно выражает? Одного этого ярлыка достаточно, чтобы люди нас невзлюбили. Можно подумать, мы получаем какое-то астрономическое жалованье, хотя убежден, тебе платят в газете намного больше.

— Охотно верю, но не забывай, какого труда стоит придумывать все эти неологизмы! Слушай, нам еще далеко?

— Почти приехали.

— Слава богу.

— Учти, я отнюдь не боюсь затрагивать вопрос о незавершенных делах. Беда только в том, что об этом уже говорили и писали слишком много и притом почти всегда неверно.

— Значит, ты допускаешь, что на известном уровне судебные власти могут задерживать по некоторым делам судопроизводство? Уж не стану говорить: до тех пор, пока оно не будет окончательно остановлено, хотя случалось и такое,— но по меньшей мере, пока общественное мнение о них не забудет?

— Видишь ли, Бауэр, когда мы говорим о судебных властях, то подразумеваем судей, которые видят, думают, действуют. Но это не совсем так. Судьи как определенного человека не существует. Это только мозг, более или менее эффективно работающий, но без рук и без ног. Его руки и ноги — судебная полиция. Фактически мы ею распоряжаемся, но отнюдь не контролируем ее деятельность. Возьми, например, меня: я не могу сделать ни шагу без судебной полиции и следственного отдела карабинеров. Когда кого-нибудь убивают, судебная полиция везет меня на место преступления, собирает первые сведения и передает их мне. Мои приказы о вызове в суд, о задержании исполняет она, она же практически осуществляет розыски, проводимые мною в разных учреждениях, муниципалитетах, архивах... в общем, Бауэр, всем занимаются полиция и карабинеры. Давай с тобой

чисто теоретически предположим: с одной стороны, судебные власти, решившие быстро и до конца распутать какое-то сложное дело; а с другой — судебная полиция, решившая это дело похоронить. Как ты думаешь, чья возьмет?

— Не знаю, но мне нравится, что ты сегодня такой разговорчивый — это не часто случается. Наверно, тебе развязало язык вино. Траттория показалась мне так себе, но «фраскати», по-моему, было на высоте.

— Ты мне не веришь?

— Если ты хочешь сказать, что ответственность за все, что произошло в последние годы, от взрыва на площади Фонтана до сегодняшнего дня, следует возложить на судебную полицию,— то не верю. Однако допускаю, что судья может действовать, руководствуясь собственным мнением, тогда как любому военному, получившему приказ от вышестоящего начальства, остается лишь почтительно щелкнуть каблуками. Это действительно так. И было бы интересно проследить, где кончается ответственность одного и начинается ответственность другого... а где они нежно идут под ручку. Подумай только, какую блестящую политическую статью, основанную на фактах судебной хроники, я мог бы написать на эту тему!

Они оба рассмеялись. Машина уже стояла во втором ряду. Площадь Индипенденца в этот час была не слишком оживлена. Включив щетки, Балестрини протер лобовое стекло и наклонился вперед, вглядываясь в светящуюся вывеску с названием газеты.

— Ты что, собрался переменить заголовок?

— Мне и в голову не приходило,— возразил Бауэр и начал расстегивать пряжки своего портфеля. Затем вдруг замер и с улыбкой уставился на что-то впереди. Удивленный Балестрини повернул голову в ту сторону. Архитектура не слишком большого, но строгого здания Верховного судебного совета всегда ему нравилась. Он в свою очередь улыбнулся.

— Смотришь на него?

— Да.

— Резиденция высшего органа судебного самоуправления. Подходящий домик, что скажешь?

— Очень внушительно. Настоящее логово горностаев.

Наконец из портфеля появилась книга: красивая красная обложка с названием, выведенным желтыми буквами, и фамилией автора, набранной более крупным шрифтом.

— Цвета «Рима»[1],— заметил Балестрини, беря ее в руки. Книга оказалась тоньше, чем он предполагал.

— Да, действительно. Но я-то болею за «Милан».

— Знаю.

— На, возьми, только на сей раз без надписи. Ведь я преподношу свое сочинение уже в третий раз и, честно говоря, не знаю, что тебе еще написать. Другой экземпляр я везу на рецензию — ее мне обещали дать друзья вон оттуда,— сказал Бауэр, указывая на подъезд редакции.

— «Общественные отношения»?

— А почему бы и нет, раз уж я оказался тут? Да и хотелось бы избежать разно́сной критики.

— Разно́сной? Но извини, разве эта газета не принадлежит тому же издательству, которое выпустило твою книгу?

— Увы, принадлежит. И сотрудники газеты, чтобы продемонстрировать собственную независимость, свободу от чьих-либо влияний, почтения перед авторитетами и страха, безжалостно смешивают с грязью все, что только могут. При этом их заботит лишь, как бы не переборщить и не стать всеобщим посмешищем, а главное — не идти

[1] Имеются в виду популярные футбольные команды.

против течения. Это все мелкая сошка, как и я. Что ты хочешь, ведь я ни разу не получал премии «Стрега»[1], я не главный редактор и даже не помощник главного редактора моей газеты, мне следует себя обезопасить...

— ...похоронив рецензию, если она будет неблагоприятной.

— Точное попадание! Знаешь, мой Добрый Силач, я по привычке считаю тебя безобидным малым, а ведь ты, выступая как прокурор, требуешь пожизненного заключения для людей, которым я не в состоянии дать и пощечины. И делаешь это так же чистосердечно и просто, как сейчас, когда ты сразил меня наповал своей остротой. Хорошо, согласен: я тоже один из тех, кто прячет концы в воду, кто хоронит в архиве то, что ему мешает... Но я-то, по крайней мере, работаю на себя, а не выполняю чьи-то указания.

— Вот только насчет моего чистосердечия...

— Да, утверждаю и готов повторить. Я считаю, что ты последний из верных слуг правосудия. Я не знаю другого такого тихого, уравновешенного, воспитанного парня, но все же полагаю, что, существуй у нас смертная казнь, ты мог бы послать на виселицу старуху мать, у которой дюжина детей, если бы считал, что многодетная старая женщина того заслуживает. Смеешься? А я уверен. Вот я — твой верный, любимый Бауэр — скажи вдруг тебе по секрету, что поместил в одну маленькую римскую клинику свою несовершеннолетнюю подружку, чтобы сделать ей аборт? Еще неизвестно, чего от тебя ждать — то ли ты по-дружески дал бы мне взаймы, то ли предъявил бы ордер на арест!..

Балестрини расхохотался, подыскивая, что бы ответить поостроумнее. Бауэр с улыбкой пристально смотрел на него, зажав в зубах погасшую трубку.

— Во всяком случае, насчет несовершеннолетних можешь не волноваться, я приехал сюда по другим делам. Вот оставлю книжку этим ребятам, кое к кому зайду, кое-кому позвоню и — восвояси! В нашей среде отсутствовать несколько дней слишком опасно — рискуешь найти свое кресло занятым. А потом выпихнуть чей-то чугунный зад будет труднее, чем сдвинуть идола с острова Пасхи.

— Значит, завтра уезжаешь?

— Надеюсь, с утра пораньше. Самое позднее — около полудня. Хотелось бы возвратиться опять на «Сеттебелло», но не знаю, сумею ли достать билет.

— Жаль.

— А ты когда нагрянешь в Милан?

— Да уж и не знаю. После смерти отца мама перебралась в Специю и, хотя возраст уже дает о себе знать, довольно часто приезжает сама нас проведать. Что поделаешь, я так давно уже оттуда уехал, и теперь...

— Теперь тебе пора встряхнуться! Кроме мамочки и папочки у тебя есть еще Бауэр, есть и другие друзья, они вечно меня о тебе расспрашивают, есть, наконец, город — наш старый, добрый Милан, есть та девчонка, с которой ты крутил любовь на последнем курсе... ну, как ее... как эту девочку звали?

— Сильвия,— сразу подсказал Балестрини, и Бауэр громко расхохотался.

— Да знаю, знаю, черт побери. Ты что, забыл? Ведь когда она тебя бросила, то некоторое время была со мной. Мне только хотелось проверить, начнешь ли ты притворяться, будто не помнишь ее имени.

С легкой грустью Балестрини смотрел вслед приятелю, пока массивная фигура Бауэра не скрылась за стеклянной дверью подъезда. Подождав какое-то мгновение, Балестрини включил мотор.

---

[1] Одна из авторитетных итальянских литературных премий.

12

Балестрини заметил, что девочка, ковыряя пальцем в носу, с улыбкой пристально разглядывает его, забыв о глупейшем рекламном фильме, который они вместе смотрели по телевизору. Он подмигнул ей, чувствуя себя чуточку виноватым.

— Что это ты на меня так уставилась? — спросил Балестрини, протягивая к ней руку и совсем не ожидая, что Джованнелла вдруг прыгнет к нему на колени. Подвернув под себя длинные тонкие ножки, она устроилась поуютней, продолжая смотреть ему в глаза.

— Ну так что же?

— Ничего,— пожав плечиками, пробормотала девочка. Балестрини погладил ее по голове и вновь повернулся к телевизору. Он до сих пор никак не мог ее понять. Иногда она оставалась равнодушной к любой ласке, словно бездомная собака, которая всех боится, а иногда достаточно было одной улыбки, чтобы она раскрылась, и тогда оказывалось, что Джованнелла способна на самые нежные объяснения в любви; девочка пускалась в них без всякого смущения.

— Почему ты не одеваешься? — крикнула из ванной Рената. Балестрини взглянул на часы. Поскольку «одеться» для него означало только помыть руки и надеть пиджак, а до дома Якопетти на машине было не более десяти минут, он вполне мог позволить себе еще посидеть в кресле.

— Ну, ты готов? — вновь спросила Рената.

— Подожду пять минут. Хочу послушать последние известия.

В дверь позвонили, и Джованнелла, сразу забыв, что минуту назад ластилась к отцу, соскочила с его колен.

— Это Стефания!

— Ты откроешь, Джованнелла? — спросила Рената, выглянув из ванной.

— Да, мама.

Балестрини машинально начал застегивать рубашку, распахнутую чуть не до пояса, и решил, что, если няня с Джованнеллой надумают войти в гостиную, ему придется оторваться от телевизора. Стефания была красивая девушка, она умела хорошо улыбаться, хотя ее немного портили прыщи. Ей исполнилось только семнадцать. Но все равно ее прихода было достаточно, чтобы Балестрини уже не чувствовал себя так уютно в своем кресле с девочкой на руках перед телевизором.

— Папа, пришла Стефания,— объявила Джованнелла, вприпрыжку вбегая в гостиную.

— А, добрый вечер.

— Добрый вечер,— поздоровалась девушка. Она совершенно не выговаривала букву «р», и это прозвучало как «добый вече». Балестрини поднялся с кресла в тот момент, когда на экране появилась заставка последних известий.

— Ты уходишь, папа?

— Пойду одеваться.

— А когда вы вернетесь?

— Наверно, около двенадцати... Да, вы сегодня не очень спешите? — спросил он девушку, вспомнив, что в прошлый раз ей понадобилось уйти раньше обычного.

— Нет, сегодня вечеом у меня нет никаких дел. А коме того, за мной зайдет пиятель.

— Ну вот и чудесно,— ответил Балестрини уже в дверях. Но то, что он услышал, заставило его застыть на пороге, хотя до его сознания еще не дошел смысл сообщения. Он повернулся к экрану телевизора, который наполовину заслонила собой Стефания. Джованнелла тем временем уже устраивалась в «папином» кресле.

— ...На автостраде Милан — Генуя, в месте развилки на Больца-

нето,— закончил диктор, комментируя кадры телехроники, и Стефания закрыла лицо руками.

— Господи, боже мой!

На асфальте распростерлись тела двух инспекторов дорожной полиции, а вокруг, как всегда, суетились люди с хмурыми, напряженными лицами. Затем объектив телекамеры прошелся по стоящей машине — «фиату-132», внутри которой на месте водителя угадывалась откинувшаяся назад темная фигура. Балестрини тотчас узнал убитого, когда на секунду показали в полутьме лицо крупным планом — еще до того, как назвали его фамилию. Это был Ферриньо из «красных бригад».

— Андреа,— очень тихо прошептала Рената, и Балестрини, невольно вздрогнув, обернулся.

— Я не заметил, как ты подошла.

— Это... он?

— Да, это Ферриньо. Его остановили для проверки документов. Он застрелил одного полицейского и ранил другого.

— Его убили?

— Ты что — не видишь? — отозвался Балестрини, указывая на экран, но было уже поздно — Рената увидела только репортера, который брал интервью у какого-то растерянного очевидца.— Да, конечно.

— Ну и слава богу,— сказала Рената, прикрыв глаза. Несмотря на то что жена стояла так близко, Балестрини еле услышал, как она тихонько, с облегчением вздохнула. Лицо у нее было такое бледное, что он испугался — вдруг она сейчас лишится чувств.

— Ты что — радуешься чужой смерти? Разве это хорошо? — усмехнувшись, попытался он пошутить, но губы у него пересохли, и из горла вырвался лишь какой-то нечленораздельный звук.

— Он ведь ехал в Рим? — спросила Рената, открывая глаза.

— Ну кто теперь это может сказать? Наверно, хотел сделать остановку в Генуе.

— Да, конечно.

Он увидел, как жена вернулась в ванную, и машинально бросил взгляд на часы, но не сразу понял, сколько они показывали. Во всяком случае, пора было одеваться. Он вышел из гостиной, где Стефания с Джованнеллой, пришедшие в самое веселое настроение, трещали без умолку, уже не обращая никакого внимания на телевизор. Там начался другой репортаж — сообщение о Ферриньо закончилось.

Причесываясь перед зеркальным шкафом, Балестрини подумал, что Рената, весьма вероятно, права — Ферриньо, возможно, в самом деле направлялся в Рим. Но если и так, это еще ни о чем не говорило. Он не верил, что сбежавший террорист может исполнить свою угрозу, он никогда в это не верил и сам не мог понять, почему лоб сейчас покрылся холодным липким потом, а во рту пересохло. Возможно, не столько из-за страха, сколько от волнения. Придя к этой мысли, он почувствовал себя значительно лучше.

— Ты одеваешься? — спросила, входя в спальню, Рената.

— Через пять минут буду готов.

Рената не ответила, и Балестрини незаметно взглянул на нее. Хотя он и считал себя человеком рассеянным, но все же не мог не заметить, что с некоторых пор с Ренатой творится неладное. Он попытался найти этому какое-то простое и извиняющее ее объяснение. Но не сумел.

— Ну что еще? Что с тобой? — спросил Балестрини, злясь на себя за свой невольно раздраженный тон.

— Со мной? Ничего.

— Не знаю, но у тебя такая недовольная физиономия.

Ответа не последовало, разговор был окончен. Балестрини начал завязывать перед зеркалом галстук и должен был признать, что в ту

минуту недовольная физиономия была у него самого. Рената пошла отдать последние распоряжения Стефании.

— Я готов,— объявил Балестрини, появляясь в дверях кухни. Рената, показывавшая Стефании что-то в холодильнике, в ответ кивнула:

— Иду.

— Ты уходишь, папочка? — спросила Джованнелла, как обычно напуская на себя недовольный вид. Балестрини, улыбаясь, высоко поднял девочку.

— Ты будешь хорошо себя вести?

— Не знаю.

— Ах, вот как!

Когда они вошли в лифт, Балестрини, нажав кнопку, обернулся к Ренате и успел поймать ее нежный, ласковый взгляд. Он улыбнулся ей, чувствуя, что сейчас, может быть, подходящий момент вновь задать жене тяготивший его вопрос. Но по мере того, как спускался лифт, улыбка постепенно сходила с его лица.

— Мы опаздываем?

13

— Может быть, сыграем в «скрэббл»?[1] — предложил Джиджи Якопетти. Вивиана уже убирала со стола и мгновенно разобралась в обстановке. Рената, как обычно, отрицательно покачала головой. Витторио, который всегда играл в паре с Вивианой, с готовностью согласился, уже предвкушая, что добрый час сможет прижиматься к ее бедру.

На кухне она поискала свободное место, куда бы поставить грязные бокалы. Тем временем остальные уже разложили на столе поле и буквы, а Джиджи приготавливал виски и пепельницу. Вивиана взяла за руку Ренату, оставшуюся сидеть в кресле и лениво листавшую журнал.

— А мы с тобой лучше подышим воздухом на балконе и посплетничаем.

— В таком случае будем играть каждый за себя,— решила Мариолина. У нее получалось лучше всех, и она не любила ни с кем делить плоды победы.

— Как? Ты покидаешь меня? — жалобно простонал Витторио.

— Нет-нет, Вивиана,— вторила ему Рената,— иди играй. Я тут тихонечко посижу и почитаю журнал.

— И не думай! Мне куда больше хочется поболтать с тобой, чем играть в слова... Витторио, уверяю тебя, как бы страстно ты ни жал мне руку, я не передумаю.

— Ты видела, он покраснел,— шепнула Рената подруге пять минут спустя, когда они уселись на скамейке-качалке под навесом, увитым канадским виноградом.

В нескольких шагах от них, в гостиной, началась игра, и Андреа уже успел задать один из своих обычных риторических вопросов «Ангел?.. Как же удлинить это слово?»

— Да, я заметила,— ответила Вивиана не таким тихим голосом, зная, что звуки с балкона доносятся куда менее отчетливо. Она вытянула ноги и посмотрела на Ренату. Увидела ее осунувшееся, грустное личико. Синяки под глазами, которые грим, положенный, как всегда, неправильно, не скрывал, а наоборот, подчеркивал. Волосы зачесаны назад, возможно, для того, чтобы заметнее были две крупные искусственные жемчужины в ушах — свидетельство более чем скромных запросов Ренаты и скупости Андреа.

— Но пока он ничего себе не позволяет, я ограничиваюсь тем, что

[1] От «scrabble» — писать каракули (*англ.*), настольная игра, похожая на хорошо известную игру «Эрудит».

поддразниваю его. Знать бы только, как и когда я дала ему повод подумать, что он мне нравится. Но если я спрошу его, он воспользуется этим как предлогом. Уж лучше оставаться в неведении.

— Если бы Мариолина только могла себе представить...

Вивиана предпочла не передавать сообщенную ей мужем сплетню насчет всем известной связи Витторио с машинисткой из учебного отдела. На эту тему в свое время уже достаточно посудачили. Она молча размышляла, покусывая губы.

— У тебя есть «е», Андреа? — раздался чей-то громкий голос.

— Да.

— Ну так поставь. Ты можешь?

— «Евангелие». Что это значит?

— Подумай сам.

— Ах, Евангелие! Ну да, конечно.

— Есть еще место?

— Эй, ребята! — призвала к порядку Мариолина, поднимая голову от своих букв.

— Вы только поглядите на нее! Она уже на восемьдесят очков впереди и еще недовольна, когда немножко подсказывают! — вмешался Джиджи.

— А ты иногда... иногда вспоминаешь о том парне?

До Вивианы не сразу дошел смысл вопроса. Не поняла она и почему Рената спрашивает об этом с таким таинственным лицом и видом сообщницы.

— О каком парне?

— Ну, о том, что был у тебя в Чирчео...

Вивиана от души рассмеялась. Витторио, сидевший к ним в профиль, бросил на нее жадный взгляд и послал быструю улыбку.

— Знаешь, я не помню даже, как его зовут. Марчелло? Энцо?

— Раймондо, — наивно подсказала Рената, и Вивиана поняла, что Рената объясняет себе ее отношение к Витторио Де Леонибусу и его комичному ухаживанию волшебными воспоминаниями о том парне из Чирчео — правда, пожалуй, слишком волосатом и абсолютно не понимавшем анекдотов.

Вивиана ни в коем случае не хотела отнимать что-нибудь у своего мужа. У Джиджи был свой взгляд на себя, на нее, на них двоих, вовсе не совпадающий с ее собственным. Он был бы глубоко несчастен, если б узнал о ее легкомысленных похождениях, и не смог бы никогда оправиться, даже при всем своем желании понять ее и во всем оправдать. Несправедливо заставлять страдать этого человека единственно из-за мазохистского стремления к искренности любой ценой. Как бы ни был он в нее влюблен и почти начисто лишен предрассудков, Джиджи не захотел бы смириться с этими ничего для нее не значившими приключениями.

— Три, четыре, пять, семь, восемь, десять, двенадцать, тринадцать. Умножить на два — двадцать шесть плюс двадцать очков за сложность. Всего сорок шесть. Правильно? — торжествующе подсчитала Мариолина. В ответ не раздалось ни слова.

Быть может, проще было бы ей вообще не изменять Джиджи, и он был бы счастлив.

— Главное, не признаваться мужу — надо молчать. Джиджи — человек спокойный, думает, что я его люблю, он меня удовлетворяет, и он прав. Я тоже... так сказать, спокойна. Не знаю, что значат стрессы, припадки раздражения, нервные кризисы. Понимаешь? Одному необходимо пить много кофе, чтобы хватило сил на день, а другого тошнит при одном его запахе. Так где же выход: чтобы оба пили кофе литрами или чтобы ни один не брал его в рот? По-моему, каждый должен вести себя так, как хочет и может.

— Значит, у тебя был и еще кто-то... и другие мужчины, кроме парня, с которым ты сошлась прошлым летом? — робко спросила

Рената, на этот раз совсем еле слышно. Если бы Вивиана не смотрела на ее губы, то вряд ли поняла бы вопрос. Вивиана улыбнулась.

— Это мне напоминает старый анекдот о муже, установившем слежку за женой. Частный детектив докладывает: жена его клиента с чужим мужчиной уединились в загородном домике. Подсматривая в окно, сыщик увидел, что они разделись и улеглись в постель. «Что же было потом?» — с тревогой спрашивает муж. «Потом они погасили свет, и я ничего не мог увидеть».— «Ах, опять эта проклятая неизвестность!» — восклицает муж... Конечно, анекдот довольно глупый, но ты мне напоминаешь этого мужа. Ну, разумеется, Рената, у меня были и другие мужчины, иначе к чему бы мне все это тебе говорить? Но только не пугайся! Не больше трех-четырех, считая Раймондо из Чирчео, который тебя так волнует.

— Да нет, я только хотела сказать...

— Знаю, знаю, я ведь шучу...— засмеялась, перебивая ее, Вивиана и тоже умолкла на полуслове, прислушиваясь к шутливой перепалке, разгоревшейся между Андреа и Мариолиной. Витторио же и Джиджи, казалось, с головой были поглощены игрой: один уставился в расчерченное поле, другой изучал свои буквы.

— Андреа, тебе помочь?

— Да, дай Мариолине снотворное.

— Зачем?

— Нет, вы только послушайте: «вдувание». Да разве есть такое слово?

— Конечно, это значит дуть вовнутрь,— немедленно ответила Мариолина.

— Допустим, но если в этой игре, придуманной для отдыха и развлечения, мы будем стараться надуть друг дружку...

— Так что ты говорила? — спросила Вивиана, продолжая разговор, и прочла в устремленном на нее взгляде Ренаты немое обожание. Так преданная маленькая собачонка смотрит на хозяина, который ее не бьет. А если когда и ударит, то тоже ничего, лишь бы не гнал от себя.

— В чем дело, Рената?

— Слушай, а почему бы тебе завтра не забежать ко мне? Завтра после обеда, хорошо?

— Завтра у меня много дел, которые я давно откладывала. Уже дней десять ко мне не ходит прислуга...— сказала Вивиана. И сразу же, смеясь, добавила:— Только не думай, что я тебе вру. Если бы у меня было свидание, я бы так и сказала. Увы, ничего похожего! Мне действительно нужно прибраться, навести порядок в шкафу...

— Тогда приду я. Не помешаю?

— Нет, ни капельки. Даже очень хорошо: ты мне составишь компанию. Но в чем дело, у тебя какие-то неприятности?

— Да,— ответила Рената. В это время за столом, как всегда при подсчете очков, поднялся шум. Рената молча смотрела подруге в глаза, и Вивиана улыбнулась, ободряюще похлопав ее по руке.

— Значит, до завтра.

— Я выиграла,— объявила Мариолина, беря свой стакан с виски,— лед в нем уже давно растаял. Через секунду проем балконной двери заполнила высокая, массивная фигура Витторио Де Леонибуса.

— Девушки, я вам не помешал?

14

«Напоминаем органам судебной полиции о необходимости сообщать в своих докладах судебным властям о каждом случае...»

Эта фраза, вызвавшая у полковника Виньи яростный взрыв раздражения, была подчеркнута красным, но ее не так-то легко было заметить среди сотен строк, заголовков, фотографий. Полковник прочел ее вслух и с пренебрежением швырнул газету на письменный

стол. «Ох уж эти мне политиканы! Ты слыхал, Де Дженнаро? Подробные докладные! Ничего не пропускать: значит, день занимайся делом, а на следующий — сиди за столом и строчи отчеты! Представляешь, какое замечание сделал мне в прошлый раз этот гусь Якопетти, читая рапорт старшины Дзамбитты? Надо, мол, писать не «нужно было пойти», а «следовало направиться». Я даже, знаешь ли, не стал спрашивать, почему он так считает».

Де Дженнаро про себя улыбнулся, осторожно выжимая сцепление. Десять минут, чтобы продвинуться на сто метров! Добрая половина проезжей части улицы Сан-Грегорио была перегорожена из-за каких-то работ, и встречные потоки транспорта двигались по узкому коридору. Образовалась чудовищная пробка, машины еле ползли, чуть не задевая друг друга, и каждая стремилась проскочить раньше другой. Те, которых оттирали, от злости истошно гудели.

«Итак, значит, что ты ел на завтрак? Сколько выкурил сигарет? Вниз спускался пешком или на лифте? Нет, мне-то знать это совершенно ни к чему, но как только у тебя выдастся свободный часок, сразу же сядь за работу, вооружись бумагой, ручкой и составь подробную докладную судебным властям. И смотри, строго соблюдай форму. Пиши так: «Мне необходимо было направиться в сортир, но вследствие того, что я должен был составить множество докладных для судебных властей, пришлось отказаться от этого намерения». «Не пойти», а именно «направиться», ясно?»— прорычал тогда Винья, заканчивая свою тираду. А через пять минут он мог совершенно спокойно позировать рядом с судебным следователем перед фоторепортером из «Темпо» или восхвалять на пресс-конференции какого-нибудь прокурора за смелость и распространяться о работе своего следственного отдела, который, мол, всегда действует в самом тесном контакте с судебными органами. И что в этом человеке было самое удивительное — в обоих случаях он был вполне искренен.

Де Дженнаро не без злости усмехнулся, вспоминая короткий разговор о деле Паскуалетти, последовавший за этой вспышкой полковника. Несколько советов общего порядка, повторенное два-три раза распоряжение соблюдать строжайшую секретность, категоричное требование побыстрее закончить дело. Винья даже не поинтересовался, что думает сам Де Дженнаро, не высказал своего мнения, если, конечно, оно у полковника вообще имелось. Впрочем, все было так, как и должно быть. Еще в чине младшего лейтенанта Де Дженнаро очень скоро понял, что к чему. Особых способностей тут не требовалось. Все этому быстро выучивались; между ним, когда он впервые рискнул проявить инициативу, и первым его начальником, приказ которого он выполнял, не возникло никакого контакта, не пробежало ни искры. Правда, на Де Дженнаро не кричали, и ему не приходилось выслушивать, как нередко другим, нелестные о себе отзывы. Отношения с начальством оказались простым делом — знай подчиняйся и не вылезай. Однако вечером, в постели, вспоминая разговор с начальником, он тогда впервые испытал чувства разочарования и обиды, не подобающие молодому офицеру.

Губы капитана еще кривились в усмешке, когда ему удалось найти место и припарковать машину. В сущности, в чем заключалась невысказанная философия полковника Виньи? Докладывай только о том, о чем можно докладывать («Мой начальник — генерал, а не какой-то тридцатилетний судебный следователь»), и только при наличии решающе важных фактов и обстоятельств. Удовлетворит ли начальство пока всего лишь предположение, будто убийца Паскуалетти не нашел того, что искал? Наверняка нет.

— Все в порядке, господин капитан,— произнес совсем рядом чей-то голос, так что Де Дженнаро даже вздрогнул от неожиданности. Он закрывал в это время дверцу машины, с головой погрузившись в неотвязно преследовавшие его мысли.

— Сегодня Россетти еще не выходил. А вчера вечером...— Де Дженнаро по глазам агента в штатском понял, что дальнейшее не представляет интереса,— после закрытия магазина колбасник сел в машину. Кассирша вышла на пять минут раньше и ждала его за углом. Россетти подобрал ее, и они уехали в сторону квартала Фламинио...

А дом довольно шикарный, подумал Де Дженнаро в то время, как швейцар снял трубку интерфона. Поднимаясь на второй этаж, капитан отметил, что ступеньки лестницы вдвое шире, чем у него в подъезде. Колбасы, как видно, приносили неплохой доход. Он позвонил, и дверь почти тотчас отворилась. Служанка средних лет едва успела спросить, что ему угодно, как в полутьме прихожей он заметил другую, гораздо более внушительную особу.

— Синьора Россетти?

— Да.

— Я капитан карабинеров Де Дженнаро, из следственного отдела.

— Что вам нужно?

— Это я обнаружил тело вашего брата, синьора. Мне хотелось бы поговорить с вами,— вежливо произнес он и умолк в ожидании ответа. Как бы толстуха ни реагировала на его слова — неважно. Как бы она себя ни вела, ей не избежать ловушки. Но даже если его подведет интуиция и сестра Гуидо Паскуалетти не попадется, это все равно ничего не меняет. Так же как ничего не изменилось после допроса телефонистки из Конфиндустрии[1], последней любовницы Паскуалетти.

— Войдите.

Выражение лица у женщины было хмурое, насупленное, возможно, она всегда была такая — и до того, как два дня назад лишилась брата. Траур, однако, она носила неполный. У сестры Паскуалетти не было и намека на усики, чего можно было ожидать при ее комплекции; поражали запястья женщины, казавшиеся особенно широкими и мощными из-за маленьких, короткопалых ручек. Нельзя сказать, чтобы она держалась враждебно, но в ответ на соболезнование по поводу трагической гибели ее брата капитан не дождался ничего, кроме кивка головы. Она была вся словно вытесана из одной глыбы, и это относилось не только к фигуре, осанке, посадке головы. Возможно, колбасник Россетти искал у своей кассирши не только сексуальное отдохновение.

— Синьора, вы видели квартиру своего брата и понимаете: убийца там что-то искал. Это был не вор, могу вас заверить. Его интересовали не деньги, а совсем другое, и убил он вашего брата еще до того, как узнал, найдет ли там интересующий его предмет. Когда я пришел, тело уже остыло, а поиски еще не были закончены; например, ванну так и не успели обшарить.

— Я ничего не знаю.

— Дайте досказать. Этот человек убил вашего брата не потому, что Гуидо мешал ему попасть в квартиру. Научная экспертиза установила: преступление произошло именно на том месте, где найдено тело, а не у входной двери, что было бы логично, если бы убийца хотел избавиться от вашего брата сразу же, а потом приняться за работу. Злоумышленник направился к нему в квартиру с двумя вполне определенными целями — убить его и что-то найти.

Женщина молчала — она не соглашалась с его словами, но и не повторяла, что ничего не знает. У Де Дженнаро было такое впечатление, что он открывает для нее нечто новое. Но верила она ему или нет, неизвестно. Она по-прежнему сохраняла безразличный вид; не проявила она особенного волнения и тогда, когда капитан спросил, что, по ее мнению, мог искать убийца в квартире Гуидо Паскуалетти,

---

[1] Конфедерация итальянских промышленников.

были ли у последнего какие-либо компрометирующие бумаги, а если и были, то кого именно они могли компрометировать.

— И имейте в виду: для хода расследования очень важно абсолютно все, что говорил ваш брат в последнее время. Даже если вам и кажется, будто это не имеет никакого отношения к делу.

— Брат никогда не говорил со мной о своей работе.

— Охотно верю. Однако если он с кем-нибудь и был откровенен, то только с вами. Никого другого, насколько мне известно, у него не было.

Молчание. Женщина не отвечала, и Де Дженнаро решил, что, наверно, уже пора покинуть эту неприветливую и неуютную гостиную, обставленную мебелью в венецианском стиле.

— Ваш брат Гуидо был убит именно по названной мною причине. Помните это, синьора. Если вы можете пролить свет на это дело и навести нас на правильный след, выполните свой долг. Достаточно было бы увидеть тот документ или тот предмет, который искал убийца, и нам наверняка удалось бы его схватить.

И, прощаясь, она отнюдь не держалась враждебно. Однако невозможно было понять, что скрывается за этой непроницаемой маской. Капитан чувствовал: ловушка, которую он поставил, не захлопнулась, но делать окончательные выводы еще рано. Если Паскуалетти доверил то, что явилось причиной его смерти, своей сестре или же сообщил ей, где это находится, можно было не сомневаться — она поспешит взять улику и рассмотреть, чтобы своими глазами удостовериться, правду ли говорит полицейский. Если она не будет выходить из дома, то, значит, существуют две возможности: либо этот предмет хранится у нее в каком-нибудь ящике, либо она действительно ничего не знает.

На обратном пути Де Дженнаро подумал: «Интересно, что скажет доктор Балестрини?» И улыбнулся, вспомнив о полковнике, который, узнав о желании капитана поделиться с Балестрини, рассвирепел бы больше, чем от того, что Де Дженнаро ведет расследование почти в одиночку и без ведома прямого начальника. Капитан завернул за угол и удостоверился, что агент в штатском следует за ним. Не спеша открыл дверцу машины.

— Послушай...

— Да, капитан.

— Где твой напарник?

— В подъезде номер сто двадцать восемь, сразу же за углом.

— Предупреди его, а также тех, кто вас сменит, что надо установить слежку и за синьорой Россетти. Понял? Она часто выходит из дома?

— По-моему, нет.

— Ну, тем лучше,— заметил Де Дженнаро, влезая в машину. И, отвернувшись от агента, включил мотор.

15

Женщина не опустила занавеску и тогда, когда машина Де Дженнаро свернула за угол. Если бы она была повнимательней, то могла бы узнать человека, который вскоре вновь появился внизу. Она его никогда не замечала, хотя несколько раз он уже попадался ей возле дома. Тем более, что у него была большая плешь, и он невольно бросался в глаза. Но она его не узнала, даже просто не увидела.

— Синьора,— окликнула ее вполголоса прислуга, появляясь в дверях.— Синьора,— повторила она, приблизившись, и застыла в удивлении.— Да что с вами, никак плачете?

— Ничего... просто неважно себя чувствую,— сквозь зубы пробормотала Розанна Россетти, чтобы та отвязалась, и, сухо сказав, что ей ничего не нужно, направилась к диванчику.— Нет, пожалуй, вот что: завари-ка мне ромашку,— приказала она. Но у нее не было ни

желания, ни необходимости пить ромашку. Просто хотелось поскорее избавиться от прислуги, раз уж нынче нельзя прямо посылать ко всем чертям излишне любопытных служанок.

Она сделала глубокий вдох, чтобы прийти в себя, и в тысячный раз, вытянув пальцы левой руки, посмотрела на кольцо. Она его не сняла, но ей казалось, она чувствует надпись, выгравированную с внутренней стороны кольца: «Розанне от Гуидо». Подарок восемнадцатилетней давности. Ее день рождения пришелся на один из тех коротких моментов, когда Гуидо начинал верить, что наконец-то счастье ему улыбнулось — и только лишь потому, что в кармане у него завелось немного лишних денег. Бедный Гуидо!

— Бедный Гуидо,— еле слышно повторила она уже вслух и инстинктивно сжала кулаки. Она не чувствовала ничего, кроме ненависти, смертельной ненависти. Ни горя, ни жалости к убитому — ничего! Ее не пугали ни неприятные хлопоты, ни надоевшие допросы. В душе у нее была только ненависть к тем, кто убил ее несчастного невезучего мальчика. Кому-то он казался хитрым? Ловчилой? Бездельником? Никто его не знал, он просто был еще совсем мальчишкой. «Послушай, Роза, на этот раз я устроюсь. Вот увидишь». Она никогда у него не спрашивала, как, где, зачем и почему. Даже в детстве она не задавала ему никаких вопросов. Ему нравилось строить из себя этакого парня себе на уме, ни с кем не откровенничать, а уж меньше всего, конечно, с девчонкой. А кроме того, разве он не был старший? Он мог позволить себе так к ней относиться. «Правильно делаешь, что не задаешь вопросов»,— однажды похвалил он ее, когда они пошли вместе в кино. В скупой похвале содержалось важное указание, и она запомнила его на всю жизнь.

Эта идиотка с идиотской чашкой в руках уставилась на нее — служанка вся дрожала от желания продемонстрировать свое сочувствие.

— Что? Уже готово? — злобно пробурчала хозяйка. Все они проворны, только когда не надо работать. А так жди три года, пока подойдет к телефону.

— Поставь там, да поживее!

Розанна Паскуалетти подождала, пока обиженная женщина вышла, оставив за собой дверь открытой. Если хочет, может хоть совсем уйти. Эта свинья Россетти, немного для приличия выждав, принялся теперь лапать и ее. Пусть убирается.

Она отпила немного настойки. Гуидо и на этот раз не сказал ей, что его жизнь в опасности. Она никогда еще не видела брата столь возбужденным. Он дал ей ключ с таким видом, словно доверял драгоценность. «Почему ты не хочешь держать его у себя?» — только и спросила она. Сестра не отказывалась взять ключ и задала вопрос просто из любопытства, а он, такой счастливый, улыбаясь, повторял: «Послушай, Роза, ну вот теперь...»

Автобус был переполнен, но какой-то подросток поспешил уступить место, то ли пораженный ее полнотой, то ли испуганный мрачным выражением лица. Она плюхнулась на сиденье, слишком маленькое для пышного тела, и уставилась в окно, продолжая усиленно размышлять. Неужели Гуидо попал в неприятности из-за того дела с Россетти? Она вспомнила, что, увидев, как он вытаскивает из кармана столько денег, всерьез встревожилась, и даже Россетти не мог поверить ее рассказам. Но она, как всегда, не стала расспрашивать брата. К этому они никогда больше не возвращались. «Ведь с тех пор прошло столько лет. Какое это может иметь отношение к его смерти?» — подумала она и инстинктивно проверила, тут ли ключ: из боязни, что у нее вырвут сумку, она держала его в кармашке блузки.

— Извините,— пробормотала худенькая девушка, указывая на соседнее свободное место, которое толстуха Россетти наполовину заняла. Розанна раздраженно придвинулась к окну.— Благодарю вас.

Нет, эта история с деньгами не имеет никакого отношения к ключу, который ей доверил Гуидо. Ключ — личное дело брата, бог его знает какое. А те деньги были, ну, как его, СИДа. Подумать только, что Гуидо зараз получил двадцать пять миллионов и решил поделиться ими с этой свиньей Россетти, который только и умеет, что резать колбасу.

У нее никогда не было своего сейфа в банке, и она не имела представления о том, что надо сказать служащему в окошечке. По счастью, тот хорошо знал Гуидо и слышал о его смерти. Десять раз повторив, что нарушает правила и не должен этого делать, он несколько минут вертел в руках ее документы, потом велел расписаться в двух местах и наконец указал на стеклянную дверь. Необычная обстановка чуть отвлекла ее от печальных мыслей, даже взволновала, но и тогда, когда она уже поворачивала ключ в замке, она не испытывала никакого любопытства к тому, что лежит в сейфе. И в самом деле, не увидела там ничего интересного. Она с опаской вынула пакет, не веря, что в этом бумажном свертке может таиться причина смерти Гуидо.

На пакете не оказалось никакой надписи. Квадратный и довольно легкий, он был не завязан веревкой, а стянут клейкой лентой. Ей захотелось тотчас посмотреть его содержимое. Она переждала, пока пройдет служащий с большими рыжими усами и пачкой конвертов в руках. Мирная тишина, нарушаемая лишь жужжанием кондиционера, действовала успокаивающе. Стараясь не шуршать и не спуская глаз со стеклянной двери, она развернула сверток.

— Что же это такое? — пробормотала Розанна Россетти, беря в руки одну из этих круглых штуковин, лежащих внутри. Всего их было четыре. Вертя так и этак содержимое пакета, она поняла, что это похоже на коробочки: странные плоские коробочки с отверстиями посередине. Они что-то напоминали, она вспомнила, что, когда ей наконец удалось открыть одну из них,— магнитофонные ленты! Кассеты у нее невольно ассоциировались с музыкой. У Россетти в его «мерседесе» тоже полно таких кассет для проигрывателя. Но какое отношение к этому мог иметь Гуидо?

Сбоку на каждой кассете был наклеен белый прозрачный квадратик, и на одном из них карандашом сделана отметка: буква «Г».

Да... Она нерешительно взвесила одну из кассет на ладони. Надо бы их прослушать, но как? И где? Она не могла представить себе, какой магнитофон подходит для этих странных лент. Дома магнитофона у них нет, значит, надо отправиться в магазин, показать кассеты. А ей там ничего не скажут? Она смутно догадывалась, что это какие-то специальные, особенные ленты. Может, что-то военное? А вдруг ей начнут задавать вопросы и она растеряется, что тогда будет?

Она вновь подумала об этом медоточивом шпике. Может, он и намекал на ленты? Она не могла заставить себя почувствовать к нему хоть малейшее доверие. И ведь если она отдаст ему эти штуки, то уж больше ничего не узнает. А она хочет знать, почему убили ее Гуидо и кто его убил. Прежде всего — кто его убил.

— Вам нехорошо, синьора?

Она резко обернулась и увидела почти рядом с собой рыжеусого. Она постаралась поскорее спрятать кассеты, но тот не проявил к ним никакого интереса. Немного успокоившись, она покачала головой.

— Я увидел — вы так побледнели и подумал...

Она почувствовала, что он смотрит ей вслед, но ей теперь уже было наплевать. Решительным шагом она пересекла огромный вестибюль банка, не замечая высокого плешивого мужчину, который при ее появлении сразу отвернулся и притворился, будто с большим интересом читает объявление министерства государственного казначейства. После тишины банка ее оглушил грохот улицы: растерявшись, она сначала двинулась в противоположную сторону от остановки автобуса, судорожно прижимая к груди свой пакет. Палящие лучи солн-

ца немилосердно жгли лицо и шею, заставив ее вспомнить о ледяном холоде в большой комнате с мраморным столом посередине, куда ее пригласили опознать труп Гуидо. Такое яркое, жаркое солнце словно оскорбляло память о брате.

16

Балестрини внимательно посмотрел на человека, сидящего по другую сторону письменного стола. Этот тип не понравился ему сразу, как только вошел и уселся. Глаза у него были водянистые, рот, казалось, непрерывно растянут в улыбке, хотя он и не думал улыбаться. Балестрини еле выносил его и испытал истинное облегчение, когда смог дать выход своей неприязни, воспользовавшись вполне оправданным предлогом.

— Я хотел бы уточнить следующее, комиссар. Пролить свет на факты подобного рода — задача судебных властей, и она может быть решена лишь при сотрудничестве всех сил полиции и карабинеров. Без этого, разумеется, вряд ли чего-нибудь можно достигнуть.

Это было только вступление. Удовлетворенный им, он провел пальцем по лезвию ножа для бумаги, хотя и знал, что оно тупое. Собеседник кивнул, словно соглашаясь с ним.

— В таком случае я не понимаю вашей позиции. Вчера все утро я допрашивал Баллони в «Реджина Чёли»[1]. Карабинеры из следственного отдела идут по следам, на которые они напали, арестовав этого парня. У нас пока не так много данных, и любые новые сведения были бы весьма полезны. Вы же хотите, чтобы я держал полицейское управление в курсе дела, будто это я должен на вас работать, а не вы на меня. Если в управлении имеется досье на Джакомо Баллони или же вообще там располагают о нем какими-нибудь сведениями, ваш прямой долг нас информировать. И притом отнюдь не претендуя на то, чтобы мы сообщали вам о ходе расследования.

Собеседник его продолжал согласно кивать головой. Балестрини, кроме всего прочего, выводил из себя его тихий голос и примирительный тон. Он бы предпочел, чтобы комиссар в ответ сказал что-нибудь вроде: «Нет, нет, доктор, позвольте. Я хочу уточнить, что...» — или сухо возразил: «Я вижу, что вы меня неправильно поняли».

Комиссар же стал объяснять: в политическом отделе полицейского управления Рима узнали... что этот Баллони в некотором смысле всего лишь, так сказать, уголовник, хотя и хорошо известный, но совершенно незначительный... одним словом, мелкая сошка. Короче говоря, им хотелось лишь получить информацию о том, как идет расследование, чтобы решить, могут ли они представить сведения, полезные судебным властям. Балестрини мысленно поздравил себя с тем, что деятели из политического отдела послали к нему именно этого болвана, а не постарались найти более искусного дипломата. Если, конечно, у них вообще такие имеются. Он смерил его ледяным взглядом.

— Комиссар, мы здесь в прокуратуре ждем от вас любых материалов, которые вы в состоянии передать нам относительно Баллони и его деятельности. С моей стороны, я могу только подтвердить то, что вам уже известно: мы арестовали его, так сказать, застигнув на месте преступления — он вез взрывчатку, и именно в этом направлении в настоящее время ведется расследование. Больше мне вам нечего сказать.

Чуть приподнявшись, он протянул ему руку— ответное рукопожатие оказалось неожиданно крепким. Свое намерение тотчас выкинуть из головы этого полицейского комиссара Балестрини осуществить не удалось. На пороге с пакетом в руках появился Де Дженнаро, столкнувшись в дверях с уходившим полицейским.

---

[1] Римская тюрьма (буквально — «царица небесная»).

— Добрый день, доктор.

— Вы знаете, кто это был, капитан?

— Наверно, полицейский.

— Вы угадали,— сказал Балестрини и в двух словах передал ему их разговор, хорошо понимая, что не доставит удовольствия капитану. Действительно, Де Дженнаро недовольно наморщил лоб.

— Вы думаете, они идут по тому же следу, что и мы?

— Очень возможно, хотя я не знаю, какие у них были исходные данные. Кстати, что нового на фронте?

Де Дженнаро выглядел усталым. Капитан непрерывно пребывал в движении — это был закон его жизни. Он никогда не витал в облаках. Если он не окунался с головой в настоящую интересную работу, то находил себе другое дело, которое могло его удовлетворить. Плавал в бассейне, играл в теннис, в футбол или отправлялся поупражняться в стрельбе, хотя и так был замечательным стрелком.

О Де Дженнаро ходили разные фантастические слухи. Говорили, что его мать — знатная дама из Неаполя —очень рано овдовела, отказалась от светской жизни и уединилась в роскошной вилле на Позиллипо. Что работа в следственном отделе для Де Дженнаро — скорее своего рода хобби: он просто сменил игру в солдатики и игрушечное ружье на военную службу и настоящее оружие, а позднее чтение в газетах сводок о боевых действиях в «горячих» точках — на следственную работу. Что он пользуется поддержкой со стороны тех, кто принадлежит к его кругу,— отсюда смелость Де Дженнаро и пренебрежение, подчас вызывающее, к установленным порядкам. Очертя голову он бросался на расследование дел, которые были ему не под силу, и в девяти случаях из десяти терпел фиаско. Если же след, по которому он шел, и оказывался правильным, то все равно капитан ничего не добивался, потому что пользовался негодными средствами или действовал слишком поспешно.

Балестрини никогда особенно не верил всем этим слухам. Единственным очевидным фактом было то, что капитан, пожалуй, живет не по средствам. А все остальное — лишь сплетни сослуживцев, наверняка завидующих ему: ведь он холост, недавно купил новую машину, ему везет, и он неутомим в любовных делах. Что касается отношения к нему начальства, то полковник Винья проявлял к капитану терпимость, порой даже симпатию, хотя и был настроен чуть скептически. Прежний же начальник отдела открыто враждовал с Де Дженнаро, не давал ему сделать самостоятельно ни шага. Их отношения особенно обострились, когда Де Дженнаро, распутывая дело о контрабанде оружием, привлек к расследованию Интерпол, другие органы и даже чиновников из министерства обороны, при этом почти ни о чем не сообщая шефу. А затем бывшего начальника Де Дженнаро неожиданно перевели на другую работу.

— Я веду расследование по многим направлениям,— докладывал Де Дженнаро суховатым официальным тоном, каким обычно говорил, когда ему особенно нечего было сообщить,— и прежде всего хочу установить, был ли связан Паскуалетти с...

— Вы видели, как погиб Ферриньо? — без всякой логической связи перебил его Балестрини. На лице капитана неожиданно появилось жесткое выражение.

— Главное, я видел, как погиб этот несчастный инспектор дорожной полиции. А Ферриньо меня мало волнует. Одним подонком меньше кормить в тюрьме.

— Да, конечно. Я упомянул об этом в связи с нашими страхами относительно моей безопасности. В общем, теперь можем жить спокойно. Мы с вами думали, что Ферриньо где-то тут, а оказалось, он прятался в Милане.

— Да, но нельзя было исключать и возможности того, что за не-

го попытаются отомстить дружки, пока он сам где-то отсиживается и ждет, когда все успокоится.

Балестрини усмехнулся. Резкая реакция капитана на заданный вопрос и вообще его тон вызывали у него некоторое раздражение. Де Дженнаро всегда говорил «дружки», а не «друзья», чтобы показать свое презрение к «красным бригадам». Однако в его отношении к ним не было идейного осуждения, безоговорочного неприятия. Балестрини привык, что офицеры из корпуса карабинеров и полиции всегда занимают самую непримиримую, ультраправую политическую позицию. В том числе и полковник Винья — сторонник и горячий энтузиаст самых решительных мер против всех, кто сеет уличные беспорядки. Де Дженнаро же как-то говорил — и Балестрини не видел причин ему не верить,— что он всегда голосовал за социал-демократов, во всяком случае до скандала с «Локхидом»[1]. Впоследствии у них не было больше случая возвратиться к этому вопросу, и Балестрини, разумеется, не желал совать нос в такое сугубо личное дело.

— Как бы то ни было... как бы то ни было, я думаю, теперь нам уже не о чем волноваться,— сказал Де Дженнаро, не глядя помощнику прокурора в глаза. Взгляд его был устремлен на пакет, который интриговал и Балестрини.

— Что это там у вас? — спросил Балестрини, указывая на сверток ножом для бумаги.— А?

— С вашим телефоном все в порядке. Никто не подслушивает разговоры... я хочу сказать, кроме нас...

— Ну да,— кивнул удивленный Балестрини. В чем дело, что это с ним? Неужто Де Дженнаро вдруг смутился? Почему? С иронической улыбкой он следил, как капитан торопливыми, нервными движениями извлек из пакета обыкновенную катушку с магнитофонной лентой. При этом Де Дженнаро неестественно покашливал, так что на него было просто жалко смотреть.

— Ну и что же?

— Так вот... уж не знаю, правильно ли я поступил, но, во всяком случае, полагаю, что раз уж она ко мне попала... то с моей стороны следовало бы вам доложить,— с усилием закончил Де Дженнаро, протягивая Балестрини катушку с пленкой.

— Благодарю вас.

— А сейчас прошу меня извинить, я должен бежать.

Балестрини с изумлением проводил его взглядом, затем позвонил курьеру. На сей раз, как ни странно, это принесло результат — тот сейчас же явился.

— Не могли ли бы вы мне ненадолго достать магнитофон? — любезно осведомился Балестрини. Старик Винченти был человек надежный, хоть и очень медлительный. Он долго молча мялся в дверях, потом темные морщины на его старом лице пришли в движение, и, наконец, пожевав губами, он пробормотал:

— Поищем... наверно, достанем... вот доктор Якопетти сегодня утром...

С магнитофонами была просто комедия, однако это уже ни у кого не вызывало смеха. Получить магнитофон превратилось в целое дело — их имелось всего несколько штук, а требовались они постоянно. Но однажды стало известно, что еще с 1971 года всем преторам Республики полагается казенный магнитофон. Только пользоваться ими оказалось невозможно: не было кассет с магнитофонной лентой, а работники канцелярии отказывались покупать их без разрешения Счетной палаты[2], иначе потом хлопот не оберешься или придется платить из своего кармана. Так с 1971 года полторы тысячи очень

[1] Нашумевшее в 70-х годах скандальное дело о взятках, которые получали от самолетостроительной компании «Локхид» некоторые государственные деятели в Италии и других западных странах.

[2] Высший орган, контролирующий деятельность государственных учреждений.

дорогих специальных магнитофонов неподвижно лежали мертвым грузом в районных судах, а в прокуратуре и, наверно, так же в апелляционном, верховном судах и во всех других судебных учреждениях они вообще были редкостью.

Однако не прошло и пяти минут, как Винченти, громко сопя от усилий и гордости, водрузил перед Балестрини на письменном столе магнитофон и ушел, попросив вернуть его не позднее одиннадцати.

Сначала безмолвный шелест крутящейся ленты заставил Балестрини подумать, что на ней вообще ничего не записано или же записи стерты. Он уже хотел нажать кнопку быстрой перемотки, когда после сухого щелчка вдруг услышал собственный голос. Он узнал себя не сразу и удивился, что говорит чуть нараспев с чисто римской интонацией — раньше он за собой этого не замечал. Затем послышался голосок Ренаты — она докладывала ему, что сказал врач, который был у девочки: ангина с небольшой температурой. Это позволило ему установить, что запись сделана пять-шесть дней назад. Потом снова щелчок, короткая пауза и начало записи следующего разговора. Снова голос Ренаты, но звучащий по-другому — тоном выше, напряженно.

— ...Я ведь просила не звонить мне сегодня утром.

— Но ты знаешь, что я не могу без тебя,— тотчас ответил совершенно незнакомый ему мужской голос. Несколько секунд молчания, потом снова тот же голос: — Ты давно одна дома?

— Андреа только что ушел.

— Что ты собираешься делать сегодня утром?

— А что я могу делать? Приберусь немного в доме...

— Может, увидимся?

— Я сказала тебе, Джино, нет.

Непроизвольным движением Балестрини остановил дьявольский аппарат. Голос определенно незнакомый, но «Джино», черт возьми, это имя что-то ему говорило! Он снял очки и потер глаза. Джино? Пошарив наугад в среднем ящике стола, он нашел коробочку с мятными леденцами и положил два-три в рот. Возможно ли? Джино — звали человека, от которого у Ренаты был ребенок, потом, воспользовавшись тем, что его призвали на военную службу, он незаметно исчез. Это произошло довольно задолго до того, как Балестрини познакомился с Ренатой. Девочка уже ходила и начинала говорить — очаровательная обезьянка с таким же беззащитным и трогательным личиком, как у матери... Неужели это действительно он?

Балестрини снова нажал на кнопку, и охватившее его сначала любопытство сменилось чувством горечи. Ему казалось, что он видит перед собой печальные глаза Ренаты, видит, как она, вобрав голову в плечи и прислонившись спиной к стене, стоит в полутемном коридоре и разговаривает по телефону. В одной руке у нее трубка, другую она прижимает к груди и настороженно прислушивается — у прислуги свои ключи, и она является, когда ей вздумается.

Он отчетливо представил себе Ренату и неожиданно понял причины множества мелких перемен в жене, которые до того не понимал. Ему даже стало ясно (при этом он от боли закрыл глаза), откуда этот тяжелый запах алкоголя — раз или два он почувствовал его наверняка.

И вот, фраза за фразой, пауза за паузой, Рената то защищалась, то обвиняла, то спорила, но так или иначе двадцать минут не отходила от телефона и закончила разговор только тогда, когда, наконец, явилась прислуга с хлебом и молоком. Ее собеседник намекал на какие-то свои дневные свободные часы: видимо, он не был связан определенным распорядком работы. Наверно, он коммивояжер или кто-то в этом роде. Балестрини почувствовал дрожь в коленях, когда услышал, что Джино нередко дежурит возле его дома, выжи-

дая, когда он уедет, а потом заходит в телефонную будку напротив их подъезда. Он начал лихорадочно рыться в памяти, но, увы, ведь он всегда так плохо запоминает лица. Да и имеет ли какое-нибудь значение, вспомнит он или нет, как выглядит человек, который мог быть этим Джино. Он остановил ленту как раз в то мгновение, когда зазвонил телефон. Подождал, насчитав семь звонков, пока тот замолчит.

Ни злости, ни раздражения, ни возмущения. Лишь унижение, горечь, удивление и растерянность, но прежде всего — страх, страх, страх. Что же будет? Перед ним лежало не досье с результатом следствия, которое он должен изучить, сидя у себя за столом с уголовным кодексом в руках. Он знал, что абсолютно не способен объясниться с Ренатой, говорить с ней о том, о чем всего полчаса назад не мог и помыслить. Но хранить молчание будет еще ужасней. Как, как все это могло случиться? Внезапно, без всякой внутренней связи, он вспомнил, как был смущен бедняга Де Дженнаро, и ощутил прилив горячей симпатии к капитану. Балестрини понял, насколько неловко должен был чувствовать себя Де Дженнаро. Должно быть, он долго раздумывал, как поступить: искушение умыть руки, наверно, боролось в нем с желанием оказать дружескую услугу. Но сознание того, что Де Дженнаро, а до того и агент, занимающийся записью телефонных разговоров, слышали эту беседу, заставило Балестрини еще глубже ощутить весь позор и комичность своего положения.

Он вновь включил магнитофон, прокрутил пленку назад в поисках фразы, которая его особенно задела. Наконец, он нашел ее. Коммивояжер терпеливо слушал бессвязные жалобы Ренаты, она путалась, голос ее замирал.

— Прости, но, в конце концов, что такого особенного в твоем муже? Почему ты так переживаешь? — прервал ее бывший любовник.— Он приносит домой жалованье, не наставляет тебе рога — вот и все его достоинства... Можно подумать, что это твой дядюшка...

Он предпочел не слушать плаксивую и дурацкую реплику Ренаты и прокрутил ленту вперед, стараясь ни о чем не думать. За это время телефон вновь дважды принимался звонить, но теперь уже не так настойчиво. Балестрини выключил магнитофон и вызвал Винченти, знаком показав, что тот может забрать аппарат. Чтобы избежать болтовни старика, Балестрини сделал вид, будто с головой погружен в лежавшие перед ним бумаги и даже вооружился вечным пером.

— Винченти, постой,— вдруг вспомнил он, когда тот уже закрывал за собой дверь.

— Да, доктор?

— Кофеварку уже починили?

— Да, еще вчера вечером.

Кофе — вот что сейчас ему было нужно. Только уйти из кабинета. Он вышел в коридор, где, как обычно, нескончаемым потоком текли толпы посетителей. Люди вглядывались в таблички на дверях, искали нужную комнату, хотя она, возможно, находилась совсем в другом здании.

Уже подойдя к кофеварке, окруженной, как всегда, плотным кольцом жаждущих кофе, он заметил среди них Де Дженнаро. Но Балестрини успел осушить пластмассовый стаканчик, прежде чем капитан обернулся в его сторону. К своему удивлению, он увидел, что Де Дженнаро не отводит взгляда и не выказывает смущения, как он ожидал. Капитан смотрел Балестрини прямо в лицо, дружески, но вовсе не с каким-то особо доверительным видом.

— Мне надо бежать в Палаццаччо, доктор. Я вам не нужен?

Балестрини отрицательно покачал головой. Нет, разумеется, нет, он ему сейчас не нужен, но почувствовал, что с этой минуты лед между ними растаял, хотя они наверняка никогда не обмолвятся

больше о магнитофонной ленте ни словом. Однако Де Дженнаро неожиданно добавил:

— Если хотите, я могу сообщить некоторые сведения об известной вам личности.

По крайней мере, человек шесть-семь услышали эту фразу, но никто не обратил на нее внимания, не обернулся, не перестал разговаривать. Балестрини попробовал улыбнуться. Улыбки, конечно, не получилось, да ему и не надо было притворяться перед Де Дженнаро.

— Спасибо, капитан. Мы об этом еще поговорим.

17

В шесть утра на тумбочке у постели столичного прокурора зазвонил телефон. Свет уже проникал тонкими яркими стрелами сквозь щели опущенных жалюзи.

— Кто бы это? — пробормотала, не открывая глаз, прокурорша.

— Кто, кто? Конечно же, твоя мамаша,— страдальческим голосом ответил прокурор, потянувшись за трубкой. Вообще-то он не плохо относился к этой всегда невозмутимой и подтянутой старушке, но у нее был один недостаток: она считала; что все, подобно ей, должны вставать ни свет ни заря.

— Алло! — промычал он довольно раздраженно в ледяную трубку. Выслушал всего несколько слов, что-то также коротко ответил и положил трубку.

— Ну что?

— Похитили Мартеллини.

— Строительного подрядчика! — вскричала прокурорша. Сидя на кровати, прокурор шарил ногой по полу в поисках шлепанцев и проклинал эти вечные ранние побудки. Но поскольку дело столь серьезное, ему, по-видимому, придется отправиться на место преступления самому — тут требуется авторитет его высокой должности. Тем более, что старик Мартеллини — бывший президент футбольного клуба «Лацио» и, наверно, один из богатейших людей Рима, был его добрым и щедрым приятелем.

— Подожди, Тото, я тоже встану.

— Приготовь мне одежду, пока я буду в ванной,— сказал прокурор, потирая подбородок, поросший редкой жесткой щетиной. Когда только наконец кончится эта сумасшедшая свистопляска? Он сыт уже всем по горло, его тошнит от беспрерывных «чрезвычайных происшествий». Решение о блокировании капиталов и имущества похищенных лиц было как острый нож, воткнутый в его тощий бок. Настаивать на принятии такой меры просто вошло теперь у его помощников в моду. Практически это означало запрет родственникам похищенного вносить требуемую сумму выкупа, вызывало постоянные трения между столичным прокурором и его помощниками, между самими помощниками, будоражило общественное мнение, печать, министерства юстиции и внутренних дел. Он жил в вечном страхе, что впервые после принятия нового решения требование похитителей о выкупе будет предъявлено именно на территории, находящейся под его юрисдикцией. Тогда ему достанется сполна; все стенания и скрежет зубовный обрушатся на судебные власти, принявшие это бесчеловечное решение. Таким нападкам не подвергнутся и сами похитители — бандиты и убийцы.

Преступления стали теперь совершаться под новой вывеской, причем этой гениальной находке бандитов немало способствовали газеты. Теперь преступники всякий раз обязательно приводили какие-нибудь политические мотивы. Ими прикрывались при любом преступлении, даже если речь шла о принуждении к проституции, зверском изнасиловании или ограблении банков. То же происходило при

бунтах в тюрьмах, при сопротивлении аресту на улицах и когда скрывались от правосудия. Причем реакция у бандитов была поистине молниеносная. Допустим, какой-то парень по фамилии Фолькиньони во время демонстрации попадает под трамвай. Немедленно появляется «бригада имени Фолькиньони», а в нее, как только им потребуется, вступают обыкновенные уголовники.

— Тото, машина пришла,— объявила жена, стуча в дверь ванной.

— Сейчас иду,— раздраженно ответил прокурор, сполоснув лицо холодной водой.

В сущности, может, оно и к лучшему. Пускай жестокие дикари вступают в «красные бригады» и подрывают тем самым доверие к марксизму. Точно так же как веру в идеалы правых подрывает ничуть не меньшая кровожадность неофашистов, которые тоже называют себя «идейными».

Прокурор продолжал молча одеваться, не обращая внимания на бестолковую болтовню жены. Кто там из ребят уже на месте? Кажется, сегодня дежурство Де Леонибуса. Уже неплохо: Де Леонибус — не сторонник решения о блокировании и вообще человек вполне надежный. Как бы то ни было, когда несколько дней назад он говорил по телефону с Мариани-Таццоли, генеральный прокурор немного его успокоил и назначил встречу на следующей неделе. «Тогда вместе и обсудим вопрос о блокировании»,— подбодрил шеф прокурора Рима. Да, генеральный прокурор Мариани-Таццоли — весьма высококвалифицированный и опытный судейский. Нельзя сказать, что между ними сложились идеальные отношения, но, во всяком случае, в чрезвычайных обстоятельствах на него всегда можно положиться.

— Доброе утро, господин прокурор,— поздоровался шофер. Ему вторили двое агентов в штатском, стоящие у открытой дверцы машины сопровождения. Третий, карабинер в форме, был уже за рулем и сразу включил зажигание. Несколько прохожих с любопытством обернулись на них.

В этом ленивом городе, каким издавна был Рим, старика Мартеллини подвела его потрясающая работоспособность. В полшестого утра он как всегда выехал из ворот своей небольшой и отнюдь не роскошной виллы, которая находилась на дороге Аурелиа. «Фиат-130» вел он сам. Мартеллини уже отказался от мысли о постоянном шофере: разве найдешь тут такого работягу, который вставал бы каждый день в пять утра, свеженький садился за руль и через две недели не сказался бы больным? Никаких мер предосторожности на случай попытки похищения Мартеллини предпринимать не желал. «Ведь в такую рань в Риме все еще спят. Да и кому охота ни свет ни заря заниматься столь опасным делом»,— шутил старик, и эти его слова вспоминали сейчас полицейские и журналисты, обступившие пустой «фиат», брошенный в какой-нибудь сотне метров от ворот виллы.

— Значит, похитителей надо искать среди преступного мира Милана,— заметил прокурор в ответ репортеру газеты «Паэзе сера», который только что процитировал это изречение похищенного. Журналист рассмеялся. Многие, кто слышал реплику прокурора, тоже заулыбались, усмехнулся и он сам. Но вдруг его взгляд упал на человека, приближавшегося к нему с насмешливой улыбкой. Он хорошо знал этого иуду.

— Добрый день. Неприятное дело, а?

— Привет,— мрачно ответил прокурор. Его подчиненный Феррони слыл в прокуратуре одним из самых яростных сторонников решения о блокировании.

— Пока никаких следов, господин прокурор. И ни одного свидетеля — нападение произошло слишком рано. Может, и проезжала какая машина, но все равно ее пассажиры, наверно, сделали вид, что ничего не заметили. Никаких признаков борьбы не обнаружено,

поэтому Мартеллини, надо надеяться, цел и невредим. На вилле никто ничего не слышал: все еще спали.

— В таком случае, какого черта меня вытащили из постели в такую рань? — взорвался прокурор и разозлился еще больше, когда увидел, что и эту его фразу восприняли как остроту.

— Через пять минут после нападения мимо проехал патруль дорожной полиции. Вот и все.

Посещение виллы оказалось, по счастью, менее хлопотным, чем ожидал прокурор. Синьора Мартеллини никого не желала видеть и заперлась у себя в комнате вместе с младшей дочерью. На других членов семьи, не говоря о прислуге, прокурор не счел нужным тратить время. Он надавал массу советов, окинул внимательным взглядом английскую няню, двух внучат похищенного, помахал на прощание рукой зевакам, журналистам, полицейским и опустился на заднее сиденье.

— Домой? — спросил, оборачиваясь, шофер.

— Куда же еще, не видишь, что еще только полдевятого?

Прокурор надеялся, что ему удастся отдохнуть дома до полудня, а потом он на минутку заедет на службу. По утрам он подолгу молчаливо изучал свою коллекцию марок. В домашней куртке, с чашкой горячей травяной настойки под рукой, он разбирал ее, классифицировал, пересчитывал. С того дня, как прокурор узнал, что травы помогают от всех болезней, рецепты его настоек становились все разнообразней.

Он смешивал чебрец, вербену и майоран с ловкостью фокусника. И убедился, что две щепотки розмарина, две дольки чеснока и две щепотки чебреца составляют тонизирующее средство, тогда как смесь аниса, кервеля, листочков дикого апельсина и вербены весьма помогает при длительных запорах. Хотя он нигде не читал, что петрушка, шалфей и тимьян, заправленные ложечкой кукурузного масла, могут оказать благотворное воздействие на печень, ему это помогло. И тогда он начал придумывать всевозможные невиданные «коктейли», наполнявшие кухню, а потом и кабинет, где он возился с коллекцией, своими целебными парами.

Но судьбе было угодно, чтобы в этот день, начавшийся под знаком неприятных дел, ему и дальше не везло. Сперва — из-за какого-то несчастного случая перекрыли дорогу, и даже его служебный автомобиль и сопровождающие машины не могли пробиться сквозь пробку, несмотря на включенные на всю мощь сирены. Потом — не успел он войти в дом — к нему бросилась в крайнем волнении прокурорша. Только что звонили из прокуратуры. Минуту назад.

— Ну, что еще там такое? — простонал прокурор, медленно, с мученическим видом стаскивая пиджак. Он настойчиво совал пиджак жене, но та словно ничего не видела.

— Мариани-Таццоли подал в отставку.

— Что-о?

Прокурор неподвижно уставился на жену. Она повторила свои слова и с волнением ожидала, как он их воспримет. Прокурор не мог еще в полной мере осознать все значение этого неожиданного известия, но почувствовал, что пол уходит у него из-под ног. Генеральный прокурор занимал свой пост с незапамятных времен и, казалось, будет занимать его вечно. Его уходу не предшествовали никакие разговоры. Да шеф и сам всего несколько дней назад назначил ему встречу и вовсе не намеревался покидать свой пост. Все эти подробности придавали новости какой-то странный, необъяснимый и даже зловещий оттенок.

— Что же ты собираешься делать?

Заболеть, заболеть всерьез и тотчас же. Он уже чувствовал — по спине пробегает озноб. И это было действительно так. Кроме того, совершенно незачем ехать в прокуратуру и выслушивать там ком-

ментарии подчиненных — они знали еще меньше его и могли только строить догадки. Слухи имеют смысл лишь тогда, когда идут сверху, а там, в прокуратуре, выше всех он сам. Не ходить на работу: лучше засесть за телефон и расспрашивать, выпытывать, намекать, выяснять, что говорят другие.

— Завари-ка мне пока ромашку,— сказал прокурор, направляясь в спальню и расстегивая на ходу брюки.

18

— Паскуалетти? Да, с каким-то Паскуалетти я учился в школе. Это вы про него?

Балестрини снял очки и потер покрасневшую переносицу. Он уже трижды допрашивал Баллони, но все без результата. Эти непрерывные попытки во время пустой болтовни уловить хоть какой-то намек на суть дела вряд ли могли что-нибудь дать. Да и не только потому, что паренек очень хитер: он слишком мелкая сошка и даже если бы решил признаться, то мало что мог сообщить.

— Так значит, вы не о нем спрашиваете?

— Ты это и сам прекрасно знаешь.

— Ну что же, ничего не поделаешь.

— У меня все,— заключил Балестрини, не глядя на допрашиваемого. Толстый конвоир средних лет, молча присутствовавший при коротком допросе, подошел и взял Баллони за руку.

— Пошли, парень.

— Да-да, извините, сейчас иду,— произнес Баллони, в точности имитируя голос и тон конвоира. Балестрини не мог сдержать улыбку, что воодушевило арестанта, но явно вызвало раздражение у конвоира, который схватил парня за шиворот и вытолкал из комнаты.

Не в силах бороться с охватившим его унынием, Балестрини подумал, что тюремная атмосфера заражает даже тех, кто попадает за решетку ненадолго. Ему приходилось допрашивать сотни людей в прокуратуре, в тюрьме «Реджина Чёли» и снова в прокуратуре. И всякий раз повторялось одно и то же: в тюрьме арестованные казались жестче, агрессивнее и вместе с тем более подавленными. И не только арестованные — такая же перемена в поведении происходила даже у его коллег — адвокатов и карабинеров.

— Дорогой доктор,— приветствовал его, протягивая руку, адвокат Латини. Он очень походил на Черчилля, и хотя сам горячо это отрицал, вот уже год или два как сменил свою трубку на сигары, чтобы еще больше подчеркнуть сходство. Сейчас, однако, у него во рту не было ни трубки, ни сигары, и выглядел он так, как все защитники, назначенные судом, то есть притворялся, что по горло занят, и явно спешил поскорее отделаться от подзащитного. Так же вел себя всегда и адвокат Вальери-старший — по крайней мере до того, как схлопотал по физиономии от Буонафортуны.

Буонафортуна вошел в сопровождении двух молодых карабинеров, а позади, держась на почтительном расстоянии, следовал секретарь. Когда Балестрини с некоторой неловкостью (почему бы этого не признать?) встретился взглядом с арестованным, он не прочитал в его глазах ни насмешки, ни антипатии, ни смущения.

— Я не был согласен с предложением надеть на вас наручники после вашего последнего выступления на ринге,— начал Балестрини как можно естественнее фразу, тщательно приготовленную заранее.— Что касается меня, то я бы скорее посоветовал надеть на вас намордник.

Буонафортуна улыбнулся — просто и весело, без всякого ехидства.

— Возможно, я и хватил через край, но еще никак не могу прийти в себя после ареста и вообще всей этой истории... Однако мой поступок и мои слова полностью соответствовали моим убеждениям.

Балестрини машинально кивнул. Этот юноша, не по возрасту густо обросший волосами, не мог скрыть своего непролетарского происхождения и образованности. У него не только был хорошо подвешен язык, но он явно был грамотнее большинства своих сотоварищей.

— Пользуясь случаем, хочу уточнить, что, плюнув вам в лицо, я намеревался выразить свое презрение не к вам лично, а к тому классу, который вы представляете. Более того, здесь, в тюрьме, я даже слышал о вас довольно лестные отзывы...

— Спасибо.

— ...и хотя я не верю, что можно служить сразу двум хозяевам, то есть быть судейским чиновником и в то же время оставаться честным порядочным человеком...

Балестрини решительно открыл «дело» арестованного, словно желая показать, что игнорирует эти последние слова. И потом, чего на него злиться? И так уже за свою дурацкую выходку в прокуратуре парень, наверно, заработает лишних года два.

Но Анджело Буонафортуна на этом не успокоился — слегка повернув голову, он пристально уставился на адвоката Латини, сидевшего, оттопырив нижнюю губу, с насупленным видом.

— Что касается вас, то я не просил назначать мне защитника и буду вести себя так, будто вы вообще не существуете. Вы защищаете не человеческие существа, а клиентов и в зависимости от того, кто больше заплатит...

— Браво, а теперь обрушься на конвойных, оскорби их и можешь считать, что сделал свое дело,— перебил его Латини, который на последних выборах в местные органы баллотировался по списку либералов, но собрал всего двести-триста голосов.

— Хватит, Буонафортуна! — прикрикнул на парня Балестрини и ощутил препротивную дрожь. Его ничуть не удивило бы, если б этот тип из «красных бригад» сейчас на него набросился, и Балестрини инстинктивно покрепче уперся коленями в письменный стол. Но ничего не произошло.— Я должен сообщить вам кое-что, чего вы еще не знаете,— начал Балестрини, разглаживая лежащие перед ним бумаги.

— Что, кассирша из кинотеатра отказалась от своих ложных показаний?

— Напротив, она продолжает клясться и божиться, что в тот вечер видела именно вас. Но относительно убийства полицейского мы пока что не располагаем никакими другими данными. Однако мы весьма тщательно осмотрели вашу комнату. В первый раз нас интересовало оружие, поэтому обыск был произведен поверхностно. Но теперь мы нашли кое-что другое.

Он ожидал, что Буонафортуна спросит: «Ну и что же вы нашли?» — но вопроса не последовало. Юноша молчал и внимательно, может чуть напряженно, смотрел на него.

— Банкноты по сто тысяч. Двадцать девять банкнот по сто тысяч. Запрятали вы их хорошо — в шкафу за зеркалом. Эти деньги уплачены как выкуп за похищенного Ди Риенцо.

Густые длинные усы арестованного мешали разглядеть его лицо, но Балестрини показалось, что Буонафортуна чуть заметно улыбнулся. Балестрини прочистил горло. Провести три допроса за час — совсем нелегко, особенно при его характере. Труднее всего подавить желание свернуть допрос поскорее — надо продолжать, хотя и через силу.

— Что вы можете сказать по поводу найденных денег? — спросил Балестрини тихим голосом и заметил, что защитник обеспокоенно заерзал на стуле. Эта новость, по-видимому, сразила его. Наверно, мучается теперь при мысли о том, что приходится защищать подсудимого даром. Между тем Буонафортуна наконец решился ответить.

— Ничего не знаю. Очень вероятно, что деньги засунула туда судебная полиция, чтобы пришить мне еще одно дело.

— Это предположение придется отбросить. При обыске присутствовали ваши родители. Трудно допустить, чтобы они были заодно с судебной полицией. Так или нет?

— Мне ничего неизвестно об этих банкнотах.

— Однако по крайней мере три из них вы разменяли в магазинах вашего квартала. Одну ассигнацию мы уже нашли, и она той же серии.

— А как вы можете доказать, что бумажка принадлежала мне? Даже если лавочник уверяет, что ассигнация моя, то я, со своей стороны, могу это отрицать.

— Конечно, отрицать можно и самое очевидное. Но находку банкнот на юридическом языке мы называем уликой.

— Называйте как хотите, вам и карты в руки. Что до меня, то я говорю и повторяю, что...

Балестрини обескураженно покачал головой. Обычно он не строил воздушных замков, но сейчас у него мелькнула надежда — а вдруг в ответ на его вопрос Анджело Буонафортуна с дерзкой улыбкой скажет: «А что, разве вы никогда не слыхали, доктор Балестрини, о том, что «красным бригадам» приходится самим финансировать свою деятельность?»

От мыслей о Буонафортуне он не мог отделаться и полтора часа спустя, когда автомобиль черепашьим шагом двигался по забитой машинами набережной Тибра. Несколько дней назад они с Де Леонибусом говорили о Буонафортуне, и Витторио сказал: «Этот парень играет свою роль более уверенно, чем я свою».

— Вы служите неправому делу,— впервые враждебно и с насмешкой произнес Буонафортуна, когда его уводили.

— Я служу делу правосудия,— не глядя на него, ответил Балестрини, продолжая складывать бумаги в папку. Адвокат Латини был занят тем же.

— Какого правосудия? Оно свое у каждой эпохи. Разве справедливо было убивать сыновей, восставших против родителей, держать рабов, преследовать евреев, бить слуг, посылать на костер еретиков? И все это с сознанием собственной правоты творили добропорядочные отцы семейств, а если кто-то вел бы себя по-другому, это сочли бы нарушением устоев. И каждый суд вершит, конечно же, правосудие, и судьи прекрасные — «горностаи» — белые, черные, пятнистые, но все одинаково кровожадные хищники. И вы знаете, что самое смешное?— бросил Буонафортуна напоследок, обернувшись.— Что среди этих судей были такие, кто искренне верил, что служит честному, беспристрастному правосудию!

Балестрини показалось, будто уже на пороге Буонафортуна еще что-то добавил. Уверен он не был, но, кажется, юноша пробормотал:

— Такие, как вы.

— Боже мой, что за буйнопомешанный! — восклицал бедняга Латини, вытирая грязным платком лоб. Когда с физиономии адвоката сошло насупленное, злобное выражение, за которым он прятался от непрерывных выпадов своего подопечного, мускулы его покрытого потом лица расслабились, и все черты как-то сразу обмякли.— Да разве можно защищать такую арестантскую харю? Я... я прямо должен сказать, я просто не знаю, что делать. Когда-то... вы помните, как было раньше? Впрочем, вы слишком молоды и в какой-то мере тоже принадлежите к новому поколению. Боже мой, раньше преступники были преступниками, а порядочные люди — порядочными людьми, и все было ясно с первого взгляда. Да, да, с первого взгляда. Воровство, грабежи, убийства, драки, изнасилования, аферы — обычные дела. А теперь? Кто теперь разберется? Дети из приличных семейств накачиваются наркотиками и творят такое, что

в мои времена не снилось и сексуальным маньякам. Я вам это серьезно говорю, совершенно серьезно. Теперь эти юнцы устраивают беспорядки, и любой с виду приличный парень запросто может проломить череп бедняге-полицейскому, отцу троих детей, или же спалить казенный «джип» ценой в десять миллионов. Вы понимаете, что делается? Говорят: политика! Политика! Творится просто что-то невероятное. Лично я ни за тех, ни за других, политика меня совершенно не интересует, хотя мой собственный сын запросто называет меня фашистом... Эх-хе-хе...

Наконец Балестрини от него избавился. Ему было даже чуточку жаль прерывать монолог адвоката, но он слишком устал. А кроме того, хотелось минутку спокойно поразмышлять над последней фразой Буонафортуны. Оскорбления и истерики арестованных оставляли Балестрини равнодушным, но на сей раз он готов был поверить, что этот тип говорит искренне. Во всяком случае, парень верит в идею. И вместе с тем вполне вероятно, что именно он убил полицейского и участвовал в похищении Ди Риенцо.

Машина неторопливо двигалась по забитым транспортом улицам, и можно было не спеша подумать. Однако Балестрини так и не сумел решить два-три волновавших его вопроса. Разговоры о том, что существует не одно, а сто правосудий и у каждого тысячи слуг,— лишь пустая риторика. Судейский должен быть убежден в своей правоте — и в профессиональном, и в моральном смысле, каждый шаг должен быть продиктован верой в то, во имя чего он его совершает. А все остальное — никому не нужная болтовня...

На площади Клодио он еле нашел место поставить машину. У бара «Розати-2» толпилось столько народа, что Балестрини даже решил было отказаться от кофе. Но вдруг среди озабоченных физиономий мелькнуло чье-то светлое, улыбающееся личико.

— Привет, угостишь меня аперитивом? — спросила Вивиана, подойдя к Балестрини, и они вместе стали пробираться сквозь толпу внутрь бара, к стойке с двумя ярко-красными кофейными машинами.

— Что ты тут делаешь?

— Приехала за Джиджи. Только он об этом не знает.

— А...

— Вот именно, а... Наверное, он так и ответит, когда я сообщу ему, что хочу прогуляться по набережной под ручку с мужчиной. Однако на тебя даже в этом вряд ли можно рассчитывать...— тяжело вздохнула Вивиана.

Балестрини, уткнувшись в свой стакан, усмехнулся. Несомненно, Вивиана — красивая и привлекательная женщина. Это он знал, но ему никогда не приходило в голову как-то по-другому взглянуть на жену Джиджетто Якопетти. И вовсе не потому, что он следовал одному из любимых изречений отца: «О даме не следует высказывать мнений, ее надо уважать». Он никогда не сравнивал Вивиану с Ренатой, хотя почти всегда видел их вместе. У него вообще не было привычки сопоставлять людей и давать им оценки. Однако его поразило, сколько взглядов, лишь мельком скользнув по нему, устремилось на Вивиану, а она, казалось, ничего не замечает, даже ни разу не оглянулась.

— Пошли?

Они миновали заграждение из светло-синих полицейских «джипов», более многочисленных, чем обычно, и направились вверх по людному узкому бульвару, где все беспрерывно друг с другом здоровались. Прохожие останавливались у лотка с юридической литературой. Рядом с изданиями вроде «Совместное домовладение» или «Новые положения о семейном праве» были разложены какие-то брошюрки в голубых обложках, и многие покупатели их с интересом листали.

— Что это такое? — спросила Вивиана.

Вопрос ее, понятно, относился не к десятку полицейских, а к целому лабиринту из переносных металлических ограждений, который громоздился у входа в прокуратуру. Потом лабиринт разветвлялся на три прохода: один вел к наружной лестнице, а два других — внутрь здания. Молоденький полицейский обыскивал какого-то толстяка — у него, видимо, не было повестки в суд или в прокуратуру.

— Это все из-за процесса Маральди? — спросила Вивиана, когда они входили в здание, где у двери их приветствовал безусый полицейский комиссар.

— Да. Теперь ограждения расставляют каждый месяц, самое меньшее дней на десять. Причем интересно, что они не наши. Мы берем их напрокат: на деньги, в которые они обходятся, в конце года можно было бы купить новые.

— Разве они из чистого серебра?

— Прости, что ты сказала?

— Да нет, ничего,— рассмеялась Вивиана, прижимаясь к нему плечом.

— Ну вот и ваш рынок Траяна [1], поглядим, тут ли Джиджи.

В вестибюле среди колонн, книжных киосков и кучек беседующих Джиджи не было. Не было его и у себя — кабинет оказался заперт на ключ.

— Знаешь, он, наверно, вообще сегодня не приходил,— пошутил Балестрини, подергав ручку двери. Вивиана улыбнулась.

— Пытаешься посеять раздор в семье? Мог бы и прикрыть его интрижки.

Гм, интрижки. Не худо было бы с ней поболтать, пошутить, только не то сегодня настроение, мрачно подумал Балестрини. Но Вивиана отнюдь не собиралась лишать себя возможности немножко побеседовать с Андреа.

— Ты что же, даже не пригласишь меня в свой кабинет? У тебя дела?

— Да нет. То есть не слишком много. Но я порядком устал, утром вел допросы.

— Поэтому и такой сердитый?

— Сердитый?

— Да, сердитый. У тебя такая физиономия... посмотрел бы на себя в зеркало. Послушай, что у вас с Ренатой происходит?

Балестрини молча уставился на Вивиану. Неужели что-то написано у него на лице? Вряд ли Рената чем-то поделилась с подругой. Еще маловероятнее, что их семейные дела уже стали предметом сплетен. Во всяком случае, пока еще не стали. Его охватило чувство суеверного преклонения перед сверхъестественным даром Вивианы видеть людей насквозь, с которым он сталкивался уже не впервые. Ей не требовалось ничего — ни свидетелей, ни экспертов, ни улик, ни документов. Без всякого предварительного следствия силами судебной полиции эта женщина, руководствуясь только интуицией, пришла к абсолютно точному выводу. Балестрини почувствовал, что Вивиана просто наслаждается его удивлением.

— Вот уже несколько дней Рената хочет о чем-то со мной поговорить, но нам никак не удается встретиться... Причем, наверно, по моей вине. Вы что, оба переживаете по одной причине?

— Более или менее,— заставив себя усмехнуться, ответил Балестрини. Поделиться с ней? С Вивианой? Он почувствовал, как в груди у него словно бесшумно опустилась металлическая шторка. Ледяная тяжелая, давящая. Ему не хотелось встречаться с Вивианой взглядом, и он по-детски вертел в руках лежащие на столе предметы.

---

[1] Торговые ряды, возведенные в Древнем Риме близ форума Траяна.

— Д-да... у нас не все в порядке... в некотором смысле. Рената с недавних пор, ну да... она...

— Это просто невероятно! — заметила с очаровательной непосредственностью Вивиана, поставив локти на стол и опершись подбородком на раскрытые ладони.

— Что невероятно?

— Подумать — такой человек, как ты, может быть страдающим мужем!

Шторка в груди задрожала, вызывая еще более неприятное чувство.

— Ты все еще в нее влюблен? А, Андреа?

— Пожалуй, да.

— Вот ты всегда такой: тебе обязательно нужно снабдить простое слово «да» — самое прекрасное из всех, какие только есть,— этим своим «пожалуй»... Ты, наверно, ответил «пожалуй, да» и на вопрос священника, хочешь ли ты, Андреа Балестрини, взять в жены... Эх, беда в том, что ты держишься подобным образом не только со мной, я-то, в сущности, человек посторонний, и ты меня чуточку стесняешься. Но ведь ты же ведешь себя так и с Ренатой!

— Прости, но что ты имеешь в виду? — спросил, вновь надевая очки, Балестрини.

— Ты просто зануда, Андреа. Твое занудство столь простодушно, столь естественно, что мне даже сказать тебе о нем стоит невероятного труда,— нежным шепотом проворковала Вивиана. И при этом улыбнулась так, будто призналась, что покорена его непосредственностью, мужеством, решительностью.— Ведь ты постепенно убиваешь этого несчастного крольчонка. Разве ты не видишь?

— В таком случае еще немного и мне придется отдать себя в руки правосудия,— сделал робкую попытку пошутить Балестрини. Он не знал, как остановить ее и покончить с неприятным разговором, а может, вовсе этого и не хотел. Даже телефон, вечно такой настырный и назойливый, молчал теперь, словно подыгрывая Вивиане. Хорошо продуманным жестом Вивиана подняла правую руку и показала три пальца.

— Что это значит? — неуверенно спросил Балестрини.

— Магическое число три. Я задам тебе три вопроса, и на один из них ты должен ответить «да». Согласен?

Балестрини в ответ покачал головой, стараясь придать лицу самое ироническое выражение, на какое только способен. Пока он пытался придумать предлог, чтобы выйти из кабинета, дверь без стука приотворилась, и в ней появилась голова его секретаря Гарибольди. Физиономия у него была более чем когда-либо унылая.

— Задержали какого-то вооруженного человека, пытавшегося проникнуть в прокуратуру. Его ведут к вам.

Вивиана поднялась, как только дверь затворилась.

— Кто это — террорист?

— Да какой там террорист! Вот увидишь, у него имеется разрешение на оружие. Самое бóльшее, наверно, не заплатил какой-нибудь налог.

— Ладно, я пошла. В воскресенье вы поедете с нами в Терминилло?

— Возможно, поедем, если не случится чего-нибудь непредвиденного.

— Так все-таки «да» или «нет»? — спросила, наклоняясь к нему, Вивиана. Балестрини улыбнулся.

— Да. Просто да... Так лучше?

— Пожалуй, да,— серьезным тоном ответила Вивиана и, подмигнув ему, вышла из комнаты. Из коридора уже доносился шум шагов, приближавшихся к его двери.

19

Узнать, чьи это голоса, было невозможно. Поэтому Де Дженнаро обозначил их начальными буквами алфавита, а самые интересные реплики выписал на листок бумаги. Интересные, однако, не в том смысле, что в них содержались какие-то ценные конкретные сведения. Просто в этих разговорах имелась своя скрытая логика, хотя уловить ее пока не удавалось. Вместе с тем в них не было той бессмыслицы, которая могла навести на мысль о том, что болтовня зашифрована.

Голоса слышалось три. Голос «А» был первым и звучал наиболее авторитетно. Он мог принадлежать старику лет семидесяти — резкий, неприятный, без всякого акцента и диалектизмов. Голос, вызывающий антипатию. Капитану Де Дженнаро он напомнил голос покойного полковника Витали, заправлявшего следственным отделом лет десять. Порядочный был мерзавец, настоящий садист: глядя на него, юный лейтенант мог подумать, что служить в корпусе карабинеров — самое последнее дело, если тут человек может так ожесточиться.

Но тот, кому принадлежал голос «А», казался более гибким, чем старик Витали, и занимал, вероятно, несоизмеримо более высокое положение. Он произносил «президент», «социалисты», «Конфиндустрия» так, как обычно говорят «мой начальник», «мои соседи», «молочное кафе». Но не это главное. «А», хоть и не пользовался каким-то кодом, шифром, проявлял в разговоре такую осторожность, что иногда его просто невозможно было понять. Не произносил фамилий, крайне редко называл имена, прозвища и никогда не указывал должности упоминавшихся им лиц.

Сначала слушать его было даже скучновато. Голос «Б», основной его собеседник, подавал отдельные реплики, вставлял короткие фразы. У него был еле уловимый венецианский акцент, возможно сглаженный долгим опытом публичных выступлений. «Вам с Франко пора уже убедиться в том, что...» — нередко повторял «А», утрачивая свою обычную невозмутимость. «Б», более спокойный и флегматичный, пропускал это мимо ушей. Было ясно, что эти два человека прекрасно понимают друг друга, и если спорят, то только по отдельным деталям. Нередко разговор касался сугубо личных дел.

Несколько раз подряд прокручивая эти магнитофонные записи, Де Дженнаро ломал себе голову над тем, какое значение могли иметь для бедняги Паскуалетти, а также и для его убийцы, например, сведения о том, что синьора «Б» давно болеет и ей, возможно, потребуется сделать операцию на открытом сердце с подключением аппарата для искусственного кровообращения.

И так целые две катушки на обеих сторонах!

Прежде чем начать слушать третью, Де Дженнаро пошел на кухню. Включив свет, он краем глаза заметил таракана, шмыгнувшего под холодильник. Значит, опять они появились, воспользовавшись отсутствием Сильваны. Она умела бороться с этой нечистью. Не жалея времени и сил, затыкала все щели и выискивала в магазинах все новые, более сильные яды. При ней в квартире не было не то что тараканов — ни мух, ни комаров, ни муравьев. Они и не осмеливались появиться.

— Добрый вечер, капитан! — приветствовал его из темноты промышленный эксперт Никола Джунти, как только Де Дженнаро вышел на балкон.

— А, добрый вечер.

Вот еще один таракан. Как только стемнеет, он незаметно выползает из щели. И так с мая и до конца октября. Однако этот хоть всегда любезно здоровается, а изредка даже угощает отличным вином. При мысли о вине Де Дженнаро почувствовал, что не прочь

пропустить глоточек. Но ради стакана холодного «марино» вряд ли стоило поддерживать разговор с соседом, тем более на расстоянии двух метров.

— Чувствуете, какой теплый вечер, капитан? Даже жарко. Если так пойдет, что же будет в июле?

Шумы раскинувшегося внизу квартала Африкано доносились и до их этажа, сливаясь в неясный гул. На их фоне выделялся негромкий хор соседских телевизоров, настроенных на одну программу.

— А вы не смотрите телевизор? — спросил капитан, по-прежнему погруженный в свои мысли. Он никак не мог понять, почему такой прекрасный вечер нагоняет на него тоску.

— Да он у меня сломался, а мастер за один осмотр столько сдерет...

Жаль, что нельзя сесть и работать на балконе. Правда, можно не сомневаться, что, включив здесь магнитофон, он сразу собрал бы внизу целую толпу невидимых, но внимательных слушателей. Капитан вернулся в комнату и улегся на кровать, зажег лампу на тумбочке. Красный глазок магнитофона был похож на тлеющий кончик сигары. Де Дженнаро захотелось пойти в кино, развалиться в удобном кресле и на два часа отвлечься, посмотреть чего-нибудь новенькое, даже если в «Рексе» показывают мультики. Но не идти же туда одному.

«Сегодня я беседовал с сенатором Джуссани»,— произнес «В», на сей раз начав разговор первым. Эта пленка была помечена маленькой цифрой «3», возможно проставленной самим Паскуалетти. Голос «В» уже мелькнул на второй пленке в диалоге с «Б», но с «А» пока еще он не разговаривал. Это был голос куда более молодой — мужчины лет под пятьдесят, а может, и сорок: в его интонации почти неуловимо проскальзывало что-то сардинское. В тоне слегка ощущалась почтительность, и хотя «Б», в отличие от «А», не казался таким высокомерным и не говорил начальственно, различие в служебном положении собеседников проступало совершенно отчетливо.

«Джуссани...» — повторил вслух капитан, останавливая магнитофон. Он напряг память, пытаясь вспомнить. Джуссани — бывший министр, представитель старого правого крыла христианско-демократической партии, покончивший год назад самоубийством. Будь этот человек жив, потянулась бы какая-нибудь ниточка, хотя использовать ее было бы и нелегко. Но то, что он умер, уже дает возможность установить очень важное обстоятельство: запись сделана самое меньшее год назад, а может, еще раньше.

Чем дольше Де Дженнаро слушал, тем сильнее убеждался в том, что эта пленка содержала более ясные и конкретные намеки, чем две другие. И куда более тревожные. Уже в самом начале одна фраза словно вспыхнула в темноте огромными, яркими, как на неоновой рекламе, буквами: «Совещание, состоявшееся вчера вечером, было самым антикоммунистическим из всех, на которых мне когда-либо довелось присутствовать, и носило вполне конкретный характер. Наконец-то у нас во главе генерального штаба стоит не какой-то пустозвон, способный лишь демонстрировать свои медали». Фраза, сама по себе на первый взгляд напыщенная и пустая, в контексте всего долгого разговора со множеством намеков, аллюзий, ссылок на другие беседы, других лиц, конкретные ситуации должна была звучать вполне логично для собеседника. Несколько минут ничего не значащей болтовни, потом вдруг была произнесена еще одна фраза, заставившая капитана подскочить на кровати. Ощупью в темноте он пытался найти клавишу перемотки, чтобы еще раз ее услышать. «Б» доказывал кому-то, что было бы глупо и опасно не показать «документы СИДа командующему корпусом» [1].

[1] Имеется в виду корпус карабинеров.

У Де Дженнаро от изумления перехватило дух, но он тотчас успокоился и посмеялся над собой. Вот что значит условные рефлексы: дисциплина, чувство долга, привычка повиноваться! Взять кассеты, собрать в кучу свои заметки и отнести полковнику Винье — пусть поступает со всем этим по своему усмотрению (и на свою ответственность). Избавиться, главное, как можно скорее избавиться от этого материала: ведь одно то, что он у него находится, означает сокрытие улик, пусть даже и в целях содействия органам правосудия.

Потом у капитана мелькнула одна несколько ободрившая его мысль. Надо пойти к Балестрини доложить обо всем, может, даже показать пленки. Но вовсе не для того, чтобы свалить с себя ответственность: такое возможно только после разговора с полковником Виньей — его непосредственным начальником и ни с кем другим. А для того чтобы выяснить мнение Балестрини, и главное — заручиться его поддержкой: следствие требовалось вести на уровне, несомненно, слишком высоком для простого капитана карабинеров. Но Балестрини все же судейский, то есть один из тех, как говорила Сильвана, кто зарабатывает себе на хлеб, сажая людей в тюрьму. В последнее время в полиции и среди карабинеров часто шутили: мы арестовываем преступников, а они (то есть судейские) выпускают их на свободу. Однако мысль в обоих случаях была одна: судейские — народ странный, свою профессию они превратили в обычную государственную службу, стали чем-то вроде банковских или почтовых чиновников. Либо же это фанатики, формалисты до мозга костей, поэтому ни о каком практическом сотрудничестве между ними и следственным отделом нельзя и думать.

Балестрини, конечно, не такой. Однако, хоть он и умен и с ним возможны не только служебные, но и какие-то личные отношения, все же вряд ли стоит ожидать, что он в полуофициальном порядке согласится на эти расследования, не придавая им огласки и не пуская в ход всех средств, предоставленных ему законом. А если Балестрини и даст согласие, то как же ему, Де Дженнаро, объяснить старику Винье свое молчание? А главное — почему он поделился не с ним, а с Балестрини?

Нет, нет, нельзя впутывать сюда Балестрини, решил капитан. В то время, как подходила к концу вторая сторона третьей кассеты, обрушивая на Де Дженнаро поток непонятных фраз и не находящих объяснения намеков, зазвонил телефон. Капитан почему-то был уверен, что звонит именно Балестрини.

— Алло.

Минуту он выждал, слушая в трубке на другом конце провода чье-то прерывистое дыхание и обычное потрескивание. Его удивило, что сразу не раздались привычные ругательства и оскорбления. Он прислушался и повторил:

— Алло.

— Алло... Послушайте, мне нужен господин капитан Де Дженнаро,— произнес женский голос с сильным иностранным акцентом. После хриплых наглых голосов звонивших ему мерзавцев этот голосок показался особенно нежным и приятным.

— Это я.

— Ах, это вы? Добрый вечер.

Ее фамилия ничего ему не говорила. Потом вдруг вспомнилась десятиминутная передышка во время первого посещения виллы Мартеллини и предварительных допросов в связи с похищением старика. Какая-то светловолосая девушка, лет двадцати, с испуганным видом оглядываясь по сторонам, подошла к нему, ободренная его улыбкой. Она прекрасно говорила и понимала по-итальянски, но произношение у нее было такое, как в итальянских кинокомедиях у туристок, приехавших из-за Ла-Манша. «Почему мне задают столько всяких вопросов?» — взволнованно повторяла девушка. Она была потрясена похи-

щением деда детей, к которым ее взяли в гувернантки, к тому же она, казалось, боялась того, что «власти» могут заподозрить ее как сообщницу бандитов. До сих пор в Риме она видела только слащавую любезность со стороны прохожих и случайных знакомых; дружескую сердечность соотечественников при встречах с ними в баре «Паскуино» или на площади Испании; безбедное существование сначала благодаря щедрой стипендии, а затем — службе на вилле Мартеллини. От пронизывающих взглядов и грубых расспросов тех, кто недавно допрашивал ее (то ли в квестуре [1], то ли дома — было неясно), она совсем растерялась. Что за дикие вопросы! С кем она была знакома раньше? С кем знакома сейчас? Не интересовался ли у нее кто-нибудь привычками старого Мартеллини? Знает ли она некоего Сальваторе Матараццо?.. Тяжелее всего на нее подействовало то, что ее ответы — от страха они становились все сбивчивее, а голос дрожал все сильнее — слушали с явным недоверием.

— Я... господин капитан... я ни в чем не виновата,— повторяла она, наверно, уже в четвертый раз, и Де Дженнаро не мог сдержать улыбку. Ну как ей все это объяснишь?

— Да успокойтесь же,— подбодрил он ее,— не стоит плакать из-за таких пустяков. Никто и не думает, будто вы могли участвовать в похищении синьора Мартеллини.

— Ах, значит, вы мне обещаете помочь? — пробормотала девушка уже более спокойно.

— Я ничего не обещаю. Я только говорю, что против вас нет никаких улик. С другой стороны, по-моему, и у вас в стране тем, кто невиновен, нечего бояться.

Он подождал, пока до нее дошли его слова, и услышал в ответ «господин капитан», дважды повторенное с облегчением. В действительности же достаточно было кому-нибудь из родных Мартеллини высказать хоть малейшее подозрение по поводу этой испуганной упитанной курочки, и ей пришлось бы пролить немало слез, прежде чем она сумела бы полностью оправдаться. Возможно, к тому времени уже успели бы освободить старика, разумеется, если родственники смогли бы собрать пять миллиардов выкупа. Между тем звонок англичанки отвлек Де Дженнаро от неприятных мыслей. Почувствовав, что он наконец понял, с кем говорит, девушка пустилась в пространные объяснения, явно не имеющие никакого отношения к цели ее звонка.

— Как вы узнали мой телефон? — перебил ее Де Дженнаро.

— Я запомнила вашу фамилию. На вилле часто ее называли.

— Хорошо, а номер телефона?

— Я нашла его в телефонной книжке,— с легким удивлением ответила девушка.

— В какой телефонной книжке? Вот уже три года, как его там нет.

— Возможно, и так, но у меня дома старый справочник.

— Разве вы живете не на вилле?

— Нет. Я прихожу к Мартеллини утром и ухожу от них вечером. Там негде ночевать...

Капитан о чем-то раздумывал и не перебивал англичанку. Продолжать работать ему не хотелось: третья кассета с ее головоломками прекрасно могла подождать до полуночи или даже до завтра.

— А что вы делаете сегодня вечером, мисс?

20

На какое-то мгновение Ренате показалось, будто он хочет ей что-то сказать. Уже попрощавшись, Андреа в нерешительности постоял на пороге спальни. Задергивая молнию на юбке, она вобрала голову

[1] Полицейское управление.

в плечи, ожидая, что муж заговорит. Против обыкновения, сегодня он не опаздывал, и, значит, время было. Однако дверь спальни закрылась, почти тотчас хлопнула входная дверь, а затем с лестницы послышалось натужное кряхтение поднимавшегося лифта. Ежедневный ритуал ухода на службу был окончен. Она по-прежнему стояла, прислонившись к комоду, и с облегчением смотрела на закрывшуюся дверь.

Рената наливала себе кофе, когда зазвонил телефон. Бросив чашку в мойку, она кинулась в коридор. Прежде чем взять трубку, Рената по привычке дважды сделала глубокий вдох, как бывало раньше крестилась перед экзаменом, хотя теперь уже знала наверняка, что это ничуть не помогает. («У господа бога своих хлопот хватает, твое дело учиться»,— каждый раз повторял падре Бландино, когда она ему об этом рассказывала.)

— Слушаю.

— Привет!

— Ты где?

— Все еще в Латине. Сейчас выезжаю. Послушай...

— Что? — прошептала она еле слышно. Она ненавидела эти ужасные мгновения: ноги у нее дрожали, дыхание перехватывало, и казалось, она вот-вот задохнется. Рената презирала себя в минуты, когда теряла контроль над собой,— жестокие, душераздирающие, мучительные. Но она их и любила.

— Мы увидимся? Всего лишь на полчасика. Перекусим немножко, и я сразу уеду. В шесть мне надо быть в Неаполе.

— Нет,— ответила она решительно и вновь открыла глаза. Она чувствовала, что немного приходит в себя. И начала слушать, что ей говорит Джино. Поезд, Неаполь, деловая встреча, нужные люди, Бари, Таранто и Фоджа... Восемь дней?.. Может, даже десять. Ужасное одиночество, звони по междугородней, посылать открытки даже не думай, письма тоже лучше не надо...

— Так как же сегодня?

— Нет,— повторила она. И не из опасения, что кто-нибудь их увидит.

— Я помню, что обещал больше не просить тебя об этом... но я не знал... Ведь я не знал, что мне придется уехать... А, Рената?

— Ну что?

— Рената, но почему же? Всего полчасика в кафе... Ты уже пила кофе?

— Как раз наливала себе чашку,— ответила она, тихонько засмеявшись. И услышала, что он тоже смеется. Наверно, это действительно было в конце концов смешно. У нее стынет кофе, а они сговариваются идти его пить куда-то в другое место. Она подумала о Джованнелле и ее возможных расспросах, которых так боялась. Рената страшилась их еще с понедельника, хотя к тому не было причин. «Девочку что-то гнетет. Она страдает»,— как-то заметил Андреа, который почти каждый вечер подолгу помогал Джованнелле делать уроки, а потом засыпал в кресле с блоком дистанционного управления в руке перед недавно купленным цветным телевизором.

Подумав о Джованнелле, Рената нашла выход. Довольно трусливое решение, весьма удобный компромисс. Все еще раздумывая, она облизнула губы и посмотрела на часы. Прислуга должна была прийти с минуты на минуту, и это ее подстегнуло. Она вновь прикрыла глаза.

— Ну, хорошо, раз уж ты хочешь со мной попрощаться... Слушай, в четверть первого я пойду за девочкой в школу...— И тут она растерянно умолкла. До сих пор Джованнелла в их разговорах была запретной темой, а сейчас Рената вдруг ее коснулась.

— За Джованнеллой? — спросил он, и это прозвучало не просто вопросом.

— Да.
— Ты ведь сможешь выйти из дома минут на десять раньше?
— Да-а. Но ты должен...
— Хорошо, хорошо, все будет так, как ты хочешь.

Она заставила его себя выслушать. Ему надо исчезнуть прежде, чем прозвонит звонок с уроков. Девочка не должна его видеть. Таково условие. Ей показалось, что он колеблется, и неожиданно ее охватил безотчетный страх — вдруг он не захочет уйти, это будет просто трагедией. И зачем только она не совладала с собой, уступила и дала ему согласие встретиться? Нет, она ни в коем случае не должна была этого делать.

— Ну хорошо,— ответил он.

Кофе у нее окончательно остыл, но она, помешав его ложечкой, все-таки выпила. Почти совсем горький, какой нравился председательше. Мысленно она всегда называла мать Андреа только председательшей. Всякий раз, когда, отвечая по телефону, та произносила своим глубоким, звучным голосом: «Синьора Балестрини слушает. С кем я говорю?» — казалось, она предлагает непочтительной публике встать со своих мест.

«Видишь ли, я просто не знаю, кто из них двоих председатель суда»,— шепнул на ухо невесте Андреа в день свадьбы, желая немного ее приободрить. И она действительно улыбнулась, но так, чтобы никто не заметил. А улыбаться были все причины — денек выдался на славу, и гости казались такими веселыми. И еще — смех вызывал вид самой председательши: она красовалась в величественной белоснежной шляпе с такими огромными полями, что они укрывали от жаркого июльского солнца даже ее широченные плечи.

Однако, когда она видела перед собой лицо свекрови — неизменно такое серьезное, чуть грустное, но без следа злобы или раздражения,— Рената не могла заставить себя улыбнуться. Председатель (он умер месяца через два после свадьбы сына) был мягче и добрее. Он по-отечески подмигивал Ренате, беседовал с ней, беспокоился, почему она такая бледная. Он был довольно высокий, но казался меньше ростом из-за небольшого аккуратного брюшка. У него были квадратные усики, свою соломенную шляпу он носил с удивительным шиком. В тот день он был без шляпы, и солнечные лучи играли на его уже внушительной лысине. То и дело он обеими ладонями проводил по голове, словно приглаживая несуществующие волосы. Вероятно, этот жест сохранился с тех пор, когда у него еще была пышная и, наверно, кудрявая шевелюра.

Именно он, старик Балестрини, был вдохновителем свадебного обеда, заказанного на террасе уютного ресторанчика в Кастелли под увитым зеленью навесом, наконец-то защитившим его лысину от солнечных лучей. И за столом, скрывая свое волнение, он делал все, чтобы самые почетные гости не скучали, и поддерживал общий разговор. Он без конца подбадривал взглядом то сына, то жену, то родителей новобрачной, ни на секунду не забывая о ней самой. А когда кто-то произнес совсем неуместный тост («Желаем счастья и детей!»), заставивший Ренату опустить глаза на еще нетронутые макароны, он даже ей подмигнул.

— Добрый день, синьора,— поздоровалась вошедшая прислуга, громко захлопнув тяжелую входную дверь. Рената положила пустую чашку в мойку и еле слышно ей ответила. Женщина, как всегда, сразу затараторила, перечисляя покупки: хлеб, молоко, яйца...

— Что еще вы велели купить?

— Спички для кухни.

— Ну вот, а я и забыла,— пробормотала прислуга, снимая легкий жакетик и вовсе не проявляя желания снова бежать на улицу.

— Начните уборку, Анна, с комнаты девочки,— распорядилась

Рената, выходя в коридор. Взяла с полки транзисторный приемник, на ходу включила его и вошла в спальню.

На комоде стояли цветные фотографии — память о том дне: она вся в белом, он в темно-синем костюме; фотографии напомнили ей о свадебном обеде и ее отце, который попросил вторую порцию «каннеллони». Эти толстые макароны он всегда любил, а в тот день у него был такой довольный вид, что ему, наверно, понравилось бы все что угодно — хоть прессованное сено. Он все время поглядывал по сторонам с выражением приятного изумления на лице. Посадили его между председательшей и ее очень пожилой приятельницей, и отец то и дело за спиной председательши обменивался двумя-тремя фразами с папашей Андреа, который, казалось, уделял ему больше внимания, чем другим гостям. Рената невольно сравнивала их между собой и весь этот трудный для нее день не могла отделаться от какого-то чувства унижения. Особенно тяжело было видеть улыбку отца — недоверчивую и хитрую.

Она еле удержалась от слез, когда он, обняв ее, воскликнул: «Желаю тебе счастья, дочь моя!» Значит, уже не шлюха, не дрянь, не грязная тварь, не проклятая обманщица. Сейчас просто невозможно было поверить, что он мог так ее называть. Только когда взгляд его останавливался на зяте — в те времена более худощавом и жизнерадостном,— можно было заметить, что в нем борются противоречивые чувства. Благодарность вместе с удивлением, недоверие, чувство облегчения и, должно быть, плохо скрытая язвительная насмешка. Несомненно, он не понимал, как могло взбрести в голову этому блестящему юноше, уже занимавшему хорошее положение, ни с того ни с сего вдруг сделать такой выбор и спасти честь его единственной дочери. И это при том, что она уже была в положении! Отец никогда не мог этого понять, а особенно в день свадьбы. Так же, наверно, как и жавшаяся к нему маленькая женщина, которая настолько оробела, что совсем забыла про знаменитые «каннеллони». Она не отрывала глаз от молодоженов, и при каждом тосте глаза ее увлажнялись слезами.

— Я кончила,— объявила Анна, появляясь в дверях и обводя комнату любопытным взглядом.

— Вы кончили убирать у Джованнеллы?

— Ну да, я вам про то и говорю.

— Примитесь за уборку в других комнатах... сколько успеете. Который сейчас час?

— Наверно, часов десять, но, может, мои часы немного спешат.

Рената начала спокойно причесываться, стараясь прикрыть волосами шрамик на лбу. От кофе остался приятный вкус во рту, хотя она пила без сахара — значит, председательша права: «Горький кофе — как удар хлыста, сладкий — как нежная ласка. А утром нужен удар хлыста».

На свадебной церемонии и на праздничном обеде, продолжавшемся почти до вечера, главенствовала она — молчаливая, преисполненная уважения к собственной персоне, в своей огромной шляпе, которая словно давала ей право требовать еще бóльшего почтения. Потом она уехала поездом с вокзала Термини. Они провожали родителей Андреа, потому что сами уезжали только около полуночи. Председатель стоял у окна вагона до тех пор, пока они могли его видеть.

— Я ухожу,— сказала Рената, заглядывая на кухню.

— До свидания. Не забудьте купить спички.

Рената улыбнулась. Очень мило: прислуга охотно и дружески предлагает ей разделить бремя хозяйства. С тех пор как она замужем, никогда еще у них не было такой глупой и столь дорогостоящей прислуги. Ничего не поделаешь — расходы по дому становятся все разорительней, но подобную дуру держать невозможно. Надо искать новую служанку, тем более что в начале лета это не так уж

трудно. Приближается пора отпусков, многие увольняют прислуг, и далеко не все из них уезжают в отпуск.

— Вашему мужу спешное письмо, синьора,— сказал швейцар, как только она вышла из лифта.

— Спасибо.

— Вы возьмете?

— Нет, опустите, пожалуйста, в ящик. Я захвачу на обратном пути.

— Хорошо.

Выйдя из подъезда, она не удержалась и обернулась. Дом их — красный кирпич и желтая охра — выглядел совсем неплохо. Два дня назад кто-то ночью при помощи разбрызгивателя вывел на стене несмываемой краской: «Балестрини — рогоносец и фашист». На рассвете швейцар решил, что их следует разбудить. Потом вооружился скребком и усердно принялся за работу. К восьми утра надпись почти совсем исчезла, остались только следы на стене. «Денька через два-три,— заверил огорченный швейцар, словно это он нацарапал неприятные слова,— я подберу нужный цвет, чуть подкрашу стену и ничего не будет заметно».

Хождение по магазинам заняло не слишком много времени. По понедельникам она набивала доверху машину всем необходимым на неделю, а потом лишь подкупала недостающее. Но сейчас она нарочно задерживалась у прилавков, все больше нервничая и раскаиваясь, каждые пять минут посматривая на часы.

— Положите еще головку чеснока,— сказала Рената продавцу, лишь бы отделаться от своих мыслей. Андреа не выносил чеснок.

— Вот последняя.

— Хорошо. Сколько с меня всего?

Заплатив, она пошла к машине. Было уже четверть двенадцатого, но по мере того как приближалось время встречи страх сменялся парализующим чувством тоски и тревоги. Это было куда мучительнее, чем ожидание звонка по утрам и телефонные разговоры.

Ей не терпелось поскорее его увидеть, но нетерпение вдруг куда-то исчезло. Последние несколько шагов она преодолела, не чувствуя под собой ног, словно паря над эскалатором. Она заметила его раньше, чем он ее, и смогла какое-то мгновение тайком понаблюдать за ним. Потом окликнула:

— Джино!

Он потолстел. Правда, не очень, но все же полнота, усы и галстук придали ему наконец солидный вид. Быть может, даже чересчур. И что это у него за хмурое выражение лица — ведь он был всегда такой веселый.

— Привет, Джино.

— Привет.

В том, как он с ней поздоровался, она почувствовала неожиданную искренность и теплоту. Потом увидела цветы.

— Извини, я тут принес тебе цветочки,— услышала Рената; он пробормотал это, протягивая ей цветы, осторожно, словно пробирку с бациллами.— Я не знал, что... не знал...— Он замолчал и улыбнулся. Хмурое выражение сошло с его лица, и он стал снова таким, как прежде. Непривычными были только усы, однако они, изгибаясь, тоже участвовали в улыбке, которая расплывалась все шире.— Что это с тобой, Рената? Ты плачешь?

21

Кто бы мог подумать, размышлял Джиджи Якопетти без тени улыбки. Ведь когда он расскажет, что на сей раз прокурор в самом деле заболел, ему все равно никто не поверит. Совсем как в известной басне. Когда в первый раз шеф завопил: «Ах, моя печень! Моя

печень!» — и схватился за живот, все, исполненные жалости и почтения, бросились к его ложу. Всерьез восприняли разговоры старика о том, что ему пора на покой, и даже начали гадать, кто же займет его кресло. Но за печенью последовали сердце, почки, кровообращение, а затем одна за другой и другие болезни. Теперь уже мало кто мчался проведать прокурора. Никто ему больше не верил.

Хотя прокурор вряд ли когда-нибудь читал Мольера, ему, несмотря на отменное здоровье, прекрасно удавалось прикидываться больным.

В сущности, время от времени главный прокурор Рима полностью выбывал из строя, словно и вообще не было такой должности. И хотя это не слишком сказывалось на работе благодаря общепризнанной отлаженности служебного механизма, все же не проходило бесследно и доставляло немало хлопот.

Однако по пути в прокуратуру Якопетти перестал думать о комичности ситуации. Конечно, под глазами у старика синяки, может, он сбавил несколько килограммов. Может, у него действительно повысилась температура, и он даже, наверно, непритворно покашливает. Но кому не случается заболеть, и Якопетти готов торжественно поклясться: прокурор и впрямь болен; в прокуратуре тоже должны поверить в болезнь старика и отказаться от мысли, будто это лишь очередные фокусы их чемпиона крепкого здоровья. Нет, Якопетти волновало другое: создавалось впечатление, что Балестрини впервые вынуждают отречься от взятой на себя роли мусорного ящика, куда в прокуратуре сваливали все самые трудные и неприятные дела.

Последнее такое дело как раз досталось Витторио Де Леонибусу, но он из любви к спокойной жизни и слышать не желал о Буонафортуне и его оставшихся на свободе сообщниках. Никто не считал Де Леонибуса трусом. Никто его вовсе и не заставлял рисковать жизнью, надо было только взяться за расследование, требующее полной отдачи. Следователя прокуратуры ждали атаки журналистов, постоянное нервное напряжение. Наверняка по ночам его будут поднимать телефонные звонки, из трубки посыплется ругань, а на входной двери появятся оскорбительные надписи, вроде той, которая регулярно красуется на доме Балестрини. Значит, в стадо доброго пастыря Балестрини затесался даже террорист из «красных бригад» — то ли настоящий, то ли мнимый.

— Ставьте здесь,— сказал сторож на автомобильной стоянке, указывая на немыслимо узкую щель. После полудюжины попыток Якопетти втиснуть машину, успеху которых мешал к тому же высокий тротуар, сторож в конце концов потерял терпение.

— Дайте-ка мне ключи, адвокат. Я сам поставлю.

Якопетти видел сторожа каждый божий день уже целых два года, и ему надоело всякий раз поправлять его. Адвокат так адвокат. Черт с ним.

— Спасибо.

— Привет, Джиджи! — поздоровался кто-то.

— Здравствуй.

День выдался очень жаркий, и это расстроило Якопетти. В конце необычно холодной весны он решил: ладно, пойду-ка я в отпуск в августе. А теперь погода, казалось, уже установилась, с каждым днем солнце жарило все сильнее, а ведь было только начало июня.

Он влился в поток посетителей, спешивших по коридору, его толкали и пихали со всех сторон. Душа Джиджи — прирожденного первого ученика в классе — неимоверно страдала. Когда прокурор после пространного предисловия намекнул, что, возможно, отберет у Балестрини дело, которым тот сейчас занимается, и потом, разумеется не сразу, передаст это дело ему. Якопетти, Джиджи сперва удивился, затем на смену удивлению пришло любопытство. В отличие от третьего члена их компании, Витторио Де Леонибуса, Джиджи

частенько толковал с Андреа о работе и вне служебных стен, но Балестрини ни разу не обмолвился и словом о каком-то особенно деликатном и трудном расследовании.

— Я предупреждал этого упрямца,— хрипя и задыхаясь, каждые пять минут повторял прокурор. И наверняка он действительно предупреждал, накручивая, по своему обыкновению, одну на другую туманные фразы. Однако Андреа продолжал действовать себе во вред. Он спустил с цепи «этого своего дружка капитана Де Дженнаро», с усмешкой продолжал старик, вовсе не скрывая своего презрения к дружбе и сотрудничеству Андреа с капитаном. Балестрини, как всегда, задирал нос и отдавал приказы, а ищейка рычала и брала след, поднимая никому не нужный дьявольский шум.

— Доктор Санфилиппо? — остановила Джиджи какая-то растрепанная женщина, когда он выходил из лифта. Она обдала его запахом тошнотворных духов.

— Простите? — спросил несколько ошарашенный Якопетти.

Женщина с идиотской улыбкой тихо повторила фамилию.

— Никогда не слышал. Это кто — судья?

— Наверно.

— К сожалению, такого не знаю.

— Все равно благодарю вас.

Переждав, пока волны аромата рассеются, он сделал глубокий вдох и попытался восстановить ход прерванных мыслей. О ком он думал — об Андреа? Ну да, конечно, однако главное действующее лицо во всей этой истории — прокурор. Его умение разобраться в ситуации — минимально. Его стремление понравиться новому генеральному прокурору, с которым он только познакомился,— неудержимо. Его способность объективно оценивать работу, проделанную своими помощниками, независимо от собственных политических и служебных пристрастий — начисто отсутствует.

Якопетти уселся за стол, не слушая секретаря, докладывавшего о том, кто звонил по телефону, кто приходил и что просили передать, и одновременно вывалившего перед ним гору уже зарегистрированных «входящих».

— Спасибо. Вы случайно не видели Балестрини?

— Н-нет. По-моему, сегодня у него судебное заседание.

Это к лучшему. Джиджи находился в крайней нерешительности: он раздумывал, то ли поговорить с Андреа начистоту, то ли сделать вид, будто ничего не знает. Во всяком случае, он выигрывал день. Но если все-таки он решит поговорить с Балестрини — о чем он ему скажет? Что старик бормотал себе под нос нечто туманное с бесконечными «но», «возможно», «кто знает», «в случае, если», «вероятно»?..

— Привет!

Он удивленно поднял голову. С порога ему улыбалась Рената Балестрини, с ней была Джованнелла. Якопетти быстро поднялся, поймав на лету бумагу, которую, вставая, смахнул со стола.

— О, какие неожиданные гости! Привет, малышка! Ты ходишь по делам вместе с мамой?

— Привет.

— Ты ищешь Андреа?

— Да. Но он, наверно, еще на судебном заседании.

— Да. Если хочешь его подождать, располагайся. Я только просмотрю несколько бумажек и освобожусь.

— Если мы тебе не помешаем...

Церемонность Ренаты заставляла и его держаться скованно, к тому же связывало присутствие девочки: хотя Джованнелла давно его знала, она никак не могла преодолеть смущения и вести себя с ним так же запросто, как с Витторио Де Леонибусом.

— Так, значит, Джованнелла, ты сейчас прямо из школы? — спросил Джиджи, сразу пытаясь найти нужный тон.

В ответ девочка лишь спокойно кивнула головкой. Внешне она не очень походила на Андреа, но характером его весьма напоминала. Джованнелла была такой же флегматичной, как он.

Джиджи стал проглядывать лежащие перед ним бумаги, ощущая на себе взгляд Ренаты. Ненароком подняв на нее глаза, он почувствовал, что с ней творится что-то неладное.

— Как жизнь?

— Так себе.

— Мне показалось, не знаю... что ты какая-то бледная...

— Плохо спала.

Прежде чем вернуться к своим бумагам, он еще раз внимательно посмотрел на Ренату. Дамочка довольно неприметная, не то что его Вивиана. «Однако корма у нее что надо»,— не раз отмечал Витторио Де Леонибус. Но и в ее фигуре Джиджи не видел ничего особенного: что, черт возьми, нашел в ней Андреа? Она внушала симпатию и скорее жалость, чем любовь, как некрасивый щенок, если только он, конечно, не делает в комнате на ковер. Но для Андреа, которому подошла бы — скромность в сторону! — такая женщина, как его Вивиана, жениться на этой закомплексованной маленькой провинциалочке поистине значило похоронить все свои честолюбивые помыслы, если, конечно, они у него когда-нибудь и были.

— Ну вот и все,— объявил Якопетти, откладывая шариковую ручку.— Теперь скажи, что ты собираешься делать.

— Не знаю... а который час?

— Двадцать минут второго.

— Так поздно! Ты проголодалась? — обратилась Рената к девочке.

Джованнелла рассеянно кивнула.

— Ты на машине? — спросил Якопетти, неожиданно вспомнив о своем автомобиле, оставленном у сторожа, у которого, быть может, даже нет водительских прав.

— Да. Тебя подвезти?

— Нет, у меня есть машина. По крайней мере, надеюсь, что есть.

Он проводил ее на улицу. Болтая, они оглядывались по сторонам, надеясь перехватить Андреа, если заседание уже закончилось и он надумает ненадолго забежать к себе. Потом вместе дошли до улицы Голанетто, начинавшей уже пустеть.

— Зайдем выпить аперитив? — предложил Якопетти, но без особого воодушевления, что было, наверно, слишком заметно.

— Нет, Джиджи, спасибо. Я поеду прямо домой.

Он смотрел вслед Ренате, пока ее не заслонили автомобили, в голову ему все лезли дурацкие шуточки Де Леонибуса насчет ее фигуры.

Потом Якопетти неожиданно принял решение. А почему бы, в конце концов, и не согласиться? «Ну, мы с вами еще об этом поговорим»,— бормотал прокурор, протягивая ему свою дрожащую руку и не скрывая разочарования. На что же это похоже? Теперь стали капризничать даже первые ученики? Он не то чтобы решительно отказался, но и не дал положительного ответа...

— Спасибо, адвокат,— поблагодарил сторож, даже не взглянув, сколько Джиджи дал ему на чай. Никаких сложных маневров уже не требовалось: машина была повернута к проезжей части, и по обе ее стороны оставались достаточно широкие просветы.

(Окончание следует)

РОБЕРТ БЛАЙ

Девять стихотворений из книги «Человек в черном пальто оглядывается»

Перевод с английского и вступление
МИХАИЛА ДУДИНА

Роберт Блай. У него открытое лицо и небрежно перепутанные длинные седые волосы, внимательные серые глаза под очками в светлой металлической оправе, жилет из черного атласа с красными цветочками, пестрый шейный платок и крепкие руки с широкими ладонями. Когда он читает стихи, его крупные пальцы бережно держат греческую мандолину, искусно инкрустированную перламутром, и перебирают в такт стихотворному ритму струны. Голос у него сочный и убедительный, согретый вниманием к слушателям.

В разговоре он добродушен и доброжелателен. Улыбка полных губ подчеркивает эти качества его души.

Я с ним познакомился в Киеве на пятой встрече американских и советских писателей. Тогда я перевел одно его стихотворение и прочел его вслед за выступлением Блая, а он, в свою очередь подыгрывая себе на мандолине, прочел мои стихи, переведенные на английский.

Это было два года назад. За день до окончания встречи я тогда по какой-то надобности уехал в Ленинград, а Роберт Блай через Давида Кугультинова, бывшего на этой встрече до конца, переслал мне свою последнюю книгу «Человек в черном пальто оглядывается» и тетрадь с чистой бумагой в твердом переплете из ситца, такого же пестрого, как его жилет.

Тетрадь я уже заполнил своими черновиками, а часть стихотворений из книги «Человек в черном пальто оглядывается» попробовал перевести на русский язык.

В этом году в марте на шестой встрече американских и советских писателей в Лос-Анджелесе я снова встретился с Робертом Блаем. Он прилетел из Чикаго, где читал лекции о поэзии в университете, чтобы повидаться со мной. Мы с удовольствием поулыбались друг другу и похлопали друг друга по плечам, как старые и хорошо знакомые люди.

Но обе эти встречи были только началом наших отношений, которые, как мне кажется, еще должны найти свое доброе продолжение. Мои переводы стихотворений Роберта Блая и есть продолжение и подтверждение наших встреч. Я переводил эти стихи с удовольствием, и сам процесс перевода постепенно открывал мне душу поэта, ее заботы и сомнения, ее характер и веру, ее необычный ассоциативный строй.

Стихи Роберта Блая переводили на русский язык и до меня. Эти переводы напечатаны в антологии «Современная американская поэзия». Мои переводы — вторая публикация его стихов на русском языке.

Мне еще остается сказать несколько слов о жизни Роберта Блая, из того, что я об этой жизни знаю.

Он родился в 1926 году в Мадисоне, штат Миннесота. Участвовал во второй мировой войне — последние два года войны служил на флоте. В 1956 году окончил университет. Потом занимался литературной работой. Выпустил десять сборников своих стихотворений и одиннадцать сборников переводов иноязычной поэзии. Среди поэтов, стихи которых он переводил,— Пабло Неруда, Рильке, Лорка. В 1968 году ему была присуждена Национальная литературная премия, которую он передал движению против войны во Вьетнаме. В 60-е годы Роберт Блай совместно с поэтом Дэвидом Реем подготовил и издал две антологии антивоенных стихов.

Живет он в Миннесоте с женой Рут и детьми. Много ездит с лекциями о поэзии по университетам Америки.

И последнее. При нашей встрече в Лос-Анджелесе он не без гордости сказал мне, что только что закончил стихотворение о Никарагуа. В его глазах при этом светилось истинное сочувствие.

Может быть, когда-нибудь я переведу и эти стихи на русский язык. Я бы хотел этого.

Моему сыну Ною десять лет

Проходят день и ночь. Уходит день за днем.
То, что старо, не молодеет снова,
а молодое к старости спешит.
Не молодеют бревна во дворе, и доски,
темнея, не становятся моложе.
Но вековое дерево растет, но старый
сарай стоит защитником надежным
тревожной темноты ночей, и лошадь,
раскачиваясь, поворачивается. Цыпленок
кричит и трепыхается, цепляясь,
чтоб в темноту не выпасть, за насест.
А добрый человек идет к столу
и медленно садится
за стол. Я нежностью горжусь,
владеющей тобой и мной, когда ты
рисуешь человека в рыжем нимбе
живым огнем пылающих волос
и запах чая умиротвореньем
струится над обеденным столом.

Блудный сын

Блудный сын на коленях в лузге и грязи
вспоминает мольбу умиравшего: «Доктор,
умирать не хочу!» — а в грязи и лузге
копошатся и хрюкают жирные свиньи.

Блудный сын на коленях стоит в шелухе
и глядит через пальцы ладоней на море,
на причалы Сидона и Тира, на дым
кораблей, уплывающих в дальние дали.

«Не тащи меня дальше порога, — старик
умоляет истошно орущего сына, —
я отца своего лишь до этой черты
дотащил».

А родному отцу моему
скоро семьдесят пять. Он печально глядит
в воду вечности, в узкую дверцу на дне
под водою, куда незаметно ушли
и пропали за дверцею жирные свиньи.

Узник и радио

Ребенок плачет на опушке леса,
и тихо бабушку свою зовет,
и слышит голос бабушки. Топорик
с земли подпрыгивает.
И бизоны
летят лавиной. Впереди — скала

© by Robert Bly, 1981.

Их ждет засада. Каменные люди
между камней лежат, подстерегая
бизонов. Вскакивают и бегут
навстречу им, размахивая шкурой.
Ломая ребра, падают бизоны
через скалу на камни. Убежать
не многим удается...
Наконец
из двери каменного каземата
выходит узник. У него в руках
картонная коробка. Мир давно
забыл его язык. Сидит он
у черного приемника один
над столиком, стоящим у постели,
и плачет.

Оплакивая Пабло Неруду

Вода нужна,
а в августе — особо.
Накапавшую
из водопровода воду
в ведре
несу я к юным ивам,
чьи листья
обглодала саранча.
Вода полезна.
И бидон
с водою,
стоящий на сиденье
моей машины
около меня,
полезен тоже.
Скашивая глаз,
я наблюдаю
черное пространство
вокруг бидона.
Правильно!
Воде
светиться не положено.
Но светит
и светится вода.
Бидон
подрагивает на сиденье,
а я качу
каменоломен мимо,
где темный
неотесанный гранит,
как будущие памятники
мертвым,
ждет
острого свидания с резцом.

Но мертвые
в живых сердцах у нас
так, как вода в граните,
остаются,
хотя их дело
от живущих прочь
не возвращаясь уходить.
Вода
сама приходит
и сама уходит,
без наших просьб
она течет меж нами
к Миннесоте
и к Миссисипи,
к бездне Океана.
Она всегда течет туда,
где быть воде положено.
Никто
ей на могилу не кладет цветов.
Она была.
Ее средь нас не стало.
Она ушла.

Горе человеческое

Слуге-мальчишке приказал буддист
к рассвету новогоднее посланье
в его покои принести. Проснувшись,
он развернул посланье и прочел
самим же им написанные строки,
подписанные Буддою:

«Дела
тебя замучили, и ты остановился.

Но если снова тронешься ко мне,
я непременно выйду, чтобы встретить
тебя». Буддист заплакал.

После
поездок, изнурительной работы
я на прогулку выхожу и слышу
лысухи голос мрачный, и сомненье
глубокое в луженой глотке пса,
угадываю бег дикобраза
в кустарнике над сумрачной водой.

А люди умирают на холмах. Из жизни
одни уходят, а другие смотрят
вдогонку уходящим и зовут
их голосом прощенья и любви,
какого не бывает у дикобраза.

А воды свежие струятся мимо
песков промытых, отмелей наносных,
уходят в дельту.
Женщины, рожая,
уходят в вечность, не родив. Так Берта,
сестра отца, рожая, умерла.

Ей врач сказал определенно: «Больше
нельзя иметь детей». Она хотела
еще ребенка. Бесполезный врач
стоит печально у постели Берты,
у переставших вздрагивать колен.

Муж Берты, сам не свой от горя,
о стену бьется головой. Мужчины
его в постель укладывают молча,
и мой отец садится у постели,
и не смыкает глаз вторую ночь.

Джон Кеннеди вступает в должность

Одна из трех сестер
судьбы и смерти — Мойра
плод каменного дерева кладет
мне в руку, по величине
с коровий глаз, не больше и не меньше,
округлый и сухой, как шишка
сосновая. В нем зрение погасло,
ушло, как взрыв сквозь дырки от зрачков.
Я поворачиваю осторожно
коричневое тело, и оно
царапает мне кожу на ладони.

Остры клювообразные шипы,
смертельным расширяемые страхом.
«Собаки приближаются!
Держись!»
На месте глаза вырастает клюв
и жадно раскрывается, и следом
на месте уха тоже клюв растет

и тоже раскрывается — и вот
уже хрипят
надсадным криком вместе
немые Слепота и Глухота.

А что сегодня сделал я? Сегодня
я проезжал один
два раза мимо
прощания с покойным. Трижды
участвовал в туманных разговорах
пространством отдаленных голосов.
И если я умею жить — откуда
меня упрямый обступает страх?
Я вижу, как в руках моих Лоренцо[1]
ядром раздробленная голова
качается и, истекая кровью,
подмигивает.

Кандидата в папы
католик душит шелковой петлей
классически. Надсмотрщик Леопольда[2],
венчанного короной короля,
в порядке наказанья за невыход
на королевскую работу, ловит
не самого виновника, а сына
виновного отца, и руки,
отрубленные мальчику, бросает
к ногам отца. Они лежат в пыли
и не шевелятся.
В году
тридцать восьмом,
в коричневых рубашках
молодчики разносят абортарий,
а женщин ошарашенных уводят
в дома для размножения. Я вижу,
взглянув *на плод:* владычица Мэрилин
Монро лежит одна в постели,
и царственная некогда рука
безжизненно свисает через край
ее постели, не достигнув пола.

Истошный крик морского пехотинца
доносится из-за ее спины.
Его нога недвижна, как чужая.
Раскрыты губы.
Мозга нет.
А есть
стенаньем перехваченное горло.
И Президент
с поэтом старым [3] рядом,
седым, как стужа,
медленно кладет
на Библию протянутую руку.

---

[1] По-видимому, имеется в виду Лоренцино Медичи, погибший в 1548 г. от руки наемных убийц; известен так же как прообраз исторической драмы А. Мюссе «Лоренцаччо».

[2] Леопольд II (1835—1909) — бельгийский король, проводивший политику колониального угнетения и грабежа африканского населения.

[3] Старый поэт — Роберт Фрост, присутствовавший на церемонии присяги президента Кеннеди.

Стихи, написанные в Ущелье Мулов штат Юта

Роберту и Олли

Устав от разговоров в вечной жажде спокойной тишины,
я прихожу сюда,
в Ущелье Мулов, и восхищаюсь кручею гранитной,
взмывающей отвесно ввысь.
Ее подножье придавило горе, такое, словно всех детей,
в ее пещеры заманив, убили.

Вам не хотелось позабыть давно приевшиеся восклицанья,
все эти «До свиданья!», «Здравствуй!». Мы,
болтая, засыпаем.
Мы спим и разговариваем. Может, и пробужденье наше
скрыто в скалах, которых нам
не увидать уже.

А дерево под каменной стеной, где я стою, не лиственное
и не хвойное, оно все в полуиглах, в полулистьях,
ствол
в чешуйчатой коре, скорей всего похожей
на чьи-то пробуждения в ночи.

Все слабости, означенные в камне, красноречиво говорят
о том, где он поддался страшному давленью,
где он прогнулся,
словно человек под тяжестью наглядных доказательств:
«Да, это правда, отрицать нельзя».

Болтая, мы скрываем пораженье. Когда я слишком
работаю на публику, мне кажется, что я
похож на колокольчики,
звенящие в угоду танцующему ангелу Морони[1],
в тумане оставляющему след.

Мы говорим, но мы не можем сказать определенно,
что мы есть, но чувствуем, чего хотят другие
от нас.
Мы с детства привыкаем не говорить того, чего хотим.
Мы просто поддерживаем тот скелет стеклянный, на котором
расположилось наше бытие.

[1] Ангел Морони якобы явился с откровением основателю секты мормонов Джозефу Смиту, который в 1830 г. опубликовал так называемую «Книгу Мормона» Штат Юта, где находится Ущелье Мулов, является главным центром секты мормонов.

Что согласилась сделать лиса

1

Трава, детеныши дикобраза, ликом
похожие на черепах, следы
на берегу, в мышином ухе волос.

2

Все это есть движение вовнутрь,
вращение Медведицы по кругу,
чей хвост пушистый гладит океан.

3

А мы — больные пилигримы — гоним
скот ангельского стада через ночь,
передвигая ноги еле-еле.

4

В ноябрьской почве стынут семена,
как в чреве материнском. Дева,
спускаясь, затерялась между звезд.

5

А раковины разрастаются, и дым
струится через воду, и ракетой
со дна взмывает круглая луна.

6

Дельфинов оседлали иудеи,
лиса нырнула в океан, и это
насторожило наше существо.

После взгляда на другой берег

(Пятьдесят мужчин, сидящих рядом)

После долгой прогулки по будущей лесосеке,
освещенной свечами сосновых стволов,
я домой направляюсь,
водой притягаемый к дому,
и над озером вижу
горбатую мягкую тень.
Тень от дальних холмов,
на закате похожих
на собранье мужчин
в переполненном зале,
поднимающих что-то неясное в небо,
наполняющих эхом
идущую ночь.

Там, где тень от холмов не ложится на тихую воду,
чуть вода розовеет вечерним под стать облакам.
И кусты камыша
группируются к берегу, словно
собираются вместе
в вечернее небо взлететь.
Камышинка, как зверь,
умирает всегда в одиночку.
Нить ночной темноты
расслабляет ее изнутри,
но она из корней ожидает себя, умирая,
чтобы снова родиться
и снова остаться одной.

Не торопится женщина дверь запереть, и не хочет
тратить топливо, и не разжигает очаг.
Муж является пьяным.
Она в темноте
подает ему ужин остывший.
А рядом,
у тропинки, проторенной мною,
отдыхает спокойно вода
под надежной защитой
камышей,
словно сын, защищенный вниманьем
материнской заботы
в ночной полутьме.

Он в ушедших живет временах. Он *не знает,*
что он должен отдать (не спеша по дороге
мимо входа в пещеры проходят стада)
и *чего хочет мир* от него, кроме крови
перерезанных шей. Он живет далеко
от мужчин, на работу идущих. Но кровь
вопрошает настойчиво, чья голова
отлетела от шеи.
А сумрак времен
опускается медленней темного снега
или мимо пещер проплывающих стад.
Я смотрю через ночь
на другой, на невидимый берег.

В поисках американской музы

Перевод с английского А. ЗВЕРЕВА

Быть поэтом в Соединенных Штатах — для меня долгие годы это означало испытывать состояние неуверенности, растерянности и сомнения. Происходило это вот отчего: я не был убежден, что в своей поэзии я американец, а не англичанин, точнее, не знал, насколько сохраняется в свободном стихе музыкальная магия Чосера, Марвелла и Китса. И, кроме того, я не знал, как мне жить, как обеспечить материальную сторону существования, а это тоже порождало неуверенность. А еще меня угнетала атмосфера маленького города, где я поселился. И все-таки мне кажется, что быть поэтом в Соединенных Штатах — завидная судьба. Говорю об этом прямо, чтобы никто

© The New York Times, 1984.

не вздумал выражать мне сочувствие. Есть люди, никогда не читающие стихов, но готовые проливать слезы над судьбами поэтов: «Наверное, им и правда приходится несладко». Как-то Уильям Стаффорд сказал мне, что на вопрос «Почему вы пишете стихи?» у него есть готовый ответ: «Ну, продолжайте — они ведь не приносят никаких средств».

Если серьезно занимаешься искусством — живописью, поэзией, ваянием, музыкой — и посвящаешь этому двадцать, тридцать лет жизни, вырабатывается необходимое самоограничение; соприкоснувшись с невзгодами, которых так долго страшился, находишь в них нечто такое, что вознаграждает за все горести,— так Персефона, дочь Деметры, спустившись в Аид, обрела ту глубину понимания, какой не ведала ее мать.

Мои предки были норвежцами — по одной линии рыбаками, по другой садоводами; они перебрались в Миннесоту в середине XIX века. Родители мои — норвежские иммигранты во втором поколении. Ни мать, ни отец не посещали колледжа, хотя норвежские родственники — это я узнал, побывав на родине предков,— очень любили поэзию. Во время второй мировой войны я служил матросом на флоте и тогда впервые увидел человека, пишущего стихи; его имя Маркус Эйзенштейн, и, кажется, он теперь школьный преподаватель где-то в Пенсильвании. Мы сидели на занятиях, слушая, что такое радар, и он у меня на глазах сочинил стихотворение. Почему-то мне и в голову не приходило, что стихи пишут живые люди; я был поражен и запомнил тот день навсегда. Война кончилась, я проучился год в колледже в Миннесоте, а потом поступил в Гарвардский университет и там познакомился с целой группой начинающих писателей — среди них были Джон Хоукс, Доналд Холл, Эдриен Рич, Фрэнк О'Хара, Питер Дэвисон, Джордж Плимптон, Хэролд Бродки, Кеннет Кох и Джон Эшбери. Из-за войны многие попали в университет с опозданием, курсы были большие. Большинство из нас воевали, и все без исключения свято верили в свое призвание, как бы его себе ни представляли. Я научился доверять собственной одержимости. Ужасно, если человек не знает, что это такое — одержимость.

Однажды, читая и перечитывая стихотворение Йитса, я решил, что стану поэтом и не изменю этому призванию никогда. Я постиг, что и небольшого стихотворения достаточно, чтобы в нем было все — история, музыка, понимание человеческой души, религиозная мысль, настроение, чувство трансцендентного, свидетельство о твоем собственном характере и главных событиях твоей жизни. Меня и по сей день не перестает удивлять, каким образом вещи, столь различные и непростые, способны выразиться и слиться в одном-единственном стихотворении. Словно бы стихи — вроде того питательного раствора, в который помещают амебу, чтобы сохранить ей жизнь. Если это настоящие стихи, в них годами не тускнеют образы, мысли, прозрения, доносящие во всей непосредственности ощущение истории или миг душевной жизни, какие-то наши порывы, какие-то случайные побуждения.

Мне повезло в том отношении, что на студенческой скамье я свел знакомство с другими начинающими писателями. Не знаю почему, но молодые писатели всегда заявляют о себе целой группой, не в одиночку. Общение помогает им всем. Но с другой стороны, я начинал точно так же, как и большинство других у нас, в Америке,— то есть не ощущая за собой никакой традиции. Йитс получал от отца серьезные и глубокие письма, приобщавшие его к искусству; из воспоминаний Йитса явствует, что его ирландские предки не представляли себе жизни без книг, без живописи. В его семье хранились преданич о творчески одаренных и странных в жизни Йитсах, уходящие в глубь веков. Читая о детстве Йитса и вспоминая свое собственное, я испытываю смущение; наверное, в эти минуты мое лицо приобретает «цвет мысли», лиловый цвет — так испанский поэт Хуан Рамон Хименес описал привлекшие его внимание окна какого-то особняка на Бикон-хилле.

Быть поэтом в Соединенных Штатах намного сложнее, чем быть ирландским поэтом. Если сравнить поэзию с лошадью в упряжке, можно сказать, что в Ирландии всегда найдется упряжь, завалявшаяся где-то в амбаре. А у нас? У нас нужно забить корову, освежевать ее, высушить и обработать шкуру, нарезать ремни, вручную изготовить застежки, примерить сбрую, хотя лошадь вер-

тится и брыкается, а потом достать у какого-нибудь старика нужный инструмент и гвозди, склепать упряжь, сделать вожжи. Да, ведь еще нужна уздечка. И хомут. Да и дождется ли лошадь, пока мы со всем этим возимся?

Почти все американские поэты, каких я знаю, постоянно испытывают беспокойство из-за того, что в искусстве у них нет опоры на родную традицию, поэтому они и не знают, каких жертв оно требует обязательно, а какие излишни. Русским поэтам в этом смысле куда легче, у них ведь был Пушкин, оставивший свой непререкаемый завет: «Служенье муз не терпит суеты...»

Американским поэтам много приходится делать в одиночку. Они не получают в наследство поэтику, которой могли бы воспользоваться, форму они должны искать самостоятельно и самостоятельно должны постигать тайны ремесла, добиваясь уважения к своему труду. Говорят, теперь им помогают университеты. Не хочу никого конкретно винить, но уверен, что в последние лет двадцать американская поэзия понесла немалый урон из-за того, что существуют поэтические студии при университетах. Появился особый тип поэта, преподающего в университете, а это ненормально. Такой поэт общается большей частью со студентами, он постоянно должен покидать свое уединение, он больше говорит, чем пишет. Ему уже не до самопожертвования, университет заботливо ограждает его от треволнений. Для писателя, приглашаемого в университет, создают нужные условия, но такому писателю уже не изведать постоянных унизительных трудностей, которые закаляли поэтов в былые времена — причем и таких, как Уитмен или Фрост. Они многим пожертвовали, чтобы отдаться поэзии, долгие годы оба они существовали в изоляции, наедине со всеми мучительными проблемами, которые перед ними ставило их творчество. Так было и с Эмили Дикинсон.

Если ты хочешь стать поэтом и остаться им, нельзя зависеть от покровителей — вернись к нашим истокам, найди вдохновение в опыте наших предшественников. Я и сегодня каждый день перечитываю Йитса, а вслед за ним Блейка, Чосера, «Беовульфа», Горация. Когда я пишу, мне вспоминаются ритмы тех, кто писал стихи в промежутке, разделяющем Уитмена и Фроста.

■

Когда-то наши поэты уезжали в Европу, теперь подобный шаг уже не столь важен, как прежде. Джозеф Конрад советовал «окунуться в стихию разрушения», однако эта стихия ныне знакома нам и дома. США стали мировым центром, и если внимательно наблюдать за тем, что происходит в нашей культуре, не потребуется иных усилий для того, чтобы ощутить себя в том царстве нереального, о котором писала Гертруда Стайн.

Быть поэтом — значит очень много читать. Нужно знать массу вещей, ведь в любой области — в биологии, психологии, ядерной физике — открыто множество новых явлений, о которых не знали прежние поэты. Лично мне особенно интересен тот перекресток, на котором поэзия встречается с психологией. Начало сегодняшнему психологизму в поэзии положил около 1800 года Блейк, создав дерзкие по тому времени образы нашего внутреннего «я», которые ожили в его воображении и получили имена Уризена и Орка. Фрейд пошел по этому пути дальше, введя понятия «я», «сверх-я» и «оно». Еще дальше пошел Юнг, прекрасно описавший феномены «анима», «анимус» и «тень», хотя предложенные им обозначения не самые лучшие. Давать имена таким вот ликам нашего внутреннего «я» издавна составляло одну из задач поэзии. Мне очень близки мысли психолога Джеймса Хиллмена, особенно его разграничение образа и символа, как и идея необходимости познания Аида и стремления души совершить путешествие по нему. Я преклоняюсь перед мифологом Джозефом Кемпбеллом, который научил меня различать искусство кинетическое и статичное — ни Т. С. Элиот, ни Эзра Паунд этому не учили.

Американский читатель стихов сильно изменился за последние тридцать лет, и не в последнюю очередь произошло это из-за возникшего союза между поэзией и психологией. Не берусь объяснять, отчего так, но стихи теперь читает гораздо больше людей, чем прежде. Книжка, которая в 1950 году выходила тиражом

в тысячу экземпляров, теперь была бы издана тиражом в десять тысяч. А что еще существеннее — изменился характер читателя стихов. Стихи читают ради доставляемого ими наслаждения и еще потому, что так требует учебная программа; но стихи читают и оттого, что поэзия обнаружила способность человека противостоять, упорно сопротивляться веяниям потребительского общества, которое, по словам эссеиста Льюиса Хайда, растлевает «бессмысленными благодеяниями».

■

После университета я несколько лет прожил в Нью-Йорке, хорошо узнав, что такое одиночество, потом год преподавал в университете Айовы, где была литературная студия, и затем уехал в провинцию. Сельскую местность я выбрал для себя не по романтическим побуждениям, а просто потому, что на отцовской ферме был пустой дом, где можно было жить не платя. Но вскоре мне стало ясно, что жизнь среди тех, кому ты неинтересен, а искусство безразлично, обязательно порождает сомнения в собственном призвании. Йитс писал, что время от времени он испытывал эти внутренние сомнения,— сколько раз он мог бы доказать, что и он чего-то стоит, если бы взялся за дело, понятное и знакомое другим людям.

Чтобы привести в порядок материальные дела, я и сейчас трижды в год на месяц покидаю дом и семью — это случается в январе, марте и мае. Зарабатываю я прежде всего тем, что веду семинар с небольшой группой студентов (иногда это только мужская группа), записывающихся на мой курс заранее. Мы с ними занимаемся поэтикой сказок, а порою еще и Блейком. Освоив мир сказки, они сумеют лучше писать.

Любая художественная форма, если она существует долго, постепенно выявляет свои внутренние возможности, собственную необходимость и связи со всеми другими формами. Чтобы понять ее, нужно трудиться лишь все больше и больше. Теперь мне наконец стало ясно, отчего поэзия изначально была связана с танцем. Донести эту связь в своих стихах я, вероятно, не смогу, но я ее по крайней мере понял. С годами я выработал в себе способность многое извлекать для своей поэзии из состояния печали, которое я уже не путаю с отчаянием.

Вопрошаю себя: в конце пути
обретешь ли печаль? Осень склонна к добру,
к стоицизму... Пребудь же тверд
иль в долину печали полет направь.

(Перевод Е. Витковского)

В сборнике русских сказок Александра Афанасьева есть сказка «Царевна-Лягушка», и она прекрасно дает ощутить, что это за мука — жизнь художника, в особенности если сам не совсем понимаешь, чем ты, собственно, занимаешься. Приходит время подыскивать невест трем сыновьям, и отец велит им пустить три стрелы в разные стороны, а потом отправляться на поиски суженой. Старшему брату достается княжеская дочь, среднему — генеральская, а стрела, пущенная младшим, падает в болото, из которого навстречу ему является лягушка со стрелой во рту. И приходится ему взять в жены эту лягушку. Когда начинаешь писать стихи, слова тебя не слушаются, строки ползут куда захотят, а смысл получается вовсе не тот, какой ты хотел выразить. Чувствуешь себя тупым, невезучим, а друзья, видя, как ты мучаешься, уж наверняка сочтут, что тебе тоже приходится делить брачное ложе с лягушкой.

Как это ужасно — явиться на люди в обществе лягушки, представляя ее обществу в качестве невесты! Но что поделаешь, другой у тебя нет. Но вот выясняется, что твоя невеста может сбрасывать свою лягушечью кожу и демонстрировать таланты, какие и не снились женам старших братьев,— ну, например, она может сшить рубашку, испечь хлеб и прочее в том же роде. А все равно она лягушка. И вот наступает решающая минута. Царь устраивает бал,

на котором она соглашается явиться гостям не лягушкой, а женщиной, сбросив свою кожу и оставив ее дома. Все от нее просто без ума. А ее муж, ни слова никому не сказав, исчезает из дворца, спешит домой и швыряет лягушечью кожу в печь. Но он совершил ошибку, тяжелую ошибку,— мы-то уже догадались, что кожа эта зачем-то его жене нужна. И приходится ей покинуть своего мужа, и много им обоим предстоит пережить бед — просто из-за того, что муж не посоветовался с нею.

Во всех нас сидит рационалист, уговаривающий поскорее сжечь лягушечью кожу. Не уверен, что я полностью понимаю значение этого образа, но, видимо, дело в том, что сжигают что-то загадочное, настоящее, нужное и глубоко индивидуальное. Когда поэт пишет, оглядываясь на требования рынка, бойкий роман, он тоже сжигает лягушечью кожу. Исповедальная поэзия, не признающая никакой сдержанности и умолчания, по самой своей природе такова, что кожа высохнет и сморщится. И если печатаешь книжку стихов, когда ты еще слишком для этого юн, ты тоже сжигаешь лягушечью кожу: что-то в самом себе ты порушишь непоправимо. Выступая перед публикой со своими стихами, ты сжигаешь ее у всех на глазах, если согласился на выступление лишь для того, чтобы покрасоваться,— мне это знакомо по опыту, мне бывает нужно почувствовать теплоту незнакомых людей. А вот Борис Пастернак читал с эстрады много лет, и это ничуть не повредило цельности его поэтического мира, так что выступления вовсе не обязательно разрушают то, чем ты живешь наедине с собой.

Но когда мы всеми силами стараемся избавиться от собственной лягушки, мы сами лишаем себя приобщенности к какому-то древнему, одним инстинктом познаваемому источнику. Все мы разными способами жжем лягушечью кожу. Ту, которую судьба подарила мне, я сжигал не раз, мне тоже хотелось идти вперед, оставив свою лягушку в прошлом. Но быть поэтом — значит изучить тайны этого искусства, пережить печаль и суметь сохранить кожу влажной.

«Нью-Йорк таймс бук ревью», 22 января 1984

■

РАШИД БУДЖЕДРА

Идеальное место для убийства

РОМАН

Перевод с французского ИРИНЫ ВОЛЕВИЧ

ЛИНИЯ № 5

Нет, самым заметным был даже не пожухлый фибровый чемодан, который он почти все время нес в левой руке (позже, в ходе следствия, выяснится, что он никогда не был левшой), вытянув ее немного вперед, так что каждый раз, как он поворачивал за угол или сходил с эскалатора, сперва показывался чемодан — набитый до невозможности, бесформенный, давно уж свое отслуживший, сплошь иссеченный мелкими трещинами, образующими то ли некую загадочную схему, то ли путаный абстрактный рисунок, довольно неуместный на таком потрепанном чемодане, тем более что его заржавевшие замки никоим образом не нарушали, а, напротив, дополняли общее впечатление крайней непрочности,— опережая туловище своего хозяина или, точнее, его руку на несколько судорожно коротких секунд, казавшихся мучительно долгими минутами всем, кто либо случайно, либо из любопытства наблюдал, как он возникает, словно плывя в воздухе между грязно-серым полом, пестревшим желтыми пятнышками (билеты метро), серо-белыми пятнышками (окурки сигарет), сине-красными пятнышками (прочий мусор) и более светлым потолком, на мутно-белом фоне которого то там, то сям испускали рахитично-желтоватые лучи ромбовидные светильники, подвешенные на такой недосягаемой высоте, что никому, даже людям, вовсе не занятым созерцанием чудовищного чемодана, и в голову не приходило поднять глаза и поинтересоваться, докуда возносятся потолочные своды, как будто была для них пугающая непонятность во всех этих пластах и слоях атмосферы — призрачной, с голубоватыми спиралями теней, сгущавшейся в зависимости от соотношения роста самого высокого человека и самого крутого свода облезлого, оплесневевшего потолка, откуда свисали мокрые лоскутья извести, какой-то игрой случая слипшиеся в рваную бахрому и чудом еще держащиеся наверху, словно некий неумелый строитель вместо того, чтобы очистить это пространство, решил заполнить его, постоянно закрепляя вещество, склонное к увлажнению и размягчению; и вот это двуединство — «земля-воздух» — давало четкий абрис любому предмету, плотно окружая его со всех сторон,— подобное можно увидеть на эскизе углем, когда какой-нибудь неопытный рисовальщик вдруг возьмет да и заштрихует нетронутое поле вокруг фигуры — уловка, конечно, наивная, но и достаточно хитрая, и ее хватило бы на то, чтобы привлечь внимание пассажиров, которых теперь можно разделить на три категории: на тех, кто казался удивленным, тех, кто казался невозмутимым, и тех, кто казался

заинтересованным, заинтригованным или притворялся таковым при виде бесформенной туши чемодана, нагло вторгшегося в структурированное, хотя и перегруженное пространство метрополитена,— и кто уж во всяком случае был счастлив предоставленной приятной возможностью хоть на несколько мгновений отвлечься от уродливого зрелища конструкций, нагроможденных друг на друга вроде бы хаотично, а на самом деле, если взглянуть позорче, втайне подчиненных некоей симметрии, впрочем, крайне примитивной и прискорбно обыденной — перрон напротив являлся точной копией того, где они наблюдали сперва чемодан, а за ним хозяина чемодана, обескураженные грандиозностью этого предмета, вздутого, зияющего сотнями прорех, до боли стянутого разномастными бечевками, лохматые концы которых размеренно танцевали в такт быстрой поступи хозяина, вдруг засомневавшегося, а не ошибся ли он перроном, настолько угнетало его сходство между правой и левой сторонами станции, одинаковыми как две капли воды, тем более что надписи на стенах ничем не облегчали ему положение, ибо он питал к ним живейшую антипатию, чтобы не сказать сильную вражду, будучи не в состоянии расшифровать это скопище бесполезных, непонятных символов, единственное назначение которых — как ему мнилось — состояло в том, чтобы поиздеваться над ним, отчего и рождалось в нем общее недоверие и к надписям и вообще ко всему! И не самое заметное были его тиковые брюки, сотканные из хлопчатобумажных волокон двух цветов (красного и серого), перемежавшихся без всякой системы,— при такой пестроте трудно было даже понять, изготовлена ли ткань крестьянкой на ткацком станке или же работницей на громыхающей фабричной машине; независимо от этого издали ткань являла собою компромисс красного и серого — невнятный оттенок винного осадка, по мнению одних, цвет ржавчины, по мнению других, но, как бы там ни было, отсутствие определенности заставляло считать ее, и это уж по общему мнению, блеклой и невыразительной; вдобавок они — то есть брюки — сбивались в глубокие складки вокруг ног, наводя на мысль о худобе последних, чего, впрочем, нельзя было утверждать категорически, ибо допускалась ведь и другая возможность: хозяин чемодана вполне мог иметь мускулистые ноги, но угодившие в слишком просторные для них брюки, которые, поднимаясь все выше и выше, достигали впалой груди, скрытой в свою очередь под курткой, менявшей цвет от индиго до линялого черного, а то и неоспоримо фиолетового, в зависимости от источника освещения (неоновые лампы, обычные лампы или слепящие сполохи от режущей глаз краски на скамьях, которые совсем недавно — и оглянуться не успели, как говорили некоторые,— были установлены на перроне и заменили прежние, более скромные, с деревянными сиденьями приглушенного красного цвета, исчезнувшие в одну ночь, так что не поставленные в известность пассажиры даже не успели принять меры предосторожности, как то: надеть темные очки, способные, по мнению специалистов, защитить их глаза от нестерпимо яростного сияния, исходящего от этой гладкой пластмассы во всем ядовитом великолепии ее новизны, да и от прочих красок, таких кричащих, таких тошнотворно-ярких, что все вместе вполне могло повлиять на психику пассажиров и сбить их с толку при определении качества ткани, выбранной для одежды другими пассажирами, ткани, обладающей — благодаря причудам освещения, играющего роль спектрографа, разлагающего на составные элементы материю и цвет — способностью поглощать невидимыми глазу ячейками бесчисленные корпускулы, вызывающие слепоту; итак, грудь скрывалась под курткой, развевающейся вокруг туловища наподобие бурнуса из грубой шерсти, серой или, наоборот, коричневой, но только темно-коричневой, такой, как вот этот колумбийский кофе, каче-

ства которого восхваляются на огромном кричаще-ярком рекламном плакате фирмы, утверждающей, что, «смешивая различные сорта, она добивается получения чистейшего в мире продукта» (на гигантской афише изображены в пять-шесть рядов мешки с кофейными зернами, набитые доверху и незавязанные, на каждом из них строго по центру красивыми большими буквами выписано: Producto de Columbia, ниже, еще более крупными буквами Cafe, изображение выполнено в коричневых тонах, переливающихся всеми оттенками от кофейного цвета зерен до бежевого цвета джутовых мешков и до желтого цвета букв) — кофе, темный цвет и маслянистый блеск которого напоминали цвет и фактуру ткани бурнуса (может быть, просто по аналогии, терзавшей мозг приезжего, гораздо лучше различавшего нюансы и оттенки, нежели очертания и формы, приводящие его в смятение, особенно если речь шла о надписях),— он носил ее с искусно рассчитанной небрежностью, согласно отзыву старой женщины, которая когда-то провела свой медовый месяц в той стране, откуда он прибыл, или почти провела, добавила она, гордясь собственным красноречием и собираясь пуститься в воспоминания, вызванные красновато-каштановым цветом, родственным цвету крови, которая текла из раны на правой ноге ее сына, раны, полученной им в той стране, откуда только что прибыл он — этот тип со своим кувыркающимся в воздухе чемоданом. Нет, самое заметное был совсем не этот чемодан (бугры и вмятины которого позволяли, кстати, угадать втиснутые в него пожитки или, вернее, очертания этих вещей, завернутых в газетную бумагу с буквами, напечатанными как бы в зеркальном отражении, хотя, возможно, это просто-напросто были буквы, малоизвестные в той стране, где происходит действие, и ровно никого не интересующие на всей станции, которая уже разделалась с утренним (7—9 часов) наплывом пассажиров и теперь вяло пропускала сквозь себя вечно опаздывающих, затем унылых вдовиц, утративших в жизни все, кроме свободного времени,— его они убивали в коридорах метро и в просторных залах универмагов, а поскольку универмаги открываются не раньше девяти тридцати, то они — вдовы — являются туда задолго до открытия и покорно ждут у дверей,— и, наконец, уборщиков-негров, которые исполняют свой номер, виртуозно жонглируя метлой, но уставившись при этом в пустоту и с пустотой в душе; нет, буквы эти не интересовали никого, даже еще более малочисленных, чем негры, подсобных рабочих с лицами посветлее, которые шли вторым эшелоном на битву за чистоту, весьма эфемерную, ибо стоит обеим командам подметальщиков уйти, чтобы опорожнить свои ящики и ведра, как пол тут же будет замусорен вновь), и не самое заметное были эти брюки, гармошкой сползавшие на башмаки, их кожа потрескалась от долгой ходьбы по безлюдным берегам заливов и уже подернулась тоненькой пленкой, невидимой для большинства смертных, но доставлявшей невыразимые тайные муки владельцу башмаков, который нет-нет да и спрашивал себя, откуда взялась такая напасть, одновременно думая о том, что глупо волноваться из-за зеленоватого и едва заметного налета на обуви, когда ему предстояло одолеть лабиринт во чреве метро, лабиринт, сущность которого так умело закамуфлирована плитами пола, колоннами, скамейками, рекламами, яркими киосками, автоматами с конфетами и прочими декорациями, чье единственное назначение, по мнению наблюдавшего,— заставить пассажиров позабыть о том, что они погребены под толщей грунта, в глубоких норах, прорытых в земле невзирая на тысячи геологических помех и благодаря упорной, методичной и вовсе не безопасной работе, в норах, которые затем следовало разукрасить во все цвета радуги, чтобы никому не пришла в голову мысль о смерти,— но его не провести, недоверие служило ему магическим щитом, и он все время был настороже, все

время мысленно готовился к обороне и обходил скопления людей или нагромождения предметов с величайшими предосторожностями, заранее уже напуганный долгим путешествием под землей, которое только начиналось и о котором он пока еще ничего не знал. Нет-нет, самое заметное — не чемодан и не брюки, самым заметным был клочок бумаги, который он сжимал между большим и указательным пальцами правой руки: значение этого клочка бумаги казалось сильно преувеличенным тем, кто наблюдал за ним и затем формулировал свои наблюдения в кратком, концептуальном молниеносном выводе, построенном на очевидности, нет, даже больше — на внутренней нерушимой убежденности, основанной, может быть, на ложной интерпретации фактов, но выраженной на сей раз вполне единодушно, что, впрочем, никому не мешает добавить: так-то оно так, но тем не менее случаются и коллективные галлюцинации, и общие заблуждения, и прочее тому подобное.

И вот переход за переходом, переход за переходом — монотонный кошмар, который ничто не способно разрушить, ибо рекламы — и они тоже! — плакат за плакатом, плакат за плакатом — своей неумолимой схожестью терзают измученную сетчатку, где образы наплывают друг на друга, сменяют друг друга, стирают друг друга, колеблясь и растекаясь, как это бывает, когда глядишь на предмет, прижмурив один глаз и оставив открытым другой, так что начинает чудиться, будто предмет этот множится до бесконечности, сворачиваясь в пульсирующие спирали, хотя ни он сам, ни смотрящий не двигаются. Это объясняется воздействием одной и той же рекламы, наклеенной через равные промежутки и посвященной одному и тому же сюжету, восхвалению одного и того же товара (Producto de Columbia. Cafe); плакаты повторяются на нескончаемо длинных переходах вызывая двойное головокружение — от череды коридоров и от реклам, налепленных и справа и слева, только что не на потолке и на полу, а, может, в один прекрасный день они появятся и там, внушая потенциальным покупателям, что ловушка захлопнулась, и им ничего не остается, как покупать и потреблять, потреблять и покупать. и что это очень хороший — не хуже прочих — способ сохранить уверенность в себе или, наоборот, обрести ее благодаря терапевтическому эффекту удовлетворенной жажды потребительства. И вот он шагал и шагал по этим переходам, дважды, трижды проходя по одним и тем же местам, конвоируемый слева своим знаменитым чемоданом, с клочком бумаги в руке, который он сжимал так истово, будто судьба его записана там, будто какая-то мудреная машина микрофильмировала на нем всю его жизнь; время от времени ему приходилось останавливаться, чтобы расслабить руку, затекшую от тяжелой ноши, и после нескольких часов блужданий его левое плечо — то самое, откуда росла рука, кисть которой сжимала ручку чемодана — начало опускаться и становиться заметно ниже правого; он, видимо, смирился и с этим несчастьем, ибо его фигура продолжала сохранять перекос даже тогда, когда он останавливался, чтобы перевести дух. Может статься, ему некогда было и внимание обратить на свою позу, он был весь поглощен этим клочком бумаги, казавшимся таким крошечным между тонким, гибким и необычайно длинным указательным пальцем и толстым, скрюченным, неуклюжим большим, а может, вся эта история — с левым плечом ниже правого — от начала до конца была выдумана каким-нибудь поддавшим, осоловелым «очевидцем», мимо которого прошел приезжий, когда тот посиживал на скамейке, вроде бы подремывая, а на самом деле зорко поглядывая в сторону застекленной будки, где торчит, судя по всему, дежурная и что-то орет в телефон; «очевидец» готов удрать при первом же окрике, а пока плетет невесть что, лишь бы подольше посидеть в теплом кабинете у следователя или комиссара полиции,— плетет и приговаривает: да нет, да нет, я вас уверяю... А

может, эта легкая телесная ущербность была врожденной или приобретенной в результате долголетнего занятия каким-нибудь (интересно, каким?) ремеслом. Что бы там ни было, а его видели: он блуждал взад-вперед по коридорам, то и дело натыкаясь на эти изображения сыров, стиральных порошков, томатной пасты, экзотических пейзажей, полуфабрикатов, блестящих сковородок, косметики, плавок, букв-в-зеркальном-отражении, стиральных машин, тампонов, загородных вилл, кожаных кушеток, туалетной бумаги, голых девиц, телевизоров, бюстгальтеров, мягких матрасов, холодильников, автомобилей, посудомоечных машин, путешествий в страну лотоса, спагетти, велосипедов, дезодорантов и йогурта. А тот, другой, твердил свое: «Да нет да нет я вас уверяю это не выдумки я его видел вот как вас сейчас ей-богу мечется взад-вперед по коридорам и все глазеет на эти самые велосипеды спагетти ну сами понимаете и вид у него такой чудной а уж плечи! вот провалиться мне одно выше другого!» И вновь сумасшедший бег по коридорам, на скрещениях которых дули мощные сквозняки,— он не зяб, но они свивали и развевали вокруг него полы его куртки, и она билась, как подстреленная птица, когда он поднимался по эскалаторам, равномерно заглатывающим свои блестящие металлические звенья, которые, совершив оборот, возвращались на свет с еле слышным шипением, подобно огромному дракону в серебряной чешуе, сверкая под сотнями стеклянно-неоновых солнц, что освещали те самые знаменитые рекламы и отражались в нержавейке ступенек, до бесконечности множа пространство над ними, искажая его, коварно порождая фальшивые его подобия, обманчивые призраки, зрительное эхо, и хотя известно, что подобия эти далеки от настоящих зеркальных ловушек[1], все же возникает сильное искушение испытать, проверить... ну, пусть не проверить, а хотя бы узнать, как соотносятся они с реальным пространством — разлинованным, расчерченным, рассеченным, расчлененным, запутавшимся в самом себе, подобно сороконожке, забывшей, где у нее какая нога; а он все поднимался по эскалаторам, перемалывающим хрупкие тени, а иногда (такие случаи крайне редки!) и ноги неосторожных малышей, и тоненькие лапки породистых собачек, и венозные ступни старух, и свершающим это ритуальное жертвоприношение как бы в отместку за то, что производят слишком мало шума, а ведь все вправе требовать громовых эффектов от работы столь хитроумных механизмов; он поднимался по ним, упорно держа чемодан в руке, вместо того чтобы поставить его на ступеньку эскалатора, ни на миг не расслабляясь и не теряя бдительности, настороженно глядя на чужое, враждебное окружение, то там, то здесь обнаруживая какого-нибудь зачуханного, лохматого старика, дремлющего на скамье у входа на эскалатор, чем-то напоминающий ему колесо обозрения на ярмарке, только без удалой музыки,— старика с приткнутой под бок грубой холщовой сумкой, из которой торчит горлышко бутылки, а что в ней, приезжему не видно; или он замечал красивую девушку, похожую на красивых девушек с рекламных плакатов (НАСТОЯЩИЕ ЧЕСТЕРФИЛДОВСКИЕ! В ЭТИХ КОЛГОТКАХ ВАС ПОЛЮБЯТ ВСЕ МУЖЧИНЫ!), с той лишь разницей, что красивая девушка во плоти не снисходила до улыбок, которые расточали с огромных реклам красивые девушки с ослепительными зубками,— на ее лице застыла скорее упрямая и злая гримаса избалованной девочки, сознающей свою красоту и слишком заносчивой для того, чтобы уделить хотя бы один взгляд непрошеному попутчику, чью внешность она явно не одобрила, не говоря уж о знаменитом чемодане, который она углядела в один миг, украдкой так быстро стрельнув глазами, что человеку и не понять, смотрела она на

[1] Вертушки с осколками зеркала, на которые приманивают жаворонков. *(Здесь и далее прим. перев.)*

него или нет. Да хоть бы и смотрела, какая разница! Он спешит добраться до места назначения. Он не хочет терять время понапрасну. Уже понимая, что дело ему предстоит нешуточное. И вновь он обходит людей и предметы, и вновь оказывается там, откуда пришел. Он натыкается на дверцы, выкрашенные светящейся зеленой краской, где на высоте человеческого роста прикреплена красная табличка с белыми буквами, дверцы захлопываются прямо перед его носом, словно кто-то назло ему вознамерился продлить эту и без того затянувшуюся гонку, все захлопываются — и те, что с одной створкой, и те, что с двумя. Все едино! Его бег замедляется. А время идет. Ярость поднимается в нем, тяжело давит на затылок. Но ему не привыкать к трудным переходам. Его потрескавшиеся башмаки, которые он там, у себя на родине, после долгой ходьбы смазывал оливковым маслом, могли бы многое порассказать об этом, и хотя они не привлекали к себе такого пристального внимания, как судорожно зажатый в руке клочок бумаги, все же и они не остались вовсе не замеченными. Привычка к трудным переходам... Правду сказать, он не очень-то разобрался в схеме, в которую ему ткнули пальцем.

Там радиальные линии зигзагами скачут через извивы кольцевых, заставляя память напрочь отринуть все впечатления, накопленные за последние два-три дня и наложившиеся друг на друга, подобно этим вот линиям — черным, красным, желтым, синим, зеленым и опять красным, но теперь уже с черными поперечинками, затем синим, но с красными поперечинками, зеленым с белыми поперечинками, усеянным простыми кружкáми и кружками с черной точкой в центре, а еще там есть цифры, их он умел различать (10, 12, 7, 1, 2, 5, 13 и т. д.), а потом еще названия, и некоторые из них напечатаны более жирно, чем остальные, но все равно буквы выписаны как будто в зеркальном отражении, если только это просто-напросто не были буквы, малоизвестные в... а одна светло-голубая кривая линия[1], более толстая, чем соседние, изгибаясь широкой излучиной, делит всю схему пополам,— нет, не совсем пополам, потому что нижняя часть явно меньше верхней,— и делит-то вкривь и вкось, как бог на душу положит, и вокруг всей этой путаницы бежит линия, такая прерывистая, как будто те, кто ее проводил, чего-то стыдились и потому обозначали эту границу второпях, шито-крыто, и не иначе как выбрали для такого дела темную дождливую ночь, чтобы оставить в дураках тех, кто не поспел пробраться внутрь; вдобавок то поле схемы, что осталось снаружи, отличается по цвету от внутреннего пятна (белого), по которому мечутся во все стороны пестрые линии: это внешнее поле окрашено желтым в меленькую красную крапинку, едва различимую, почти слившуюся с желтым; поле нет-нет да и налезет на прерывистую линию, описывающую неправильный круг (неправильности — то в форме нароста, а то и вовсе какой-нибудь загогулиной, ромбом или квадратом — быстро возвращаются в пределы круга), где выпирающий, а где втянутый (как втягивают живот), но все же упрямо стремящийся хоть как-нибудь походить на круг, пусть и с большой скидкой — разница лишь в том, что в памяти он откладывается как более строгий, более, так сказать, решительный, несмотря на некоторые вольности,— и эта неправильная замкнутая окружность, не желающая черпать в чуждых формах (квадратах, прямоугольниках, ромбах) тайную поддержку своему существованию, своей непрерывной жизнедеятельности, довольствуется тем, что набрасывает петля за петлей концентрические круги, накапливает их внутри себя с лихорадочной поспешностью, которая вовсе не противоречит общей вялости очертаний, но убивает всякую надежду отыскать центр этой фантастической путаницы, не несущей ответственности ни за что, кроме своей собственной логики, присущей

[1] Имеется в виду река Сена.

своему собственному строению, и не заботящейся ни о чем, кроме степени выпуклости или вогнутости, необходимой для сохранения своего собственного равновесия и своего собственного благоденствия. Да, действительно, у памяти большое сходство с этой паутиной линий, перепутанных между собой, самостийно обрывающихся там, где этого меньше всего ждешь, внезапно исчезающих вопреки всем законам геометрии (и эта дерзкая вольность почему-то никого не возмущает, а ведь метро насчитывает 345 станций, 200 километров коридоров и перевозит ежедневно 4 миллиона пассажиров!), скачущих друг через друга, разветвляющихся, двоящихся, подобно этой памяти, которая, словно гибкая синусоида, всегда готова взмыть вверх и тут же кануть в глубину, проникнуть в самую суть явлений, вещей, впечатлений, образующих, словно линии на схеме, путаную неразбериху нитей, что бегут во все стороны через извивы времени, бегут, мечутся, обрываются и возникают вновь, пробиваясь даже сквозь невнятный гул, или отблески былого, или мгновенное, краткое ослепление,— бегут туда-сюда, двигаясь толчками, рывками, словно пятно на экране локатора, блуждающее в неуверенном поиске, которое звонкое «бип-бип» делает еще более драматичным — или еще более комичным, как кому... А он в смятении соображал: как же сориентироваться в этой сумасшедшей неразберихе, в этой путанице, пестрой, как рисунок взбалмошного ребенка, безразличного к тому, что у зрителей зарябит в глазах перед такой вакханалией красок; хорошо хоть надписи черные, тут уж ни к чему не придерешься, вот только они входят в число самых трудных препятствий, какие ему предстоит одолеть, и потом, сколько же их на этой схеме — не сосчитать! Они десятками выползают из-под линий, возникая там, где те исчезают, выглядывая из-за выпуклостей и изгибов, но ровно ничего не проясняя для молчаливого чужестранца, почти добравшегося до цели своего путешествия и знающего, что этот последний переход будет самым трудным, ведь ему так и было сказано, его предостерегали, правда, при этом «они» же его и успокаивали, «они» же сами и утверждали, что ничего, мол, такого, что тут и малый ребенок справится, что стоит ему все увидеть своими глазами, и он посмеется над собственными страхами; «они» зубоскалили, потешаясь над его упрямо-недоверчивым видом человека, желающего — но еще не готового — дать себя убедить в искренности их слов, и они доставали из пухлых бумажников серые фотографии, не то чтобы мутные, но такие, будто их недостаточно долго держали в фиксаже, будто те, кого снимали — в торжественной позе, «на долгую память»,— все время подгоняли, торопили фотографа, уговаривая его, давай, мол, поживее, и тот, стараясь выполнить их просьбу или просто отделаться от них, погрузил обе руки в кювету, где мок листочек, покрытый нежным слоем эмульсии, и вынул его, не дожидаясь, когда изображение окончательно закрепится в смеси коллодия, бромистого серебра и желатина; в результате изображение вышло не то чтобы мутное или раздвоенное, а слегка размытое, с желтыми следами желатина на сером фоне; снимки представляли их либо по одному, либо в компании приятелей, у входа в метро, в залихватски удалых позах, с веселыми улыбками на лицах; тыча в фотографии пальцем, они подробно разъясняли ему каждую мелочь, расшифровывали темно-коричневую надпись METRO, четко видную на снимке, указывали на какую-то застекленную доску, где пучки линий ветвились словно куст, росший прямо из головы позирующего, поскольку она — голова — была прислонена к стеклу, за которым укрывалась эта пышная поросль... А они, чувствуя его молчаливое сопротивление, уговаривали: да ты не дрейфь, это же раз плюнуть, детские игрушки, потом сам же первый будешь смеяться,— так они говорили, но на этом все и кончалось, больше ничего определенного, никаких советов, например, по поводу пересадок; послушать их, так метро —

это что-то вроде подземного такси, которое, мол, привезет его из одного места прямо в другое, никаких тебе проблем, всего только и требуется что показать свой клочок бумаги кому-нибудь полюбезнее, и тот укажет — да-да, пальцем укажет — поезд, в который надо сесть (смотри только не садись в первый класс!), они даже и про цвет вагонов ему толковали[1], но ни словом не обмолвились об этой дьявольской выдумке — кустарнике из линий, росшем как будто прямо из головы того, кто с улыбкой глядит в объектив, ничего не опасаясь (и приезжий бормочет про себя, сглатывая слюну: вишь ты какой храбрый смеется как ни в чем не бывало да уперся башкой в чужое стекло на его месте я бы глаз не спускал с ближних улиц а ну как полицейский или там жандарм... ведь что ни говори а это чужое метро и город чужой а ему как видно сам черт не брат), глядит так спокойно, словно сидит да чай пьет — ну, или не чай, а что-нибудь другое, но только непременно из чайного стакана — у порога своего домика — на самом деле несуществующего,— который, по его словам, стоит у въезда в деревню, и он давно уже завел обычай белить его известью и строго следит, чтобы в нее обязательно добавлялась щепотка синьки, придающей должную свежесть белизне; под конец он договаривается даже до того, что будто бы шлет своей семье письма с подробными разъяснениями, в каких пропорциях смешивать известь с водой и прочее... Он рассказывал это с тем же беззаботным смехом, с каким сейчас говорил: да не ломай ты себе загодя голову, это же все ерунда,— но притом не делясь, так же, как и его приятели — ни одной подсказкой, что и впрямь помогла бы, и не потому, что позабыл, запамятовал, а просто он полагал это совершенно бесполезным и оттого ограничился лишь общим советом: не увлекаться катанием в метро только потому, что, заплатив за один билет, там можно провести хоть целый день.

И вот он стоит там, помаргивая отяжелевшими веками, уже лиловыми от усталости и напряжения, которое сводит все тело и которое он пытается преодолеть, не говоря уж о смятении, глухо терзающем его мозг и нервы, словно схваченные раствором формалина или изодранные каким-нибудь орудием пытки, с лезвиями или зубцами, хотя едва ли есть что-нибудь страшнее этих вот изломанных линий, вновь и вновь ввергающих его в чудовищный кошмар лабиринта, застывшего в своей твердокаменной сути — прочной, но одновременно и хрупкой в силу своей остраненности и непостижимости (вспомните о буквах в зеркальном отражении); он теряет ощущение времени, пошатывается на ватных ногах, погружается в вечность, уставившись в пустоту перед собой и с пустотой в душе, уже не думая ни о чем, даже об этой ловушке — причудливой, издевательской, нечеловеческой, но, главное, необъятной ловушке, в которую они — он и его чемодан — так глупо попались по вине тех, что вынимали, нет, не вынимали, а выставляли напоказ свои пухлые бумажники, откуда бережно извлекали фотографии с желтыми следами желатина на сером... Нет, здесь стоять без толку. Что сейчас главное? Принять решение. И опять все сначала: подхватить с полу свой чемодан, двигаться вперед как можно быстрее, избегать столкновений с «ними» и «их» стенами, ни на кого не глядеть и полагаться на случай, который вдруг да пошлет ему кого-нибудь говорящего на диалекте его родного Питона; вот было бы здорово — обернуться и обнаружить перед собой родственника или соседа или нос к носу сойтись со знакомым, и тот, оправившись от первого изумления, поможет ему либо избежать ловушки, либо, наоборот, проникнуть в нее, отыскав брешь, которую специально приставленные рабочие, наверное, тут же поспешат заделать — не с помощью колючей проволоки, конечно, а тех самых маленьких прерывистых черточек. А пока вок-

[1] В парижском метро вагоны 1-го и 2-го классов различаются по цвету.

руг только пространство, пространство, жадно пожираемое вертикальными плоскостями, которые со всех сторон надвигаются на него, кромсают, уродуют, растаскивают по частям, терзают глаза пассажиров с ненасытной жестокостью, отравляющей все вокруг, и накал этой жестокости одурманивает идущего, отдается ломотой во лбу, душит, придавливает к земле и, достигнув апогея, превращает свою жертву в сомнамбулу с застывшим, обезумевшим взглядом, с деревянной походкой, которая тем не менее выдает горькое, безнадежное смятение и напоминает, несмотря на свою одеревенелость — или как раз благодаря ей,— торжественную затхлость воздуха в писсуарах, находящихся под охраной женщин в белом, пропахших старостью и щелочью: недвижно сидят они у дверей и, в конце концов, не то чтобы уподобляются своим писсуарам, но источают тот же въедливый запах.

На самом деле — ворчливо рассуждает старший следователь — не мог он ехать с Аустерлицкого вокзала только с Лионского и те кто будто бы видел его на линии № 5 (ПЛОЩАДЬ ИТАЛИИ — ЭГЛИЗ-ДЕ-ПАНТЕН) просто болтуны тем более что если мы с самого начала пойдем по ложному следу то потеряем массу времени понапрасну а этот клошар все равно юридически неправомочен давать показания он же ни днем ни ночью не просыхает пьянь эдакая то же самое и со старухой вы только ее послушайте она мне все уши прожужжала историей со своим сыном погибшим в этой стране никак не пойму какая связь впрочем надо будет проверить вправду ли у нее был сын и действительно ли он погиб как она утверждает от потери крови поскольку пуля пробила ему бедренную артерию — да все надо будет проверить досконально а что касается остальных свидетелей которые уклонились от дачи показаний то мне желательно чтобы вы не оставляли их в покое как бы то ни было нечего ему было делать на линии № 5 протяженностью в 11,220 км. Он мог ехать только от Лионского вокзала а пятая там не проходит люди вечно путают вокзалы черт бы их драл! болтайте что хотите а вокзал вокзалу рознь их сразу отличишь друг от друга подробности подробности вот что они вечно упускают из виду а вот для меня это единственная интересная вещь потому что только подробности помогают следствию итак Аустерлицкий вокзал или Лионский вокзал они просто-напросто спутали вот и все ну до чего вы упрямы это же просто бросается в глаза он высадился в Марселе значит он приехал поездом 7. 36 на Лионский вокзал расположенный на линии № 1 (ШАТО-ДЕ-ВЕНСЕН — ПОН-ДЕ-НЕЙИ) которая действительно проходит через БАСТИЛИЮ его ведь там видели он обратился к начальнику станции а тот ни черта не понял и послал его подальше — нет! он велел ему вернуться к своим баранам если быть точным — перечитайте еще разок его показания может они вас натолкнут на какую-нибудь мысль мало ли что бывает и вот если ему нужна была БАСТИЛИЯ ему всего-то одну остановку и надо было проехать — ЛИОНСКИЙ ВОКЗАЛ — БАСТИЛИЯ и наоборот если он ехал с Аустерлицкого вокзала ему пришлось бы хочешь не хочешь прокатиться по трем станциям — ЛА-РАПЭ — АРСЕНАЛ — БАСТИЛИЯ а это не ближний конец и вдобавок совсем на другой линии из этого вовсе не следует что мы прекратим дело это случилось в моем секторе а я не очень-то люблю незаконченные дела в один прекрасный день они всплывают на свет божий смена политики или угрызения совести или чей-нибудь заскок и вот пожалте раскапывать старое досье а на кого все свалят на меня конечно и пойдет свистопляска проверка за проверкой и доследование и газеты и митинги и демонстрации и голодные забастовки впрочем к этому им не привыкать им и так вечно есть нечего да чего уж больше стоит какому-нибудь министру отправиться в туристский вояж в те края чтобы это дело сразу вылезло на первый план а кто окажется виноват ясное де-

ло я знаем мы эти штучки так вот дети мои давайте-ка поднатужьтесь я на вас рассчитываю и мой вам совет почаще поглядывайте на схему метро именно там собака зарыта! Вам может и невдомек почему я доискиваюсь от какой станции он ехал вам кажется что главное то место где эта штука приключилась оно может и так но мы ничего не должны упускать.

А вот, наконец, и поезд, состав из вагонов зеленоватого цвета, и на всех на них цифра II, кроме одного, на котором стоит I,— этот вагон выкрашен в красный цвет и торжественно помещен в самую середину, как пятно на боку у коровы, он останавливается прямо под металлической плашкой, подвешенной на двух стержнях, вмурованных в потолок, на вывеске надпись: ПЕРВЫЙ КЛАСС; поезд вылетает из мрака по какой-то сумасшедшей кривой, в железном грохоте прочных, приземистых колес, дверь ведущего вагона открыта, и в проеме стоит человек, стоит, будто собирается спрыгнуть на ходу, спастись от машины, что угадывается за его спиной, от ее пульта управления, сплошь усеянного всякими циферблатами (указатель скорости, указатель электрического напряжения и т. д.) и с одной-единственной рукояткой, вертикально, как воткнутый нож, торчащей среди округлостей пульта; и вот, едва поезд замедлил ход и стал, как двери разверзаются — с сухим щелчком, почти все одновременно,— а в тех, что раскрылись с опозданием, верно, застряли неловкие дети, или осторожные старые дамы, или приезжие, понятия не имеющие о правилах и обычаях этого вида транспорта и иногда обремененные чемоданом, набитым-перенабитым, вдоль и поперек обвязанным веревками,— такие путешественники выбираются из вагона опасливо, бочком, а выбравшись, с облегченным вздохом думают: слава богу, пронесло! А потом поезд с серо-голубым нутром стрелой вонзается в тоннель, сотрясаясь мелкой, почти неприметной дрожью, которая, как тихий плеск воды, наводит дрему на пассажира, стоящего лицом к несущейся — навстречу и мимо — металлической лавине в сплошных блестках искр и электрических вспышек, которые, если тоннель искривляется дугой, позволяют разглядеть рельсы перед бампером поезда; колеса, визжа и скрежеща по железу, с бешеной скоростью проносятся над стыками рельс, уложенных на слой гравия с жирными пятнами мазута, этот слой регулярно обновляют, но, видимо, не сплошь, а местами, так как камни не все одинакового цвета и похожи на географическую карту, где различные тона обозначают разные рельефы. И вот, когда поезд под сдавленное шипение закрываемых дверей исчезает, в воздухе остается как бы звуковой его призрак, в ушах звенит что-то вроде свиста, мечущегося между высоким и низким тонами, идущего сперва крещендо — по мере нарастания скорости, а затем постепенно теряющего свою силу; он словно испаряется, но еще долго после его исчезновения почти неслышный отзвук свиста витает в воздухе, менее эластичном, чем наверху, и более сгущенном под сводами станции БАСТИЛИЯ, стены которой покрыты оранжевой керамической плиткой, создающей ложное впечатление уюта, тогда как тут же, за стеной экскаватор въедается в чрево земли, и мощные металлические бабы с уханьем отбивают такт, приплясывая на концах тросов, подвешенных к маленькому желтому крану, немного даже торчащему над стеной; оттуда сочится химический запах — так должна пахнуть смесь метана и хлористого натрия, запах этот обжигает ноздри, и приезжий старается задержать дыхание и, только досчитав до ста, вдохнуть этот охимиченный воздух; он сторонится тех мест, где запах особенно силен, и вот он вновь продвигается наугад по коридорам и переходам, шагает и шагает, проходя через бесчисленные дверцы, которые теперь уже не захлопываются перед его носом, по три-четыре раза проходит по одним и тем же местам и, заметив свой промах, безуспешно пытается постичь его причину, понять, куда он забрел, а не поняв, приходит в бешенство,

осыпает себя самыми черными ругательствами, останавливается, чтобы поразмыслить, размахивает руками и, наконец, подсовывает свой клочок бумаги какому-то молодому человеку, который явно спешит, но все же задерживается, пытается доходчиво объяснить ему, как добраться до места назначения, потом вынимает из кармана блокнот, вырывает оттуда листочек размером 14×12 см, достает шариковую ручку с синим стержнем и набрасывает простенькую схемку с названиями станций, которые дополняет цифрами; проделывая все это, он одновременно говорит, как бы желая убедить того в своей искренности, или доброжелательности, или своей солидарности с приезжим во взглядах — или в отсутствии оных — на политику; итак, он говорит: ЛА-РАПЭ — АРСЕНАЛ — БАСТИЛИЯ, произнося слово БАСТИЛИЯ, он изображает на листке стоящую фигурку и пишет СТОП, как на дорожных знаках, которые и сам-то недавно выучил, сдавая на водительские права, поскольку ему уже надоела эта сутолока в метро а ведь он ездит в хорошее время (10.30 — 11.00) когда основная толпа уже рассосалась зато вот вечером в 18 часов! впрочем нет насчет 18 часов он загнул большей частью он дожидается 22 часов чтобы вернуться домой а до тех пор знаете прошвырнешься по барам не для того чтобы пить нет-нет (ничего кроме молока!) а просто сыграть или посмотреть как играют в флиппер[1] люди с которыми он знаком и другие с которыми он не знаком там всякие толкутся и негры и арабы ну и французы конечно! Потом, спохватившись, он переходит к делу, то есть начинает выговаривать по слогам, смеясь глазами и сложив щепоткой указательный и большой пальцы правой руки: ЛА-РА-ПЭ-Э-Э (держа, покуда хватит дыхания, это Э-Э-Э), но, не выдержав, снова впадает в длинный монолог, насмешливо думая, что тот все равно ничего не поймет да и какая разница! главное пусть видит что я к нему по-дружески и знаешь что старина давай-ка я тебя провожу до перрона а там тебе только поезда дождаться а ну шагай побыстрее а то у меня свидание шевелись шевелись н-да чемоданчик-то у тебя дай боже! И приезжий вдруг инстинктивно понимает, что попал на хорошего человека, он ставит свой чемодан наземь и собирается открывать его; тот, второй, догадывается зачем: не надо старина не надо в другой раз может еще встретимся мир тесен и вообще давай-ка поживее; на ходу он повторяет ему название последней станции: БАС-ТИ-ЛИ-Я,— и приезжий произносит вслед за ним: БАС — потом замолкает, потому что вой прибывшего поезда покрывает его голос, и он ждет тишины, чтобы начать снова: БАС — и, сбившись, опять замолкает, и тогда тот, второй, радостно заканчивает вместо него: ТИ-ЛИ-Я, ТИ-ЛИ-Я — это же легко ну-ка повтори! И приезжий, с трудом приподнимая свой чемодан, повторяет: ТИ-ЛИ-Я — старательно и торопливо, чтобы не ошибиться и не разочаровать своего первого друга, обретенного в этом логове людоеда, в ста метрах под землей, а друг, удерживаясь от шального, впрочем, вполне беззлобного хохота, возвращает ему то же слово БАС-ТИ-ЛИ-Я, приговаривая: ну ты даешь ну ты молоток знаешь флиппер мировая игра она как метро в ней тоже есть всякие маршруты и чтобы попасть из одной точки в другую обязательно требуется пройти через определенные пункты это конечно вопрос силы рук но надо и здесь кое-что иметь,— и палец стучит по лбу, над которым пышно курчавится шевелюра — белокурая при неоновом освещении, но на самом деле, скорее всего, светло-каштановая, — да-да надо здорово соображать знаешь есть такие типы что живут с этого они выигрывают все партии подчистую и они же жульничают нет ведь эта штука электрическая!

И провожатый, припоминая все виденные или сыгранные им

[1] Электрический бильярд.

партии, вдруг начинает размышлять о том, что никогда раньше он не находил в электробильярде сходства со схемой метро, тем более что игра дарит человеку азарт, ощущаемый как некое возвышенное чувство, тогда как метро придавливает и отупляет, притом, нужно признать, цветистые изломы на схеме метро являют собой гораздо более усложненную графику, нежели тот маршрут, по которому пробегает шарик некоторых электробильярдов, и все же невидимый маршрут шарика наталкивает прежде всего на аналогию со сложным переплетением линий метро, хотя что общего у него с десятками коридоров, тупиков, перронов, лестниц и эскалаторов, заполонивших каждую станцию, что живет своей собственной, обособленной жизнью, как замкнутое единство, укрытое за металлическими дверями, входными автоматами, крепкими решетками, яркими или тусклыми — когда как — билетными кассами, электронными перегородками, сигналами тревоги, телефонными кабинами, мелкими магазинчиками и газетными киосками (ВЫ ТРЕБУЕТЕ СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯШНИЕ СТАНЦИИ МЕТРО БОЛЕЕ УЮТНЫМИ? ДА, СТАНЦИИ МЕТРО ПРОИЗВОДЯТ МРАЧНОЕ И ХОЛОДНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ. ТАК О НИХ ГОВОРЯТ. И, ОДНАКО, В МЕТРО ИМЕЕТСЯ 250 КНИЖНЫХ КИОСКОВ И 230 МАГАЗИНОВ. СЛЕДОВАТЕЛЬНО, В МЕТРО ВЫ МОЖЕТЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ, ВЫБРАТЬ КНИГУ И СДЕЛАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ПОКУПКИ, ДАЛЕЕ: БОЛЬШИНСТВО БИЛЕТНЫХ КАСС РЕКОНСТРУИРОВАНО. ТЕПЕРЬ ОНИ ОКРАШЕНЫ В ЯРКИЕ ЦВЕТА. КРОМЕ ТОГО, НАЧИНАЯ СО СТАНЦИИ «ЛУВР», ВСЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ СТАНЦИИ РАССКАЖУТ ВАМ ОБ ИСКУССТВАХ, РЕМЕСЛАХ, ИСТОРИИ И СЕГОДНЯШНЕЙ ЖИЗНИ НАШЕГО ГОРОДА. РАЗУМЕЕТСЯ, ЕЩЕ МНОГОЕ ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ. И МЫ ЭТО СДЕЛАЕМ. ИБО ГЛАВНОЕ, К ЧЕМУ МЫ СТРЕМИМСЯ, ЭТО СОЗДАТЬ ДЛЯ ВАС В МЕТРО МАКСИМАЛЬНЫЙ УЮТ. УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА ПАРИЖСКОГО РАЙОНА. У НАС С ВАМИ ОДНА ДОРОГА), за окошечками, прикрытыми плексигласом, не говоря уж о кабелях, о рельсах общей протяженностью 175,20 км, о проводке, пожарных насосах, упрятанных поглубже не столько из эстетических соображений, сколько из тактических или даже стратегических, ибо метро может послужить убежищем на случай разрушительной войны, впрочем, скорее всего, они замаскированы для того, чтобы не возбуждать интереса пассажиров, не смущать их рассудок призрачными видениями десятков километров тяжелых труб и тонких проводов, тянущихся вдоль тоннелей, как кишки гигантского зверя, покрытых плесенью и ржавчиной от подземной сырости, зловонно пахнущих металлом, так как есть ведь еще и толстенные газопроводы, уложенные глубоко под брюхом чудовища, в специально оборудованных галереях с бетонированными стенками, они снабжают газом целый город, подают его в каждый дом, в каждую квартиру, в магазины, в лаборатории, в рестораны; не говоря уж о канализационных колодцах, по которым идет воздух или отводится вода (ЧЕРЕЗ ГОД ПРИ НОРМАЛЬНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ, ТО ЕСТЬ ПРИ ОТСУТСТВИИ ОБИЛЬНЫХ ПАВОДКОВ, КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ, ПРОСАЧИВАЮЩЕЙСЯ ИЗ ПОДЗЕМНЫХ ГОРИЗОНТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПОД БОЛЬШЕЙ ЧАСТЬЮ ГОРОДА И ПРЕДМЕСТИЙ, ДОСТИГНЕТ ПРИМЕРНО 3 МИЛЛИОНОВ КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ. ЧТОБЫ ВЫКАЧАТЬ ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ И ОТВЕСТИ ЕЕ В СТОЧНЫЕ ТРУБЫ, ПОНАДОБИЛОСЬ УСТАНОВИТЬ ЦЕЛУЮ СЕТЬ ДРЕНАЖНЫХ УСТРОЙСТВ, А ТАКЖЕ 243 ПОСТА ОТКАЧКИ, ПО 2 ИЛИ 3 ГРУППЫ НАСОСОВ КАЖДЫЙ (ВСЕГО 398 ГРУПП), МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТ 45000 $м^3$ в час), просочившаяся наверх, а также различные отбросы; все это переносится бог весть куда: в ручьи, в реки, в моря или на заводы по переработке мусора,— в основном пластика, который забивает все пространство, вытесняет другие вещества, стойко сопротив-

ляется процессу разложения, питает и себя, и своих соседей, и мертвой хваткой держится за жизнь, запуская свои цепкие щупальца в любую щель... Им легко говорить, замечает молодой человек, замедляя шаг, чтобы рассмотреть скромную афишку, напечатанную синим шрифтом на белом фоне; с правой стороны помещен рисунок: моторный вагон метро, окруженный чем-то вроде туманного полумесяца, напоминающего дремотное оцепенение самых ранних пассажиров, тех, что едут в 5 утра, полусонные, продрогшие, бесчувственно-покорно предоставив поезду мчать себя сквозь сумятицу снов,— или последних, самых поздних, тех, что едут в час ночи и засыпают прямо в вагоне, грузно осев на приторно пахнущих сиденьях; вокруг изображения вьются две сцепленные аббревиатуры АУПГР — НОЖДФ[1]. Легко им говорить — продолжает любитель флиппера, соблаговолив замедлить шаг, чтобы прочесть афишку, и добавляет: вот взять хоть тебя хорошо же они тебя встречают! Нет ей-богу они нас идиотами считают! А приезжий пользуется остановкой, чтобы хоть на секунду опустить наземь чемодан, ловя в глазах своего провожатого сигнал, по которому он вновь подхватит его; может быть, после этой короткой паузы, употребленной на чтение афишки, он поставит его себе на плечо,— то, что ниже другого, если эта история с асимметрией не есть чья-то игра воображения или просто чистая выдумка; а тот все повторяет: нет ты только подумай! Тут ведь еще не нужно забывать что чуть ли не на каждой станции есть несколько уровней а значит считай что это не одна станция а целых три или четыре или даже пять а на самых кошмарных уровней и того больше но они всюду поспевают всюду наводят красоту все размалевали залепили разукрасили для них ведь самое главное видимость создать а что касается остального то им на все наплевать спроси их и они скажут мы мол не виноваты если кое у кого слишком богатое воображение или депрессия пусть мол лечатся а что делать тем кому не под силу разобраться в схеме?.. Н-да неплохо они тебя встречают! Скажи им спасибо...

Страх налетел внезапно: про ЭТО ему никто не говорил, даже ласкары (от арабского «askar» — солдат. Слово изменило свое значение в 1830 г. и стало означать «храбрец, смельчак, человек решительный и смекалистый». В обиходе — «шутник, ловкач, лихой парень»), а ведь они так боялись, чтобы он не пристрастился к катанию в метро, один раз воспользовавшись этим в высшей степени практичным средством сообщения; они так увлеклись созерцанием своих старых фотографий, так заговорились, делясь впечатлениями в его присутствии, когда он зашел к ним попрощаться перед отъездом, что напрочь забыли о нем, склонные кто преувеличивать, а кто и приврать, иными словами, сознательно исказить истину, путая даты и места, ухватившись за счастливую возможность повспоминать, предоставленную им по его милости, тогда как они почти уж и позабыли о существовании этих фотографий. Нет, никто не говорил ему про ЭТО, даже они, которым он доверял всецело, а ведь они провели в этом городе чуть ли не всю жизнь, покинув Питон совсем мальчишками, а вернувшись туда пожилыми мужчинами, седыми, или плешивыми, или с жидкими пегими волосенками, с меньшим количеством пальцев, с бóльшим количеством болезней и с целым запасом всяческих историй, которыми они так и сыпали, лишь бы их не упрекнули в том, что они редко наведывались на родину, разве только по особому случаю, на похороны, к примеру. Да, они обязаны были предупредить его о такой внезапной перемене декораций, которую ничто не предвещало, ничто, никакая малость! Даже молодой человек, проводивший его до перрона, не подал ему никакого знака;

[1] АУПГР — автономное управление парижского городского транспорта. НОЖДФ — национальное общество железных дорог Франции.

может быть, он должен был угадать это сам, может, о такой вещи не говорят вслух, ну вот как не говорят о женщинах (на фоторекламе позирует молодая женщина, одетая в колготки и рубашку, подвязанную под грудью так, что виден голый живот — округлый, гладкий, с нежным пушком) с близкими друзьями или как не произносят непристойностей и ругательств в присутствии братьев, родственников, членов своего клана? Ужас клещами впился в него, на несколько секунд ему показалось, что любитель флиппера просто одурачил его, что он морочил ему голову, что он хотел вынудить его повернуть вспять (метро — поезд — пароход). Он не был подвержен обморокам, но здесь, у самого края бездны, он проникся неумолимой уверенностью, что вот сейчас, сию минуту умрет; это случилось, когда поезд внезапно, как камень, пущенный из пращи, вырвался из-под темного свода и врезался в пустоту, залившую вагон ослепительным дневным светом, а ведь там ехало мало народа, и он уже было чуточку успокоился, устроившись на сиденье, сжав чемодан коленями и с удовольствием чувствуя, как теплый воздух пробегает по его рукам, он говорил себе, что рано или поздно доберется до места, и мысленно повторял в четком, бегущем ритме, подогнанном под стук колес: БАС-ТИ-ЛИ-Я, БАС-ТИ-ЛИ-Я — БАС... И вдруг эта ошеломляющая перемена, этот налет воздуха и дневного света, этот удар, пришедшийся сперва по металлу и стеклам вагона, а потом и по его глазам, заметавшимся в панике, не знающим, то ли зажмуриться, то ли выпучиться от ужаса; он машинально продолжал бормотать слово, которое по-прежнему вертелось у него в голове, впивалось в мозг, как нитка для нарезания мыла, мягко, мучительно-мягко погружающаяся в кусок,— продолжал бормотать, несмотря на то, что в сознание грубо вторгалась эта перемена действия, когда поезд вырвался из привычного своего обиталища, как река из русла, вырвался, чтобы стрелой пролететь над новым, невиданным еще миром, над пестрядью мостов, пилонов, столбов, балок — это справа, а под ними, ниже, замелькали улицы с их машинами, с их красными огнями, с их тротуарами, с их прохожими, с их магазинами, с их домами, с их витринами, с их собаками, которых непременно держат на поводке... а слева вокзал — с десятками путей и перронов, с рельсами, бегущими в неверное будущее,— невидимый, но угадываемый по пыхтению локомотивов, по их рыдающим гудкам, прорвавшимся сквозь мерную икоту колес вагона, и весь этот светлый содом опутывала паутина электропроводов, зигзагами уходящих куда-то в беспредельность, гораздо более стремительную и туманную, чем метро, ибо они быстро исчезли из виду; а дальше — то справа, то слева, то выше, то ниже — мрачные здания, ангары, морги (но этого он еще не знает), заводы с закопченными окнами, склады, строения в железной щетине лесов, по которым, балансируя осторожно, как по канату, передвигаются крошечные фигурки, а дальше чахлые деревца и многое другое. А дальше река, река надвигается на вагон, угрожая всей этой хрупкой новой реальности, ибо желтоватый отсвет воды ложится на рельсы, провода, мосты и пилоны, балки, склады и ангары, морги и заводы, с маху стирая их очертания, обесцвечивая и погружая их в небытие и еще настойчивее завоевывая внимание приезжего, чей страх все растет и растет, ибо теперь поезд завис между небом и водой, точно тяжелый самолет, полосующий зенит разнузданно-лохматыми струями газов, и даже, кажется, набирает скорость, если только это не обман зрения, вызванный повышенной здесь, снаружи, упругостью воздуха,— мчится все быстрее и быстрее, с дробным пулеметным треском, с бешеными рывками в стороны, с мрачным упорством стремясь поскорее нырнуть обратно, к себе под землю, после столь неожиданной эскапады, потрясшей сознание путешественника, которого так никто и не остерег и который теперь явно уже предпочитает под-

земный путь воздушному полету — головокружительно прекрасному, конечно, но и мало надежному.

Тем более что оторопь погружала его в какие-то пугающие призрачные глубины. Оторопь... Да, он совсем оторопел. Одно то, что ему приходилось держать в голове все это невероятное, перепутанное скопище сведений, повергало его в предсмертную тоску. Мокрый от пота, с пересохшим ртом, с дрожащими коленями и с головой, гудящей, как на футболе (он любил только местные встречи — гораздо более азартное развлечение, чем международные матчи между командами, прибывшими из такой дали, что не всегда и на карте-то отыщешь; тем выше ценил он игроков из соседних с Питоном деревень и любил смотреть на их борьбу — тут ты как дома, среди добрых соседей, каждый из которых знает привычки, трюки, недостатки и слабости другого, как свои собственные, да и сама игра, пусть немудрящая, привычна глазу: нехитрые отпасовки, нехитрые обводки, нехитрые комбинации и венец всему — жалобный стон сетки в воротах противника, когда мяч влетает в них и застревает где-нибудь в нижнем правом или левом углу, а вратарь еле-еле плетется за ним, всей душой надеясь не найти его в сетке и еще до того, как он увидал его, всем своим видом отрицая, что мяч попал в цель; убитый, смешной и одинокий, раздавленный торжествующим ревом противников и улюлюканьем своих болельщиков. Все погибло!). Он задыхался между двумя глотками перегретого, соленого воздуха, как тот вратарь — среди всеобщего ликования, а ведь ему еще надо было не упустить это странное слово БАС-ТИ-ЛИ-Я, которое каталось у него в голове, как синеватая, тугая, дрожащая капелька ртути, тикало в мозгу, как часы. Не на первой и не на второй — на третьей! Один. Два. Три. Он считает в уме, потом на пальцах, а прибыв туда, скажет, еще не выйдя окончательно из вагона, лишь высунув наружу ногу и держа чемодан на пороге автоматически открытой двери, загораживая проход, выводя из себя старых обозленных мегер, да и молодых парней, еще не стряхнувших с себя сон или же просто подонков и хамов, которые воспользуются удобным предлогом, чтобы пнуть ногой его багаж, и без того потрепанный до безобразия, со словами: эй ты шевелись дерьмо поганое ну чего застрял недоумок! — он быстро скажет с вопросительной интонацией: БАС-ТИ-ЛИ-Я? Но пока что он только растерян и одновременно испуган той скоростью, с какой поезд покидает сводчатую часть строения, где сложные, вычурные перекрытия поддерживают всю конструкцию неведомо как, без всякой помощи болтов или гаек; поезд на короткое время поглощает пустоту и почти сразу же покидает станцию, вырываясь из-под защиты сводов точно из-под черепашьего панциря, с которым они схожи и цветом и округлостью, позволяющей хоть ненадолго забыть о строгой прямизне коридоров и переходов и монотонной ровности плоскостей; и пока моторный вагон, после второй остановки, с грохотом катит вниз по крутому склону, увлекающему его под землю, человек мало-помалу приободряется и уже начинает готовить свой вопрос, который он задаст просто так, с бухты-барахты, без всяких там предисловий, без той вежливости, что в конечном счете обязательна лишь для людей, связанных некоей круговой порукой, а он им чужой, у него только и есть что чемодан да клочок бумаги, на котором, судя по всему, записан адрес, записан не кое-как, второпях, но прилежно переписан маленькой девочкой, которая ходит в школу, очень серьезно относится к занятиям и постаралась выписать каждую букву адреса с необыкновенным тщанием, что тем не менее дало весьма посредственный результат, ибо почерк у девочки еще не выработался и обнаруживает маленькую, несильную ручку маленькой девочки, подавленной важностью возложенной на нее задачи: боже ее упаси ошибиться хоть на одну буковку, иначе путнику грозит опасность остаться на улице и погибнуть от голода и холода; плюс к этому имеется второй клочок

бумаги, вырванный из блокнота на спиральке,— листочек размером 14×12 см, который провожатый сунул ему в руку за миг до того, как сдвинулись двери, не требующие, чтобы их закрывали сами пассажиры, с изображением — это о листочке — опять каких-то черточек, линий, со словами и цифрами, набросанными достаточно твердой — в отличие от руки воображаемой девочки — рукой, торопливым, но очень разборчивым почерком, вероятно, типичным для всех любителей флиппера.

А потом опять налетает звук, сметая на своем пути все и, в частности, вот что:

Прогорклый запах шерсти (нетрудно найти обонятельную аналогию с кисловатым запахом, въевшимся в вагон, который ежедневно перевозит тысячи мужчин и женщин, каждый со своим, врожденным запахом, присущим только ему одному, не говоря уж о благоприобретенных запахах: лосьона после бритья, разнообразных бриллиантинов и лаков для волос, сигарет, окурков, табака, трубок, дезодорантов, духов, пота, нестиранных тканей, мокрых плащей, немытых ног, кухни, отрыжки и т. д.), шерсти, которую моют в ручьях, когда зима подкрадывается к Питону, застилая горизонт от грифов и прочих стервятников, которых дети пытаются — правда, безуспешно — приручить, как приручают они летом мирных, безобидных цикад,— такую цикаду сажают в кузовок, сплетенный из тоненькой дранки с просветами, чтобы пленнице не было темно, и кормят только помидорами, один помидор на одну цикаду в день, если хочешь, чтобы она трещала погромче; шерсть опускают в ручей и топчут ногами в течение нескольких дней стоя по щиколотку в воде; когда солнце припекает посильнее, от нее поднимаются вверх зловонные испарения, они ударяют в нос, проникают в поры, щекочут ноздри, а над ручьем на горé — деревня, она как будто разрастается, если взглянуть на нее против солнца суженными от света зрачками, солнце делает охряный цвет стен более абстрактным, более прозрачным, чем в действительности, и возникает ощущение, что все зависит не от архитектурного замысла, а от него, от цвета, как будто цвет обладает властью сводить формы и объемы, составляющие ансамбль, в единый, хоть и сложный знак, совсем в ином ракурсе показывающий все постройки, реальные и воображаемые; которая — речь идет о деревне — насквозь пропитывается, когда внизу моют шерсть, тошнотворными запахами овечьего выпота, свежей и свернувшейся крови и горьковато-соленой воды. Но ритуал мытья шерсти не оставляет времени на подобные раздумья, тем более что над этим мытьем незримо витает нетерпеливый призрак любовной горячки, ибо новой, один раз мытой шерстью набивают тюфяк, который дарят жениху, и именно на этом тюфяке, когда прогорклый запах окончательно выветрится, молодые впервые познают любовные радости.

А сердитый следователь ворчит: ну что там еще за болтовня о прогорклом запахе? уши вянут от ваших выдумок несете чушь какую-то да он за всю поездку слова не вымолвил по той простой причине что не говорил даже на языке своей страны не то что по-нашему этот парень изъяснялся на своей горской тарабарщине которую мало кто и понимает-то так что нечего тень на плетень наводить прочтите лучше рапорт который нам прислали по этому поводу там все черным по белому написано этот тип нем как рыба это я вам говорю! да что мне рапорт все равно он ничего не проясняет или мы идем по ложному следу вот так-то есть мнение что он затеял драку с той компанией а ну-ка покажите мне полицейский протокол что они там пишут или нет лучше показания начальника станции ну так я и думал ничего существенного одна болтовня хотя нет вот нашел но доказательств никаких этот тип горец да и родственники его живут здесь годами а по-французски ни бум-бум не хотят и точка ну да это не мое дело какая в конце концов разница нечего тут переливать из пустого в

порожнее в чем я на сто процентов уверен так это в том что никакой драки он не затевал разве что его довели до ручки а эта история с чемоданом которым он загородил проход тем кто сходил на БАСТИЛИИ да-да начальник станции — между прочим красивая девушка — приметила его но это продолжалось очень недолго меньше секунды — у нее был хронометр в руке — она объяснила что это у нее такой бзик всегда хронометрирует все что происходит — так вот этот затор длился меньше секунды она готова голову дать на отсечение! теперь-то она утверждает что парень ей даже приглянулся вот идиотка она может здорово нам подгадить такими заявлениями лучше бы попридержала язык поди докажи после этого ее беспристрастность возможно она просто умалчивает об этом споре по поводу скверного запаха в вагоне вся беда в том что никто кроме этих ваших свидетелей ни черта подобного не видел и не слышал вы слишком разбрасываетесь старина не теряйте из виду цель и смотрите не вздумайте искажать данные следствия это произошло в моем секторе значит я несу ответственность вот так-то! вы надеюсь не думаете что я ему симпатизирую боже упаси чего нет того нет! сидел бы там у себя в горах да жарился на солнышке а теперь вот возись с ним но как бы то ни было а следствие нужно довести до конца а вот когда я увижу что дело не движется тогда я подумаю прекращать его или нет я один здесь решаю знаю я вас когда неприятности посыплются все вы живенько подожмете хвосты и начнете ссылаться на приказы которые я вам будто бы давал мне известно что обо мне болтают стоит мне выйти за дверь: маньяк! псих! фанатик! и все в том же роде ну ладно вернемся к нашим баранам а что касается этой истории с прогорклым запахом забудьте ее да-да именно так что же мы знаем а то что он благополучненько вышел из вагона на БАСТИЛИИ и даже спросил БАСТИЛИЯ ли это что и привело к заминке о которой говорил начальник станции — красивая девушка ей-богу! — но не будем отвлекаться самое досадное что нам неизвестно откуда он ехал девушка утверждает будто с Аустерлицкого вокзала она в этом уверена так как работает здесь уже три месяца но тогда почему он не ехал с того вокзала на который прибыл поездом то есть с Лионского! Ладно не будем усложнять себе жизнь главное он добрался до БАСТИЛИИ поездом шедшим с Аустерлицкого вокзала но тут-то и начинаются загадки на этом перегоне его ни одна живая душа не видела.

И вот он со своим еще более отяжелевшим чемоданом и со своими двумя клочками бумаги (один листок в клеточку, с торопливо набросанными словами и рисунками, другой с адресом, выведенным аккуратным школьным почерком), по-прежнему зажатыми в правой руке, спокойно идет вперед, убеждая себя, что нечего паниковать, что позже, очень скоро, он же первый посмеется над этой историей, как его и уверяли те, кто проходил здесь задолго до всяких улучшений и переделок, этой «липы», как выразился любитель флиппера,— еще в те времена, когда кругом все было тускло и серо, и никаких тебе движущихся лестниц, и одни вагоны (II) были зелеными, тогда как другие (I) — красными, а деревянные облупленные скамьи все одна в одну, словом, сплошная скукотища, да и только! Да, «они» тоже блуждали здесь и знали, о чем говорят, иначе они предостерегли бы его, отговорили бы от поездки, подняли бы на ноги всех мудрецов Питона, а в случае, если бы он все-таки уехал, молились бы за спасение его души, с молниеносной быстротой перебирая зернышки четок, принесли бы в жертву чересчур голосистого петуха, а то и вовсе какую-нибудь бесплодную кошку, от которой давным-давно собирались избавить общину, и будь они там хоть трижды ласкары, обязательно устраивали бы втроем (или вчетвером) тайные сборища, где пили бы за его здоровье, укрывшись от злобных глаз завистников — это по их словам, а на самом деле просто боясь осуждения деревни, которую они в незапамятные времена покинули, чтобы вот так же

шагать по переходам метрополитена и даже осмелиться дать себя сфотографировать перед его входом, как будто это и есть самый интересный памятник в городе, далеко не таком холодном, как думали или могли бы подумать никогда в нем не бывавшие, но дававшие волю своему воображению старики. Он твердил себе, что нет никаких оснований для паники, что все образуется и войдет в колею, как вот эти линии, которые идут себе куда им надо, даже если кому-то и кажется, будто они чересчур запутаны и непонятны и не ведут ни к какой реальной цели,— нет, их расположение имеет, конечно, какой-то смысл, пусть пока и скрытый от него; он твердил себе это, но, по правде сказать, просто старался успокоить себя, забыть некоторые взгляды, которые он подметил в тот момент, когда, нагибаясь к своему чемодану, поставленному рядом с дверью, обернулся к попутчикам и спросил: БАС-ТИ-ЛИ-Я? — а те вытаращились на него полуизумленно, полувозмущенно, застигнутые врасплох этим неожиданным, а главное, бессмысленным вопросом, ибо слово БАС-ТИ-ЛИ-Я, написанное синим на белом фоне по принципу многоразового повтора, через каждые десять метров, по обе стороны станции, буквально лезло в глаза; некоторые из пассажиров даже усмотрели в столь провокационном вопросе оскорбительную иронию, еще усугубленную акцентом, который резанул их слух, привыкший к... Может быть, именно в этот момент кто-то и пнул его чемодан носком туфли или сапога, так что тот проехался по перрону, и он едва успел подхватить его за миг до того, как закрылись двери; вот тут-то и вмешался начальник станции, привлеченный шумом от выпавшего на перрон предмета. БАСТИЛИЯ — у него не было уже времени произносить это слово по слогам, он отказался и от вопросительной интонации, предпочтя ей скорость произнесения и не слыша сыпавшихся на него градом ругательств: ну ты подонок давай шевелись убогий и т. д. В отличие от орущих, тот самый начальник станции — красивая девушка, неизвестно зачем похоронившая себя в ста метрах под землей,— лишь сухо уронила: проходите!..

Как же она похожа — только что не улыбается — на высокую девушку в колготках, которые та восхваляет с гигантского рекламного щита,— плакат резко бросился ему в глаза как раз после стычки на перроне, где он так и не сказал ни слова; он уставился на фотографию, шепча про себя: «Да что же это такое творится-то нет ей-богу хоть бы они меня предупредили!» Или не они, поскольку им, может быть, и неловко было бы обсуждать с ним такие вещи, наверное, они толковали об этом только во время своих нескончаемых пирушек, на которые вся деревня закрывала глаза, поскольку они кормили ее на свои сбережения, привезенные ОТТУДА, или на их пенсии, которые каждый квартал приходили с неукоснительной точностью; нет, не они, но тогда его должны были предупредить в полиции или «люди с печатями» (уж с ними-то он поимел дело!), или же на пароходе кто-нибудь запросто мог бы заметить: эй слушай-ка парень ты там не очень-то робей видать впервые туда едешь ну так вот что я тебе скажу... И пусть продолжение потонуло бы в предотъездной разноголосице, в истерических вскриках чаек, жадно налетающих на хлеб и фиги, что кидают им маленькие дети,— главное, услышать это «не робей». И вот он стоит перед этим плакатом, который как будто надвигается на него, стоит и не знает, что ему делать — смотреть или зажмуриться. На плакате изображена молодая красивая пара. Мужчина сидит в шезлонге, на нем белый махровый халат. Перед ним стоит его жена (по крайней мере, нужно думать, что жена, так как мужчина носит обручальное кольцо, ее же кольца не видно — она закинула обе руки за голову), на ней колготки, едва доходящие до пупка. И приезжий с чемоданом, всей спиной чувствуя, как сверлит его сзади злым взглядом двойница девушки в колготках, медленно

пробирается вперед сквозь вдруг погустевшую толпу — погустевшую, конечно, весьма относительно, но, может быть, приток людей вызван этой самой рекламой? (НАСТОЯЩИЕ ЧЕСТЕРФИЛДОВСКИЕ! В ЭТИХ КОЛГОТКАХ ВАС ПОЛЮБЯТ ВСЕ МУЖЧИНЫ!) — она сияет под светом неоновых трубок, из которых одна или две судорожно подмигивают, видно, из-за каких-то неполадок, а скоро, наверное, и вовсе погаснут к вящему его изумлению. Тем большему, что молодая женщина в колготках стоит с заголенным животом, а ее рубашка подвязана узлом под самой грудью. Не замедляя шага, он на ходу старается понять, как принимают эту рекламу окружающие, но, к великому своему разочарованию — или изумлению,— видит, что никто ею не интересуется, и тогда он спрашивает себя, для чего украшать стены метро полуголыми женщинами, если до них никому и дела нет? Мужчина, сидящий в шезлонге, держит левую руку с четко выделяющимся на безымянном пальце обручальным кольцом — этим залогом стыдливости или добродетели, слегка смягчающим смелость изображения — на левой ягодице своей жены, обтянутой нейлоном колготок, более темных в низу живота, как будто в этом месте ткань дублирована. И тогда он, в подражание окружающим, опускает глаза и идет вперед, глядя на свои старые башмаки и спрашивая себя: ну и что мне теперь делать? — инстинктивно понимая, что опять попал не туда, уже забыв, а то и с самого начала недослышав название станции, на которой должен был сойти. То и дело стукаясь коленом об угол своей грузной ноши, он опасливо сторонится автоматов, торгующих сладостями,— ему достаточно услыхать, как они с сухим щелчком выбрасывают наружу пакетики жевательной резинки, карамели, леденцов или нуги, и эти щелчки становятся для него такими же привычными, как тысячи других звуков и шумов, мысленный инвентарь которых ему надо будет попозже составить для себя. Продолжая продвигаться вперед, он собирается пройти через турникет, но механические клешни вдруг хищно впиваются в чемодан, который он не успел продернуть следом за собой, тем не менее он не теряет присутствие духа. Он дожидается отхода поезда, тогда дверца открывается, и он высвобождает чемодан. Молодые люди на плакате выглядят так, будто только что вышли из ванной (НАСТОЯЩИЕ ЧЕСТЕРФИЛДОВСКИЕ КОЛГОТКИ НЕ ИМЕЮТ ШВОВ ТАК ЖЕ, КАК НЕ ИМЕЕТ ИХ ВАШЕ ТЕЛО) — у них еще влажные волосы, кроме того, мужчина, сидящий в шезлонге, накинул купальный халат, и в довершение ко всему, молодая женщина, стоящая рядом с ним в своих темно-коричневых нейлоновых колготках, держит в руках полотенце, которым вытирает голову. И снова эскалатор, и снова эта боязнь опустить чемодан на блестящую чешую нержавейки, на этот механический ковер-самолет, как будто он опасается, что у него стащат эту громоздкую штуковину, битком набитую тысячами гостинцев, которые тамошние, деревенские, послали родным и друзьям, на эту ленту, ползущую с каким-то сдавленным, угрожающим шипением, которое потихоньку испускает огромная машина. Доехать. Забыть. Исчезнуть. Молодая женщина, по-прежнему вытирая волосы, улыбается в объектив (или приезжему?). У нее слишком светлые глаза и слишком большой накрашенный красным рот. Но только непонятно, к чему относится ее улыбка: к тому ли, что ей хорошо после принятой ванны, или ей приятно носить эти колготки, или же (третье предположение) ей доставляет удовольствие тот факт, что рука ее мужа гладит ее левую ягодицу (НАСТОЯЩИЕ ЧЕСТЕРФИЛДОВСКИЕ. ТРУСЫ-КОЛГОТКИ БЕЗ ШВА!), последнее, впрочем, вызывает легкое сомнение, но оно быстро улетучивается, ибо сразу видно, что мужчине тоже явно нравится держать руку на обтянутой нейлоном ягодице своей жены. Правда, тут же возникает вопрос: а не радуется ли он просто тому, что купил своей любимой супруге такую прочную, практичную вещь — цена колготок проставлена под фотографией в пра-

вом нижнем углу (5 франков). И снова, за следующим поворотом, все тот же плакат настырно лезет ему в глаза, и оттого ему кажется, что он вернулся на прежнее место, хотя это не так: он был на перроне, откуда поезда идут в направлении ЭГЛИЗ-ДЕ-ПАНТЕН, а теперь очутился на линии ШАРАНТОН-ЭКОЛЬ; и опять он начинает клясть себя, пытаясь обнаружить какие-нибудь признаки, что позволили бы ему эмпирическим путем определить, куда же он забрел, но все напрасно, настолько велико сходство между обоими перронами. В ногах у мужчины на полу стоит лампа с керамическим цоколем, гармонирующим по цвету с остальными тонами комнаты (пастельно-зеленым, серо-зеленым, молочным, опаловым, темно-зеленым и другими), она освещает сцену направленным, как у прожектора, светом, и это наводит на мысль: сколько же всяких технических средств и приспособлений было мобилизовано на изготовление этой вот фотографии, наверное, и прожекторы с толстыми грязными кабелями, подсоединенные к электросети сотнями метров проводки, и фотоаппараты, и объективы, и телекамеры, и мощные лампы, а ведь огромное это хозяйство еще обслуживается техниками, рабочими, подсобниками; и все для того, чтобы какой-то муж мог положить свою левую руку на левую ягодицу своей законной супруги. Нет, он больше ничего не понимает, стыдливое смятение разгорается в его душе и, разгоревшись, гневно бьется в висках, закупоривает жилы, которые, похоже, вот-вот лопнут. Время внезапно встало. Оцепенение, подобное смертному... Первородный стыд!

ЛИНИЯ № 1

Все было влажное, расплывчатое, туманное, серое, кое-где вспыхивали красные пятна, но им не удавалось одолеть эту непобедимую серость — многоликую, невероятно богатую тонами и оттенками, тем более что пыль тончайшей пленкой обволакивала все вокруг, искажая подлинные краски и ложась на потные лица каким-то сероватым лишаем; этот серый налет, стоило человеку попасть под неоновый свет, сменялся серо-зеленым — не тем, что бывает на заплесневевшем хлебе или овощах, а тем, что проступает на металле с малым содержанием железа, если плеснуть на него кислотой, которая тут же застынет на нем звездообразным ожогом, абстрактным, исполненным загадочного смысла рисунком, она изгложет холодное тело металла, оставив на нем шершавые следы укусов, пахнущие серой. Влажность... Вялость... Судороги затянувшегося лета даже сильнее ощущаются здесь, в чреве метро, чем в смятении деревьев наверху — еще не сбросивших листву, но уже утративших то изобильное великолепие, что позволяло угадывать движение сока по их глубоко упрятанным извилистым артериям; ветви предпочитают боязливо скрючиться вместо того, чтобы довериться этой обманчивой ласке тепла, ведь воздух хоть завтра может стать ледяным, а дождь добавит сырости к той, что здесь, внизу, заполонила все переходы, пропитала общественные туалеты и особенно перроны и станции, запах которых сродни запаху мокрой шерстяной одежды, сохнущей на батарее. Конец лета... Но какого лета? Он по-прежнему был настороже. Не хватало еще сейчас взять да захохотать как сумасшедшему. Тогда ему уж наверняка не миновать их допросов да расспросов, пинков и оскорблений, а главное, этой подозрительности, вставшей барьером между ним и другими, затаившейся в уголках глаз, под веками, вздрагивающими, как у того, кому снится страшный сон... один и тот же сон, навязчивый, надрывающий сердце, наполненный одновременно и прямым и скрытым, угрожающим смыслом, который ни один врач ему не растолкует. Сумасшедший хохот? Да, именно. Но хохот, который запря-

тан в самую сокровенную глубь души и циркулирует где-то там, во внутренностях, извивающихся и урчащих, как неисправные водопроводные трубы, содрогающихся в неодолимой икоте; хохот, замешанный на страхе, на робости, на открытой враждебности окружающих. Но все же откуда эта подозрительность? Там, наверху, может, и вправду лето. Кто его знает. Все возможно. Вон он как вспотел: пот изъедает одежду, ту, что прилегает к телу, и течет ручейками между волосами на груди, между бугорками мышц, по угольно-черным ямам подмышек; всякий раз, как ручейки подсыхают (например, во время передышек, или когда сквозняк подул), они твердеют, как панцирь краба, и шелушатся чешуйками соли. По правде сказать, он не питал никаких иллюзий по этому поводу, да и не слишком-то его это заботило. Ну, лето — или не лето. А может, не лето, а осень. Какая разница! (Париж, 26 сентября 1973 года. Теплая погода. Температура в полдень 26°. Количество солнечных часов — 9). Да, все так: жара, полумрак, воспаленные, какие-то призрачные лица по-летнему одетых женщин. А еще одышка, которая затрудняет передвижение через эти пространства — загроможденные, как бы ускользающие, каждое из которых незаметно переходит в другое, и так до тех пор, пока их череда не превращается в нескончаемый круговорот уродливых пространств, то перевернутых, а то и сплющенных, в зависимости от того, под каким углом на них взглянуть — под тупым, острым или прямым.

Трагический вид старух, которые день-деньской просиживают скамьи в метро, грезя о прошлом, в общем-то, довольно жалком, совсем не сочетается с простоватыми лицами рекламных домохозяек, в полном восторге созерцающих удавшийся омлет,— в каковой удаче вовсе нет их заслуги, поскольку они обязаны ею не своему умению или кулинарным талантам, а новой марке сковороды, НА КОТОРОЙ НИКОГДА НИЧЕГО НЕ ПРИГОРАЕТ: даже вознамерься хозяйка спалить омлет нарочно, ей такое не удастся, а это хоть кого выведет из себя; конечно, подобный вызов, брошенный достойным гражданкам, глубоко оскорбителен и ничего хорошего не сулит, но современная психология не копается в подобных переживаниях, вместо того она взахлеб играет в пустые слова, разглагольствуя — так же, как и реклама,— о многочисленных супружеских усладах, которые он видит на плакате: одни разложены на обеденных столах, заваленных съестными припасами, винами и деликатесами, другие светятся на упитанных лицах гурманов, смакующих мясо, зажаренное на таком-то маргарине, или же в кротких взглядах домохозяек (климактерического возраста), умиляющихся здоровому аппетиту своих самцов; не сочетается он и с дряблостью их собственных лиц, которая проявляется местами, или частями, или участками (щеки, подбородок и т. д.),— так готовят некоторые блюда, погружая их в коричневатое, вязкое, трясущееся желе; и это нервное подрагивание (или тик?) обрюзгшей кожи усиливает ощущение тоски, порожденное безразличием окружающей толпы, марширующей мимо в этом тесном пространстве, словно армия заводных кукол с судорожными движениями, ибо для того, чтобы достичь нужной степени сплоченности и согласованности, каждый человек как частица этой общей массы должен сделать энное количество жестов и телодвижений (взмахи руками, тычки локтями, развороты, виляние бедрами, ходьба враскачку, бочком и вприпрыжку, финты ногами, ловкие пируэты, внезапные остановки, притворная спешка, прихрамывание, топтание на месте); движения эти, чисто индивидуальные или коллективные, синхронные, обнаруживают организованность, которую могут оценить по достоинству одни только старухи с трагическим выражением лиц, размалеванных румянами и губной помадой, грезящие день-деньской на скамьях о своем прошлом, в общем-то, довольно жал... да, только они и способны оценить ее, ибо с утра до вечера греют свои старые кости в тепле, исходящем от сотен тысяч тел, сжигающих внутри себя драгоценные калории, ко-

торые совсем нетрудно восстановить, не причиняя себе особых забот, если не считать заботы о выборе из богатейшего ассортимента предлагаемых блюд, тем более несложном, что потребителям предупредительно помогают все эти необыкновенные, красочные фотографии, потакающие не только их самолюбованию, не только их мании величия — это бы еще ничего! — но их обжорству, их инстинктам (ПРОБУЖДАЙТЕ В СЕБЕ ГАЛЛЬСКИЕ ИНСТИНКТЫ! СОУС «ПИКАНТ» СДЕЛАЕТ ВКУСНЫМ ЛЮБОЕ БЛЮДО!), их угодливости, их тщеславию и прочим сомнительным свойствам души.

А старые женщины сидят там день-деньской, и греются, и созерцают эту безбрежную стихию, что мощными, но очень организованными волнами подкатывает к дверям, автоматам, переходам, лестницам, запасным выходам, просто к выходам и входам и т. д.; видят они и его: волоча свой чемодан, он проходит мимо них по нескольку раз, словно фокусник, репетирующий какой-то сложный трюк, и одна из женщин пускает слух, что он, дескать, не кто иной, как факир, и в чемодане у него спрятана маленькая девочка, разрезанная на множество кусков, а когда, мол, он выходит из метро, то оживляет ее одним мановением руки и тут же обходит зрителей с тарелочкой, и с этой тарелочкой он никогда не расстается, так же, как с чемоданом и с маленькой девочкой, то разрезанной на куски, то целой, по его желанию, но так как все это происходит наверху, то она, конечно, не может подтвердить, что видела представление своими глазами — она ведь ни за какие блага в мире не стронется со своего места, греясь в волнах теплого воздуха, веющего от чужих тел, сидя с таким видом, будто созерцание окружающих — единственное стоящее занятие в жизни, а насчет факира она слышала от одной приятельницы — та, мол, всегда сидит на улице, возле вентиляционной решетки метро, вместо того чтобы париться во влажной духоте станции,— и она, эта приятельница, сказала только, что он, наверное, факир, и ни словом не обмолвилась ни о чемодане, ни о его содержимом, скорее всего она просто сболтнула — лишь бы сказать! — когда спускалась вниз по своей надобности, может, тогда-то она и наткнулась на него или на его чемодан и была поражена его мученической, как у Христа Спасителя, худобой, а может, на мысль о факирах ее навел смуглый цвет его лица или же — хотя вряд ли — полы его куртки, развевающиеся вокруг туловища,— ведь в ее представлении факиры, подобно волхвам, носят широченные плащи, помогающие им взлетать в небеса, или же — еще одно предположение — она подумала так из-за клочка бумаги (правда, она не разглядела — их было два, а не один), который она приняла за амулет, приносящий счастье — или несчастье — в зависимости от расположения светил, от стихийных бедствий, направления ветра и линий на руке; а он раз за разом проходит мимо старух, глядя сквозь них, весь поглощенный своими злоключениями, но все же слышит, как они шушукаются и даже хихикают ему вслед, и бормочет: ну что им надо ну что им от меня надо ну что им в конце концов от меня надо я иду себе мимо (НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО «ПИКАНТА»: ИЗ КАЖДОГО БЛЮДА ОН СДЕЛАЕТ ЧУДО!) и никого не трогаю и никому зла не делаю господи ты боже мой так что ж им от меня надо? Он вслепую продвигается вперед, порываясь иногда обратиться к кому-нибудь из окружающих, но толпа тут же затирает его и тащит за собой, а он, оправившись от изумления, отчаянно вырывается из общего потока, идет ему навстречу и вновь оказывается перед старыми, грезящими наяву нищенками, которые беседуют сами с собой, издавая глухие утробные звуки вроде урчания в животе, а вязкая слюна, стекающая по их дряблым подбородкам пьянчужек, разбегается влажной и вязкой сетью ручейков, прихотливо запутанных и извилистых, как стойкие к тепловому воздействию или, выражаясь более научно, нетекучие, вольфрамовые нити в лампах накаливания

или в антикатодах рентгеновских аппаратов, это зрелище проходит мимо сознания приезжего, в свою очередь утратившего координацию движений даже в большей степени, чем окружающие, ведь у него-то в руке эта неподъемная ноша, которую он волочит уже два часа, пытаясь выбраться на перрон ПЛОЩАДИ СОГЛАСИЯ и не понимая, как ему попасть туда в такой давке (весьма тягостной, хотя ей, разумеется, далеко до кошмарной шестичасовой вечерней душегубки), а он даже не знает, что ему сейчас нужно пересесть на линию № 1 (ШАТО-ДЕ-ВЕНСЕН — ПОН-ДЕ-НЕЙИ (протяженностью 14,640 км) и проехать семь остановок, или прогонов, или станций (СЕН-ПОЛЬ — ОТЕЛЬ-ДЕ-ВИЛЬ — ШАТЛЕ — ЛУВР — ПАЛЕ-РОЯЛЬ — ТЮИЛЬРИ — ПЛОЩАДЬ СОГЛАСИЯ), потому что в данный момент он находится на скрещении трех линий, и ему остается разве что бросить жребий, какую из них выбрать, а еще ему предстоит отучиться от мысли, что все ходы в этом лабиринте одинаковы, тогда как в действительности есть явные различия, играющие несравненно большую роль, чем ему кажется,— вот такие, к примеру: две нищенки, сидящие на линии, что ведет к ПОН-ДЕ-НЕЙИ, не имеют ровно ничего общего с тремя другими, торчащими на линии в направлении станции ШАРАНТОН,— ну ничего общего, даже если они и размалеваны на один манер, смотрят с одинаково сумасшедшим беспокойно-довольным видом, очень похоже пускают слюну, временами клюют носом, потом внезапно вскидываются, тряся головой и извергая невнятные, бессмысленные обрывки слов; или вот такие: переходы окрашены в разные цвета, и сочетания красок, которые можно увидеть на стенах, бесконечно разнообразны — белый кафель или лиловатое покрытие, имитирующее палисандровое дерево, или плитки полиэстера оранжевого, синего, зеленого, желтого, для пущей привлекательности испещренного черными ромбиками, и многое другое; да, но каким образом усвоить все это за два часа блужданий, от которых все мышцы лопаются, как заезженные рессоры, а истерзанные нервы горят огнем, точно открытая рана, и все болит — душа, тело, даже зубы (в Питоне говорят: аж зубы потеют), болит в паху, в груди, а нервный смех колет злыми иглами в солнечное сплетение. Ох, только бы вытерпеть! А старухи, сохраняя свой трагический вид, тем не менее выныривают из забытья всякий раз, как он проходит мимо. Глядите, вот он, факир, шепчут они вполне доброжелательно.

Говорите что хотите но данное количество — нет речь идет вовсе не о количестве спиралей в лампах накаливания ни о прочей ерунде но о количестве доказательств — так вот данное их количество убедительно доказывает что он действительно спросил дорогу на станции БАСТИЛИЯ — по-прежнему объясняясь на пальцах — и что несколько человек — нашлись сердобольные! таких везде хоть пруд пруди! — указали ему — знать бы им идиотам эдаким что они его к гибели толкают! — дорогу к перрону линии ПОН-ДЕ-НЕЙИ и даже нашелся среди них один — землячок! — который хоть и не говорил на этой питонской тарабарщине я по-моему уже объяснял что это диалект но понял чего тот добивается и поскольку ехал в том же направлении проводил его повел так сказать по своему фарватеру он даже утверждает что пособил ему донести чемодан до самого перрона но кто его разберет правду он говорит или же просто вздумал получить медаль «За отвагу и верность» черт их знает они все одним миром мазаны попробуй пойми врет он или нет вдобавок чемодан с с которым тот тип все время носился как с писаной торбой вдруг сменил носильщика да а бумажки! мы же еще не знаем что с этими чертовыми бумажками кстати их уже теперь не две а гораздо больше мне уже объявили что их четыре размножаются в геометрической прогрессии каково а? Если тот второй не заливает тогда я уж и не знаю кому верить он даже не способен точно назвать время встречи со своим кузеном ну да какой к черту кузен это он так болтает для

красного словца а что касается времени так он заявил что вовсе не обязан всегда иметь при себе часы видите ли часы это не вид на жительство а вид на жительство у него в ажуре проверяйте мол сколько хотите а часы у него и так с утра до вечера перед глазами на заводе не хватает ему еще и на руке их носить это разумеется не значит что у него совсем нет часов просто в свободное от работы время он оставляет их дома этот тип наверняка член профсоюза слишком уж хорошо знает свои права небось и вредную литературу почитывает и скорей всего в метро когда едет на завод в пять утра нет я ничего против не имею наоборот! под стук колес такое чтиво убаюкивает лучше колыбельной это наверное как психодрама таким штукам обучают теперь в любой мало-мальски приличной полицейской школе заметьте что мне все это глубоко осточертело эмигранты виды на жительство облавы в отелях выселения санитарный контроль какое мне дело я занимаюсь своим сектором и точка а данная история интересует меня постольку-поскольку да а этот болван мог бы все же поднатужиться и припомнить время встречи ну ничего он у меня под колпаком кстати у него нет алиби на интересующий нас день кто его знает может он-то тут и замешан а вы все-таки поинтересуйтесь убедительно ли его алиби в самом деле я же его так и не проверил позвоните моей жене и передайте что сегодня я вернусь пораньше а то она обидится что ее не предупредили о таком счастье да и вообще предосторожность никогда не помешает но главное главное петля стягивается все туже теперь восстановить его маршрут мне раз плюнуть но все же почему черт его подери он не ехал от Лионского вокзала?

А приезжий говорит тому, кто хочет поднести его чемодан: «Да нет не надо он совсем не тяжелый вот видишь!» — а потом останавливается как вкопанный, вдруг уразумев, что тот не понимает его диалект, но зато умеет читать, а это уже кое-что! Да-да, в этом-то он уверен. Вот он взял у него из рук пачку бумажек (их во всяком случае больше четырех) и на удивление проворно извлекает из нее главную, с адресом,— приезжий тоже сразу признаёт ее, потому что она самая старая из всех, самая смятая, самая засаленная, чернила начали расплываться, бумага съежилась, точно изъеденная окружающей сыростью, а буквы стерлись на сгибах, но, несмотря на все это, тот, второй, очень бодро и громко прочитывает слова,— на своем языке, он сразу узнает эту интонацию, так говорят в деревнях, что пониже Питона, ближе к заливу. Выражение лица встреченного земляка и манера быстро схватывать суть и так же быстро принимать решения успокаивают приезжего. Он думает: наверно студент или что-нибудь в этом роде словом ученый человек да и одет вон как прилично не то что он сам штаны болтаются как на пугале все кругом глазеют. И теперь, когда он немного успокаивается — тем не менее продолжая судорожно сжимать ручку чемодана, которым он отказался обременить своего провожатого,— он послушно идет за ним следом, рассуждая про себя: там в деревне ласкары небось думают что я давным-давно добрался до места и теперь сам смеюсь над тем как трясся от страха спускаясь в эту жаркую преисподнюю (если только лето там наверху не выкинет еще одно коленце) горько пропахшую плесенью и мокрой шерстяной одеждой которую... Говоря мысленно: все-таки они должны были меня предупредить или нет не они куда им на них вся деревня давно уж рукой махнула нет предупредить должны были те люди которые так держатся за свои драгоценные печати как будто они из чистого золота а ведь печать это обыкновенный деревянный брусок с резиновой нашлепкой на конце а на ней рисунок круглый квадратный или прямоугольный да еще несколько букв. Вот они-то, «люди с печатями», и должны были рассказать ему о девице в колготках — об этой развратнице, позволяющей гладить свой зад мужчине, такому же развратнику, как она сама,— да и не только о ней, а еще и о старых багроволицых ведьмах, что следят за ним, и хихикают

ему вслед, и шепчут непристойности, и окликают его: «Эй, факир!» — они будто нарочно выбрали слово, которое он мог бы понять, поскольку оно есть в его родном языке, но не понимает, потому что произносят они его неразборчиво.

И именно в ту минуту, когда память унесла его на родину, провожатый спрашивает: «Ну как там?» — сопроводив вопрос двумя жестами. Первый такой: рука с растопыренными пальцами повернулась из вертикального положения в горизонтальное, ладонью вверх; и второй: большой палец указал куда-то назад, за правое плечо. И память тут же описала такую же кривую, выбросив на поверхность неясные и вроде бы ни с чем не связанные образы — изгиб тропинки, волнистая спина верблюда, внезапная, кромешная ночь, вопль муэдзина. И контуры предметов и живых существ — они тоже расплывчаты и неясны. Истаявшие лица. Ссохшиеся тела. Утреннее марево. Прерывистый голос. Сладость фиесты. Дрожащий, нагретый воздух. Силуэты, колеблющиеся словно призраки. Все парит в потоках густого зноя, в котором краски сгущаются и застывают, как в тихой послеобеденной дреме (он любил проводить эти часы за игрой в шашки — ими служили плоские камешки — в темной лавчонке торговца пряностями, углем и соленым бараньим салом; куски сала сушились, нанизанные на веревки, которые пересекали тесное пространство лавочки во всех направлениях: скрещивались, расходились, опять перехлестывались, словно кто-то задался целью скрепить ими стены, и его неизменно ставил в тупик этот угрожающий захват пространства, эта паутина, напрочь закрывшая горизонт (хотя дверь лавки была постоянно распахнута),— она заволакивала пейзаж желтоватой, как сало, сеткой и лезла в глаза игрокам, отбивая у них охоту давать волю фантазии. Хозяин был заодно с ласкарами, привыкшими выпивать и в других укромных уголках, кроме этого, но делающими вид, что ни за какие блага не покинут его, что готовы развлекать его день и ночь, держа на почтительном расстоянии муэдзина. И теперь, когда он вспоминает об этом, он спрашивает себя: а может, эти сложные перекрещения пеньковых веревок и загадочное расположение кусков соленого сала на них служили средством издалека заприметить подходящего врага или просто постороннего; в этом случае они успевали припрятать бутылки и трубки и принять вид невозмутимых игроков в шашки, поставленных в тупик коварной тактикой противника, который, утерев губы тыльной стороной руки, подгоняет: «Давай ходи, чего уперся, как ишак, все равно ведь продулся!» — что же до запаха спиртного, тут они могли быть спокойны, ведь на этих склонах вечно дули пронизывающие ветры, так что природная вентиляция работала исправно, а кроме того, въедливая вонь от соленого сала, смешанная с ароматом пряностей, забивала все посторонние запахи; он входил в лавку, и они спрашивали: «Ну, как твоя поездка? Готовишься?» — и как-то саркастически усмехались при этом, походя друг на друга, как близнецы, своими ухмылками, ужимками, своим лицедейством, своими разговорами,— вроде бы и понятными и в то же время загадочными, особенно когда дело касалось политики, этой изысканной демагогии, разрушительной или поэтической, своей страстью к игре в шашки (или домино), которой они заразили и его, несмотря на запрещение отца, видевшего в игре источник всех пороков; а они, ласкары, с бритыми головами, с бегающими глазами, закутанные в свою грубую шерстяную одежду, со вздохом говорили ему, еле удерживаясь, как он подозревал, от одолевающего их хохота: «Ты даже не представляешь, какая мировая штука это метро, смотри только, не пристрастись к нему!», итак, словно в тихой послеобеденной дреме, которую игроки в домино без конца нарушали, донимая его своими дурацкими шутками (тоже, друзья называются!). Нет, он, конечно, должен был разобраться в их разговорах, понять что к чему... Но где уж там, они ведь столько стихов заучили наизусть, что им, конечно, невмоготу

было выражаться, как нормальным людям, без намеков да околичностей, без всяческих словесных выкрутасов (они ими так и сыпали), без недоговоренностей и отступлений (они их прямо обожали),— они бросали в лицо собеседнику фразу, начатую одним, подхваченную вторым, законченную третьим, разжеванную опять вторым, и так до бесконечности, приводя в смятение и распугивая слушателей, так что им ничего не оставалось, как выпендриваться друг перед другом или пудрить ему мозги россказнями о метро: «Знаешь, это отличная штука, оно все голубое!» — а ведь им было прекрасно известно, что в их-то время оно было зеленым! Но они, наверное, где-нибудь разузнали про голубой цвет, получили, так сказать, переподготовку, втихомолку жадно поглощая старые газеты, одолженные у их конфидента — торговца салом, пряностями и даже углем, не исключено, что он и не одалживал, а давал их читать напрокат, за деньги, потому что на людях они обзывали его скрягой; итак, круг их слушателей заметно сужался, но его — его они привечали, им ведь был необходим кто-нибудь вроде него, иначе при ком бы они мечтали вслух, перебирали свои самые памятные похождения, извлекали на свет божий тусклые, двадцатилетней давности фотографии, разглаживая их с нежностью, свойственной фантазерам и болтунам, перед кем смаковали бы публичные слухи, приписывающие им сутенерство за счет бедных влюбленных в них девушек, которых они вовлекали в постыдную торговлю телом — наверное, это и был источник их накоплений, благодаря которым они держали население Питона в страхе и почтении, не упуская случая напомнить, кто здесь благодетель, швыряясь деньгами, позволяя себе такие выходки, какие другим и не снились; а его-то они посвящали только в самое главное, настолько были уверены в неосуществимости его плана, он же ходил за ними по пятам, готов был часами играть в домино и в шашки, лишь бы выпытать, вытянуть из них хоть какие-нибудь обрывки сведений, которые он потом, по вечерам, складывал вместе, как кусочки мозаики, силясь представить себе общую картину. Да, он обязан был их понять. Но они изъяснялись туманно, как волхвы, провидящие несчастье...

А поезд тем временем подползал неслышно, как змея, по рву, в который вделаны рельсы. Теперь, сидя посреди этого разнеживающего синтетического рая, безотчетно наслаждаясь успокаивающим соседством своего провожатого (Студент?), приезжий понемногу приходит в себя, дает отдых наболевшим рукам, думает, что «они» были не так уж неправы, и, с удовольствием погрузившись в мягкое поролоновое сиденье, обтянутое алым дерматином, наконец ясно осознает: вот она — роскошь, совсем близко, под его онемевшими пальцами. И он тут же выбрасывает из головы недавние горести, и только одно смутно тревожит его: может, все-таки прибрать все свои бумажки, мало ли что может стрястись, не дай бог, конечно,— вдруг провожатый от него сбежит, или поезд возьмет да столкнется со встречным, а то еще врежется в стену тоннеля, несущуюся мимо, так близко от него, всего в нескольких сантиметрах от лица, что ему становится не по себе. Но он решает не беспокоиться, а слушать соседа, который нашептывает ему на ухо какие-то диковинные слова — каждый раз, когда поезд останавливается на станции: СЕН-ПОЛЬ, ОТЕЛЬ-ДЕ-ВИЛЬ... Предвкушение роскоши!.. Вагон имеет прямоугольную форму, сиденья симметрично расположены в два ряда, между ними оставлен тесный проход — только-только одному протиснуться. Скамьи повернуты друг к другу попарно, на каждой могут поместиться два пассажира. В обоих концах вагона есть свободное пространство, что-то вроде крытой площадки, там прямо в металлическую стену вделаны скамеечки, также по две с каждой стороны — справа скамеечка и слева скамеечка. Симметрия скрупулезно соблюдена. Никакого доступа произволу, как будто кто-то задался целью проиллюстрировать полное равенство граждан их

правом сидеть наравне с соседями на скамьях, выстроенных в строго определенном порядке, священном в глазах сидящего приезжего, которому сразу вспоминаются куски сала, нанизанные на веревках в закутке у псевдоторговца пряностями, настолько этот порядок близок к тому образу, что память преподносит ему во всех подробностях. Симметрия, симметрия повсюду: например, маленькие рекламные плакатики, прикрепленные — тоже по два — к стальным поручням, подпирающим потолок, развешаны строго друг против друга и восхваляют одни и те же товары; то же самое и с дверями — одна напротив другой, по четыре с каждой стороны; то же самое и со схемой метро — она повторяется через равные промежутки по всему вагону. И то же самое с табличками, на которых выписаны рекомендации или дается информация: «Не курить!», «Места для инвалидов, пожилых людей, беременных женщин, матерей с детьми до трех лет», «Запрещается выходить с этой стороны!», «Запрещается открывать двери до окончательной остановки поезда»[1] и т. д.; их строгая симметрия усугубляет неумолимость всех этих предписаний, которые пассажиры понимают настолько буквально, что незамедлительно тушат сигареты кое-кто, перед тем как войти в вагон, стыдливо запихивает едва начатую сигарету в карман или, если успел выкурить ее на две трети, бросает на пол, провожая взглядом сожаления, а некоторые — психи, или исполнительные дураки, или трусы — даже доходят до мусорной урны, там гасят ее и опускают внутрь и долго смотрят, действительно ли она погасла — а то, не дай бог, еще вспыхнет пожар! — и, едва отойдя от урны, тут же бегут назад — еще раз проверить и укоряют себя бог знает в чем, и ругают себя за то, что вообще курят, тем самым подвергая опасности не только гигантскую инфраструктуру метрополитена, но также тысячи невинных человеческих жизней, и вспоминают упреки своих жен по поводу курения сигарет (угроза рака, пожара, зубной боли и т. д.) и пропускают поезд не раз и не два, а все три, тем более что поезда ходят с укороченными интервалами (95 секунд), особенно в час «пик», а они, снедаемые угрызениями совести, никак не решатся уехать, давая себе отсрочку за отсрочкой, поглядывая краешком глаза на мусорную урну, следя, не потянется ли оттуда подозрительный дымок, а может быть даже, в смятенном самоистязании они кинутся звонить пожарным (вот и еще несколько поездов пропущено!) или же, собрав все свое хладнокровие, удержатся от звонка, предпочитая разбить стеклянную витрину на перроне, за которой спрятан сигнал тревоги, напрямую связанный электронным устройством с пожарной охраной, с полицейским постом, с ближайшим центром срочной медицинской помощи и т. д.; они терзаются воображаемыми последствиями своих действий, клянутся, что никогда в жизни не возьмут больше в рот сигарету, припоминают все известные болезни, происходящие от курения (закупорка сосудов, инфаркт миокарда, коронарная недостаточность, внутренние кровотечения, кровоизлияние в мозг, гипертония и тому подобное), и принимаются судорожно ощупывать себя, проверяя, все ли в порядке, и твердо решая немедленно, безотлагательно — все дела побоку! — бежать к врачу, судорожно глотая слюну, удерживаясь от искушения сплюнуть, читают самим себе лекции по личной гигиене, внезапно ставя под сомнение собственную опрятность,— особенно те из них, кто отличается повышенной потливостью (да и другие, несомненно, тоже); и все они, не рассуждая, почитают — не содержание этих инструкций, идущих вразрез с их естественными наклонностями, но Ее Величество Симметрию, по велению которой каждой вещи, каждой металлической табличке, каждой надписи надлежит иметь свое отражение, подобие — прямо перед собою, сверху или снизу,— подобие, тщательнейшим образом скопированное с оригинала; они почитают ее,

[1] В парижском метро двери могут быть открыты самими пассажирами.

не зная, что для этого, собственно, нет никаких оснований и что ее существование оправдано лишь в глазах людей, совершенно не знакомых с анатомией. Но на приезжего, по правде говоря, действует успокоительно эта мания давать каждому предмету своего двойника, выполненного в металле или на бумаге и сходного с ним до мельчайших подробностей, как если бы...

А поезд любовно и ласково (пневмомеханика!) проникает в темный проход и там, разогнавшись, сминает и пронизывает мглу; мерная скороговорка колес убаюкивает стоящего пассажира (он так и не присел на этом перегоне), который, прижимая колено к своему чемодану, держится за дверную ручку, а может, за блестящий поручень; уткнувшись носом в стекло, он смотрит на стену, только-только не задевающую вагон: по ее желтоватой поверхности несется мутное, смещенное, обрубленное отражение поезда, победно летящего вперед на своих колесах, встречающих разогретые стальные рельсы с тем же раздирающим свистом, какой издает жесткий холст, если его резко разорвать надвое; отражение двоится, множится, тает, исчезает, вновь возникает по прихоти поворотов тоннеля, наклона пути, освещения, и это зрелище завораживает приезжего до такой степени, что он в конце концов слегка задремывает, не забывая, впрочем, о близком соседстве того, другого, а главное, о еще более реальной близости своего чемодана, конечно, потрепанного, дырявого, обвязанного веревками, измочаленного, потрескавшегося, отфутболенного на перрон — или нет, это случится позже! — разбитого, перепачканного, с заржавленными замками, но все равно реально существующего вот здесь, рядом с его ногой, чемодана, касание которого свидетельствует о реальности его собственного существования гораздо убедительнее, чем тоскующее сердце, гулко и мерно стучащее в грудь, чем пульс, еле заметно копошащийся синим червячком на запястье, чем натруженные мышцы, схваченные судорогой, гуляющей по всему телу — а где именно, ему даже и думать неохота,— чем глаза, мелко мигающие от бешеного мельтешения на желтом экране за стеклом, чем пот, жидкими горячими струйками стекающий по бокам вниз, в складки паха, словом, чем все вместе взятое, потому что этот чемодан — символ его путешествия, которое он задумал еще несколько лет назад, но не смог осуществить раньше из-за коварных недомолвок своих приятелей — страстных любителей домино и шашек.

Сознание дает трещину... это оттого, что на него невыносимым гнетом навалились все эти отражения, смещения, переплетения, скопления, нагромождения, порожденные одним и тем же, единственным феноменом, суть которого, конечно, недоступна его пониманию, он лишь смутно чувствует его неизбежность, зная, что тайна окружающего мира, жертвой которого он стал, заключена именно в этом дьявольском взаимодействии явлений, предметов и людей, закодированном такими сложными сигналами, какие ему расшифровать не под силу, он всего только и может, что беспомощно сдаться на милость этому миру, принять как должное его символы, от которых уже изнемогает его измученный рассудок: линии схемы метро, веревки, играющие в чехарду под потолком лавки, рельсы, веером уходящие в никуда, раны, терзающие тело изнутри, коридоры, сменяющие друг друга, как в лабиринте, багровые кровоподтеки света, взошедшие на дрожжах жары, круги времени, разбитые на тысячи сегментов, раскромсанные пространства, расколотые плоскости, разорванные прямые, раздавленные параболы и сколько еще всего! Но вся эта пространственно-линейная фантасмагория, где он не видит ни начала, ни конца, постигая ее одним лишь инстинктом, как в вязком, влажном полусне, неотвязно терзает и пугает его, грозит ему своими кабалистическими знаками (ох уж эти буквы в зеркальном отражении!), против которых, как он опасается, окажутся бессильны его многочисленные амулеты — вряд ли они успеют ему помочь, пока он соберется

с мыслями, разорвет этот проклятый заколдованный круг и доберется до места назначения, чтобы сразу же, незамедлительно сделать самое главное: телеграфировать «им», что остались там в деревне хоронить свои темные делишки под пышными цветами риторики, беззастенчиво вырванной из поэзии золотого века, а свои постыдные похождения — под толстым слоем выспренно-заумной политической демагогии, приспособленной исключительно для домашнего употребления; телеграмма, впрочем, должна быть крайне лаконичной: ПРИБЫЛ ТЧК ЦЕЛЫЙ ТЧК НЕВРЕДИМЫЙ ТЧК,— и никакой подписи, они и так поймут и наконец успокоятся, вновь вернутся к своему домино, к своим тайным загадочным сходкам и только изредка чуть уязвленно промолвят: да не может быть этот болван ни черта не понял самое лучшее для него это вернуться обратно в Питон с первым же встречным пароходом или как только ступит на берег идиот он и есть идиот!

Идиот он и есть идиот! — ворчит и следователь, который после краткого возбуждения снова впадает в брюзгливо-подавленное состояние духа,— с тем же успехом он мог бы и сесть тогда это согласовалось бы со многими свидетельствами которыми мы располагаем ведь в вагоне были свободные места никто же не станет утверждать будто время между 12 и 13 часами это час «пик» у нас порядки строгие днем никто не гуляет хотя на этой линии бывает много американцев они едут к площади Звезды чтобы поглазеть на Триумфальную арку перед тем как рассесться на террасах кафе — а в тот день как раз стояла жара — чтобы позавтракать на Елисейских полях так вот нет же! В вагоне были местá прóпасть свободных мест а он к тому времени уже два или даже целых три часа протаскался с этой своей неподъемной штуковиной и руки у него ломит а он видите ли никак сесть не отважится нет тут что-то не вяжется тьфу черт я уже стихами заговорил видно совсем дошел до ручки итак вы должны твердо вести свою линию и не давать себя заморочить этому студенту впрочем никакой он не студент и никогда себя за такового не выдавал он клянется что он простой рабочий и предъявил нам целый ворох документов расчетную книжку удостоверения вид на жительство так вот он твердит что сам сидел а приезжий с чемоданом ни в какую не садился как будто боялся пропустить нужную станцию так и стоял уткнувшись носом в стекло левой двери по ходу поезда чересчур уж он хорошо все запомнил это подозрительно да еще добавил что в какой-то момент тот прикрыл глаза на несколько секунд а вот когда он их опять открыл он точно сказать не может потому что не смотрел на него все время чтобы не смущать вы только подумайте за всю встречу они не перекинулись ни словом! странно вы не находите? тем более что многочисленные свидетели вполне достойные доверия утверждают будто они беседовали между собой и смеялись и шутили и это чуть ли не на десятиминутном перегоне ну просто слов нет признайтесь вам это кажется нормальным мне не очень-то! целых десять минут из расчета приблизительно полторы минуты от станции до станции что составляет 7×1,5 вот именно чуть больше десяти минут собственно никто даже не удосужился провести хронометраж семь станций семь перегонов:

1. БАСТИЛИЯ — СЕН-ПОЛЬ
2. СЕН-ПОЛЬ — ОТЕЛЬ-ДЕ-ВИЛЬ
3. ОТЕЛЬ-ДЕ-ВИЛЬ — ШАТЛЕ
4. ШАТЛЕ — ЛУВР

Скажите на милость ЛУВР! Как будто им это что-нибудь говорит вот вы например ходите в Лувр? Египетские саркофаги что-нибудь говорят вашей дочке а кстати сколько ей? Впрочем оставим это!

5. ЛУВР — ПАЛЕ-РОЯЛЬ
6. ПАЛЕ-РОЯЛЬ — ТЮИЛЬРИ

— опять картины или нет вру там кажется гобелены и ковры вот это их могло бы заинтересовать хотя что я! они же сами ими торгуют!
7. ТЮИЛЬРИ — ПЛОЩАДЬ СОГЛАСИЯ...
Просто невероятно что он даже не присел после двухчасового шатания по метро со своим чертовым чемоданом да кстати а список содержимого уже напечатан? ах в 35 экземплярах! и вот эдаким манером он добирается до ПЛОЩАДИ СОГЛАСИЯ вместе с этим своим дружком нет тут что-то явно не вяжется подробности вот чего нам не хватает мне нужны подробности например сидел он все-таки или стоял? а может это провожатый стоял а тот сидел ведь это логичнее! да вел бы он себя логичнее был бы сейчас цел дорого ему обошлось упрямство этому болвану знал бы он что свернет себе на этом шею...

Но разве он один такой? (ПОМИДОР ЛЕЗ В ПЕЧКУ СДУРУ, ТАМ С НЕГО И СПУСТЯТ ШКУРУ!) Сколько их, таких вот, падало со строительных лесов с раздирающим душу воплем, с глазами, слепыми от ужаса перед бездной, дрожащих за миг до падения, отвратительно мягких через миг после, а в миг удара в мозгу взрывается ослепительный свет, а дождь льет и льет, поливая людей, и толстые балки, и легкие стропила, и мотки проволоки, и глинистую землю, и мрачные земснаряды, он льет, и под его неустанный монотонный плач дикий кошмар случившегося сменяется вялой тоской, и кровь, брызнувшая из головы, потихоньку смешивается с водой, а глаза медленно останавливаются в слепом испуге; сколько их, закоченевших в вечном сне после падения с какой-нибудь бетонной галактики, вознесенной над головокружительной пустотой, а за миг до того проворно и юрко бегущих по самому краю пропасти, туда, куда им укажет повелительный палец мастера, забывших в этот миг о своей крови, о своей лимфе, о своей слюне, о нищете, сырости, плесени, нужде, прорывающих время как гребень прорывает слишком мягкую, непрочную шерсть, сколько их, рухнувших с высоты сотен метров сквозь кабели и настилы и умирающих в безграничном отчаянии, но зато навеки избавленных от зловонной конуры, от ледяных рассветов, от жалких объедков (а иначе что высылать домой?), от больничной койки (не дай бог попасть в руки этих кляч-медсестер, они-то тебя и бросят на съедение всем этим туберкулезам, силикозам и прочим психозам!), сколько их, тех, что в конце рабочего дня с бережным терпением моют руки, вызывая смех товарищей по несчастью,— нет, не моют, а как бы совершают омовение, отдавая дань скрытому, измененному до неузнаваемости атавизму, а потом готовят себе еду чуть ли не под кроватью, тайком от домовладельца, на маленькой электроплитке, купленной по случаю, в помятой кастрюле, такой помятой, словно она чудом сохранилась от последнего потопа (С БЛЮДАМИ, КОТОРЫЕ ВЫ ГОТОВИТЕ НА ОБЫЧНОМ ПРОТИВНЕ, ВЕЧНО СЛУЧАЮТСЯ НЕПРИЯТНОСТИ: К ТОМУ ВРЕМЕНИ, КАК ВЕРХ ЗАРУМЯНИТСЯ, НИЗ УСПЕВАЕТ ПОДГОРЕТЬ. К СЧАСТЬЮ, ПРОТИВЕНЬ ИЗ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ФИРМЫ ТЕФАЛЬ ПОМОЖЕТ ВАМ: НА НЕМ БЛЮДО В МЕРУ ЗАРУМЯНИТСЯ, ПРОЖАРИТСЯ ИЛИ ПРОТОМИТСЯ, НА НЕМ ОНО НИКОГДА НЕ ПЕРЕСОХНЕТ И НЕ ПОДГОРИТ, ПОСКОЛЬКУ ПРОТИВЕНЬ ПОКРЫТ СПЕЦИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ!) или от последнего переезда; сколько их еще околачивается вокруг строек, словно их притягивают высоченные, ярко окрашенные краны новейшей конструкции; сколько выплевывает свои легкие в обрывки бумажных мешков из-под цемента, сколько их бродит туда-сюда, без цели, без смысла. А кроме них есть еще и другие — те, что оставили здесь кто глаз, кто ногу, кто внутренности, а кто и мозги, таких держат в богадельнях, тюрьмах, металлических корсетах, пластмассовых протезах, где с них медленно сходит кожа от ожогов разъедающих кислот или доменных печей (ПОМИДОР ЛЕЗ В ПЕЧКУ СДУРУ, ТАМ С НЕГО И СПУСТЯТ ШКУРУ. ТЕФАЛЬ СОВЕТУЕТ:

ЧТОБЫ БЛЮДО УДАЛОСЬ, ПУСТЬ ПРОЖАРИТСЯ НАСКВОЗЬ), а также газовых, угольных, мазутных, нефтяных, известковых, гудронных, электрических, индукционных и прочих. Так сколько же их — избитых, раздавленных, застреленных, высланных, оплеванных, уволенных, презираемых, ненавидимых, осмеянных, казненных, больных, искалеченных, утопленных!.. Изображение, которое столько раз сегодня во время его безумного бега бросилось ему в глаза, мельтешит теперь в утомленных зрачках, прыгает в такт тряске поезда, состоящего из дюжины вагонов одинакового цвета, за исключением одного — фисташково-зеленого, или молочно-желтого, или миндально-белого, или (I класс!)... назойливо лезет даже под опущенные веки,— навязчивый, зримый образ, более реальный, чем все живое вокруг, быть может, потому, что, не умея читать, приезжий машинально отметает от себя печатные надписи, которые часто перекрывают фотографию, воруя у нее яркость и выразительность,— отметает и таким образом очищает рекламу от всей этой кучи бесполезных слов, отшвыривает их от себя, как чемпион в беге на 100 метров отшвырнул бы костыли, протянутые ему, чтобы он помогал себе на дистанции; он сразу же, автоматически как бы стирает с плаката всю эту писанину, заслоняющую сам предмет, и держит в памяти лишь его изображение, оно-то и застревает у него в голове и сейчас вертится там, не давая покоя. Но на самом-то деле, забывая о надписях, он забывает о противне оранжевого цвета, и о ложке, и о женской руке, в его сознании остается один только величественный образ — помидор, нафаршированный мясом, впятеро больше натуральной величины, лоснящийся от жира, со сморщенной шкуркой, так великолепно сфотографированный, что можно пересчитать все до одной складочки на кожице, покрывающей красную мякоть плода; вот это-то изображение и преследует его, особенно эта сморщенная, но не поврежденная кожица,— оно позволяет не просто угадать, а явственно разглядеть каждое пятнышко на тоненькой пленке, покрывающей помидор, его мягкую плоть, сочную, сладкую, а главное, невероятно чувственную. А тот — мнимый студент — смотрит, как приезжий задремывает на какой-то миг, как беспомощно расслабляются при этом мышцы его лица, а кожа постепенно бледнеет до лимонно-желтого цвета, как сразу же, словно от толчка, он просыпается, и думает: «Он проснулся, потому что я на него смотрел, не надо было бы мне на него смотреть». А поезд несется, как болид, только не раскаленный, а холодный, над высоковольтной шиной между рельсами, касаясь ее плоской металлической муфты, подающей в двигатель ток, незримо рождающийся от контакта двух элементов (электрифицированная шина и металлическая муфта),— несется вместе со своими алыми дерматиновыми сиденьями, испускающими слабое зловонное тепло... Те, в деревне, небось, играют сейчас в домино или в шашки, разложив плоские круглые камешки прямо на земле, расчерченной клетками, и тут вдруг придет телеграмма, и они скажут: «Идиот, сколько же он переплатил за лишние слова, за все эти «ТЧК», что в них проку-то, они же ничего нового не сообщают, а сто́ят столько же, сколько самое длинное слово, какое он только способен придумать. ПРИБЫЛ ЖИВОЙ И НЕВРЕДИМЫЙ, вот и все, что требуется. Ай да умник! Живой и невредимый! Много он понимает. Наверняка дал телеграмму сразу же, как сошел с парохода, до того, как угодил в лабиринт. Поважничать захотел, а нам решил нос утереть. Это уж точно! А ты давай ходи и не смей сдвигать мои камешки, думаешь, я слепой? Идиот, самое правильное ему было бы поскорее дать обратный ход. Утереть нам нос, видали? Напрасно старается! Помолиться, что ли, за его душу грешную... или уж выпивон устроить по такому случаю? Вот идиот!» А потом:

4. ШАТЛЕ — ЛУВР
5. ЛУВР — ПАЛЕ-РОЯЛЬ

Двери щелк! — и он тут же просыпается, готовый подхватить чемодан и устремиться в лабиринт, где по-прежнему не может разобраться, но с которым сроднился уже до такой степени, что чуть позже даже подумает: в общем-то, не так уж ему и плохо в этом сумасшедшем смешении пространств и названий, сцепленных вместе, как пучок кривых изогнутых веток,— в этой безысходности; главное, теперь он ко всему готов, тем более что провожатый покинул его на перроне, сбежал под предлогом какого-то спешного дела, оставив своего подопечного на скамье, растерянного, пришибленного, с испариной на лбу; и вот он сидит, поставив локти на колени, а подбородок на кулаки, и пустыми глазами смотрит в пол, по которому проходят перед ним сотни ног разного размера, в разной обуви, разной походкой, как-то странно, нелепо двигая ступнями, поднимая их кто выше, кто ниже, ставя кто прямо, кто боком; одни ноги скользят плавно, другие бойко топочут, точно гвоздики вбивают, но все без исключения мелькают так быстро, что в конце концов начинают множиться, путаться, вот какая-то и вовсе потерялась из виду, а миг спустя опять вынырнула из леса других ног, и он вздыхает с явным, хотя и нелепым облегчением. Глядя на эту орду, валом валящую мимо него, он мало-помалу увлекается созерцанием и даже временами забывает о тоске, что сосет его изнутри, а чуть позже опять уверяет себя: в общем-то не так уж и плохо умереть среди этой нескончаемой толпы вот в Питоне мне такое не грозит кого так опечалит моя смерть разве только трех ласкаров (или четырех? — он не уверен, что торговец пряностями примыкает к их клике) они начнут валить вину друг на друга и больше не смогут ни пить ни играть в шашки ни наслаждаться сиестой ни путаться с нищенками (какой удар! и это после того, как они годами изображали из себя коварных соблазнителей!) ни показывать свои фотографии (перед кем теперь хвастаться?) ни распускать хвост перед жителями Питона, которые наконец-то поймут что эти трое (или четверо?) ласкаров ни больше ни меньше как настоящие убийцы, которые подговорили его уехать, прекрасно зная, каким опасностям он там подвергнется; да, земляки поймут все и постановят — твердо и бесповоротно — изгнать их из деревни, сослать обратно в какой-нибудь «ихний шикарный город», где полным-полно дымящих заводских труб, ярко раскрашенных машин и всяческой химии и пластмассы и где они смогут развернуться вовсю, дать полную волю своим порокам и своему воображению, играть настоящими черными и белыми шашками, а земляки наплюют на их деньги (то ли сбережения от всяких темных делишек, то ли пенсии, заработанные в мертвенном свете ацетиленовых ламп) и решительно порвут с ними, разве что когда-нибудь помолятся за их души... Нет, тут совсем не так уж плохо, тем более что жара начинает спадать (наверное, там, наверху, умиравшее лето внезапно испустило последний вздох под потоками дождя, порывами ветра или снежными заносами), и он решается наконец присесть на минутку, поставив чемодан у ног и убрав свои бумажки,— этот, последний, тоже сунул ему очередной клочок, как бы успокаивая свою нечистую совесть иммигранта, уже научившегося разбираться в маршрутах метро, автобуса, поезда, парохода — да что там! — даже самолета и проскальзывать сквозь ячеи этих хитроумных сетей с ловкостью человека, привыкшего вечно быть настороже; и вот он сидит, пытаясь сосредоточиться, так сильно сжимая голову руками, как будто хочет выдавить, выжать из нее решение, позволившее бы ему как можно ловчее и быстрее выбраться из западни; внезапно он обнаруживает рядом с собой на скамье молоденькую — лет пятнадцати — девчонку, так грубо и обильно размалеванную, что поневоле спрашиваешь себя: а может, у нее и под одеждой кожа сплошь разукрашена эротическими или рекламными рисунками, изображающими сладострастные изгибы, непристойные позы, лаки для волос, духи для подростков, фиолетовую помаду, ро-

зовую рисовую пудру, абрикосово-персиковый тон для лица, голубые тени для век, кроваво-красный лак для ногтей, туалетную воду с лимонным запахом, жиденькие шампуни, крикливые пластинки, облегающие джинсы, вышитые блузки, модные и сверхмодные журналы и прочее тому подобное; она сидит рядышком и занимается тем, что подтягивает чулок на левой ноге, той, что ближе к нему — так близко, что он все сильнее и сильнее стискивает зубы, едва справляясь со смятением, а она медленно, неторопливо — издевательски неторопливо — обнажает стройную, гладко-тугую загорелую ляжку, обтянутую нейлоном, который, словно лупа, увеличивает и выявляет рисунок теплой молодой кожи; нейлоновая ткань растягивается концентрическими кругами на выпуклой части ляжки и уходит в темную ложбинку между ногами, куда и взглянуть-то страшно — он весь покрывается липким потом, мелко сотрясается от внутренней дрожи и повторяет про себя: да что же это она делает? да что же это она делает? — не веря своим глазам, обливаясь жарким потом, изнемогая от усталости...

2. СЕН-ПОЛЬ — ОТЕЛЬ-ДЕ-ВИЛЬ
3. ОТЕЛЬ-ДЕ-ВИЛЬ — ШАТЛЕ
4. ШАТЛЕ — ЛУВР
5. ЛУВР — ПАЛЕ-РОЯЛЬ
6. ПАЛЕ-РОЯЛЬ — ТЮИЛЬРИ

...изнемогая от усталости, обливаясь жарким потом, не веря своим глазам, приезжий заранее боится того момента, когда ему придется расстаться со своим попутчиком, что отправился считать скамьи в вагоне, хотя самое простое взять да прочесть синюю надпись на белой эмалированной табличке (48 сидячих мест); он считает и пересчитывает сиденья, нарочно ошибаясь, лишь бы протянуть время и избавиться от молчания своего подопечного, а тот, увлеченный этой чехардой света и тени, словно фильмом, направленным прямо ему в глаза, вспоминает игроков в шашки и домино там, в деревне: каждое воскресенье они извлекают на свет божий лист старого картона 2×2 метра, побеленный известью, который подвешивают к стене лавки со стороны улицы, и такой же старый узкопленочный аппарат, наверняка добытый одним из них на войне, которую они провоевали бог весть в каком уголке света, или привезенный из города, где они провели чуть ли не полжизни, или же просто украденный с какого-нибудь грузовика или кинопередвижки, принадлежащей оккупационной армии, во время семилетней войны; это либо «Кодак» выпуска 1932 года, либо «Патэ», либо уж вовсе какая-нибудь древность вроде «Белл-энд-Уэлл», которой они на всякий случай убавили возраст; и вот они водружают эту штуковину за неимением подставки на квадратный камень метровой высоты, поставленный у порога лавки — средоточия, центра всей деревни, здесь заключаются сделки, справляются свадьбы, мирятся крестьяне, поспорившие из-за клочка земли, здесь люди получают разрешения на выезд, паспорта, освобождение от налогов, дозволения на незаконные махинации и на провоз некоторых продуктов — муки, манки, сахара, чая и прочего, здесь усваиваются дурные привычки, читаются политические журналы, толкуются неясные места Корана, назначаются вечерние свидания, распускаются сплетни, да мало ли что еще! — и вот здесь-то с наступлением темноты аппарат с дрожью начинает извергать из себя коричневатые или серые кадры, еле различимые сквозь черно-белую метель, пляшущую на экране, под оглушительное стрекотание мотора, которым зрители (оплатившие свои места) полностью пренебрегают, до экстаза захваченные старой документальной хроникой, где персонажи дергаются, как марионетки, где главы государств беснуются хуже припадочных перед публикой, жадно внимающей их словоизвержениям,— увы, беззвучным, ибо узкопленочный аппарат дает только изображение; персонажи документальной хроники (художе-

ственные фильмы исключены из программы: деятели при лавочке намерены с помощью нескончаемой демонстрации одних и тех же исторических фактов, пусть даже устаревших и давно изживших себя, преподать соотечественникам уроки высокой политики, полностью полагаясь на принцип «повторенье — мать ученья») подпрыгивают, трясутся и дергаются, как в эпилептическом припадке, отличаясь той же призрачной невесомостью, что и дрожащее, перекошенное отражение поезда, скользящее по стене тоннеля № 1 (ШАТО-ДЕВЕНСЕН — ПОН-ДЕ-НЕЙИ), разве что те, на экране, трясутся куда сильнее, с яростью отбойных молотков, грозящей прямо-таки насквозь проткнуть картон, выбеленный известкой, в сплошной шрапнели мелькающих пятен и полос, характерной для всех старых лент, которые ласкары прокручивают вновь и вновь в подтверждение своих лживых теорий.

7. ТЮИЛЬРИ — ПЛОЩАДЬ СОГЛАСИЯ

Потом тот же маршрут, но в обратном направлении:

6. ПАЛЕ-РОЯЛЬ — ТЮИЛЬРИ

5. ЛУВР — ПАЛЕ-РОЯЛЬ

И вот он снова выпущен из вагона, его толкают, свирепо стискивают в толпе, простреливают словами навылет, как шестимиллиметровыми пулями, нет, больнее пуль, потому что слов он не понимает, потому что не по своей воле попал он в этот заколдованный безумный мир, где его осмеивают, связывают по рукам и ногам, запихивают в какую-то подземную тюрьму, в которой ничто живое не способно существовать, ведь здесь все искусственное: воздух, свет, время, пространство,— и нет места обыкновенным, простым вещам, ибо все опошлено до предела, допущено сюда лишь после долгого, тщательного анализа поведенческих комплексов пассажиров, возможностей сбыта товаров, расположения киосков, размещения реклам и т. д. Все, все здесь ненастоящее: и газетные киоски, и магазины готового платья, и люди, загнанные и загоняющие других, измотанные и изматывающие других, а главное, безжалостные к себе и к другим,— глядя на их угрюмые, застывшие лица, никогда не подумаешь, что люди эти умеют смеяться, плакать, любить, бояться, сострадать,— все их чувства надежно сокрыты под белыми, словно гипсовыми, масками лиц. И вновь он пробирается по нескончаемым коридорам, останавливается перед автоматом, торгующим жевательной резинкой, и, внимательно наблюдая за действиями людей, подмечает размеры и цвет монеты, которую они суют в щель, потом, улучив минутку, когда рядом никого нет, бросает туда же и свою; он слышит, как она падает внутрь с металлическим стуком, но тщетно тянет за рычаг: машина упрямится и не выдает ему ничего. И тут надувательство! Делать нечего, он бредет дальше, смертельно боясь грохнуться на пол у всех на виду вместе со своим чемоданом — уж на сей-то раз тот разверзнется окончательно и непоправимо, так как его петли или замки или те и другие вместе не выдержат удара и лопнут, позволив вывалиться наружу всему содержимому: толстому бурнусу, рабочему комбинезону, домотканой куртке, составляющей часть костюма, брюки от которого сейчас на нем, и бесчисленным бумажным сверткам, где сквозь драную газету высовываются старые коробки из-под печенья с неразборчивым названием, стеклянные банки, углы деревянных шкатулочек и прочее добро. Ему чудится, будто голова у него сплошь вздулась опухолями, откуда они? — этого он сказать не в состоянии. Или нет, скорее так: его череп весь испещрен дырами, из них течет вязкая густая жидкость, она заливает глаза, мешает смотреть, а то и вовсе вынуждает его остановиться, и на те несколько секунд, что он стоит, память полностью покидает его, а будущее перестает волновать. Головокружение... Немой крик! И — транс...

Окружающая толпа и эта дикая, все более неодолимая мешанина предметов и звуков делают его до крайности уязвимым. Он блуждает

по замкнутому кругу. Полуоранжевые, полубелые таблички из плексигласа, на которых указаны направления, вызывают у него головную боль, их мелькающие полоски напоминают ему мигалки полицейских машин или машин «скорой помощи», а еще оранжевые вспышки реклам, которые он заметил, когда ехал через тот город, где высадился с парохода. И каждый раз, как он натыкается на них, он испытывает чувство неловкости и вины. Потому-то он и старается избегать их и обращать внимание только на таблички с названием станции, повторенным десятки раз, если не больше:

ПЛОЩАДЬ СОГЛАСИЯ... СОГЛАСИЯ... СОГЛАСИЯ... СОГЛАСИЯ... СОГЛАСИЯ... СОГЛА... знаки, тем более пугающие, что ровно ничего не говорят ему, хотя он и понимает: они, эти знаки, наверное, очень важны, иначе их не выставили бы, напоказ повторяя десятки раз подряд; они то съеживаются, то скрючиваются, то разбухают, то двоятся, подчиняясь какому-то бредовому ритму, который отдается у него в мозгу дикой пляской белых и голубых молний. Скорчившись перед этой вакханалией огней, он чувствует смутное искушение поддаться чему-то вроде тропизма[1], который не позволил бы ему расслабиться: ведь он не желает, чтобы его прикончили эти прерывисто мигающие орудия пытки, которые всюду подстерегают его, чтобы скрутить, ослепить и окончательно свести с ума. Вот почему, осознав опасность, он быстро берет себя в руки, вынимает свои бумажки (их теперь около десятка), которые зажимает между большим и указательным пальцами правой руки, а чемодан подхватывает левой, которую он вытянул немного вперед, так что каждый раз, как он поворачивает за угол или сходит с эскалатора, сперва показывается рука, опережающая туловище своего...

Текучая зыбкость мигающего света, оранжевого и голубого — словно двухцветное сновидение, где каждую краску сопровождают те или иные ощущения, забродившие на дрожжах слов, разбитых, расплавленных, расплющенных, разъятых; их значение так и остается невыясненным для скитальца, замкнувшегося в своем стремлении хоть куда-нибудь двигаться (так мечется шершень, сбитый с толку непривычным расположением ячеек в сотах, откуда он добывает мед), он разрывается между движением и размышлением, его одолевают воспоминания о засушливых летних месяцах, пахнущих корицей, которой торговал четвертый сообщник ласкаров в прохладной лавочке, как бы насквозь прошитой веревками и проводами (киноаппарат!), где воздух был сух, где веяло сладким ароматом абрикосов — их сушили на крышах, сперва разрезав пополам и вынув косточки, раскладывали распластанные плоды прямо на древних, тысячелетних черепицах, вливающих свой горячий цвет в сумасшедшее знойное сияние полудня, который медленно подползал снизу, из долины, к Питону, чтобы задушить в своих жгучих объятиях деревушку, темную и томную, быть может, именно из-за разостланных повсюду абрикосовых ковров цвета охры и ржавчины; деревушку, окруженную полусонными, полунастороженными животными, враждебно встречающую пришельцев: чужие здесь нежелательны, ибо все замерло в дремотной тиши, ничто не движется, кроме насекомых да мелких зверюшек, да четырех ласкаров, бодрых, поскольку они уже выспались — им ведь не нужно вставать на заре для сбора абрикосов или ячменя, они дрыхнут себе все утро, зная, что их сбережения в полной безопасности у них под подушкой и что в воскресенье они покажут очередную хронику, посвященную Ататюрку, которого они считали истинным революционером только потому, что он заставил своих сограждан носить шляпы вместо фесок. Сухой знойный воздух... что общего имеет он с этой удушающей париль-

[1] Тропизмы *(биол.)*— ростовые движения органов растений, обусловленные направленным действием какого-либо раздражителя — света, силы земного тяготения и др.

ней, где все пропитано запахом псины, бойни, кишок, прокисшей мочи, где вонь становится почти осязаемой, такой же густой, как туман, в котором он мечется, не в силах стереть из памяти и с кожи воспоминания и ощущения, въевшиеся намертво.

А следователь бормочет: «Да кто вам сказал что он падал в обморок на ПЛОЩАДИ СОГЛАСИЯ? Это вас наверное в детстве нянька уронила да-да смотрите у меня нечего слюни распускать в таких обстоятельствах чувствительность смешна я не хотел бы думать что вы действуете так намеренно черт возьми! А впрочем с чего это вдруг у меня из досье пропала одна страница нет я не говорю что это ваших рук дело я никого огульно не обвиняю но я попросил бы вас отказаться от субъективного подхода стоит нам сделать хоть крошечный шаг вперед как из вас предвзятость так и прет да-да у меня впечатление что кто-то упорно старается спутать нам карты смотрите у меня я в случае чего никому спуску не дам эта история случилась в моем секторе и будьте уверены я сделаю все необходимое чтобы пролить свет на дело а вы мне ставите палки в колеса говорю вам что кто-то нарочно спутал страницы в досье например этот случай с отпечатком ботинка фотографию явно подмен... ну кто же вам все-таки сказал что он падал в обморок? Я даже сомневаюсь сидел ли он вообще на перроне ПЛОЩАДИ СОГЛАСИЯ да кстати а вам еще не удалось разыскать девчонку с растатуированной кожей? если только вы ее сами не выдумали вот как вы мне объясните тот факт что он так и не сел на перегоне БАСТИЛИЯ — ПЛОЩАДЬ СОГЛАСИЯ несмотря на уговоры своего кузена а сойдя с поезда тут же опрометью бежит садиться опускает голову на руки и тишком подглядывает за девчонкой которая подтягивает чулки нет уж извините! очень просто у вас все получается не может такого быть! сперва вы мне приведите эту девчонку если она действительно существует то пусть мне ее покажут пусть ее разыщут черт подери! да совсем забыл а перечень содержимого чемодана? ах в 35 экземплярах! Не больно-то вы поворотливы берегитесь у меня голубчик не осложняйте мне жизнь и не забудьте что у себя в секторе я хозяин дошло наконец а если кто-то вздумает таскать у меня документы из дела то пусть знает что я шутить не люблю я живо найду виновного уж можете мне поверить ах ты черт подери чтоб им всем провалиться! В моем секторе!»...

ЛИНИЯ № 12

Группа людей, состоящая из мужчин, женщин, детей и одного-двух чернокожих уборщиков (они сразу выделяются голубыми спецовками, а в особенности огромными метлами на деревянных палках с металлическими наконечниками, перехваченными еще и поперечными металлическими лапками, тогда как сама метла своими разлохмаченными прутьями почти полностью скрывает их лица, позволяя остаться неопознанными), неподвижно стоит на лестнице эскалатора, как раз на полпути между верхом и низом (во всей системе метрополитена насчитывается 164 эскалатора), ступеньки, покрытые блестящей нержавейкой, сперва продвигаются на 3—4 метра плоской дорожкой, похожей на движущийся пол, какой бывает в самых длинных коридорах, и сразу же вслед за этим начинают подниматься одна над другой с величественной медлительностью, словно вырастая из-под земли, а потом за несколько метров до конца опять складываются в плоскую, как в начале, ленту. Это действо, которое вершится под приглушенное урчание моторов, не удивляет никого из группы людей, по-прежнему неподвижных, но уже миновавших середину пути, проделавших почти три четверти его.

Чуть повыше (всего в нескольких сантиметрах) стоит приезжий с чемоданом в руке, он молча разглядывает группу людей, которая

смущает его своей жутковатой неподвижностью, в то время как все эти блестящие штуки под их ногами движутся, карабкаются друг на друга, уходят одна под другую, исчезают, возникают вновь — полоска за полоской, блик за бликом,— какой-то нескончаемо длинной шашечной доской, изогнутой в пространстве, которое они раздавливают, погребают под собой, под своими выгибами, горизонтальными и вертикальными плоскостями, нагроможденными друг на друга; они поднимаются все выше и выше, останавливаясь чуть ли не в нескольких сантиметрах от потолка, забивая собой, словно железный барьер, поставленный на пути воображения, грез и мечты (не только той, что лелеют чернокожие рабочие, неразлучные со своими метлами), пространство тоннеля, это смятое, сплющенное пространство, разбитое на тысячи осколков, блестящих, как стекло, как кварц, как слюда, как кремний. Теперь, когда он стоит выше других, у него совсем иная точка обзора своих попутчиков, ему больше не видны их костюмы, пальто, бока, руки, лица, зато взгляду открылись макушки, шеи, уши, воротники сорочек, шарфы и косынки. Но больше всего поражает его тот факт, что в начале эскалатора, которое теперь уже совсем далеко, так никто и не появился.

Он спрашивает себя, уж не ошибся ли он ненароком, не попал ли в какую-то особую, избранную группу, где он и права-то не имеет находиться; он уже готов думать, что нарушил некий строгий закон. Но тут же признает свое заблуждение, потому что там, далеко, теперь уже очень далеко внизу на эскалатор вступает шумная, галдящая стайка молодежи, и он видит, как они поднимаются друг над другом, стоя на разных ступеньках, которые прямо на глазах рождаются из-под пола, зигзагами движутся в искусственном свете, поглощая все, что есть неподвижного вокруг них: коридоры, людей, решетки, потолок; а в это время люди, составляющие первую группу и оказавшиеся теперь почти на самом верху, продолжают хранить молчание, как будто они вознамерились запугать его, отвергнуть, изгнать, выбросить из своего круга с помощью этого заговора немоты, которая и вправду наводит на него ужас, настолько неестественна их мертвая неподвижность, страшны их замкнуто-мрачные лица с зеленовато-серыми лужицами глаз, испещренных красноватыми прожилками.

А свидетель уверяет да нет да нет я вам точно говорю это он я его узнаю ну то есть узнать-то его теперь трудно конечно но вообще-то я уверен его чемодан? да он никогда не расстался бы со своим чемоданом ни за какие блага я еще тогда подумал какой симпатичный парень я даже подшутил над этим чемоданищем уж не помню точно как я выразился что-то вроде: «У тебя там золотые слитки не иначе!» но он кажется не оценил мой юмор каждый шутит как может а скорее всего просто недослышал эскалатор-то ревел как сумасшедший а потом... ну да совсем из головы вон! там же была маленькая девчонка она хныкала а мать по-моему ее щипала чтобы та замолчала и этим очень разгневала одну старую даму которая страшно возмутилась таким можно сказать жестоким садизмом. Да точно именно так она и выразилась: «Какой мол жестокий садизм!» и она до того вся кипела эта старушенция что ее муж такая же древность как она сама стал ей шептать что-то на ухо наверное советовал не соваться в чужие дела. Да нет точно я вам говорю я ведь это не для того чтобы прославиться очень мне нужно чтобы мое фото пропечатали в газетах в наши дни этим никого не удивишь просто он и вправду показался мне симпатягой этот парень ну как бы это выразиться вид у него был такой гордый ну нос что ли с горбинкой или еще почему ну вот значит я ему и сказал: «Да поставь ты свой гроб с музыкой отдохни хоть минутку можно подумать у тебя там весь золотой запас Франции!» — или другую какую-то ерунду в этом же

роде не помню а на эскалаторе было довольно много всякого народу... какой-то старик нет не из тех что сидят в метро по углам кстати на эскалаторе были деревянные ступеньки и был он очень шумный очень медленный и очень грязный нет я не хочу хаять людей которые следят там за порядком я просто рассказываю подробности вы же настаивали чтобы я не пропускал подробности а это же подробность разве нет? Ну да чемодан — а чемодан знаете ли был совсем не плох не скажу что новый но вполне приличный с двумя кожаными ремнями которые застегивались на большие такие золоченые пряжки но до чего же набитый весь вот в таких здоровенных буграх как будто он туда напихал миллион всяких ящиков и коробок с чем-то тяжелым я потому-то и преподнес ему эту шуточку насчет золотого запаса Франции он конечно на нее не среагировал но это его право так же как мое право отпускать шутки я признаю что они не всегда удачны но что касается чемодана так он до того был набит прямо лопался! А еще он держал в руке пачку бумажек по-моему это были деньги может поэтому мне и пришло в голову подшутить насчет ограбления. Да нет почему это у меня богатое воображение? Откройте любую газету они на каждой странице пишут про ограбления. А что я перескакиваю с пятого на десятое так это пусть вас не беспокоит у меня привычка такая но с главного меня не собьешь. Значит он стоял на ступеньке один а на две-три ступеньки ниже как раз и находилась та группа людей которые ругались из-за ребенка истязаемого матерью... нет-нет сам я ничего такого не видел. Кто-то кажется сказал старухе: «Лгунья!» и сразу с места в карьер побежал вниз как будто ему тошно стало от всей этой идиотской истории. Между нами он был прав. А я прямо глаз не мог оторвать от этого чемодана ей-богу... да из прекрасной кожи но до чего же набит вещи так и выпирали со всех сторон кажется вот-вот лопнет и тогда я сказал: «Да поставь ты свой комод что ты за него держишься будто он из платины!» или что-то еще в этом же роде но он по-моему не расслышал. Если я вам все это рассказываю так вовсе не для того чтобы мне навесили медаль или вынесли благодарность в полиции не думайте. Просто он мне показался симпатягой. Не знал я что он пропадет а то может и помог бы ему нет странный парень ей-богу ну что бы ему сказать попросить я бы помог точно вам говорю!

Потом еще эти разные уровни, с которыми он никак не справится (что касается дверей, входных турникетов и прочих механических ловушек, то этот фокус он уже раскусил, тут его больше не поймаешь: как только он видит, что они начинают затворяться — медленно, с каким-то зловещим скрипом, сопровождающим поворот дугообразного шарнира, он резко ускоряет шаг, успевая проскочить в смыкающиеся створки in extremis[1], а проскочив, оборачивается поглядеть на других, которые не успели и остались по ту сторону автомата, вставшего как неодолимый барьер между ними и остальным миром; стоят они покорно и неподвижно, даже затаив дыхание, и скорбно глядят, как поезд заполняется народом, как закрываются его двери и как он уходит у них из-под носа, а они остаются, бессильные задержать его, подавленные скверной шуткой, которую сыграл с ними автомат, стоят в своих прочно приросших к лицам мрачных, угрюмых масках, словно специально предназначенных для проезда в метрополитене; потом дверцы автомата начинают поворачиваться — медленно, страшно медленно, словно решив посильнее раздразнить пассажиров; просвет между створками растет и растет, но, прежде чем они распахнутся полностью, он успевает разглядеть ступни и ноги ожидающих — они тоже, как и лица, совершенно неподвижны, аккуратно поставлены по две, попарно, рядами; ноги эти,

[1] В последний момент *(лат.)*.

словно обрубленные на уровне бедренного сустава, как бы живут самостоятельной, отдельной от тела, механической, бездумной жизнью; под дверцами он видит низ брюк и туфли у мужчин, голые или обтянутые прозрачными чулками ноги женщин в туфельках на высоких каблуках, таких же запыленных, как мужская обувь, и совершенно ничем не примечательных. Да, теперь он научился обращаться с этими автоматическими дверцами, с которыми он так здорово намаялся вначале, теперь он даже находит утонченную радость в том, что успевает проскочить в самый последний момент, более того, нарочно чуть-чуть выжидая и, таким образом, попадая в ловушку, расставленную ему ласкарами — они ведь предсказывали, что он в конце концов пристрастится к метро)... Да, вот с уровнями его надули, все эти тоненькие металлические мостки, переброшенные через пустоту, над головами пассажиров, снующих внизу и подвергающих тем самым свою жизнь опасности, все эти зияющие и сияющие штольни из бетона и стали между нижними и верхними галереями, идущие на такой высоте, что ни предохранительные решетки, ни барьеры не спасают от головокружения, множатся, набегают со всех сторон — сложные, пугающе-сложные структуры, позволяющие разглядеть там, внизу, суетливую толпу, а вернее, скопище лохматых и лысых голов, часть перрона, половину поезда, точно сплющенного под прессом, и куски пустоты — не разреженной, а плотной, слоистой, как пирог... На переход по этим мосткам он решается не без колебаний, тем более что чемодан чересчур тяжел, и его опять начинает мучить опасение: а не нарушил ли он какой-нибудь обычай, ибо другие пассажиры несут только портфели или сумки, а то и просто одну газету или книгу, не говоря уж о тех, кто вообще идет с пустыми руками; он боится, как бы его не остановил какой-нибудь полицейский, чтобы проверить содержимое чемодана, а может быть, даже составить протокол и список всех его вещей и конфисковать чемодан, а самого погнать дальше, приказав «Проходите!» тем же суровым голосом, с той же строгостью во взгляде и в каждом жесте, вплоть до воинственно поднятого и указующего куда-то вдаль пальца правой руки, что у молодой женщины в форме служащих метрополитена, которая тогда тоже отдала приказ «Проходите!» на своем языке, отчего он так и не понял, на кого же она сердилась — на него или на тех, кто его оскорблял, когда, пытаясь узнать, приехал ли он на станцию БАСТИЛИЯ, он загородил проход людям, которые во что бы то ни стало желали выйти из вагона и, придя в ярость от такой пустячной задержки, стали пинать ногами его чемодан, вышвырнув его на перрон и крича: «Ну ты, идиот безмозглый, чего застрял, недоумок несчастный» и прочее тому подобное.

А те, в деревне, скажут как бы невзначай, притворяясь, будто увлечены игрой, если только, поддавшись панике, не выставят за дверь всех, кто есть в лавке, и, лихорадочно нашарив бутылку, не примутся пить, стараясь заглушить ужас, тоску и раскаяние и говоря: «Вот идиот ну что за идиот! мы-то думали он дальше столицы[1] и шагу не сделает просто погуляет по ней раз уж такой случай выпал да вернется! Они-то ведь знали, сколько бумажек и разрешений нужно собрать, чтобы выехать из деревни,— местные чинуши сто раз могли ему отказать, их ведь хлебом не корми, а дай помурыжить просителя,— ан нет, его-то они как раз и выпустили! Они были так уверены в том, что он струхнет и пойдет на попятный — ведь они-то видели его нерешительность, его колебания,— вернется в Питон и прямо среди ночи, часа в два, постучится к ним в дверь, едва дав им время припрятать трубки и бутылки и состроить постные мины праведников. А он, захлебываясь от хохота, подумал бы: здорово же я их разыграл, нагнал на них страху, только вот зря они прятали бутылки, все равно от них несет пе-

[1] Город Алжир.

регаром, пусть бы себе пили и дальше, чтобы позабыть свой испуг и отпраздновать его возвращение. Он бы уверил их, что у него и в мыслях не было доносить на них местным властям, муэдзину, старейшинам или обряжателю мертвых, он бы шутливо ткнул пальцем в поджарый, дряблый живот одному из них, а они призвали бы всех богов, святых и своих любимых поэтов в свидетели того, что со времени их собственного возвращения в Питон вина и не нюхали, и полезли бы к нему обниматься и целоваться, приговаривая: «Ах ты, бедолага, да ты же еле на ногах стоишь, слишком ты намаялся, слишком много всего навидался — и пароходов, и портов, и кранов, и чаек, с непривычки-то оно тяжко на морском воздухе, давай-ка приляг, отдохни, а мы пока докончим партию...», читая и перечитывая телеграмму (ПРИБЫЛ ЖИВОЙ И НЕВРЕДИМЫЙ), не веря глазам своим и твердя: ах бедняга какой печальный конец! он же не умеет ни читать ни писать а до чего хитер! но на этот раз ему несдобровать. Вот уж идиот так идиот! И они станут без конца повторять, что им следовало бы учесть, какой он идиот, и впредь получше обдумывать свои шутки, и что не следовало им завлекать его этой историей с голубым метро,— стоит только вспомнить, как один из них вынул тогда свои драгоценные фотографии жестом старой шлюхи, показывающей портрет какого-нибудь принца или князя, содержавшего ее в молодости. Они будут упрекать себя, что так легкомысленно отнеслись к «людям с печатями», упустили из виду, что и тем случается иногда выказывать рвение на работе, например, в предвидении премии или, скажем, благодарности по службе. И они добавят, не забывая при этом вливать себе в глотку вино: ну кто бы мог подумать что он не испугается моря он ведь никогда его не видел! вот дурак-то! надо бы муэдзина предупредить что он живой не вернется, это уж как дважды два ему не отвертеться раз он попался в эту ловушку. Ну кто бы подумал что он сыграет с нами такую скверную шутку! И они напьются, накурятся «травки», и, топя печаль в вине, будут передавать из рук в руки телеграмму, читая и перечитывая ее и твердя: вот непутевый! ему и невдомек что его ожидает что с того что он сумел выпутаться но погоди дай только ему попасть на завод (там ленты прокатных станов медленно ползут под барабаны, ощетинившиеся сталью и вращающиеся в обратную сторону, заглатывая, пережевывая, сминая металл, расплющивая его до тонкого листа, среди адской, иссушающей жары, от которой ноздри покрываются изнутри горящими язвами, среди стона и визга давимых масс стали, среди искр, снопами летящих из-под пресса; там гигантские доменные печи, ненасытно пожирающие кокс; там хитроумные машины, с которыми приходится лихорадочно соревноваться в скорости, повторяя одни и те же движения, выкрикивая одни и те же слова, гвоздем вонзающиеся в мозг; там звери-мастера — они же мастера ругаться,— давно перешедшие по ту сторону баррикад; там стрелки, отмеривающие минуты и часы смены с убийственной точностью; там штамповочные машины, там издевательства, там грязь, там изнеможение, там горе и болезни, там увечья и смерть), там-то с него и спустят семь шкур, он ведь привык к свободе, к вольному воздуху, ну так на заводе он и оставит свои пальцы, свои руки, свои ноги, свою голову, свои легкие, лоскутья своей кожи, содранной каким-нибудь барабаном или рычагом; а если такой вариант его не устраивает, он всегда может пойти работать на стройку и там изображать в свое удовольствие канатного плясуна — вплоть до того дня, когда сорвется с какого-нибудь крана и полетит вниз, выставив перед собой закоченевшие, негнущиеся руки, что не помешает ему разбиться в кашу о бетонные плиты, которые он же сам накануне и укладывал так любовно и старательно, желая заслужить похвалу мастера... И так ему и надо, будет знать, как усердствовать, как зарабатывать в поте лица свой хлеб, строя дома́ для других, чтобы потом они, эти другие, встретив его на улице или в метро, презрительно отвернулись

от него, или пнули его ногой, или вовсе убили: как ни крути, а он обыкновенная подопытная мышь, и что бы он там ни плел насчет того, как вышел победителем из этого лабиринта (ПРИБЫЛ ЖИВОЙ И НЕВРЕДИМЫЙ), все это пока только цветочки...

А он думает — всякий раз, как проходит мимо одного и того же рекламного плаката, во множестве копий развешанного по коридорам станции ПЛОЩАДЬ СОГЛАСИЯ, или СЕН-ЛАЗАР, или МАДЛЕН и восхваляющего импортные апельсины (МЫ ПРОДАЕМ ТОЛЬКО ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ!): ох уж эти ласкары могли бы предупредить меня насчет висячих мостков я бы уж прихватил из дому амулет от головокружения а тут нет ничего хоть плачь! — и мысленно упрекает их в том, что ничем не предостерегли его от смертельного падения с такой высоты,— в любой момент, от любого толчка, от любого металлического катаклизма, а вон вдобавок сверху, над его головой, прогрохотал поезд, пронесся как сумасшедший в направлении ПОРТ-ДЕ-ЛА-ШАПЕЛЬ, или ПОРТ-ДЕ-СЕНТ-УАН, или ПОН-ДЕ-ЛЕВАЛЛУА-БЕКОН, или МЭРИ-Д'ИССИ, или ПОРТ-ДЕ-ЛИЛА, сотрясая своды, покрытые заплесневелыми лохмотьями извести и стянутые стальными балками, поддерживающими все строение в образцовой ненадежности. Стараясь сохранять самообладание, он продвигается вперед автоматической походкой робота, борясь с невыносимой тяжестью чемодана, все сильнее пригибающего его к земле, а может, ему из-за усталости кажется, что тот стал еще более увесистым; он проходит мимо тех же реклам (апельсины сфотографированы великолепно: нежная светотень выявляет каждую выпуклость и впадинку на яркой шершавой кожуре), их вид успокаивает его, на миг ему чудится, будто он снова попал домой, будто он и не покидал Питона, не переплывал море, а все, что с ним случилось, просто кошмарный сон, навеянный рассказами ласкаров, которые, пожалуй, способны зачаровать, загипнотизировать, даже околдовать на расстоянии, недаром же в деревне им приписывают свойства провидцев — из-за них-то соседи и побаиваются этих троих, да, скорее из-за их колдовских способностей, а не из-за их сбережений и пенсий, чьи размеры наверняка раздуты обладателями для большего эффекта. Да, но ведь есть еще эти проклятые буквы, покрывающие чуть ли не весь плакат: он не постигает их смысла, и они грубо возвращают его к реальности коридоров, переходов, перекрестков, тоннелей, к этому гулу потопа, к свету, режущему глаза все более агрессивно, и забивающему дневной свет, робко просачивающийся внутрь через двери, выходящие на улицу; но и лампам не удается осветить как следует эту подземную пещеру, где кишат грустные, угрюмые, замороченные люди, тоскующие по зеленым лесам, по улыбке солнца, по ярким апельсинам (МЫ ПРОДАЕМ ТОЛЬКО ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ!), по южному лазурному небу; они борются с искушением сбросить свои мрачные маски и, схватив за руку соседа, побежать вместе с ним по густой изумрудной травке,— а все из-за этих реклам: ровно одну секунду они грезят перед ними, потом, встряхнувшись, вновь одеваются воинственной броней неприступности, опускают на лицо забрало угрюмости, едва не давшее трещину, и с недоверчивой опаской отвергают любое морфологическое отклонение, любую синтаксическую вольность, мрачнея от одной только мысли о том, что кто-то мог осмелиться исковеркать их родной язык, тот, которому их обучили в школе. Итак, они мгновенно возвращаются к своему прославленному здравому смыслу, к своему распорядку дня, заполненного до последней секунды, к своему транспортному расписанию, предоставив другим заниматься пустяками (МЫ ПРОДАЕМ ТОЛЬКО ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ!), стыдя себя за миг предательского колебания, за искушение помечтать, расчувствоваться, броситься в авантюру, уплыть в дальние страны,— но куда им, задерганным донельзя, зараженным смутным ощущением греховности, которое спит у них в душе, мгновенно пробуждаясь,

как только возникает искушение сбежать от всех этих синтетических просторов, спорадических заторов, специфических разговоров, телефонных справочников, записных книжек и строгого распорядка дня. Они идут мимо него, и мимо его чемодана, и мимо его клочков бумаги, что торчат уже из всех карманов,— правда, он все же сумел выбрать из них самый главный, с адресом, который скоро совсем невозможно будет разобрать, как будто листок в тот памятный день в Питоне побывал в растворе формалина и пота, съедающего теперь буквы, так что их уже приходится не читать, а скорее расшифровывать, довольствуясь остатками этой мозаики, которую нужно складывать медленно и терпеливо, и тогда предполагаемому исследователю, может быть, удастся, призвав на помощь память, восстановить рукопись, если только он не понадеется на воображение и не напридумывает чего-нибудь лишнего или, наоборот, вовсе лишенный воображения, не пошлет иностранца в неверном направлении, лишь бы не уронить свое достоинство, а то и укажет ему просто куда-нибудь из робости либо тщеславия, в этом последнем случае подумав: неважно, что они плохо пишут на нашем языке — пусть не думают, будто мы не способны прочесть какой-то их несчастный адрес, пусть даже написанный вкривь и вкось («Идите прямо, да-да, все прямо и прямо, поняли?») детскими каракулями на этой скомканной, грязной бумажонке...

Так значит согласно заключению патологоанатома смерть наступила от ударов велосипедной цепью или ножа или других подобных режущих предметов а вы мне тут напели про несчастный случай вы бы еще выдумали что он покончил с собой а почему бы и нет что вам стоит вы бы еще сказали что он бился головой о стенку пока не умер а вы случайно в детстве на голову не падали? ну как же как же эпилептик конечно они там все сплошь эпилептики а вот как быть с медицинским заключением а? Я так понимаю вы уже наведались в морг невеселое зрелище не всякий выдержит вы только не забывайте что это случилось в моем секторе и у тех кто это сделал нет ни малейших шансов выйти сухим и из воды они еще не знают с кем имеют дело — псих! тронутый! мне ведь известно что вы болтаете за моей спиной у меня повсюду есть информаторы вот теперь в досье не хватает одной страницы а она крайне важна для следствия это снимок отпечатка ботинка обнаруженного рядом с телом погибшего анализ недвусмысленно показал первое на нем следы засохшей крови жертвы и второе след не принадлежит самой жертве значит это след одного из убийц да я согласен трудненько будет установить чей это ботинок но такая улика может нас сильно продвинуть вперед нет-нет хватит с меня ваших идиотов-свидетелей и гоните в шею этого клошара он болтает невесть что лишь бы подольше посидеть в тепле да выклянчить чашку кофе ишь пригрелся тут да он же настоящая слепая курица дальше чем на метр не видит и вам это прекрасно известно но вам нравятся его сальные россказни про девочек и вы его держите при себе и строите версию попытки изнасилования ну и ну конечно я не могу вам запретить так думать я-то знаю что их хлебом не корми а дай этого самого но мне нужны доказательства того что попытка изнасилования действительно имела место тогда все становится понятно законная оборона при нападении но почему же они скрылись и где они сейчас? а потом что это у вас семь пятниц на неделе то самоубийство то законная оборона при попытке изнасилования вы уж держитесь чего-нибудь одного а главное разыщите мне девчонку на которую он позарился когда она... и найдите дубликат снимка со следом ботинка вот тогда и посмотрим а что касается старухи то она и замужем-то сроду не была не говоря уж об убитом сыне какой там сын она бедняга просто свихнулась от одиночества вот и нашла себе призвание: набивается в свидетельницы чтобы выпендриться перед комиссаром полиции потом перед

следователем потом в суде еще бы настоящий спектакль! а что касается его так называемого кузена то он еще у меня посидит под замком пусть вам это не нравится но он единственный серьезный свидетель вы только не подумайте что я им симпатизирую вот уж чего нет того нет! но мой сектор это мой сектор я здесь вольничать никому не дам а кстати вы не могли бы лить на себя поменьше духов?

Не веря своим глазам, хватая ртом свежий вечерний (уже 10 часов вечера!) воздух, ликуя оттого, что разжал, наконец, тиски, не задохнулся насмерть в туче вредоносных испарений, он бежит, держа путь прямо перед собой, убрав все свои бумажки, кроме той, с адресом, в полной уверенности, что добрался до места, что добился своего, что он на воле, бежит; с удовольствием представляя себе физиономии тех, в деревне, когда они получат телеграмму (ПРИБЫЛ ЖИВОЙ И НЕВРЕДИМЫЙ), их смиренные охи и вздохи, их неловкие от смущения жесты, их раскатистый хохот, который — он это хорошо понимал — скрывал зависть, смущение, всю усталость и горечь прожитой жизни и грустное сознание того, что они здесь чужаки после стольких лет отсутствия; все эти чувства грызут их исподволь, и они топят горе в самогоне, который тайком от деревенских изготовляют у себя дома месяцами — терпеливо, заботливо, любовно! «ПРИБЫЛ ЖИВОЙ И НЕВРЕДИМЫЙ», и никакой подписи, они и так поймут, от кого это. Как же он счастлив после долгого странствия в подземном аду избавиться от всех этих схем, афиш, плафонов, рельсов, поездов, автоматических дверей, электрических устройств, движущихся лестниц и, главное, от безразличия окружающих, которые толкали, осмеивали, гнали его прочь, презрительно «тыкали» ему — все, кроме разве любителя флиппера, владельца ресторана, студента и молодой девушки: как ее? Селина? Алина? — эти помогли ему, проводили, посоветовали, но он позабыл и их лица, запомнил только лицо молодой девушки, которая сперва так напугала его, он даже подумал, уж не издевается ли и она над ним, когда она взяла его за руку и повела, смеясь над его недоверчивым видом и оставляя лёгчайший аромат духов (каких?) на его ладони, которую он потом сжал, чтобы подольше сохранить запах.

Он счастлив от этого незнакомого холодка в животе, от того, что выбрался на поверхность, задыхаясь от нетерпения, готовясь к последнему усилию,— и тут он увидел их, крикливых и шумных, увидел и кинулся к ним с немым вопросом в глазах, просительно вытянув вперед свою бумажку с адресом, а они, и разъяренные и довольные этой нежданной помехой, подумали: давненько нам такой в руки не попадался, и стремительно вырвали откуда-то из-под одежды велосипедные цепи (они все были одеты в кожаные комбинезоны), сверкающие металлом, как белые молнии в ночи (теперь уже ощутимо холодной, если только он просто не перегрелся за целый день беготни в этой подземной парилке, откуда уже не чаял и выбраться), их фосфоресцирующая одежда рассыпала во тьме тысячи искр, они изнывали от безделья еще сильнее, чем старые бродяжки на скамьях, они-то сами были защищены от ударов плотными куртками цвета хаки, они были задиристые, горластые, обутые в скрипучие кожаные сапоги, и они подумали: давненько нам такой в руки не попадался,— и внезапно их охватила конвульсивная дрожь возбуждения от сознания своей власти над жизнью и смертью этого человека, который все совал им клочок бумаги, не понимая, в глупой своей радости, что окружен убийцами, уже решившими превратить его в кровавое месиво; они раскручивали в воздухе свои смертоносные орудия, заботливо смазанные и начищенные, сверкающие, как белые молнии в ночи,— цепи, как взбесившиеся змеи, метались над их головами со злобным, шипящим свистом, который долго еще потом рассекал воздух, кувыркаясь в нем пронзительными, острыми отголосками; они были счастливы, увидев его глаза, наконец-то обожженные ужасом в миг, когда

он понял, что́ его ждет, и, застыв на месте, машинально продолжал тянуть к их лицам судорожно сжавшуюся руку с клочком бумаги; бумага, прорванная в нескольких местах, блестела жирными пятнами в желтом пятне уличного фонаря, который осветил и их, вооруженных сверкающими стальными хлыстами, чьи удары раз и навсегда врубились в его память, иссекли радость, бившуюся в его голубых венах, располосованных ими с бешеной злобой, брызнувших багровой кровью, жгучей, как кислота,— она темным потоком хлынула на мостовую и разбежалась по ней ручейками, немножко похожими на линии схемы, которые так напугали его во время скитаний под землей.

А девчонка верещит: «Да вы что совсем чокнутый что ли! Чтоб я да носила чулки! Как же дожидайтесь! На фига они мне сдались я не мерзлячка а нейлон вообще терпеть не могу в нем в метро-то насмерть запаришься. Кто кто меня видел? Еще чего не хватало скажете тоже! Я их терпеть не могу. Ну откуда я знаю терпеть не могу и все тут. Вот негры — совсем другое дело. Они красавчики! Они прямо как боги! Вы знаете Джимми Хендрикса? Нет?! Ну вы даете! А эти... еще чего не хватало! Терпеть не могу когда они на меня глазеют. Что я — корова что ли чтоб на меня глазеть? Нет я не ношу колготы. Никогда. Терпеть их не могу. Мне в них жарко. А потом у меня ноги что надо так с чего это я вдруг напялю чулки или колготки вы бы еще сказали «панталоны»! Да я там чуть ли не с час сидела на этой станции потому что мой дружок запаздывал. Я его так и не дождалась. Битый час там проторчала а потом села в поезд на линии ГАВР-КОМАРТЕН и только меня и видели! Ну чего вы ко мне привязались я в их сторону и не смотрю они для меня пустое место. Вот негры — другое дело. Вы знаете Джимми Хендрикса? Нет?! Ну вы даете! А эти... да плевать я на них хотела! Говорите он на меня глазел? Вот сволочь! Но я-то ничего не видела. Я в их сторону и не смотрю. Я их издали чую и сразу дую на другую сторону улицы. Нет ей-богу я в тот день была без чулок я хотела показаться своему дружку как есть в лучшем виде. Он такая лапочка. Да чего вы ко мне привязались уже и в метро нельзя ездить что ли? Знаете, это ваш инспектор просил меня сказать что в тот день я была в чулках ну в виде исключения что ли. Но ведь это вранье. А еще он попросил меня сказать вам будто тот тип на меня глазел. Ничего себе! Я как подумаю об этом и то противно. Я ведь их издали чую. И сразу дую на другую сторону улицы. Нет вы не подумайте я не такая. Я вот негров например очень даже люблю. Но это совсем другое дело. А может это была и не я а совсем другая девчонка. Мало что ли девчонок в метро?!

Отпустив девчонку, он ворчит: ах вот вы как не желаете значит считаться с моими предупреждениями ну теперь вы у меня попляшете и не уверяйте меня будто это она выдумала нет это вы ей подсказали да-да именно вы! а вам не положено что бы то ни было подсказывать свидетелям лучше бы поискали да нашли мне хоть одну серьезную улику не чета вашим киношным фокусам! нет что вы себе позволяете черт возьми! прежде чем фальсифицировать документы вы бы хоть научились врать получше и не воображайте что ваши коллеги вас нежно любят вовсе нет им не нравится ваш акцент ваша напомаженная шевелюра ваши полосатые костюмы ваши шелковые сорочки такие только сутенеры и носят но признаюсь я лично питаю к вам некоторую симпатию можете не верить конечно но это факт хотя заметьте мне тоже не нравятся эти ваши туфли и галстуки и манеры а главное ваши духи но у вас есть одно редкое в наши дни свойство вы сыщик настоящий сыщик до самых печенок до мозга костей сыщик а эта порода нынче вымирает черт возьми я кажется расчувствовался но это потому что отыскался наш снимок следа ботинка оказывается он был в лаборатории ну что вы стоите как пень

до вас еще не дошло марш в лабораторию а не то я за вас возьмусь это мой сектор здесь я хозяин.

И вот еще что: там внутри, в лабиринте, копятся, таятся самые разные шумы и звуки, с которыми он мало-помалу свыкается и, с обострившейся проницательностью, неведомо для себя, начинает различать, понимать, даже объяснять их, не зная тем не менее откуда они берутся. Сквозь тяжелый туман изнеможения до него доносится женский смех — влекущие нотки, которые прорываются в нем, добавляют остроты к пронзительной, терзающей слух какофонии метро (пышные обнаженные груди молодой девушки, почти подростка с лицом как на портретах фламандской школы — длинноватый тонкий нос, бледные губы, невинные глаза, полуприкрытые тяжелыми веками без ресниц, и нежный гладкий овал, которым модель обязана не себе, а опытному осветителю, умело соблюдающему законы съемки; вся фотография выдержана в сероватых, слегка размытых тонах; сверху сфотографирована та же молодая девушка в той же позе, за исключением двух деталей; во-первых, здесь ее грудь, которую вы только что видели обнаженной, затянута в белый бюстгальтер, отделанный легким кружевом, с крошечной пластмассовой розочкой между чашечками, во-вторых, глаза позирующей на сей раз широко раскрыты,— ведь ей уже не нужно стесняться своей наготы, теперь ее грудь скрыта бюстгальтером, почему и кажется более пышной и упругой, так как каркас чашечек сделан из жесткой пластмассы); она, эта какофония, сверлит ему мозг, и так уже измученный всеми испытаниями дня, к которым добавились теперь и эти изображения, налепленные повсюду, куда ни глянь; эта какофония еще сильнее сгущает влажную, раскаленную атмосферу, сообщая ей оттенок чувственности — пожалуй, больше на уровне шумов, чем образов,— шумов, бьющих в голову короткими злыми очередями. Глухой рокот, усиленный эхом сводов, исходит, как ему чудится, от этого легиона изображений, чей смысл непостижим для него (лозунги, рисунки, обращения, сокращения, подписи, довольно пространные поэтические отрывки, наброски и прочее), но чье беспорядочное мельтешение сродни другим, специфическим, утробным и смутным голосам метро, которые нетрудно перечислить: шум шагов, вибрация воздуха, циркулирующего по коридорам, стонущим, как эолова арфа, шарканье метел уборщиков, эхо от рева поездов, слышное еще долго после того, как они скрылись из вида, крики, детей, восхищенных гулкими отзвуками, возбужденные смешки женщин, знающих, что на них смотрят, пронзительные свистки дежурных, чуть смягченные жирными или сальными губами, невнятица, извергаемая мрачными громкоговорителями, монологи неопохмелившихся пьянчужек, бессвязные протесты клошаров и нищенок, изгоняемых со скамей начальниками станций, трудолюбивый скрип автоматических дверец и прочие — все эти звуки перекрывают друг друга, скачут звонким эхом по коридорам этого необыкновенного лабиринта и настигают приезжего, а за ними вторым эшелоном идут другие, более приглушенные, более отрывистые, более пронзительные: телефонные звонки, свистки начальников станций, мягкий стук рычагов автомата, торгующего сладостями, сигналы отправления поездов, слышные сквозь металлические стенки головных вагонов, тихий шелест пневматических колес, визг и буханье механизмов, работающих за щитовыми перегородками,— отбойных молотков, трамбовок, экскаваторов, электродрелей.

И вот он, сам не зная как, очутился на станции СЕН-ЛАЗАР и идет по коридорам — не таким модным, но все равно сплошь разукрашенным рекламами с изображениями апельсинов, помидоров, сладкого перца и прочего. Он продвигается вперед, пытаясь отыскать среди сотен глаз дружеские, или веселые, или хотя бы не очень злые и уже привыкая к их холодному безразличию; позабывает он и о женщинах с их нейлоновой, раздушенной и размалеванной женст-

венностью, выставленной, как щит, о который вдребезги разбиваются все его тайные желания, какие еще можно питать среди всеобщего равнодушия, если не считать нескольких человек, например, девушку, что помогла ему добраться до нужной станции,— она не разговаривала с ним, просто дала понять, что она ему друг — одним пожатием руки, оставившей на его ладони душистую вмятинку, и еще: она смотрела ему прямо в глаза и временами прыскала со смеху, будто сообщница, и без слов, молча вела его через волшебный лабиринт, иногда касаясь левой грудью его правого локтя, который он тут же прижимал к себе от греха подальше, тем более что окружающие пассажиры, раздраженные и замороченные после долгого рабочего дня, кидали на них свирепые взгляды; но девушка все равно не отстранялась, она шла вперед широким шагом, прижимаясь к нему, чтобы не потерять в толпе, расталкивая самые густые скопления людей, которые возникали перед ними; она дразнила своей дерзостью этих подземных обитателей, забавляясь их возмущением, бросая им вызов всей своей внешностью — пухлыми губами, задорно выпяченной грудью, светлыми глазами при жгуче-черных волосах (такое сочетание изумляло его); она растревожила само пространство своими стремительно-мягкими движениями — скорее пловца, чем пешехода, или вспугнутой, обольстительной русалки,— своими высокими славянскими скулами, какой-то фламандской посадкой головы, чуть-чуть похожей на ту, что была у полуголой девушки в белом бюстгальтере (фирма «Заби»?), стройной высокой фигурой, ароматной, гладкой и теплой кожей; она вторглась в пространство и нарушила его одиночество, придя ему на помощь в этой гибельной, густой, прокисшей атмосфере, возникла загадочно, внезапно, мигом поняла все и, отбросив ненужные формальности, взяла дело в свои руки и повлекла приезжего за собой, в кильватере своих пышных блестящих волос, ароматов кожи, пахнущей лимоном и еще чем-то неуловимым, повлекла так легко, как будто вот этой же плавной упругой поступью она пересекла дальние неведомые страны с блестящими зеркалами заливов, млеющих под жарким полуденным солнцем, рассыпающим по кровлям хижин мириады электронов,— пересекла и вот теперь так же решительно довозит его до станции СЕН-ЛАЗАР и в течение всего переезда (линия № 12, протяженностью 13,886 км.) смотрит ему прямо в глаза ничего не выражающим взглядом, но про себя думая: «Если он будет так на меня глядеть, я еще, чего доброго, влюблюсь в него»,— а потом на СЕН-ЛАЗАР она остается в вагоне, а его выставляет наружу одним решительным жестом, не терпящим возражений, дав ему понять, что он должен выйти, сама же исчезает за дверями, которые смыкаются с сухим щелчком, разорвав едва найденную нить Ариадны, выбросив его на растерзание толпы, спешащей вернуться домой, сесть за стол, поесть в полном соответствии с рекламными призывами, посмотреть по телевизору программу, рекомендованную центральными газетами, прикорнуть в качалке и подремать под ее поскрипывание и телефонные звонки,— все, все как один, и тот ученый (или рабочий? а может, студент?), и любитель флиппера, и темнокожие подметальщики перронов, и человек на эскалаторе, и владелец ресторана... все, кто теперь покинул его. На грани истерики, на грани удушья, на грани умирания, изнуренный, всклокоченный и голодный (но разве можно открыть чемодан, чтобы достать оттуда кусок какой-нибудь еды, приправленной шафраном и жгучим перцем, ведь он тут же застопорит все движение, даже сейчас, когда станции и коридоры почти опустели), он продвигается вперед, вспоминая о ветках, отягощенных финиками, словно светящимися изнутри, такими живыми, будто вот-вот качнутся под легким ветерком (может, им и самим кажется, что качнутся?), тогда как это всего лишь мертвые плоские изображения, видимость одна, созданная световыми лучами, направленными на чувствительную пластинку, покрытую сме-

сью коллодия, нитрата серебра и прочих химических веществ, активно разъедающих эту пластинку в нужных местах (ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: НАШИ ФИНИКИ СОЗРЕВАЮТ НА ПАЛЬМАХ ПОД ОСЕННИМ СОЛНЦЕМ, А НЕ В ОРАНЖЕРЕЯХ. МЫ ПРОДАЕМ ТОЛЬКО...), позволяя таким образом финику медленно, очень медленно возникнуть на снимке, разбухая с чувственным подрагиванием (таким же сладостным, как вкус самого плода во рту), и наконец засверкать во всем своем светящемся коричневом великолепии, гораздо более захватывающем на фотографии, чем на ветке пальмы, которая причудливым силуэтом вырисовывается на голубом-как-на-почтовой-открытке небе,— влекущая синева его не расскажет зрителю о прохладном сухом воздухе, о холоде горной зимы, гораздо более суровой, чем уверяют рекламные проспекты, туристические справочники, экзотические фильмы, живописные репродукции, равнодушно изображающие миражи в пустыне, и прочая тому подобная печатная пакость.

На грани удушья, на грани истерики, опустошенный, выжатый, напуганный ароматом ее духов, который пропитал и его кожу, быстро поверивший в ее доброту, а теперь растерянный, разбитый, дрожащий от усталости и раздражения, небритый, невыспавшийся, грубо и стремительно выброшенный из грез в реальность, все более невыносимую, покинутый своей провожатой в сумасшедшем водовороте толпы, опять идущий наугад, преследуемый по пятам фальшивыми, изображенными на бумаге овощами и фруктами, которые знакомы ему так хорошо, что он, кажется, различил их запах в дыхании этой бесконечно дерзкой, закованной в броню своей гладкой упругой плоти незнакомки, безразличной к возмущению окружающих, а теперь вот пропавшей, растаявшей, поглощенной людской волной, которая, взбухая и ширясь, выбросила его на перрон и оставила там, одуревшего, обессиленного, он жадно хватает ртом воздух, пытаясь убедить себя в реальности запахов, витающих вокруг него и пропитавших его кожу насквозь, навеки, навсегда (мускус, розмарин, испарения мавританской бани, аромат апельсинов, фиников и абрикосов, прогорклая вонь бараньего сала, нанизанного на перекрещенные веревки, влажные пары подземного царства, а главное, ЕЕ запах,— мучительно дразнящий, окутавший и его тело аромат, который его память жадно пытается удержать при себе); он недвижно сидит на скамье, растерянный, разбитый, дрожащий от усталости и раздражения (короткий беспокойный сон совсем одурманил его), и не знает, куда ему идти дальше с неподъемным чемоданом, с пачкой бумажек в руке; действительность ускользает от него — измотанного, засыпающего на ходу и вдобавок напуганного запахом женщины, пропитавшим его кожу, его одежду, его чемодан и самый воздух подземной пещеры, по которой он мечется как безумный, спрашивая себя, не переживал ли он уже когда-нибудь все это...

И он говорит себе, загнанный в свое одиночество, тем более невыносимое, что Селина (или Алина?) на несколько мгновений заставила его поверить в доброту, в людское участие: они должны были меня предупредить описать мне все как есть вместо того чтобы обманывать меня завлекать в этот ад где я никак не могу понять куда идти да еще эти люди вокруг наступают мне на ноги и глядят как на шелудивую собаку... Ох уж эти ласкары! Они должны были посвятить меня в обычаи этой страны а они только смеялись да остерегали чтобы я не пристрастился к метро. Он вспомнил, как они любили прямо на глазах жульничать в домино или в шашки, вспомнил их остроты, знаменитые даже за пределами Питона, долетающие до западных и восточных границ страны, их загадочные речи, которые он понемногу научился понимать только потому, что постоянно терся возле них, что заставило их изобрести другой, еще более сложный и абстрактный условный язык, и этот он уже расшифровать не смог, а они выражали на нем всякий раз, как он приходил доложить им о

приготовлениях к путешествию или попросить очередного совета, свое величайшее недоверие к той стране, куда он собирался, подшучивая над ним все на том же загадочном языке, который они — ну и хитрецы! — совершенствовали и меняли в зависимости от погоды (снег, туман, ясное небо, жаркое солнце и т. д.), от времени года, добравшегося снизу до Питона, от своих иллюзий (политическое просвещение масс, антирелигиозная пропаганда, обучение искусству изрекать парадоксы и тому подобное), которые таяли с каждым днем, повергая их в одиночество, пышно окрещенное ими «солипсизмом», чтобы не срамиться перед немногими учениками, которые, конечно, посещали их, но без большого энтузиазма, а в основном с корыстными целями — выпить и закусить на дармовщинку, вытянуть из них сведения, полезные для будущего путешествия на чужбину, послушать, как они читают газеты, прибывающие с месячным опозданием, получить самое верное средство от любовных напастей, головной боли, скорбута и геморроя — исключительно от этих болезней! — выпросить поручительство для получения государственной субсидии в рамках сельскохозяйственной программы, обменяться благочестивыми мыслями по поводу порнографических журналов, доставляемых контрабандой из Дании, невзирая на строжайшие запреты, с замечательной регулярностью, избавиться хоть на время от сварливых жен и т. д.; да, с тайными, корыстными, эгоистическими целями, и это глубоко уязвляло ласкаров.

И вот, значит, они говорят на своем секретном языке: он же все равно нам не верит так давайте рассказывать ему про это все шиворот-навыворот тогда может он поймет что добром дело не кончится что он сильно рискует своей шкурой (ПОМИДОР ЛЕЗ В ПЕЧКУ СДУРУ, ТАМ С НЕГО...) прими он хоть тысячи предосторожностей (амулеты, жульничество, хладнокровие, талисманы и прочее) чтобы уберечься от несчастья. Да там всегда рискуешь лишиться чего-нибудь своих ног своей добродетели родного языка глаз кожи веры (впрочем, с последней расстаются легче всего) крови печени легких и прочих органов а уж этого идиота наверняка общиплют там больше чем других. Вот погодите дайте только срок сами увидите. Он же ни черта не понимает. Видали как он глазел на наши фото? Аж рот разинул дурень деревенский! Ему невдомек что там-то мы и свихнулись живя (а этот муэдзин еще обвиняет нас в том что мы совращали девчонок а потом отправляли их в бордели!) нет не живя а ютясь в убогих каморках лишь бы не селиться в отелях где удобств ничуть не больше и вдобавок без конца рыщет полиция безжалостно выкидывая на улицу всех у кого документы не в порядке. Ютясь в бидонвилях, где дырявые крыши из гофрированной жести протекают и ржавеют от непрерывных дождей, которые будто назло низвергаются именно на эти лачуги, обходя стороной богатые кварталы или жилые предместья, расположенные на опушке леса или на берегу озера,— эдакий зыбкий, расплывчатый мираж с рекламных плакатов (ВАША ЗАГОРОДНАЯ ВИЛЛА ЖДЕТ ВАС, ПРОВОДИТЕ СВОЙ УИКЭНД ТОЛЬКО ТАМ!), где жалкие домишки покрыты толем, расползающимся, как бумага, через несколько часов небесного потопа или мелкого моросящего дождя,— эти крыши постоянно срывает ветер, так что приходится прижимать их тяжелыми камнями, чтобы они не улетели за ночь, за те несколько часов тревожного, омраченного кошмарами сна, после которого опять ждет работа и только работа; где двери и окна привязаны к косякам обрывками веревок, проволокой, скреплены защипками для белья, затянуты клейкой бумагой и всем, что попадется под руку; где дома кривятся, как недовольные лица, злобясь на весь свет, но оставаясь беззащитными перед ветрами, бурями и циклонами; где ветхие бельевые веревки стерлись до самой основы, а белье вывешивается для просушки чисто символически, ибо дождь хлещет толстыми водяными жгутами, сечет по лицу, словно

металлическая стружка, летящая из-под резца на заводе, куда нет доступа мечтам на целых тринадцать часов рабочей смены; где рахитичные детишки возятся в черной зловонной грязи и в смердящих зеленоватых ручьях нечистот, обтекающих грязные, ржавые, вонючие стены лачуг, вылавливая из них консервными банками объедки, принесенные потоком из богатых кварталов; где жилища забиты жильцами чуть ли не до потолка, где тесные мансарды в одну-две комнатушки вмещают по нескольку десятков человек, которые зимой страдают от ревматизма, а летом — от невыносимой жары; где в 4 часа утра на улице возникают десятки оборванных, раздраженных, невыспавшихся призраков, они идут гуськом, неслышно, как индейцы,— спешат пробить табель на заводе где-то чуть ли не на другом конце света; где надрывный кашель обнажает багрово-красные глотки, усеянные язвами — предвестницами каверн в легких, которые кое-как подлечивают каждый год суровые врачихи, презрительно взирающие на вопиющую нищету лачуг, таких жалких, что ослабевшая горькая память и не пытается удержать воспоминание о них; где пахнет дешевым чаем, кислым хмелем и немытыми, потными телами; где золотушные дети соревнуются в лексических изобретениях, пытаясь вырваться из лабиринта чужого языка; где снуют торговцы подержанными колымагами, вроде «404»-й модели, с негодным мотором, но зато с блестящим никелированным кузовом, окрашенным либо в тошнотворный цвет бычьей крови, либо в кисло-желтый, либо в ядовито-зеленый, такая машина — главный козырь, символ наивысшей степени процветания в глазах тех иммигрантов, которые тратят свои отпуска на то, чтобы ослепить блеском никелированного бампера какую-нибудь простодушную девственницу на родине, в Питоне; где ожиревшие от сидячей жизни «специалисты» изготовляют фальшивые паспорта, фальшивые удостоверения личности и фальшивые виды на жительство — без всякого, впрочем, толку, ибо любой мастер на заводе распознает обман еще прежде, чем документы вынуты из кармана; где муэдзины посиживают в уголке за бутылкой красного, порвав с богом и людьми, заводя тихие одинокие монологи, поджаривая свою душу на медленном огне угрызений совести; где писцы пользуются любым предлогом, чтобы вместо письма накропать целый роман, поскольку им платят построчно; где...

Перекресток, как всегда, заполнен толпой, которая притворяется, будто делает покупки, и ее абсолютно не волнует то, что происходит в самой глубине подземелья — его близкое присутствие угадывается по дробно-пулеметному вою, испускаемому каждым поездом, проносящимся над головами псевдопокупателей, затаившихся у прилавков с готовым платьем или симулирующих волчий аппетит, извиняющий их стремление смести подчистую все эти горы припасов и стремящихся за сим занятием как бы позабыть, что вскоре давка станет совсем невыносимой; некоторые из покупателей, правда, настолько озабочены грустной перспективой продираться сквозь бесформенную, вязкую людскую массу, что на их лбах залегли глубокие морщины, параллельные, словно внутренние мыслительные рельсы, и это беспокойство подталкивает потребителей, взбудораженных покупками и денежными расчетами, к водовороту, взбурлившему от столкновения горизонтально текущих потоков со встречными и поперечными; и приезжий, покорно склонив голову, дает толпе увлечь себя; чемодан вроде бы служил ему щитом, но эта хрупкая преграда мгновенно снесена упорными и коварными наскоками набежавшего со всех сторон люда, который ткет и ткет вокруг него свою паутину безликости, безразличия и — смерти. И он твердит про себя: «Нет они должны были... должны были!..» Напуганный, неловкий, неуклюжий, увлеченный своим безостановочным движением вперед, которое он не в силах прервать из страха перед окружающими людьми, кому нужно так много пространства, из страха перед окружающими пространствами, в ко-

торых ему так душно; окончательно разбитый сознанием своего положения, своей беды, отнявшей все мечты, связавшей его по рукам и ногам, шатающийся, бледный, он чувствует, как тоскливый ужас высекает в его мозгу сине-красные искры, как ложатся кровавые рубцы на его раздавленную душу, как трудно ему становится дышать, как леденит его мертвое молчание окружающих, чьи глаза, страшные, как чумные бубоны, пронизывают его подобно лазеру (Light Amplification by stimulated Emission of Radiations [1]) и выжигают, вытравляют в нем все клетки, одну за другой, чтобы уничтожить навсегда.

ЛИНИЯ № 13

Его швыряло от загадки к загадке, его поражало все растущее число этих юнцов, затянутых в черную блестящую кожу, в ярко-красных шлемах и солнечных очках (это среди ночи-то!), они надвигались на него со всех сторон, и, охваченный паникой, он, конечно, преувеличивал их число; загородив ему путь к темному пустынному перекрестку, они сжимали кольцо вокруг него, а он, осознав свой промах, понял наконец, что опять сделал не то, и уже клял себя: зачем он сам бросился в руки этих убийц? зачем стал совать им свой клочок бумаги, зачем позабыл, где находится, в глупой своей радости, которая охватила, захлестнула, омыла его, как святая вода, в радости, которая, так долго прячась внутри, вырвалась теперь наружу, застучала в висках, забурлила в венах, побуждая его завопить от счастья после нескончаемого бега по подземным ходам, сменяющим друг друга, по этим идущим концентрическими кругами лазам, сущность которых схема выражает так окончательно и неумолимо. А дикая орда надвигалась на него, дыша в лицо зловонной отрыжкой дорогого пива, следя сквозь мутную пелену садистского предвкушения, затянувшую их холодные, налитые кровью глаза, не попытается ли он бежать (бежать? со своим громоздким, грозящим развалиться чемоданом?!), разбивая зловещим, жирным хохотом тишину ночи, почти подошедшей к концу, вынимая из карманов ножи с зазубренными лезвиями. Они крутили свои цепи с бешеной быстротой, полосовали ими пространство с металлическим и одновременно стеклянным свистом, чье почти неразличимое эхо, пронесшись по воздуху, достигло его слуха оглушительной, громоподобной вибрацией, барабанным боем, возвестившим его смерть, которая — теперь он уже знал это — неотвратимо вставала перед ним; ему говорило об этом предчувствие, вещее и в то же время нелепое, потому что он еще не успел полностью стряхнуть с себя то радостное возбуждение, тот мощный порыв, что вытолкнул его из лабиринта, наполнив до отказа ликующим чувством победы, но мгновенно угас при этом нападении; он сразу уловил его смысл, ему даже не нужно было слышать, как они твердили: давненько нам не попадался в руки такой иммигрант, всем иммигрантам иммигрант, с таким вонючим чемоданом, набитым вшивыми, вонючими лохмотьями да вонючими брошюрками, грозящими подорвать основы нашей цивилизации. Да, не ожидали они, что он заявится сюда, прямехонько к ним, с такой блаженной физиономией, и станет совать им под нос клочок бумаги, торопливо выбранный из десятка других, преспокойно ожидая, когда ему укажут улицу, записанную на листке, где буквы теперь почти уже невозможно разобрать, до того они истерты, съедены пóтом, влажными испарениями и палящим светом ламп, плафонов, катодных трубок и всем прочим. По их манере изрыгать ругательства, окружать жертву плотным кольцом, молниеносно извлекать откуда-то

[1] Слова, из заглавных букв которых составлено слово «лазер».

свои цепи и ножи он сразу понял все, и его с головой захлестнул темный ужас, безнадежно обрекающий его на съедение червям, которые медленно, но верно источат, словно кратеры — Луну, его гроб, лишенный даже заступницы — земли его предков, хорошо еще, если какой-нибудь муэдзин из бидонвиля, спешно призванный на похороны, вырванный из привычной дремы и потому недовольно-желчный, пробормочет над ним пару сур из Корана, а потом какая-нибудь травка-горечавка пустит корни сквозь его сгнившее тело, и прорастет, и укрепится, и расцветет, и будет шелестеть на ветру пышными кистями ярких синеньких цветочков с горьковатыми лепестками. По их волчьей манере принюхиваться и присматриваться к нему он постиг — инстинктом провидения, мгновенным всплеском сознания, беспощадно и ясно посулившим ему близкую агонию, всю глубину пропасти, что разверзлась под его усталыми ногами, как бездонная пропасть, сейчас он рухнет туда под вой мчащихся поездов, под сумасшедшее мигание ламп, под пронзительные свистки, под сияние рекламных плакатов, изображающих широкую улыбку Селины (или Алины?), ведущей его за руку по затихшим чистым и светлым коридорам,— понял, что вот и пришел конец этому короткому — всего несколько секунд — кошмару, который, однако, длился для него дольше, чем двенадцать часов, проведенных им во чреве метро в поисках выхода,— как оказалось, ведущего в никуда. А они, искромсав его память ударами цепей, теперь приканчивали его ножами, поднимая и опуская их с неуловимой быстротой, с яростью, еще больше взвинчивающей их нервы, покрывали его тело кровавыми узорами — царапинами, порезами, ранами,— стараясь, забавы ради, располосовать его тело до костей, и кости белели в глубине багровых пластов мяса, откуда хлестала кровь, и все это делалось среди мертвого молчания, прерываемого лишь их громкими хриплыми придыханиями, как будто они были не убийцами (ПРОБУЖДАЙТЕ В СЕБЕ ГАЛЛЬСКИЕ ИНСТИНКТЫ! СОУС «ПИКАНТ» СДЕЛАЕТ...), но жертвами, только обезумевшими от вида крови; а он, замурованный в этом жутком молчании, чувствовал, что умирает, умирает без боли, с одной только мыслью: не двигаться, покорно и безропотно встретить последний удар, последний взмах ножа, блестящее лезвие которого опять описало в полумраке кривую, напомнившую ему полет светляка; сверкающая полоска рассекла синюю тьму, где плясали огоньки сигарет и слышалось хриплое дыхание мясников, пожелавших обратить историю вспять, изображающих крестоносцев, поднявшихся на защиту былых ценностей и завоеваний высшей расы. Поднятой руке с ножом приходилось теперь опускаться к самой земле, где простерлось тело приезжего из Питона, уже обмякшее, сплошь в отверстых ранах, откуда вытекала вместе с кровью, вместе с предсмертным хрипом вся тоска, скопившаяся в нем с того мига, как он сел на пароход, а они, исступленные, убивали и убивали его, как убивали многих других, и здесь, и по всей стране.

ОДИННАДЦАТЬ ПОГИБШИХ НА 29 АВГУСТА.

Алжирское землячество в Европе опубликовало список одиннадцати рабочих-иммигрантов, убитых, согласно проверенным данным, уже после «Марсельских событий»[1]*. Вот они:*

Лаадж Лун, шестнадцати лет. Нападение совершено 28 августа. Застрелен неизвестными из окна автомобиля.

Абделахаб Хемахан, двадцати одного года, скончался 29 августа в Марселе в результате черепной травмы.

Саид Ауналла, тридцати семи лет. Убит несколькими выстрелами на Северном шоссе в Марселе в ночь с 25 на 26 августа.

[1] Расистские выступления во Франции в 1973 г.

Рашид Мука, двадцати шести лет. Застрелен в Марселе 25 августа.

Хамму Мебарки, сорока лет, отец пятерых детей. Ранен 26 августа, скончался 29 августа в больнице Консепсьон в Марселе.

Саид Гилла, сорока лет, отец семерых детей. Подвергся нападению 29 августа в Сент-Андре (Марсель), скончался на следующий день в больнице Консепсьон.

Бенсалла Макернеф, тридцати девяти лет, отец четверых детей, найден с тяжелыми ранами, скончался 22 августа в Марселе.

Рабах Муззали, тридцати лет, убит несколькими выстрелами 25 августа в Перрэ (департамент Валь-де-Марн).

Ахмед Резки, двадцати восьми лет. Убит в Меце в ночь с 28 на 29 августа выстрелом в упор, перед домом, где он жил.

Мохамед Бенбурек, сорока лет, отец шестерых детей. Тело найдено в реке возле Мобёжа 29 августа.

Саид Зиар, сорока трех лет. Задержан полицией Тура 15 августа, найден мертвым на следующий день. Согласно медицинскому заключению, смерть последовала от естественных причин.

Подчиняясь голосу собственной подлости, они смаковали этот возбуждающий спектакль красок, ритмов и звуков — звуков, конечно, приглушенных, но тем самым ничуть не умаляющих мрачное их наслаждение непристойной откровенностью смерти. Они упивались действием своих ударов, которые наносили в самые уязвимые места — в шею, грудь, лицо; лязг их цепей вдребезги разбивал последнюю мысль, упорно точившую угасающий рассудок жертвы на пороге смерти: ПРИБЫЛ ТЧК ЖИВОЙ ТЧК НЕВРЕДИМЫЙ ТЧК; в тот миг, когда ему уже нечего было терять, когда его тело уже безжизненно обмякало, в мозгу все еще билась эта мысль, которую он никак не мог додумать: ставить подпись под телеграммой или нет? И еще он помнил о ласкарах, внезапно постигнув смысл их туманных недомолвок, так старательно и надежно закодированных; он сожалел о том, что станет причиной угрызений совести, которые будут преследовать и мучить их до последних дней жизни, повергнут в нескончаемый, бредовый кошмар, побуждая отрицать свою вину, слишком очевидную для всех,— нет, они не смогут ни утопить ее в вине, ни затуманить дурманным дымом «травки», ни заговорить своими длинными софизмами или политико-сардоническими комментариями. Какой крик смог бы остановить эту бойню?!

И они продолжали, продолжали свой демонический шабаш, ничем, кроме наслаждения, не отзывавшийся в их пустом кровавом сознании; они погружали руки в отверстые раны, откуда выхлестывали фонтаны горячей крови, жгучей, как бурная тоска внезапно налетевшей смерти, как едкая тревога, сдерживаемая столько дней подряд, с тех самых пор, как он покинул Питон под удивленными взглядами ласкаров, которые глазам своим не верили, просто онемели от изумления, не в состоянии даже дать ему совет или последнее напутствие — настолько они были охвачены печалью, настолько далеки от мысли, что он решится на отъезд, настолько гордились втайне, что он все-таки на него решился, только ради того, чтобы работать и посылать деньги громадной семье, состоящей из дедушек и бабушек, родителей и детей, дядей и теток, сестер и братьев; да, они были горды, но слегка и озабочены его судьбой, они-то ведь хорошо знали обо всех преступлениях, творимых в той стране, особенно за последние недели, и все же помалкивали, не желая пугать его и всех тех, чьи сыновья и отцы уже находились там, уже надрывались где-нибудь в глубине шахты, сгорали возле доменных печей или убирали экскременты за породистыми собачонками. А этим понадобилось всего несколько секунд, чтобы понять, какая добыча идет им в руки, и они набросились на него со свирепой радостью хищников, схватили, стиснули, яростно впились в него, а он лишь в тот миг,

когда цепь в первый раз рассекла ему лоб, оставив на нем кровавую звезду, постиг все, вспомнил и постиг пророчество своих друзей — игроков якобы в домино, но на самом деле увлекавшихся (он-то точно знал, однажды ему удалось подглядеть за ними в замочную скважину, это было в тот день, когда над Питоном шел снег) совсем другой игрой, они берегли ее только для себя, эту игру с доской из черного дерева, по которой они двигали королей и ферзей (Echeikh maat! [1]), и никогда никому не говорили о ней, словно сберегали священную тайну, от сохранения которой зависела жизнь миллионов людей... Возникнув из тьмы, со всех сторон, они прижали его к стене и колотили затылком об ее шероховатости (базальт? пемза? известняк?), с удовольствием следя за тем, как расплываются багровые шлепки крови по поверхности, заляпанной грязью и дождем, эти люди с пустой душой, одурманенные безумными речами политиканов и оглушительными воплями какого-нибудь джаз-банда в балахонах цвета хаки, делали свое дело, воображая, будто спасают могучую державу от падения, от наглого коммунистического вторжения; они жаждали залатать зияющие прорехи истории, смирно стоявшей на месте до поры до времени, а теперь вдруг охваченной диалектической лихорадкой. Конечно, им застилала глаза кровавая пелена безумия, но кровь вытекала из его ран, разбегаясь по мостовой медленными, нерешительными ручейками; наверно, пришло возмездие за то, что он покинул родню, оставил ее, и она предугадала его гибель и, несмотря на боль разлуки, постаралась скорей забыть отщепенца, который, не захотев прозябать всю жизнь среди овец и грязи, отправился навстречу всей это путанице тоннелей, коридоров, галерей, проспектов, улиц, бульваров, переулков и площадей, уродующих пространство и кромсающих, подчиняющих его себе, создавая какую-то ублюдочную геометрию, которой неведомо опьянение безграничными просторами — такими, где парят мечты и грезы жителей Питона, парят свободно и радостно, несмотря на разбойные набеги града, и разбойные набеги засухи, и совсем уж разбойные набеги саранчи, жесткие крылышки которой сухо потрескивают в палящем послеобеденном зное. Теперь, когда все было кончено, они умчались в глубину пустынного города, волоча велосипедные цепи за собой по асфальту, не заботясь о чистоте мостовой, незадолго до темноты подметенной командой уборщиков, как две капли воды похожих на человека, которого эти только что убили, исступленно и зверски раскромсали на части под светом «дневных» ламп кольцевой дороги, нависшей над ними и громыхающей всякий раз, как по ней проносилась машина, упоенная собственной скоростью, да и почему бы не позволить себе такое развлечение, когда на шоссе — ни души!

А те, в деревне, вообразят, будто он прислал телеграмму не для того, чтобы успокоить, а чтобы выставить их дураками, переспорить (ПРИБЫЛ!), осмеять (ЖИВОЙ И НЕВРЕДИМЫЙ!), раздразнить этими своими «ТЧК», наставленными где надо и не надо и таящими в себе ядовитую издевку, ведь им придется расшифровывать текст телеграммы, это им-то, которые, наоборот, привыкли все на свете зашифровывать — газетные статьи, монологи пьяниц, секреты полишинеля, сплетни кумушек, бредни муэдзина, решения шахматных задач и прочее; они будут передавать друг другу эту воображаемую телеграмму, разглядывая и чуть ли не обнюхивая ее, призывая на помощь все свои мыслительные способности, всю свою мудрость, так что даже зябко становится, а потом скажут друг другу, играя в шашки, домино или шахматы, или чиня старый киноаппарат, или же переворачивая туда-сюда пласты бараньего сала, наполовину сгнившего, потому что его забывают провялить на воздухе: «Да что он, рехнулся, что ли? Мало ему было забраться в чужую страну, так он еще

[1] Мат королю! *(арабск.)*.

досаждает нам оттуда эдакими телеграммами, как будто забыл, что мы можем наслать на него порчу даже через море. Нет, он рехнулся, не иначе! Он же не знает, что его ждет. Ему кажется — он уже спасен, только потому, что он выбрался из тоннеля со всеми его ловушками. Э, да он же еще ничего не видел! Не видел бидонвили, не видел морги, и комиссариаты полиции, и комнатенки в отелях, заставленные кроватями в три яруса с промежутком в тридцать сантиметров,— единственное жизненное пространство, которым могут располагать жильцы не только когда спят, но и когда просто отдыхают, или мечтают, или размышляют, лежа на раздавленных, вонючих и грязных тюфяках с торчащим во все стороны волосом, посасывая сигарету за сигаретой, чтобы выкурить тараканов, клопов и прочих кровожадных тварей и отрешиться от мрачной действительности, засунувшей их сюда, между зеленым от сырости потолком бывшего синего цвета, с которого свисает на голом проводе тусклая лампочка, качающаяся под натиском полчищ насекомых, и ледяным цементным полом сплошь в трещинах и зазорах, о которые они то и дело ранят голые ноги в резиновых сандалиях. Попробуй поспи на такой койке, с которой только что встал твой предшественник, оставив в постели свои запахи, и подозрительные пятна, и тоску, и ночные кошмары, и мечты, и страх, и пот, оставив в скомканных простынях, не стиранных со дня покупки, следы своей жизни; попробуй поживи в каморке, куда напихано двадцать или тридцать твоих соотечественников, где никогда не бывает пусто и тихо и никогда не проветривают, где люди надрывно кашляют, долго отхаркиваясь после мучительно-беспокойного сна, а потом разогревают вчерашний кофе в помятой кастрюльке, тайком от хозяина, который, как и они, некогда приехал из той же страны и тоже блуждал в подземном лабиринте, но, оказавшись упорнее иных, разбогател и быстренько забыл о тех временах, когда походил на своих теперешних постояльцев как две капли черного кофе, который они, стало быть, разогревают потихоньку и пьют целыми кастрюлями, обжигая себе желудки, стараясь заглушить мучительную резь в низу живота, вздутого от голода и от кислого дешевого пива, и прогнать сонливость, когда, проснувшись в сырой и серой предрассветной мгле, еще смешанной с ночным мраком, они встают с постелей на распухшие ноги, оглашают тишину хриплым надсадным кашлем, наталкиваются на соседей в узком проходе между койками, моются в холодном коридоре, бреются почти вслепую перед мутным надтреснутым зеркальцем, в котором их лица, словно в насмешку, отражаются с раздвоенными носами, косящими глазами, запавшими ртами, и это зрелище может на весь день лишить способности здраво мыслить. А у стен, под потолком, развешаны их костюмы, старенькие, заношенные и разделяющие пространство комнаты на несколько отсеков, как будто горизонтальный разрез, образуемый в пространстве каждой кроватью, не способен до конца расчленить его, сделать еще более тесным, мрачным и запущенным. Вздохи. Тлеющие в темноте кончики сигарет, которые мужчины посасывают по ночам, стараясь хоть в них найти прибежище от тоски, съедающей мозг. Бессонница. Путаные мысли. Расколотое сознание. Беда, несчастье, нищета, заботы, отчаяние, разочарование... а там, за окном, город продолжает гудеть, хоть улицы и опустели, продолжает светиться белесыми огнями фонарей, цветными огнями рéклам, яркими огоньками тысяч окон, разделивших дома на квадратные ячейки, словно на плотные скопления светляков в ночной тьме, где туман тяжелыми пластами ложится на крыши, на мостовые, на шоссе, на стройки — так хорошо знакомые им стройки с фантастическими нагромождениями кабелей и листового железа под открытым небом, между дремлющими кранами, устало опустившими свои длинные шеи к земле, словно спящие стальные динозавры, с лесами и мостками, которые либо спускаются вниз, в

бездну, либо карабкаются вверх, к небесам, в зависимости от того, откуда на них смотреть, и немного похожими на кровати в ночлежках, взгроможденные одна над другой, занятые все двадцать четыре часа в сутки и пропитанные запахами газов, дырявой канализации, протухшей еды, затхлого воздуха, плесени, грязи и дешевого одеколона; и он еще не видел враждебные лица старых мегер, устало зовущие глаза женщин, холодную печаль вокзалов и... И они будут твердить: Вот идиот! наверно, думает: «Ах, какой я ловкий!» — да ему бы поскорее сесть на первый попавшийся пароход и назад, подальше от насмешников, от злых языков, от подозрительных приятелей, но нет, куда там! ему одно подавай — поднять нас на смех, как будто нам не наплевать, что с ним будет (эй, опять жульничаешь! это тебе не домино. Echeikh maat!), а мы-то церемонились с ним, старались не смущать его нашими хорошими манерами, чтением умных статей и любовью к шахматам!.. Ладно, пусть его... а мы давайте-ка устроим хар-р-рошую пьянку да позабудем этого неблагодарного, который отправился за море себя показать, а самому-то невдомек, что там и колдовство, и порча, и дурной глаз, и бесконечные лабиринты. Нет, вы только подумайте!..

Нет, вы только подумайте — говорит любитель флиппера — конечно я его видел я его даже проводил до перрона станции АУСТЕРЛИЦКИЙ ВОКЗАЛ на линию ЭГЛИЗ-ДЕ-ПАНТЕН. Да если бы я знал я бы конечно проводил его до места. Конечно это не ближний свет чуть ли не семнадцать остановок и четыре пересадки ах черт! ах черт! ну что бы мне его проводить! Он молчал как рыба но когда я ему рассказывал про флиппер он смеялся. Да откуда же мне знать он или не он? Вы же не печатаете их фото в газетах. Такие — они нефотогеничные. Да разве будешь фотогеничным после того как десять таких сволочей пройдутся по тебе велосипедными цепями?! Ох не люблю я эти морги но если это вам поможет... да конечно я готов быть свидетелем в 10—11 часов утра он был живой и невредимый. У него даже чемодан был жалкий такой чемоданишко и он все норовил открыть его видно угостить меня чем-то хотел. Да говорю же вам он был симпатяга но нем был как рыба он что немой был? Да нет я так просто спросил. Н-да надолго я его запомню. А вот теперь нет человека. Если бы вы опубликовали его фото в газетах я бы сразу усек в чем дело. Вообще-то мы с ним отлично столковались. Я помню мы еще шутили насчет того как бы завести в метро таких девушек-проводниц которые бы знали их язык и помогали бы разобраться в этой чертовой путанице. Не все же способны сориентироваться в этой чертовой путанице. Не все же способны выучить маршруты как я а они-то и вовсе здесь новички. Запустите-ка француза в токийское метро и увидите чем это кончится. Конечно же я его видел. Я ему даже нарисовал схему с линиями станциями направлениями и прочим но он по-моему ничего не усек. А теперь нет человека! Он хоть не сильно мучился? Да нет я так просто спросил. Теперь-то я буду знать. Не надо было мне бросать его одного. Он небось подумал вот чокнутый свихнулся на своем флиппере. Надо было мне его предостеречь ведь каждый день кого-нибудь убивают... надо было мне посоветовать ему: езжай мол к себе обратно. Может он и обиделся бы зато был бы теперь жив. Что значит к чему все эти сожаления! Очень даже к чему. А вот вы даже не удосужились дать его фото в газету можно подумать убыло бы вас от этого. Какого-нибудь паршивого хозяина паршивой заправочной станции которого мальчишки облегчили на несколько паршивых су вы наверняка по всем газетенкам как кинозвезду распечатаете. А эти ясное дело нефотогеничны. Вам просто не хочется пугать порядочных людей. Еще бы апаши в городе! А он был ничего из себя конечно теперь-то этого про него не скажешь... Могу пари держать что вы не очень-то ретиво будете разыскивать убийц. Подтасуете фактики. До-

говоритесь. Затеряете дело. Знаем мы вас! А почему это я должен заткнуться? Вы же хотели правды ну так и слушайте. Вы же сами мне только что сказали. Да-да знаем мы вас. Как бы ни было а в 11.30 утра он был еще живой и невредимый. Это уж точно. И даже веселый. Смеялся над моими дурацкими шутками. Уж ему бы наверняка понравился флиппер. Да в 11.30 он ехал от АУСТЕРЛИЦКОГО ВОКЗАЛА к БАСТИЛИИ.

Итак, он решил: будь что будет, пусть его толкают, пусть наступают на ноги, он ни слова не скажет (да хоть бы и сказал, кто его поймет?), не станет жаловаться. Он продолжал шагать по коридорам и перронам, ни к кому больше не обращаясь за помощью, на грани истерики, на грани удушья, с пустым желудком и пустой головой, уже не ощущая тяжести чемодана в онемевшей руке, продолжал свой бег по лабиринту, считая на ходу ступеньки, шаги, втайне надеясь, что все-таки повстречает кого-нибудь из знакомых, ну, к примеру, дружка своих ласкаров (а почему бы и нет? ведь были же у них здесь дружки!), или тучную, пропахшую молоком дульцинею, которая наподобие Селины (или Алины?) поможет ему добраться до места назначения, или другого любителя флиппера, что не будет спешить на срочное и крайне секретное свидание и посадит его в нужный поезд. А пока он сам ездит по всем линиям, какие попадутся: ПОНД-ЕЛЕВАЛЛУА — БЕКОН, ПЛЕЙЕЛЬ, ПОРТ-ДЕ-ЛА-ШАПЕЛЬ, МЭРИ-Д'ИССИ, МЭРИ-ДЕ-ЛИЛА. Колеблется. Говорит себе: ничего страшного, можно ехать в любом направлении, садиться в любой поезд, ну а там видно будет. Потом с колотящимся сердцем, с грызущей тоской в душе, с давящей усталостью во всем теле, он, сам того не зная, попадает на нужную линию, попадает случайно и чуточку инстинктивно, в тот самый миг, когда его уже готовы поглотить не то безумие, не то смерть. Три станции нужно проехать ему по линии № 13 (протяженностью 3,865 км):

СЕН-ЛАЗАР — ЛЬЕЖ
ЛЬЕЖ — ПЛАС-ДЕ-КЛИШИ
ПЛАС-ДЕ-КЛИШИ — ЛА-ФУРШ...

Влажность проникла сквозь бетонированную арматуру города, сквозь путаницу улиц, скверов, автомобилей, небоскребов, видных с любой точки, она поблескивала каплями на стенках состава, охваченного дрожью неодолимого искушения — сорваться со своих рельсов и врезаться со всего маху в ближайший архитектурный конгломерат; она плавала жирными пластами тумана над головами пассажиров с жесткой, механической повадкой роботов, которую они принимают с той минуты, как оказываются предоставленными своей судьбе, на перроне станции, где их встречает улыбка женщины, держащей за руку жизнерадостного ребенка,— оба они победно смотрят на прибывших с огромных рекламных плакатов, словно оказались здесь специально для того, чтобы поздравить их со счастливым прибытием, а вовсе не с целью прославить некий продукт, о котором речь пойдет впереди.

Фотография-плакат мгновенно пробуждает в нем живейшую симпатию, смешанную с ностальгией, которая вспыхивает в его душе при мысли о том, что вот он и приехал в чужую страну и нет больше никакой возможности вернуться назад — хотя бы из-за этих лезущих в глаза радостных улыбок, расточаемых обоими персонажами, матерью и сыном. Женщина одета в коричневое хлопчатобумажное платье в поперечную желтую полоску, длинные рукава, завернутые до локтя, открывают взорам тонкие запястья, украшенные пластмассовыми браслетами с перламутровым отливом. Платье — слегка декольтированное, так что видно ожерелье, обвивающее шею,— очень длинно, оно доходит почти до лодыжек, почему женщина и выглядит слегка отставшей от моды и, как ни странно, именно поэтому добропорядочной. Левой рукой она прижимает к себе

коричевую кожаную сумку, под цвет платья, к нему же в тон подобраны и туфли на высоких каблуках, с тоненьким ремешком вокруг щиколотки, коричневый цвет на носках туфель переходит в бежевый на боках. Талия женщины стянута узеньким черным ремешком. Каштановые волосы до плеч, разделенные слева пробором, шелковисты, мягки и чуточку — в самую меру — растрепаны ветерком, который представляется легким и теплым при взгляде на веселые тона платья, на обнаженные шею и руки и на открытые летние туфельки. Женщина идет по тротуару вдоль домов несколько провинциального вида, с аркадами, и простодушно, без всякого наигрыша или кокетства улыбается прямо в объектив. За ее спиной смутно угадываются силуэты прохожих, одетых в пальто,— это как бы намек на то, что зима была суровая и некоторые еще не вполне доверяют весеннему солнышку, предпочитая надежно защитить себя от внезапной перемены погоды, например, от ливня, маловероятного, конечно, но все же возможного; а еще за ее спиной в одной из арок видна витрина, похоже, аптечная, так как в ней во всю ее длину выставлены плакаты, рекламирующие таблетки от кашля или детское питание. Тротуар, по которому она шагает, вымощен коричневыми плитками, а прямо под ее ногами и под ногами ее ребенка примерно с десяток плиток сделаны как бы из матового стекла, освещенного изнутри. Мальчик, которого женщина держит за руку, одет в черные вельветовые штанишки, в белый пуловер с красными и синими полосками на талии, рукавах и у шеи, в треугольном вырезе видна хлопчатобумажная ковбойка в красную, белую и черную клетку, с распахнутым воротом, из которого выглядывает белая нательная майка. На ногах у него желтые, очень мягкие на вид мокасинчики. Мать и сын идут быстрым энергичным шагом, и оба улыбаются, глядя в одном и том же направлении, как будто увидели кого-то, кто им нравится, или очень нравится, или безумно нравится,— знакомого, родственника или мужа и отца, да мало ли кого еще. Впечатление быстрой ходьбы создается не только за счет положения их ног (у женщины одна из них выдвинута вперед, а другая осталась сзади и слегка приподнята, у мальчика обе ноги касаются тротуара, и это наводит на мысль, что он идет гораздо медленнее матери, которая вынуждена тянуть его за собой, заставляя шагать с той же скоростью, а для этого крепко сжимает его руку), это впечатление подчеркивается также волнообразным движением подола платья молодой женщины, движением, идущим снизу и достигающим высоты бедра, где материя облегает тело, слегка даже преувеличивая его изгиб; а еще правой рукой мальчика, слегка отставленной от туловища и как бы помогающей ему идти быстрее (как у специалистов по спортивной ходьбе,— правда, их руки согнуты в локтях и совершают более быстрые, более резкие, слегка даже гротесковые движения, будто они не люди, а механические куклы, которые возникают перед нами на сверкающих шоссе, где асфальт словно бы тает, плавится под ногами спортсменов, ослепленных усталостью, на пределе пространства и терпения, в изнеможении от собственных движений и света, со всех сторон жгущего им глаза. Нескладные. Развинченные. Жалкие!), что придает ему какой-то ненормальный вид, скорее всего потому, что вторая его рука резко задрана кверху, так как ее крепко сжимает рука матери, и брючки у него вздернулись над ботинками, а огромный карман на правом колене торчит — комично и одновременно по-детски трогательно.

Приезжий, до глубины сердца тронутый красотой этой картины, погружается в ее созерцание; не умея читать, он сразу же отрешается от надписи, сделанной синими буквами по белому фону (ТАМПОНЫ «АМИРА» — САМА МЯГКОСТЬ!), говоря себе, что ласкары должны были его предупредить и об этом: о том, что на станциях метро приезжих встречают очень приветливо и даже вон сколько де-

нег тратят на эти огромные фотографии счастливой матери и ее столь же счастливого ребенка, чтобы поприветствовать прибывающих сюда со всего света иноверцев. Ослепленный солнцем, растроганный этой ясной улыбкой (лицо женщины немного отодвинуто вглубь по отношению к лицу ребенка, оно чуть затенено и слегка расплывчато, и это создает впечатление, что черты,— кстати, довольно тонкие — молодой матери немного стерты, как у тех древних античных статуй, у которых веки или нос уничтожены временем и чей конкретный изобразительный стиль уступил место абстракции (скульптор вовсе не стремился к ней, а она придала этому старинному произведению искусства незаконченность, странным образом усиливающую ее красоту); глубокие круги под глазами прорезают кожу лиловыми дугами, идущими от уголков глаз к верхней части выпуклых скул (ТОЛЬКО НАСТОЯЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ МОГЛИ ИЗГОТОВИТЬ ТАКОЙ ТАМПОН, КАК «АМИРА», С ЕГО МЯГЧАЙШЕЙ И ГЛАДКОЙ ОБОЛОЧКОЙ, С ЕГО МИНИАТЮРНЫМИ РАЗМЕРАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ, АБСОЛЮТНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И НЕСОМНЕННОЕ УДОБСТВО!), безыскусной улыбкой матери, которой далеко до чрезвычайно заразительного смеха ее ребенка и которая наводит на мысль о том, что, хотя женщина несколько утомлена, она тем не менее вовсе не собирается умирать от изнеможения и способна долго еще разгуливать по улицам, под аркадами этого, по всей видимости провинциального, городка, крепко держа за руку своего отпрыска, резвого и крепенького — вероятно, оттого, что она кормит его лучшими... — улыбкой женщины с фотографии, он готовится нырнуть в подземный лабиринт, не подозревая об опасностях, подстерегающих его там, доверившись этой радушной фотографической встрече, забыв о пророчестве ласкаров, которые, разумеется, так и не собрались посвятить его в секрет своих закодированных речей...

Он стоит на перепутье, чувствуя, как ручка чемодана врезается в омертвевшую ладонь его левой руки; со всех сторон его толкают усталые люди, стыдливо скрывающие свою суть за уклончивыми, неискренними повадками, как будто они — в отличие от других, торопящихся,— идут на пытку в тесные, холодные, тоскливые каморки, где их измученный рассудок породит пестрые, бессмысленные химеры сна; а приезжий, чье бледное лицо изъедено светом и металлическими отблесками, начинает походить на клоуна, глупого, грустного клоуна с выпученными — от изнеможения, наверно,— глазами (а может быть, это его крестьянское происхождение сделало его походку такой неверной и шаткой в герметически закупоренной нескончаемости коридоров); изнеможение выкачало из него всю энергию, а потоки бледного света съели все краски на лице и одежде, так что клоун еще вдобавок и вылинял, ведь он одолел такие расстояния, столько плыл против течения и против воли, не имея возможности отличить реальность от фикции, сердясь на самого себя за то, что принял фотоулыбку молодой женщины с жизнерадостным ребенком за знак гостеприимства, а заодно и за то, что не разобрался в загадочных изречениях ласкаров, которые целые ночи напролет обсуждали такой важный предмет, как невозможность постичь схему метрополитена; под конец они даже повесили ее на стену, чтобы объяснить своим приверженцам неизбежность его, уехавшего, смерти: мол, не утонет, так обязательно задохнется. А он идет вперед, содрогаясь от ярости и утомления среди кишащих вокруг молекул света, шагает по своей собственной истории, усеянной трупами и молитвами, и в его измученном сознании медленно и смутно вырисовывается во всех подробностях призрак виселицы и поблескивает зазубренное лезвие ножа, кромсающего его истерзанную плоть, полосующего его бедное тело, отданное на кровавую потеху убийцам.

ОФИЦИАЛЬНОЕ КОММЮНИКЕ

От нашего корреспондента: Алжир. Газета «Аль-Муджахид» вышла сегодня, 20 сентября, с передовой статьей на пять колонок, под двойным заголовком в красной рамке «Расизм: срочный запрет на эмиграцию во Францию. Совместное решение Революционного совета и Совета министров».

«Неприсоединившиеся страны: изучение перспектив дальнейших действий на ближайшие три года». Изложив результаты недавней встречи глав правительств неприсоединившихся стран, официальное коммюнике обращается ко второй теме:

«Революционный совет и Совет министров изучили положение алжирской эмиграции во Францию. Ситуацию можно назвать поистине трагической, особенно принимая во внимание тот факт, что по всей стране недавно прокатилась волна расистских выступлений, обрушившаяся на алжирских иммигрантов как раз накануне четвертой конференции глав правительств неприсоединившихся стран.

После всестороннего изучения этой сложной проблемы Революционный совет и Совет министров, склоняясь перед памятью погибших иммигрантов, вместе с тем отдают должное как политической зрелости алжирской иммиграции, которая успешно давала отпор различным провокационным вылазкам расистов, так и общественному мнению Франции, протестующему против любых проявлений расизма, которые ныне выражаются в преступных акциях и нападениях.

Революционный совет и Совет министров решительно осуждают выступление реакционных сил, пытающихся помешать развитию отношений между Алжиром и Францией, иными словами, между Францией и странами третьего мира.

После изучения сложившейся ситуации было вынесено решение о немедленном запрете на алжирскую эмиграцию во Францию, который не будет снят до тех пор, пока французские власти не смогут гарантировать алжирским иммигрантам полную безопасность и достойные условия существования».

А этот болван заявляется сюда 26-го! ну что бы ему сидеть себе на месте нет это он нарочно хотел свинью мне подложить я же знаю такие дела просто так не делаются конечно ему-то что одним нераскрытым делом больше одним меньше! я бы может тоже не волновался но если дело попадет к какому-нибудь слюнтяю-судье к этакому гуманисту тогда как пить дать нарвешься на неприятности а кому этого хочется у меня здесь прочная репутация и я не желаю ее портить да-да я знаю обо мне говорят будто я старый маньяк и помешан на доказательствах а ну-ка попробуйте докажите это нет что это вы о себе возомнили? что вы здесь самый главный ну так послушайте что я вам скажу: ваши коллеги вас прямо скажем не обожают о нет не из-за этого следствия здесь-то они скорее с вами заодно и успокойтесь даже не из-за ваших паршивых духов у них не такое чувствительное обоняние как у меня! просто ваши манеры ваше повседневное поведение ваши туфли ваши галстуки все это им не нравится и какого черта вы мне долдоните об этом запрете на эмиграцию как-как? ах у вас родственники в Сицилии! но не будем отвлекаться вернемся к нашему делу эта история с отпечатком ботинка даже если он и совпадает с размером обуви свидетеля тоже мне умник зачуханный все равно это не доказательство а с тех пор как был найден ну как бы это выразиться... оригинал что ли мы не можем использовать эту улику против него и вообще мне эти глупости ни к чему я чувствую что рано или поздно мне все это свалится

на голову и привет! никто за меня тогда и словечка не замолвит... никто даже вы несмотря на вашу антипатию к ним вы же знаете достаточно перемены политического курса или какой-нибудь тамошний визирь заявится к нам для подписания контракта на продажу пары бидонов нефти и поднимется такой трамтарарам такая свистопляска такая паника такая беготня-толкотня и любая шишка на ровном месте сочтет нужным орать на меня и угрожать и запугивать и мне телефон оборвут звоня из министерства и кто же во всем этом увязнет по горло? вы что ли? да вы для них ноль без палочки это все мне достанется ведь на этом корабле я капитан да-да и вы об этом почаще вспоминайте! итак вернемся к делу на чем бишь я остановился? ах да он едет от ЛА-ФУРШ к КАРФУР-ПЛЕЙЕЛЬ по линии № 13 до конечной остановки потом в обратном направлении от КАРФУР-ПЛЕЙЕЛЬ до ЛА-ФУРШ он даже понятия не имеет этот идиот что катается туда-обратно! потом дожидается следующего поезда и по логике вещей теперь должен поехать к ПОРТ-ДЕ-КЛИШИ то есть по линии 13-бис если только — что вполне вероятно — не пропустил еще раз поезд идущий к ПОРТ-ДЕ-КЛИШИ который вполне мог пройти пока он раскатывал по линии № 13 значит он мог прокатиться по этому маршруту много раз и следовательно потерять два часа тридцать минут и только спустя это время совершенно случайно сесть наконец в поезд идущий до ПОРТ-ДЕ-КЛИШИ ведь нам-то известно что он в конце концов добрался туда поскольку там его и убили так вот представьте как он ездит взад-вперед по одной и той же линии и не может добраться до нужного места и продолжает совать свои бумажки под нос усталым замученным пассажирам которые иногда даже с добрыми намерениями! — кажется дорога в ад вымощена добрыми намерениями! — делают усилие и указывают ему другой перрон по которому он опять будет шагать в ожидании... а впрочем что мы знаем! никто не видел его на КАРФУР-ПЛЕЙЕЛЬ да в это время там и народу-то почти не бывает начальник станции вполне определенно заявил это но тогда что же нам-то остается вот невезение в самом деле! как нам зацапать этих шутников если мы даже не можем восстановить его маршрут во всех подробностях а ведь в полицейском расследовании главное подробности я вам это хоть сто раз повторю! подробности и еще раз подробности вот чему учат в лучших полицейских школах.

А он мечется туда и обратно, измученный, сонный, проезжает по этому маршруту уже в шестой раз, определяя конечную остановку благодаря рекламному плакату с молодой матерью и ее сыном, наклеенному на стену как раз рядом с маленьким желтым аппаратом, прикрепленным на высоте человеческого роста,— сквозь квадратное окошечко в нем видны красные, желтые и голубые шарики (конфеты? или жвачка?), из-за улыбки женщины он понимает этот плакат как знак гостеприимства, и это усугубляет его растерянность, ибо пока никто не удосужился приветить его, кроме, может быть, любителя флиппера, который все болтал и болтал без передышки: представляешь насажать в метро красивых девочек в ярких униформах чтобы встречали и провожали до места парней вроде тебя! а знаешь флиппер это... кроме ученого земляка, потом Селины (или Алины?), ослепившей его красотой, потом того доброго человека на движущейся лестнице, который боялся смотреть ему в глаза, владельца ресторана, который только что бросил его и... и всё... и который — имеется в виду плакат — позволяет ему узнавать эту станцию и выходить на ней (СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И МЫСЛИ, БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ И, КО ВСЕМУ ПРОЧЕМУ, АБСОЛЮТНОЕ УДОБСТВО — ВОТ ТО, НА ЧТО СОВРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА ИМЕЕТ ПОЛНОЕ ПРАВО!), вместо того чтобы продолжать путь через станцию ЛА-ФУРШ к КЛИШИ, ЛЬЕЖ (ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! СТАНЦИЯ ЛЬЕЖ ЗАКРЫТА ДЛЯ ВЫХОДА В ГОРОД! ВНИМ...),

СЕН-ЛАЗАР и далее,— узнавать станцию КАРФУР-ПЛЕЙЕЛЬ благодаря голосу, гнусавящему в микрофон: КОНЕЧНАЯ! КАРФУР-ПЛЕЙЕЛЬ! КОНЕЧНАЯ! КАРФУР... Он ездит взад-вперед, и глаза его разодраны изнеможением, и сам он ничего не понимает, только покорно идет в направлении, указанном теми, кто сделал над собой усилие, чтобы помочь ему, и даже вынул из кармана очки, или лупу, или карандаш, идет и все же его сбивают с толку реклама, повешенная на одной стороне станции, и голос, усиленный громкоговорителем до невнятного, гнусавого гула — на другой; и опять едет не туда, обезумев от адского шума, беспомощно отдавшись лязгу и толчкам машины, с лихорадочным пыхтением несущейся вдаль под стоны рессор. Одинокий! Сбитый с толку! Измученный!..

С самого утра, когда он вышел из поезда на Аустерлицком вокзале, исполненный радости по поводу благополучно оконченного морского переезда и готовый уже дать торжествующую телеграмму (ПРИБЫЛ ТЧК ЖИВОЙ ТЧК НЕВРЕДИМЫЙ ТЧК) своим опекунам— тем самым, что предрекали ему кораблекрушение и гибель,— так вот, когда он, ликуя, вышел из вагона и увидел улыбки молодой женщины и малыша, обращенные прямо к нему, специально помещенные именно здесь, чтобы поздравить его с прибытием,— так вот, с самого утра он сердится, негодует на то, что его друзья там, в деревне, не рассказали ему об этой необыкновенной, деликатной предусмотрительности, так тронувшей его в ту минуту, когда он вышел из вагона, обращая на себя внимание не столько своим чемоданом — несмотря на его ржавые замки, бугры и вмятины,— сколько странной, удивительной манерой держать на виду, в правой руке, тот самый знаменитый клочок бумаги. Он непрестанно размышляет над загадкой, как жучок-древоточец, копошащейся внутри мозга, упрямо пробирается к истине сквозь непроглядный туман отчаяния, в которое поверг его изнурительный безостановочный бег по кругу, сквозь немой крик — душераздирающий, но немой, ибо крестьянская прозорливость подсказывает ему, что держать себя нужно так, чтобы никто не мог придраться, и это заставляет его молча, без слов переносить боль, запустившую когти в его мозг. Ничего не забывая, ничего не теряя из виду, он тем не менее путает все, а какая-то частичка его памяти цепко хранит образ ласкаров, этих злых гениев и, вместе с тем, благодетелей, чьи наставления вели и направляли его с той минуты, как он вышел на платформу из поезда, доставившего его в самое сердце чужого города, ощетинившегося подъемными кранами, мостами и громадными домами, сдвинутыми мрачной стеной, с улицами, круто сбегающими вниз: на одной из них (улица Танкред) он, к великому своему изумлению, чуть не наступил на целую компанию прорицателей, удобно расположившихся прямо на земле перед подносами с песком; они гадали всем, кто, подобно ему, попал в эту европейскую Касбу[1], компанию столь нелепую здесь, среди запахов настоек и ликеров, среди странного языка, царапающего непривычный слух. Потом еще одна ночь в поезде и торжественное прибытие в столицу, в блеске фотогеничных улыбок, под крики торговок цветами, в лучах палящего солнца, от которого в глазах заплясали радостные красно-зеленые огоньки — предвестники дремы на пороге успокоения, сладостной тишины, изобилия и счастья, тем более что подарок ласкаров — билет метро — бьется в кармане рубашки в такт взволнованно стучащему сердцу, объятому изумлением и страхом, придавая ему некоторую уверенность, вплоть до того мига, когда он оказывается перед семью входными автоматами, настоящими боевыми орудиями; сверкающие, массивные, воинственно выстроенные в ряд, они щетинятся трехрукими турникетами, готовыми вырвать у него внутренности, если ему вздумается про-

[1] Старинный мусульманский квартал в г. Алжире.

ехать зайцем; они светятся красными запретительными и зелеными указательными знаками, зияют загадочными щелями, которые еще надо углядеть, чего он делать не умеет, а потому избирает другой путь — вздымает свой желтый талончик, словно белый флаг, и пытается быстро проскочить через турникет, не обращая внимания на электронный глазок, подстерегший и передавший его движение через сложную сеть проводов и соединений бдительному, неусыпному звонку-доносчику, который тут же разражается злобным пронзительным воем, напугав его до полусмерти и собрав вокруг него дежурных, контролеров и инспекторов, и те, обступив его со всех сторон, проверяют его желтый талончик с буквами, написанными словно в зеркальном отражении и, отдав ему приказ вернуться назад, пробивают за него билет в пасти железного чудовища, которое надкусывает и выплевывает бумажку обратно, а потом глядят ему вслед — насмешливо и враждебно,— и один из них говорит: «Ну и ну, совсем обалдел!».

■

ХАНС ЛИДМАН

Рассказы

■

Перевод с шведского и вступление В. ЯКУБА

Имя шведского писателя Ханса Лидмана широко известно далеко за пределами Скандинавии. На многих европейских языках изданы его книги и рассказы о природе и людях Крайнего Севера — оленеводах, рыбаках и охотниках, для которых их древний и нелегкий промысел и в наши дни по-прежнему остается единственным источником существования. Предлагаемые читателю рассказы взяты из книги «Полярная ночь» — одного из последних произведений популярного писателя, не так давно ушедшего из жизни.

Ханс Лидман родился в 1910 году в шведской провинции Хэрьедален. Мальчик рано лишился отца, семья познала нужду и лишения. Хансу пришлось оставить школу и с юношеских лет зарабатывать на жизнь тяжелым физическим трудом. Лидману шел уже четвертый десяток, когда появились его первые очерки и статьи. В своих произведениях писатель воспевал прекрасную природу Севера, создавал образы бедных, но всегда гордых и независимых людей, рассказывал читателю о сложных, порой трагических судьбах.

В книге «Полярная ночь» Ханс Лидман снова обращается к своей излюбленной теме — описывает крайний север Скандинавии, так называемый Калот, где в тяжелой борьбе за существование добывают свой хлеб насущный его герои. Действие происходит на норвежском побережье Северного Ледовитого океана, на широких просторах Лапландии. Здесь живут и норвежские рыбаки, и саамы — оленеводы и охотники.

С особой теплотой повествует Ханс Лидман о жизни маленького народа — саамов. Его беспокоит будущее этих людей, существующих охотой и промыслом; он сочувствует их стремлению сохранить национальную самобытность, древнюю культуру и обычаи. Конечно, за последние годы в жизни саамов скандинавского севера произошли немалые перемены — большинство из них ведет оседлый образ жизни, хотя летом они по-прежнему гонят своих оленей на сочные пастбища у побережья Северного Ледовитого океана.

Промышленная экспансия на север неизбежно ускоряет ассимиляцию саамов, несмотря на все попытки этого маленького народа сохранить свою национальную независимость: в городе Карашон создан Саамский институт, призванный сберечь саамский язык и культуру, ведутся радиопередачи на саамском языке, его преподают в школах. Своими рассказами, в которых действуют вполне конкретные и хорошо знакомые Лидману люди, писатель стремится привлечь внимание широкой общественности стран Севера к тяжелому положению саамов. Произведения Ханса Лидмана проникнуты идеями гуманизма.

Ханс Лидман был членом Общества «Швеция — СССР» и проявлял большой интерес к жизни в Советском Союзе, к вопросам охраны природы у нас в стране, восхищался проводимой в этой области работой. Особенно его интересовало то, как в СССР решаются национальные проблемы. Совершив поездку в Советский Союз на Кольский полуостров, в места, очень схожие с его любимой Лапландией, Ханс Лидман опубликовал книгу «Путешествие к солнцу», в которой поделился своими впечатлениями.

Жизнь писателя оборвалась в расцвете его творческих сил. Он оставил большое литературное наследие, которое и сегодня продолжает служить людям.

Анне из Троль-фьорда

На протяжении многих лет слышал я рассказы про Анне из Троль-фьорда, удивительную женщину, жившую совсем недалеко от того места, где берет свое начало Танафьорд. Силищей своей, говорили люди, она не уступала самому медведю. Жила она в полном одиночестве на голом скалистом берегу, который постоянно стегали неприветливые северные волны. Любили про нее рассказывать шкиперы рыбацких шхун и капитаны проходив

© Gundendal Norsk Forlag A/S., 1978

ших мимо рейсовых судов. Еще при жизни Анне стала какой-то сказочной фигурой, легендарным богатырем и непорочной девой. Состариться она так и не успела — шторм унес ее, несмотря на силищу и несгибаемый характер.

Говорили люди, что была эта Анне мужчиной по силе своей и пристрастию к водке, но женщиной по доброте и вниманию к жителям поселка.

Мать ее скончалась совсем молодой, оставив дочери крохотную ферму. Анне умела буквально все: была одновременно и косарем, и сапожником, и плотником, и портным — управлялась сама с разными работами и только на время путины брала кого-то в помощь.

Много довелось мне слышать про нее из третьих и четвертых уст, чаще всего от капитанов, которые рассказывали про Анне с какой-то смесью восхищения и явной неприязни. Ее любили, ненавидели, боялись в тех местах, где побережье Северной Норвегии поворачивает прямо на восток. Она жила по своим собственным законам, считая правильным то, что подсказывала совесть. Никто не решался ей перечить, и даже большие люди не мешали ей поступать так, как она хотела. Была Анне очень доброй, неподкупно честной, суровой, горячей и преданной. В одно и то же время и легендой и явью. И молва бежала за нею следом.

Однажды, давным-давно, точно не помню когда, но уже много лет тому назад, нас внезапно свела судьба. Анне стояла на узком песчаном берегу, какие можно встретить на севере Нордкина. У ног ее лежала треска, самая крупная рыбина, какую довелось мне увидеть в своей жизни. Килограммов так, наверное, на тридцать, а может, и на все сорок.

Я только что причалил. Мотор вышел из строя, а в технике я не очень был силен, пришлось добираться до берега на веслах. Лодку, наполовину залитую водой, буквально выкинуло на песок, я оттащил ее подальше от воды. И тут увидел прямо перед собой Анне. Она улыбалась, наблюдая за моими неуклюжими движениями. Но не помогла, хотя наверняка понимала, что тащить лодку одному очень трудно. Только наблюдала. И потягивала трубку, пронизывая меня взглядом своих некрупных глаз. Смотрела испытующе, возможно, даже и сердито: ведь я нарушил ее уединение.

После опасного похода в шлюпке я устал и был голоден. А мне уже перевалило за пятьдесят. И Анне из Троль-фьорда отнюдь не привиделась мне, она возникла как мечта. Такая же частичка живой природы, как выдра и горный песец, которых я здесь еще встречал, но которые почти совсем уничтожены. И она как бы осталась от прежней фауны, будто сестра снежного человека из далеких Гималаев.

Воздушным и неземным созданием ее, конечно, не назовешь. Что за дьявольская женщина! Большая, хорошо сложенная, в мужской одежде, с трубкой, торчавшей из необычно большого рта,— из него как из рога изобилия выливался непрерывный поток проклятий и ругательств. Я расслышал лишь некоторые, остальные растворились в однообразном гуле волн. И вот первое, что мне удалось различить:

— Откуда тебя черти занесли?

Тон ее голоса и смысл сказанного побудили меня ответить так:

— Из ада, конечно.

Вынув трубку изо рта, Анне расхохоталась. Ответ пришелся ей явно по душе.

Я и вправду не преувеличивал. Так оно и было. Последние часы, когда я, борясь с волнами и течением, огибал Нордкин, превратились в сплошной кошмар. Лодку швыряло, заливало водой. Как я выбрался, не знаю. Еще каких-нибудь два дюйма, и нас бы вместе с лодкой

утянуло вглубь, а затем унесло бы течением далеко на север, где море круглый год покрыто льдами.

— Послушай,— заговорила Анне чуть мягче.— Там, за скалой, у меня есть крохотный очаг. Хочешь горячего кофе?

— С удовольствием,— ответил я.— Одежда моя насквозь промокла.

За скалой у нее горел маленький костер и лежал плавник[1], главным образом дуб. В скале я увидел маленькую пещеру, что-то вроде ниши или грота, где из сухой травы была сделана постель.

— Ты тут живешь?

Она расхохоталась снова.

— Ну и чудак! — проговорила Анне.

Кофе был свежий и горячий. Анне рассказала, что заметила лодку, когда я был еще далеко в море, и долгое время наблюдала за мной. «Я подумала,— добавила она,— если этот парень сумеет выкарабкаться на берег, я угощу его горячим кофе. Это как раз то, что ему потребуется».

Наливая кофе в самодельную кружку из бересты, она спросила:

— Ну и как там было, в аду?

— Как обычно.

Она снова рассмеялась. Потом повторила опять:

— Ну и чудак же ты!

Что ж, и на том спасибо!

Кофе был крепким и вкусным, но с каким-то необычным привкусом. Быть может, из-за бересты.

Я никак не мог согреться и придвинулся как можно ближе к огню. Кроме того, нужно было просушить одежду. И воняла же она солью — море в этих краях очень соленое! А подсыхая, становилась жесткой и громко шуршала.

— Можешь раздеться,— сказала Анне.— Быстрее высохнет. В своей жизни я видела много голых мужчин.

— Знаю. Но никто из них не остался в живых.

Она снова рассмеялась, громко и хрипло. И сразу закашлялась. А когда кашель унялся, пробурчала будто самой себе:

— Что за чудак...— но неожиданно вынула трубку изо рта и начала меня изучать. Бесстыдно и с любопытством.— Знаешь, кто я такая?— наконец спросила она.

Я сидел лицом к огню. Анне — прямо против меня, в уголках рта играла язвительная усмешка. Но чувствовалось, что она с нетерпением ожидает моего ответа.

— Конечно, мне известно, кто ты такая, ты Анне из Троль-фьорда. Мне рассказывали про тебя в аду, там, на море. И направили прямо сюда.

— Ну и дьявол ты!

— Возможно, но я говорю правду. Ты спасла мне жизнь. А также лодку, хотя и не помогла вытащить ее на берег.

Глаза у Анне засветились. Затем какое-то время она молчала.

Я совсем обессилел. Прилег так близко к огню, как только мог, чтобы хоть немного поспать. И почти сразу погрузился в глубокий, непробудный сон. Борьба с шумным опасным потоком, что несет свои бурные волны вдоль Нордкина, совсем меня измотала.

Проснулся я оттого, что кто-то прикоснулся к моему телу. Это была Анне. Она пыталась перевернуть меня на другой бок.

— У тебя еще мокрая спина,— произнесла она.— Ты можешь заболеть.— Играючи, она перевернула меня, и я ощутил, какая она сильная. Но я отнюдь не испугался — наверно, был слишком сонный и совсем измучен.

Я дремал, а Анне, сидя на своем травяном ложе, говорила. Но я

[1] Прибитое морем дерево. *(Здесь и далее.— прим. перев.)*

чересчур устал, плохо слышал Анне, и смысл сказанного ускользал от меня. Не знаю, приснилось ли мне все это, или рассказала сама Анне, или всплыли слова шкипера, только жизнь Анне встала передо мной.

После того как закончилась путина у Лофотенских островов, Анне из Троль-фьорда наняла к себе на работу одного немолодого человека — ловить рыбу. То был изнурительный труд. Анне полагала: у других столько же сил, сколько у нее. Рыбака она сажала на весла, а сама — было ей тогда двадцать лет — была за шкипера. И внешне она походила на шкипера. На ней были шапка из овечьей кожи, овчинная телогрейка и узкие кожаные брюки, заправленные в сапоги выше колен. В те времена такая одежда считалась для женщины немыслимой, и Анне повсюду принимали за рослого, сильного и широкоплечего парня.

Рыбу она сама относила домой и сама взвешивала, прежде чем продать. А со скупщиками была тверда и неуступчива.

С помощником она обходилась как с собакой. Но он лишь крепче сжимал губы. К тому же спорить с Анне было бесполезно. И даже опасно. Тем, кто пытался ей перечить, это стоило дорого. Анне их просто избивала! Слова «черт» и «дьявол» не сходили с ее губ. Изрыгая особо длинное проклятие или выдавая особо смачное ругательство, она облизывалась, словно проглатывала лакомый кусочек.

И все-таки Анне была богобоязненной. Перед едой читала молитву, а прежде чем отойти ко сну, просила господа уберечь ее от страшных сновидений.

Однажды вечером разразилась буря. Из тех бурь, что бывают только здесь, на севере, из тех, что несут большие беды рыбакам. Особенно страшны они были в прежние времена, когда в море выходили в маленьких лодках и моторок еще не было.

Анне и Андреас, так звали нанятого ею рыбака, поспешили укрыться от шторма на ближайшем берегу — о возвращении в Троль-фьорд не могло быть и речи.

Анне хорошо знала эти места, и вскоре они нашли спасение — небольшую бухточку за скалой, к ней можно было легко пристать.

Ну конечно же, речь идет о той самой скале и том убежище, похожем на грот, где мы с Анне сидели, укрывшись от ветра. Или, вернее, лежали.

Андреас и Анне промокли насквозь. Спичек в то время еще не было, а кремень они с собой не прихватили. Они тесно прижимались друг к другу, чтобы немного согреться,— так поступают животные, когда им очень холодно.

Почувствовав близко тело Анне, Андреас вспыхнул и осторожно попытался обнять ее.

Анне буквально взорвалась. Поняв, что у него на уме, схватила Андреаса в охапку и хорошенько высекла обрывком каната. Затем швырнула в воду, причем так далеко, что он наверняка утонул бы, если бы она сама же не вытащила его. Ведь она хотела только проучить помощника.

Буря утихла, и Анне тут же решила выйти на рыбалку, хотя они не спали ночь. Андреасу пришлось грести еще целые сутки. Она не давала ему ни есть, ни пить. Под конец он заснул и рухнул на дно лодки.

Тогда Анне рассмеялась, грубо и злорадно.

Ей пришлось самой грести до дома, а покойник, как она называла своего помощника, лежал на дне лодки в хлюпающей воде.

Когда, наконец, они добрались до берега и Андреас проснулся, ушла спать Анне — она тоже устала. А как только она уснула, Андреас удрал. Ходили слухи, он отправился домой на Лофотены. С того дня, говорили, он не решался больше приблизиться к женщине.

Да, Анне из Троль-фьорда, как ее обычно называли, была дьявол, а не женщина.

Она лежала в своей пещере, под той самой скалой, где был выпорот Андреас; я дремал — мы ждали, когда улучшится погода. Штормы обычно прекращались быстро.

— Знаешь что,— неожиданно раздался ее голос.— Я могу немало порассказать тебе интересного. Если охота слушать. О ничтожных мужиках, об опасной, суровой жизни, в которой тоже бывают свои радости.

Я был слишком усталый и ничего не ответил — заснул.

Не знаю, слышал ли я ее историю сквозь сон или мне все приснилось. А возможно, в голове перемешалось то, что довелось узнать прежде, только ныне рассказы ее и о ней мне кажутся какими-то нереальными.

Жила Анне на хуторе совсем одна. Об отце ее ничего не знали. Мать умерла совсем рано. Говорили, скончалась от страха, узнав, что Анне сразилась с китами. Возможно, так оно и было, и мать испугалась не без причины: та битва с китом даже опытным охотникам показалась невероятной.

Анне только минуло шестнадцать. Но она уже отличалась силой и бесстрашием.

В тот день она, как обычно, вышла в море на рыбалку. С ней плыл один парень, никто не помнит, как его звали. Говорят, правда, он одним из первых пытался пробиться в зятья на тот хуторок в Троль-фьорде! Ведь Анне была из зажиточной семьи — после ее смерти в матраце у нее нашли большие деньги! Сколько точно, никто не знает.

Китов в тот день было много. Они сновали вдалеке, но когда Анне выбрала сеть, сразу целая стая устремилась к ней.

Киты принялись ходить вокруг лодки. Настроены они были вполне дружелюбно — ныряли, всплывали и, выпустив фонтаны брызг, вновь уходили на глубину. Они играли. Но рыбакам грозила страшная опасность: если киты заденут лодку, она перевернется.

В лодке у Анне всегда лежала крупнокалиберная винтовка, с какими промышляли тюленей, да гарпун. И вот, когда один из самых больших китов подплыл вплотную, выпустил струю воды прямо на парня, сидевшего на веслах, и тот, сбитый этой мощной струей, свалился с банки, Анне выронила сети и схватила винтовку. Она выстрелила киту прямо в глаз, потому что очень боялась, что он перевернет лодку.

Но выстрел произвел совсем иное действие, чем то, какого ожидала Анне. Пуля проникла, видимо, в мозг, и кит взбесился: мощно ударил хвостом — в то мгновение он как раз проходил под лодкой. И суденышко, и Анне, и ее товарищ взлетели высоко над водой. Упав обратно вниз, Анне обнаружила, что сидит верхом на спине гиганта, хотя и не в силах была понять, как она там очутилась.

Кит получил смертельную рану. Резко дернувшись пару раз из стороны в сторону, он стремительно ринулся вперед и, к счастью, прямо к берегу.

Анне выхватила нож и, чтобы удержаться верхом, вонзила его в спину животного. Анне восседала как всадник, а фонтан брызг поднимался высоко над головой. Так она и ездила на ките, пока он, наконец, не врезался в берег и не отдал концы.

Люди в рыбацком поселке слышали выстрел, наблюдали поразительные «скачки». Прибежав на берег, они нашли Анне совершенно невредимой. Она стояла рядом с тушей кита и хохотала.

Но парень исчез. Он не умел плавать. Говорили, что его унесли киты. Это, конечно, болтовня. Просто он утонул.

Ветер дул в тот день с моря, и лодку пригнало к берегу килем

вверх, без весел и руля, но почти без повреждений. А чуть позже прибило и весла.

После той истории у Анне и всего поселка долгое время не переводилось и китовое мясо, и ворвань.

Да, Анне была удивительной женщиной.

Рассказывали, что однажды на нее напали какие-то бандиты. Не знаю, правда это или нет, но такое в те времена случалось. И очень часто.

В тот день Анне была в Троль-фьорде совсем одна. Неожиданно ее окружили незнакомые люди с ножами в руках. Анне мигом схватила рукоятку от насоса, толстый тяжеленный железный прут, и стала размахивать ею вокруг себя. Нападавшие быстро оказались на земле с проломленными черепами. Никто не спасся. Она перетащила трупы в свою лодку, предоставив их Гольфстриму и акулам. А добротную лодку бандитов, ружье, патроны, одежду и другие вещи оставила себе.

У бандитской лодки было иностранное название. Анне соскребла его, перекрасила суденышко и намалевала собственное — «Троль-Анне». После того случая к Анне не осмеливались подойти близко — боялись; слухи о ней, словно на крыльях, разлетелись далеко вокруг.

Но дома, в Троль-фьорде, Анне любили. Там проживало всего несколько семей. И она помогала им как только могла. Если рыбак не возвращался с моря, Анне заботилась о вдове и детях погибшего. Когда наступала пора забивать овец, она брала на себя и эту неприятную работу. Платы она никогда не требовала, но пропустить пару стаканчиков не отказывалась. Пила с жадностью. Однако никогда не пьянела.

Пришел час, и она встретила свою судьбу.

Наняла Анне очередного помощника. Звали его Амунд. Он был из прибрежных саамов, умный и прилежный. Хотя, конечно, по силе и трудолюбию сильно уступал Анне. К тому же он оказался весьма ловким и толковым; легко и просто решал сложные дела, причем с большой экономией денег и труда.

Эту способность его быстро оценила Анне, сама не отличавшаяся особой практичностью, и назначила хорошую плату.

Люди говорили, что Троль-Анне и Амунд работали дружно, хотя о какой-нибудь любви между ними никто никогда не болтал.

Анне из Троль-фьорда, сильная и гордая, привыкла командовать, навязывать свою волю другим. И почти всегда ей это удавалось. В ее доме, в ее лодке существовала только одна хозяйка — сама Анне. Где бы Анне ни находилась, она всегда была командиром. Но наконец-то и Анне встретила своего повелителя. Амунд был человек с характером. Не столь сильным, как у Анне, однако более глубоким и тонким. И проявлялся он лишь тогда, когда Анне собиралась сделать какую-нибудь глупость. Обычно тихий и неразговорчивый, как большинство саамов, Амунд шпарил тогда всю правду хозяйке в лицо, а Анне бледнела от злости, хотя виду не показывала, старалась справиться со своими чувствами. А он выскажется и как ни в чем не бывало продолжает есть, возиться с сетями, смолить лодку или заниматься каким-нибудь другим делом.

Однажды превосходство его проявилось по-настоящему. Анне собиралась выйти в море за треской. Отмель, на которой она обычно рыбачила, находилась довольно далеко от берега. Амунд посмотрел на небо. Мчались облака, с каждым мгновением они становились все темнее, сгущались в тучи.

— Будет шторм,—сказал Амунд,— сильный шторм.

— Вздор,— закричала Анне.— К тому же ни шторм, ни черт мне не страшны!

Но Амунд спокойно заявил, что в лодку не сядет. Тут же он получил пощечину, такую, что свалился навзничь. Он поднялся, но сдачи

не дал. Сказал, что ему, прежде чем они выйдут в море, надо сходить в уборную. Там он оставался долго, до тех пор, пока не начался шторм. Анне пришлось его звать. Когда он наконец появился, Анне уже втаскивала лодку обратно на берег. Надвигалась буря. По всему фьорду закипали волны.

Анне ничего не сказала Амунду. Ей было стыдно.

Она влюбилась впервые в своей жизни. Быть может, сказать «влюбилась» будет слишком сильно. Но во всяком случае, очень привязалась к Амунду. Положение его изменилось — будто он стал ее мужем. Но они не поженились.

Об этом в поселке никогда не говорили, но резала ли Анне скот или помогала жителям поселка в чем другом, Амунд всегда был рядом с ней и тоже помогал. Пить он не пил. Когда, хватив лишнего, Анне портила ножом овечью шкуру или вспарывала желчный пузырь, он молча пытался исправить повреждение. Анне приходила в ярость, обрушивала на него потоки брани. Но Амунд не обращал на это никакого внимания и продолжал делать свое дело. И наступал миг, когда Анне замолкала — ей становилось стыдно.

Люди начали удивляться: может, она все-таки обычный человек и хочет иметь семью, как все. Может, Амунд, наконец, разбудил в ней женщину?

В рыбацких домиках говорили об Анне, строили догадки. Соседки уверяли, что пройдет сколько-то времени и Анне забеременеет. Но старики упорно твердили, что этому никогда не бывать, потому что она — тролль. Разговоры переходили в перебранки. Любопытство росло.

Но однажды и Амунд исчез. Болтовне и домыслам не было конца, однако так ничего и не прояснилось. Анне молчала как рыба.

Быть может, я о чем-то спрашиваю ее во сне или она читает мои мысли, неожиданно я слышу ее голос, он звучит глухо, издалека:

— Да, с Амундом вышло точно так же, как и с Андреасом. Он пожелал мною овладеть. И тогда я рассердилась. Схватила кусок каната и избила его до полусмерти. Хотела вышибить из его тела Адама, точно так же как я выбила его из Андреаса.

Но терпеливый Амунд этого не перенес. И когда я проснулась утром, его уже не было. С тех пор я его больше не видела.

Я сплю часа два. И мне снится, будто по наивности своей я спрашиваю Анне, почему она бьет своих мужчин, почему не хочет близости с ними, как другие женщины.

Она краснеет как рак, и из ее глаз сыплются молнии. Она шипит:

— Я хочу убить Адама в каждом мужике. И потому всегда ношу в руках кусок каната. Остерегайся и ты!

Я просыпаюсь, напуганный страшным сном. Огонь уже догорел, лишь тлеют угли, по моей спине пробегает холодный озноб. Я все еще лежу в маленькой пещере. Но Анне из Троль-фьорда исчезла. После себя она оставила только примятую траву в глубине укрытия.

А вот и кусок каната. Неужто Анне позабыла его? Или его прибило к берегу вместе с прочим хламом?

Ветер утих так же внезапно, как и поднялся,— это часто бывает у каменистых берегов Нордкина.

Я долго вожусь с мотором и наконец запускаю его. Скоро меня снова болтает на волнах неспокойного моря.

Через много лет старый шкипер доскажет мне историю этой необыкновенной женщины.

После того как Амунд исчез, Анне словно подменили. Она сильно горевала. Стала пить запоем. Каждый день напивалась в стельку. Однажды вышла в море под хмельком. Ее застигла буря. С той рыбалки она не вернулась. И тайну свою унесла с собой в море.

Чужой

Однажды вскоре после осеннего перегона оленей в саамской деревушке появляется незнакомец. У Кристин он спрашивает, где ему найти Миккеля Омма. Кристин указывает дорогу. Гость направляется к домику Омма и исчезает внутри, а Кристин смотрит ему вслед широко раскрытыми глазами. Незнакомец говорит по-норвежски. Только он не норвежец. Кристин не проведешь, он — саам.

Войдя в дом, гость произносит по-саамски:

— Добрый день, добрый день!

Он присаживается на ящик с дровами справа от двери — на то место, что в старых ко́тах[1] всегда отводилось гостям.

Миккель с женой Анне и двумя дочерьми пьют кофе. Они с любопытством поглядывают на гостя — на нем хорошая одежда, модный галстук,— судя по всему, человек этот неплохо обеспечен. Но по манерам он — саам. Да и говорит он по-норвежски с саамским акцентом.

Анне наливает еще чашку кофе, приглашает незнакомца к столу. Гость благодарит, скидывает с плеч рюкзак. Он пьет кофе с жадностью, по-саамски.

— Ты, может быть, идешь издалека? — спрашивает Миккель.

— Да, я пришел издалека.

Миккель не в силах сдержать любопытство.

— С севера?

— Право, и не знаю, как тебе сказать.

— Вот оно что. Гм-гм. Ты, быть может, проповедник? Из новой секты?

— Нет, я не проповедник.

Миккель покашливает, достает трубку, обстоятельно набивает ее, закуривает. Снова испытующе взглянув на пришельца, продолжает расспрашивать:

— Ты, может быть, торговец, вроде как бизнесмен?

— Нет, я не торговец.

Любопытство Миккеля еще больше разгорается. Жена и дочери тоже с интересом прислушиваются к разговору. Кажется, любопытство притаилось во всех углах избушки. Не каждый же день в гости приходит совсем чужой человек, пусть и из их племени.

— Ты просто странствуешь?

— Да, можно сказать и так, у меня вроде дальняя прогулка.

— Вот как. Но... тебе, наверно, надоедает идти. Ты ведь издалека?

— Да нет — не очень. Так много нового видишь! И слышишь.

Миккель посасывает трубку. Посматривает на чужестранца. Кто он? Откуда пришел? Довольно странный гость.

— Ты говоришь так же, как и мы. Пользуешься теми же словами. Там, на севере и к югу, выговор другой и акцент другой. Но мы с тобой понимаем друг друга, ведь у нас один язык.

— Да, это верно.

Миккель сосет трубку. Выдувает из себя целые облака дыма. Смотрит и все удивляется.

— Да, меня зовут Миккель Омма!

— Я это знаю.

— Что ты знаешь? Как меня зовут?

— Да, именно.

Миккель снова посасывает трубку, обнаруживает, что весь табак уже сгорел, и достает кисет. Снова наполнив трубку, спрашивает:

— У тебя, наверно, тоже есть имя?

---

[1] Традиционное саамское жилище — хижина из жердей и дерна.

— Да, много имен.

Миккель вздрагивает. У него много имен. Все это очень странно.

— Но есть же у тебя какое-то особое имя? Одно, которым ты пользуешься все время?

— Нет, такого имени у меня нет.

Миккель начинает раздражаться. Но любопытство берет верх. Надо все же попробовать выудить у этого странного и неразговорчивого гостя, кто он такой и откуда пришел.

— Хорошая стоит осень для оленей,— делает еще одну попытку Миккель.

— Да, я вижу. Совсем без снега.

— Снег уже выпадал. Но снова стаял.

— Вот оно как.

— Ты был в лесах, где пасутся олени?

— Да... недолго.

— Тяжелый труд у оленеводов.

— Да, я знаю.

Миккель продолжает расспрашивать, но, как ни пытается хоть что-то выудить, у него ничего не выходит — незнакомец со своей судьбой остается какой-то большой загадкой.

Похоже, гость никуда не спешит, во всяком случае, не говорит о том, что ему нужно дальше в путь. Но так поступают, только когда приходят к своим сородичам.

Идет час за часом, они все сидят за столом... Приближается время обеда. Анне ставит на плиту котел с оленьим мясом. Миккель замечает, с каким удовольствием незнакомец вдыхает всепроникающий запах вкусной пищи. Да, конечно, он настоящий саам. Быть может, саам, который где-то учился. Или другим путем выбился наверх. Похоже, он отличный парень, хотя и очень молодой. Ему не больше двадцати пяти.

Анне ставит на стол тарелки.

— Не мешало бы теперь по глоточку водки, раз у нас такой приятный и неожиданный гость,— произносит Миккель, извиняясь,— но к сожалению, в доме сейчас ничего нет.

— Тогда, быть может, я вас угощу? — предлагает незнакомец.

Миккель сразу оживляется. Анне ставит стаканчики. Гость достает из рюкзака маленькую бутылку яволины.

Миккель удивленно разглядывает ее — отличный финский коньяк.

— Ты разве с востока? — спрашивает он.

— Да, я издалека.

— Ах, вот оно что...

Миккель передергивается. Все эти увертки незнакомца начинают его всерьез раздражать. Он чувствует себя обиженным и беспомощным.

Гость наливает в стаканчики. Чокается. Миккель опустошает стаканчик единым махом и бормочет про себя:

— Да, хорошо...

— Тебе, может, тоже налить? — обращается гость к Анне.

Анне соглашается и тут же достает для себя рюмку. Гость наливает, Анне пьет единым глотком — до дна. Что ж, и хозяйке неплохо иногда побаловаться коньячком.

Гость снова наполняет стаканчики и рюмку Анне. Все опять выпивают до дна. Беседа становится оживленнее. Миккель так и сыплет вопросами:

— Ты женат?

— Пока нет.

— А родители-то есть?

— У меня есть мать, которая мне много всего порассказала.

— А отец есть?

— Да, есть.
— Ты знаешь, кто он?
— Да, знаю.
— Ты с ним знаком?
— Немного.
— Это хороший парень?
— Да, надеюсь.

Они едят и продолжают разговаривать. Бутылочка из-под яволины уже пуста. У Миккеля еще больше развязывается язык, и он начинает говорить про свое стадо. Рассказывает, что за последние годы оно сильно разрослось. Волки ныне исчезли, а у него самого и сына есть теперь снежные мотосани. Содержать стадо стало гораздо легче, чем в годы его молодости. А снежные сани — сущее благо.

— Можно иной раз и росомаху догнать! — говорит он шепотом.— И охота, прежде такая трудная, стала легкой, точно игра!

Вечером в гости приходит Кристин, та самая, что показала незнакомцу дорогу к дому Миккеля. Особого дела у нее нет, просто она заметила, что гость надолго задержался у Миккеля, и ей хочется узнать, кто же этот человек.

Анне встречает ее. Они шушукаются в сенях, потом Кристин усаживается на ящик с дровами — посмотреть и послушать. Темно-карие глаза ее смотрят на гостя с любопытством.

Миккель делает вид, что не замечает гостью. Он без остановки болтает с незнакомцем, торжественно восседает за столом, понимая, что внезапно стал важным лицом в деревне, рыгает от сытости.

Закончив есть, Миккель и гость встают, а Анне ставит новые тарелки. Из темных углов избы появляются сын и две дочери — им лет по двадцать с небольшим, молодежь садится к столу. Анне ест стоя у плиты, продолжая все время шушукаться с Кристин.

Гость с любопытством поглядывает на молодежь. Спрашивает у Пера:

— Ты помогаешь отцу с оленями?
— Да.
— И тебе это нравится?
— Да.

Вопросы исчерпаны, беседа прекращается. Стоит тишина. Кристин отправляется домой, девушки моют посуду. Дело близится к ночи.

— Ну,— обращается Миккель к незнакомцу, ты, видать, заночуешь?

— Да, спасибо большое.— После долгой паузы незнакомец спрашивает:— Не хочешь ли еще рюмочку перед сном? Лучше будешь спать.

Глаза у Миккеля снова загораются. Он благодарит гостя. Анне только что помыла и вытерла стаканчики. Она опять достает их. Гость вытаскивает из рюкзака бутылочку норвежского бренди.

Миккель широко раскрывает глаза, наклоняется вперед, таращится на бутылку. Бормочет про себя:

— Сперва финская, теперь норвежская...

Мысли беспорядочно теснятся в его голове. Что за гость?! Миккель онемел от восторга.

Анне ставит на стол две рюмки. Гость спрашивает Пера, не хочет ли он тоже выпить?

Прежде чем Пер успевает ответить, Анне ставит третий стаканчик.

Гость разливает бренди, поднимает свой стаканчик, чокается с хозяевами. И снова все пьют до дна. Гость опять наполняет стаканчики.

Вновь завязывается разговор, но идет он как-то вяло, кажется, спрашивать больше не о чем. Миккель зевает. Гость утомил его.

Девушки вносят оленью шкуру, кладут ее на пол, стелят постель.

Тихо и привычно. Миккель кидает взгляд на остаток бренди в бутылке, но гость делает вид, что ничего не замечает.

Миккель сдается. Они отправляются с Анне в маленькую комнатушку и затворяют за собой дверь. Молодежь устраивается в одной общей постели, гость ложится на шкуру поближе к стене.

Кто-то подкручивает фитиль в керосиновой лампе, в домике становится темно, как в мешке. Пер начинает храпеть. Девушки какое-то время еще перешептываются и хихикают, но вскоре и они успокаиваются. Изба погружается в сон.

Хоть Миккель и пропустил две солидные рюмки перед сном, заснуть ему никак не удается. Мысли его все время вертятся вокруг таинственного незнакомца. Почему он пришел именно к ним? Почему не хочет ничего о себе рассказывать? Что упорно скрывает? Только бы узнать, как его зовут, тогда наверняка удастся выяснить, из каких он мест. Но он несомненно взял фамилию матери, поэтому трудно определить, откуда он родом.

Он знает немного своего отца, говорит, что тот — человек хороший. Странно. Если отец незнакомца бросил беременную женщину, вряд ли его поминают добром, особенно те, кого он оставил.

Да и сам-то он, Миккель, отнюдь не всегда был безгрешным. В молодости раза два его задерживали на рынке по пьянке. И с девчатами у него случалось много разных историй. Никакой своей вины за них он тогда не чувствовал. Наверняка оставил после себя следы. И конечно, не в одном месте. И все-таки стал хорошим, уважаемым оленеводом. Ну а в молодости ведь надо перебеситься. Настоящее отношение к жизни приходит позже.

Для него самого серьезная жизнь началась с той минуты, когда он узнал, что Анне ждет ребенка. И уж Анне не сомневалась, кто отец ее ребенка. Тогда все было ясно.

Но вот почему у гостя оказался коньяк и финский и норвежский? Довольно странно.

Да, надо признать, у него сейчас в доме совсем необычный гость. Но симпатичный. Учтивый и воспитанный. И, похоже, с деньгами. А возможно, там, на дороге, его ждет машина. Кто знает...

Утром Анне разводит огонь в очаге и первым делом кидает любопытный взгляд в сторону девушек. Нет, там гостя не видно. Чиркнув спичкой, чтобы получше рассмотреть, она убеждается: гость спит у стены.

Так, так. Значит, он пришел не из-за хорошенькой Эллен. Дикая и озорная Эллен выросла настоящей красавицей, к тому же за ней и приданое приличное. От женихов отбоя нет, только она никак не может остановить на ком-нибудь свой выбор.

Но незнакомец, видно, на нее не клюет. Странно.

Анне громко захлопывает дверцу плиты. Все просыпаются, начинают шуршать одеждами, оленьими шкурами и вскоре уже на ногах. Тогда Анне зажигает керосиновую лампу. На дворе еще темно.

Капканы и шкуры откладываются в сторону, кипит кофе. Миккель выходит из комнатки. Он очень сонный, всю ночь почти не сомкнул глаз. Его любопытный взгляд прежде всего обращается к гостю и к Эллен.

Ага, значит, тут ничего не происходит. Странно, просто удивительно.

Он садится к столу, на котором по-прежнему стоит и манит к себе бутылка с бренди. Ночью никто к ней не притронулся. Миккель как зачарованный смотрит на нее, набивает трубку.

— Быть может, хочешь глоточек на опохмелку? — спрашивает гость.

— Что ж, не откажусь.

На столе появляется кофе. Остатки бренди исчезают. Пер уходит к своему стаду. Разговор завязывается снова. Но идет с трудом.

— Ты не куришь? — спрашивает Миккель, снова набивая трубку.

— Нет, табак меня не интересует. И пью-то я редко.

— Да, курево и водка нынче дороги.

— Я не потому.

— Вот оно как, ты бы мог себе позволить и то и другое?

— Возможно.

Миккель чешет затылок. Это уж выше его понимания. До чего же странный человек!

День опять проходит в разговорах. Миккель старательно расставляет свои ловушки, но незнакомец ловко из них ускользает. Всеми силами Миккель пытается изучить таинственного гостя, но чем больше узнает его, тем больше недоумевает: и гость, и судьба его все больше обрастают тайной.

В полдень Анне отправляется к Кристин. У той уже собрались почти все женщины деревни. Они пьют кофе и ведут разговор про молчаливого и странного незнакомца. Анне с Кристин рассказывают все, что знают.

— Он и сегодня у вас будет ночевать? — спрашивает Инга.

— Похоже, что так,— отвечает Анне с важным видом.

— Сколько ему лет?

— Между двадцатью и двадцатью пятью.

— Да он как раз для Эллен!

Все смеются.

— Подождем до ночи,— самодовольно отвечает Анне.

Все снова громко смеются.

— У него золотые часы с браслетом,— вставляет Кристин.

— Да. И бумажник у него набит туго, я сама видела сегодня утром. Он положил его на стол, прежде чем лечь спать. Значит, нам он доверяет.

На мгновение все замолкают, обдумывая только что услышанное. По-видимому, это честный парень, раз он доверяет другим и считает их тоже людьми порядочными.

— А может быть, у него на дороге стоит машина? — спрашивает вдруг одна из женщин.

— Миккель так и думает. Надо бы, кстати, проверить.

— Но самое удивительное то, что говорит он на нашем языке, даже на нашем диалекте,— замечает Кристин.

Разговор за кофе продолжается несколько часов. Строятся всевозможные догадки, предполагают разное. Но все сходятся на том, что гость — человек значительный, из тех, кто поднялся высоко и занял важное место в жизни. Но так же, как и Анне, все женщины удивлены, почему он остановился именно у Миккеля, провел весь день в его доме и даже на улицу не вышел, никого больше не навестил в деревне.

— Наверняка из-за Эллен,— мечтательно замечает Кристин.— Узнать бы только, кто он такой, как его имя и откуда он родом.

При этих словах входит муж Кристин.

— Сейчас он вышел из дому и прогуливается! — говорит он.

— Ой, ой! — восклицают все хором.— А вдруг он захочет проведать и нас?

Изба мигом пустеет. Женщины мчатся к себе домой, чтобы принять знатного гостя, если он надумает к ним зайти.

— Ха-ха-ха,— хохочет муж Кристин.— Наконец-то разогнал этих баб!

— Ты разве его не видел?

— Да нет же, черт побери! Этот дьявол сидит у Миккеля, примерз к его дому, точно ко льду!

Миккель устал. Он раздражен. Все это так дико! Точно какой-то странный сон.

Временами он испытывает желание резко и прямо спросить гостя, кто он такой на самом деле. Но в последний момент не решается: какой-то внутренний голос подсказывает хозяину — торопиться некуда, все равно правда в свое время выплывет наружу.

Анне возвращается домой, растапливает плиту, ставит на огонь чугунок с оленьим мясом.

Миккель зевает. Набивает трубку, зажигает ее, затягивается. Снова зевает. Настроение у него мрачное.

Гость смотрит на хозяина.

— Хочешь рюмочку? — понимающе спрашивает он.

Миккель будто от сна очнулся.

— Да, неплохо было бы.

Пока Анне ставит на стол рюмки, незнакомец вытаскивает третью бутылку из своего неистощимого рюкзака. На сей раз это шведская водка двойной очистки. Он наполняет рюмки.

Миккель смотрит на бутылку широко раскрытыми глазами. Он словно онемел и не в силах вымолвить ни слова. После долгой паузы хозяин все же восклицает с удивлением:

— Что это значит, парень? Ты прибыл сразу из трех стран?

Гость не отвечает.

— Ты говоришь по-фински? — снова нетерпеливо спрашивает Миккель.

— Немного.

— И по-норвежски?

— Немного.

— И по-шведски тоже?

— Немного.

— А может быть, ты говоришь и по-английски?

— Немного.

Миккель хватает рюмку. Рука у него дрожит. Он мигом выпивает ее, незнакомец наливает ему новую. Анне так возбуждена, что ставит на стол третью рюмку — для себя. Все трое чокаются.

От удивления Миккель буквально лишился дара речи. Анне бьет мелкая дрожь, которую она не может скрыть. Да, ну и приключение! Необычное приключение в осеннюю ночь. Теперь уж она твердо решает сходить рано утром на дорогу и проверить, нет ли у незнакомца к тому же еще и машины. Быть может, у него большой, красивый автомобиль. Она прихватит с собой карманный фонарик и запишет его номер. А возможно, удастся что-нибудь разглядеть через стекло, и то, что она увидит, расскажет о хозяине машины больше, чем он сам. Надо обязательно проверить.

Сон как ветром сдуло, в воздухе витает любопытство. Все это чувствуют.

Входит Эллен и устраивается в самом темном углу. Там ее не видно, сама же она может рассматривать красивого и таинственного незнакомца. Ей предлагают стопку, но она отказывается.

Все повторяется так же, как и в первый вечер. Гость и хозяева пьют, беседуют. Миккель задает вопросы, гость отвечает уклончиво и неопределенно.

Поздно вечером, как и накануне, все ложатся спать. Миккель настолько устал от всех своих переживаний и раздумий, что засыпает как убитый. Анне ставит будильник: чтобы успеть найти машину, ей надо рано встать. Карманный фонарик она тоже приготовила.

Керосиновая лампа гаснет, девушки снова хихикают. Но постепенно все звуки стихают, и в маленькой избушке Миккеля воцаряется мертвая тишина.

На следующее утро незнакомца в доме уже нет. Он ушел ночью, и так тихо, что никто не слышал.

На столе лежит листок бумаги, вырванный из записной книжки. На листке написаны слова, молва о которых со временем разнесется далеко за пределы деревни и близлежащих мест.

Слова эти написаны по-саамски. По-норвежски в семье Миккеля читать умеют, а по-саамски нет, хотя в повседневной жизни говорят только по-саамски.

Миккель отправляется к Андерсу, который читает и пишет на родном языке. Андерс берет в руки листок, откашливается и кидает на Миккеля долгий взгляд. Затем читает:

Дорогой Миккель!
Спасибо за гостеприимство. Мать просила тебе кланяться.
Твой кровный сын Анти.

■

У ЦЗАО

Перевод с китайского и вступление М. БАСМАНОВА

После прославленной Ли Цинчжао, творившей в Сунскую эпоху (X—XIII вв.), на поэтическом небосклоне Китая не взошло звезд равной величины. И все же яркие звезды были. Их немеркнущий свет и поныне струится из глубин веков.

Говоря о женской поэзии послесунского Китая, следует прежде других назвать имя поэтессы У Цзао (У Пинсян). Она родилась на рубеже девятнадцатого столетия. Бóльшая часть жизни У Цзао прошла в провинции Чжэцзян, на юго-востоке Китая, где в то время наблюдалось большое оживление в искусстве и литературе. Воспитание в интеллигентной семье позволяло будущей поэтессе много читать, постоянно вращаться в творческой среде. Уже в молодые годы она заявила о себе талантливыми стихотворениями в песенном жанре цы, получившими, по свидетельству современников, широкое распространение по всему бассейну Янцзыцзян.

Раннее замужество не внесло особых перемен в безмятежную жизнь поэтессы. Ее муж был далек от поэзии, и он охотно предоставил молодой супруге возможность распоряжаться своим временем по собственному усмотрению. Первый сборник «Цветы за шторой» говорит о том, что у поэтессы не было недостатка в друзьях, которые разделяли ее взгляды и увлечения, с кем она могла проводить время в увеселительных прогулках на лоне природы, за беседами о любимых книгах и героях древности. Сверстница У Цзао Вэй Цяншэн, постоянно общавшаяся с поэтессой, писала с восхищением об исключительной эрудиции и одаренности последней, ее общительности и добром нраве.

Когда У Цзао исполнилось тридцать лет, все в ее жизни резко изменилось к худшему. Как явствует из предисловия поэтессы к сборнику стихотворений «Обитель, что к северу от ароматных гор и к югу от гор под снегом» (1844), она бедствует, после смерти мужа у нее нет средств для самого скромного существования. К этому добавились недуги и одиночество. В течение многих лет она почти ничего не писала и даже не надеялась вернуться когда-нибудь к поэтическому творчеству.

В стихотворениях упомянутого сборника нетрудно заметить влияние на У Цзао буддийской религии с ее отрицательным отношением к радостям бытия, где все тщета и суета сует. Поэтесса мечтает уйти от людей в «ароматные горы на юге» или «заснеженные горы на севере», чтобы слиться воедино с девственной природой, постичь ее смысл и подготовиться к жизни в последующем рождении.

И все же, в целом творчество У Цзао выдержано в жизнеутверждающих тонах. Лирическая героиня ее поэзии покоряет нас своей нежностью, искренностью чувства, умением понимать истинную красоту природы и искусства. Высокообразованная, мыслящая женщина, она стремится преодолеть предписанные ей конфуцианской этикой нормы жизни в пределах домашнего круга под надзором мужа и всевластной свекрови, утверждает свое право на любовь и человеческое достоинство.

В ряде стихотворений У Цзао размышляет о смысле жизни, о назначении поэзии. В них слышится тревога за судьбы «объятой огнем» родины, заявляется о готовности исполнить свой гражданский долг, свершить подвиг во имя свободы и счастья своего народа, страдающего под игом цинской (маньчжурской) монархии. Здесь поэтесса как бы перебрасывает, пусть небольшой, мостик от гражданской поэзии поэтов-патриотов предшествующих эпох — Лу Ю, Синь Цицзи, Вэнь Тяньсяна — к поэзии периода великих социальных потрясений накануне буржуазной революции 1911 — 1913 гг., когда жила и творила первая в Китае революционерка и поэтесса Цю Цзинь, в произведениях которой в известной мере прослеживается влияние ее предшественницы.

Восемь стихотворений посвящаю сестричке Юнчан с постоянной думой о ней

1
Цзяннань![1]
Я вспоминаю встречи миг:
От персика цветы
В воде алели,
В листве сутайских ив —
Сережки без числа...
И радость и восторг
Нам встреча принесла,
Что поздно встретились,
Мы сожалели.

2
Цзяннань!
Особо вспоминаю пир:
Там, над прудом Аму,
Подъемлем чаши,
В шатре пурпуровом
Сидят подружки в ряд,
У них в прическах
Жемчуга горят...
Не ты ль была душой
Пирушки нашей!

3
Цзяннань!
Особо вспоминаю я
Художника талант
И озаренье:
Весна. Рассвет. В снегу
Благоухает мэй —
В простенке у окна
Картина, надпись к ней...
Поистинє
То мастера творенье!

4
Цзяннань!
Особо вспоминаю я
О том, как ночью,
Возлежа в постели,
Читали книги вслух,
Стихами пленены...
За шторой флейты звук,
Над башней блеск луны,
А мы все свечи жгли,
Спать не хотели.

5
Цзяннань!
Особо вспоминаю я
Деревьев сень.
В восточном кабинете
Любуемся на меч,
Хмельные от вина,
На западном дворе
Седлаем скакуна...
И средь девиц
Героев можно встретить!

6
Цзяннань!
Особо вспоминаю я
Весною, где причал,
Прощальное застолье.
То третий месяц был.
Цветы как белый дым,
Вино лилось рекой
До самой темноты...
Разлука, пусть на миг,
В нас отзывалась болью!

7
Цзяннань!
Особо вспоминаю я
Визит в Бичен
И строки Се о снеге[2],
Достойные похвал.
Я шелк нашла,
Чтоб вышить лик Бань Чжао...[3]
На память вновь пришла
Ночь дивная. Она
В душе навеки!

8
Цзяннань!
Особо вспоминаю я
На челноке
Под парусом катанье.
Свечей курильных дым
В одежды проникал,
Румянец от вина
Зарделся на щеках...
Я не могу
Не помнить о Цзяннани!

[1] Территория к югу от р. Янцзыцзян, живописная природа которой воспета многими поэтами и художниками Китая. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Поэтесса имеет в виду Се Даоюнь, девушку из просвещенной семьи. Однажды ее дядя, показывая на падающий снег, предложил описать его. Двоюродный брат Се сказал: «Сыплет, как соль». Се Даоюнь предложила другой, лучший вариант: «Летит, как взвихренный пух ивы».

[3] Бань Чжао — сестра и соавтор известного историографа Бань Гу (I в. н. э.). В своем «Поучении» и других трудах, отражая требования конфуцианского учения, она создала идеал праведной женщины, главное назначение которой — служение мужу, продление рода, усердие в труде, а первейшая добродетель — беспредельное смирение, покорность и преданность семье. Здесь намек на одаренность и добродетели своей сестры, которой посвящается данный цикл из восьми стихотворений.

■ ■ ■

Тропинка в цветах,
Тропинка в цветах...
Тень от меня, одинокой,
Скорбью терзает жестокой.

А ночь глубока,
Луна холодна,
И ветер пронзает насквозь.
Флейты рыданье откуда-то вдруг
В башню ко мне донеслось.

Грустный мотив,
Грустный мотив,
О раннем цветении мэйхуа[1]
Он меня известил.

Из Учжуна все нет вестей. Лунная ночь навеяла думы

Окно за незадернутою шторой,
А за окном — уступы галереи.
Там — никого, с кем встретилась бы взором,
И боль в груди от этого острее.

Ступени из нефрита под луною,
Гляжу на них, и сердце пуще ноет.

Холодный пруд напомнил про былое,
Осенняя трава вся пожелтела.
Цветы в саду и лотос над водою
Под утро инеем покрылись белым.

Прилив, отлив... Все жду заветных писем.
Безбрежность вод. Гор бесконечных выси.

■ ■ ■

То изучаю я «Лисао» том[2],
То свод канонов постигаю я.
Уж десять лет прошло в занятье том,
В сомнениях при свете фонаря.

Льет дождь на пальму, по листве стуча,
И в сердце зарождается печаль.

---

[1] Дикорастущая слива, цветет ранней весной, когда еще держится снег; излюбленный образ в китайской поэзии, символизирующий высокие нравственные качества: стойкость духа, чистоту помыслов и благородство.

[2] «Лисао» — поэма великого китайского поэта Цюй Юаня (ок. 340—ок. 278 гг. до н. э.), написанная в период, когда Цюй Юань был отрешен от должности при княжеском дворе и сослан. В поэме обличаются пороки придворной знати, она исполнена скорби об участи родины, народа.

Хочу я плакать, только плач сдержу,
Печаль мою должна я утаить.
Улыбку на лице изображу,
Как тот, кто чувство может подавить.

Нарекший меня умницею, он
Был мною в заблуждение введен.

■ ■ ■

Зелень.
Огонь фонаря
Осветил полстены.
Цветы то исчезнут,
То снова видны.
Реки, озера
Все в мыслях моих,
Но за дождем
Различу разве их!

■ ■ ■

Слышу:
«Взгляните,
Луна с высоты
Льет из-за туч
Яркий свет на цветы».
Я замерла,
Голос лютни затих...
Осени тень
На ступенях пустых.

Слушая стрекот сверчка

Двор опустел,
Воцарилась там осень,
Стрекот сверчка неумолчный
Несносен.
Стук колотушки,
Стрекот сверчка...
Иль до утра так,
Ночь длится пока?
Внимаю,
Внимаю.

Чай настоялся,
Свеча догорает,
Вновь поднялась я,
Постель заправляю.
Лампу зажгу —
Лучше так, при огне.
Тень от решетки
На белой стене...
Взираю,
Взираю!

Осеннее настроение

Даже штор я не в силах поднять,
Пронизал их насквозь свет луны.
Ночь холодная, долгая ночь,
Опершись на перила, стою.
Цинь[1] настроить я не могу —
Пальцы стужею сведены.
На сосну, что в росе, аист сел,
Побывавший в далеком краю.

У колодца поникший утун[2]
Клонит голую ветку свою.

В даль небес устремила я взгляд,
Слышу крики гусей над водой,
Опускаясь на отмель реки,
Все кружат у меня на виду.
Знала радость я, знала печаль —
В этой жизни они чередой...
Вот и осень глубокая вновь
На подходе и в этом году!

Листья красные, как вино,
Клен роняет в притихшем саду.

[1] Многострунный музыкальный инструмент.
[2] Дерево из семейства платановых.

■ ■ ■

Долгая-долгая ночь,
Где же конец будет ей!
Слышу, как листья шуршат,
Падают наземь с ветвей.

И, не смолкая, давно
Ветер стучится в окно.

Быстро остыл кипяток,
И не курится бокал,
В печке сандал догорел,
Благоухать перестал.

Двери закрыты — и пусть!
Двор и заброшен и пуст.

Сделала ярче огонь —
Та же печаль при огне.
Мне бы заснуть, только сон
Все не приходит ко мне.

Зябну, и тут не до сна,
Спать я в одежде должна!

Видеть картину грустней
Вряд ли кому довелось.
Против меня в эту ночь
Все, как нарочно, сошлось:

Гуся залетного стон,
Колоколов перезвон,
Часов водяных динь-дон.

Цинь, унаследованный от Се Дэшаня [1]

За реками и за горами
Нет хаосу и смуте предела —
Там, где я любовалась цветами,
Где когда-то мне иволга пела.

Глядя вдаль, тяжело вздыхаю.
Лишь заброшенный храм под луною.
Где ж вы, земли родного края,
Опаленного войною?

У моста о судьбе я гадаю,
Но о ней мне не скажет и Небо.
С гневом в сердце все чаще с годами
Город вижу, что вызволен не был.

Написала стихотворенье,
А кому я его прочитаю!..
В жертву жизнь принеси в свое время,
Не страдала бы я, как страдаю.

Дуцзюань[2] над холмом пусть рыдает,
Кровь из горла пока не польется,
Цинь из тунга пускай не смолкает,
Песней древнею отзовется!

И под звуки печальные циня
Размышлять я не перестану

О драконе[3], страны верном сыне,
Кто в могиле здесь под цветами.

■

[1] Се Дэшань, другое имя— Се Фандэ (1226—1289), уроженец пров. Цзянси, крупный чиновник и литератор. После завоевания Китая монголами не дал согласия служить юаньскому двору, был насильно доставлен в столицу, где отказался принимать пищу и умер голодной смертью.

[2] Разновидность кукушки, символизирует скорбь, одиночество.

[3] Символ отважного и благородного мужа.

Критика

Т. БАЛАШОВА

СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ В ПАМЯТИ ТРИДЦАТИЛЕТНИХ

По страницам французского романа

Поверять настоящее прошлым, чтобы оградить от беды грядущее,— многовековая традиция литературы. И приходится ли удивляться, что на переломе от 70-х годов к 80-м, по мере того как сгущались над планетой тучи, грозящие человечеству новыми военными трагедиями, по мере того как по-хозяйски располагались на европейском континенте заокеанские «Першинги», литература все чаще возвращалась на сорок лет назад, к тем дням, когда лежала Европа в руинах и дымились печи Освенцима. Кто повинен в тех руинах? Кто повинен, что среди многих и многих музеев есть и музеи с грудами детских башмачков, сброшенных на пороге газовой камеры, с абажурами, демонстрирующими прозрачность человеческой кожи, с коллекциями разнокалиберных шприцев, пригодившихся для каннибальских опытов, при которых жизнь человека ценилась куда меньше, чем жизнь морской свинки? Кто повинен, что юношам и девушкам, справившим свое двадцатилетие в начале восьмидесятых, ни разу не слышавшим взрыва снаряда, все-таки неведома безмятежность мирных дней, скорее привычен страх перед тем, что их ждет? Отвечать на этот вопрос — кто повинен? — можно по-разному, а ведь такой ответ должен определить жизненную позицию, поведение нашего современника, его активность — или, напротив, пассивность — в борьбе за предотвращение новой военной катастрофы.

Густыми красками фальши покрыта сейчас на Западе — с помощью псевдодокументальных свидетельств, выдуманных воспоминаний — история второй мировой войны. Было время, когда реваншистски настроенные культурологи предпочитали о минувшей войне молчать — слишком близок и обжигающе неоспорим был ее опыт. Тогда волны масс-медиа рассеивали семена иронической усталости: зачем опять о войне, не пора ли человеку занять свое сознание чем-то более приятным? Эта изящная усталость отлилась в литературном кредо одной из самых влиятельных школ «искусства для искусства» послевоенных лет — «голубых гусар», среди которых ходили, кичась своей «непричастностью», Роже Нимье, Антуан Блонден, Жак Лоран и другие.

Ирония задела своим влиянием и прогрессивную интеллигенцию, активно боровшуюся за мир. Не раз на международных конференциях и симпозиумах, во время бесед в издательствах или редакциях зарубежных журналов, когда собеседник брал в руки наши романы — Симонова или Быкова, Бондарева или Бакланова,— приходилось слышать слегка разочарованное: «Опять про войну...» Вспоминается встреча в Союзе советских писателей с членами Гонкуровской Академии. Ни Эрве Базена, ни Бернара Клавеля, ни Андре Стиля, ни Эммануэля Роблеса невозможно заподозрить в равнодушии к тому, что претерпела Европа. И все-таки некоторое удивление, почему советские писатели так «загипнотизированы» войной, висело в воздухе, а мимоходом даже скользнул вопрос: не говорит ли это об особой «боевитости» советской литературы? В 1976 году Арман Лану, обращаясь к советской делегации на приеме в Обществе «Франция—СССР», горестно подвел итоги: «Вы храните память о погибших, французы — нет. Правы вы, а не мы».

Восемь лет спустя такое заключение уже

трудно считать точным — к концу 70-х годов число французских романов, посвященных второй мировой, резко возросло. К этому моменту перестроились и масс-медиа: они приглашали теперь не забывать, а углубленно «изучать» историю войны и гитлеризма. Только изучение подменялось выучиванием кощунственных версий о фашизме как неудавшемся, но весьма перспективном эксперименте сильной власти. Кстати, и те, кто в 40-е годы рекламировал свое равнодушие к опыту войны, теперь гораздо охотнее его переиначивают: Жак Лоран, например, в публицистических книгах «Наоборот» (1967), «Эгоистичная история» (1976) довольно агрессивен в доказательстве «правоты» коллаборационистов. Во время оккупации он тоже помогал Петену и сегодня готов гордиться этим: «Служить умирающей власти — честь для писателя»,— читаем в его автобиографических эссе. Но ведь служил-то этой власти Лоран тогда, когда «умирала» не она, а патриоты-антифашисты. Виши меж тем, опираясь на нацистские штыки, могло бы и одержать победу, страшную для Франции, в то время как другие писатели считали честью для себя совсем иное — сражаться с этой властью, ежечасно рискуя жизнью.

Может быть, такая смена ориентации консервативных кругов, взявшихся исступленно фальсифицировать прошлое и обелять преступления нацистских палачей (известно, что при Жискаре д'Эстене было запрещено отмечать день Победы), явилась одной из причин, почему писатели, собственно и родившиеся как писатели в антифашистском подполье, стали гораздо активнее защищать свое ви́дение трагических событий.

Пьер Сегерс открыл одну из своих книг о Сопротивлении словами: «Мои юные друзья, прочтите эту книгу и задумайтесь. Огонь еще тлеет под пеплом и может снова вспыхнуть, опалив пламенем уже вас...»[1]

Обжигающее дыхание этого огня ощутимо в повестях Андре Мальро («Лазарь», 1972) и Веркора («Волчий капкан», 1979), книгах Владимира Познера («Нисхождение в ад», 1980) и Алена Боске («Ни войны, ни мира», 1983), романах Эммануэля Роблеса («Везувий», 1961, «Однажды весной в Италии», 1972) и Пьера Гамарра («Провансальская кантилена», 1979), Армана Лану («Пчелиный пастырь», 1974) и Бернара Клавеля («Великое терпение», 1966—1972), Жана Кейроля («История пустыни», 1972, «История дома», 1976) и Андре Ремакля («Улица Трех Солнц», 1975).

«На какой войне вы попали в плен?» — спрашивают в «Истории пустыни» героя, который лечится в неврологической клинике, расположенной на территории бывшего концлагеря. «Не помню... Ведь все время война...» Война длится в сознании, она «все время», она — горячий пепел, к которому страшно, но необходимо прикасаться.

Появление в 70—80-е годы многих произведений, сюжетно связанных со временем войны и Сопротивления, следует объяснять, видимо, и социальными и психологическими причинами.

Дело не только в реакции на беззастенчивое вранье новоявленных адвокатов гитлеризма. У порога 70-х — «красный май» 1968 года и затем — горестное разочарование в иллюзиях, которое последовало. Возвращение памятью к эпохе, когда цели борьбы были абсолютно ясны, к ответственному, переломному моменту исторического процесса давало возможность обрести в годину безвременья и крушения всех ценностей (а именно так были восприняты годы «после мая») устойчивые нравственные ориентиры.

Выявилась в этом повествовании о войне и еще одна тенденция — стремление проследить некие общие закономерности французского общества, одинаково существенные в дни войны и дни мира, обнаружить в прошлом корни того, что мешает сегодня, что может опять подтолкнуть к войне. Французскую литературу 70—80-х годов, посвященную второй мировой войне, следует рассматривать в общем контексте оживления исторического романа (см., например, цикл «Столпы неба» (1976—1981) Бернара Клавеля), поскольку он, как правило, ставил в центр внимания тоже переломные, кризисные моменты жизни нации, мощные массовые движения. (Не случайно ряд книг воскрешает героику Парижской Коммуны и Народного фронта: «Бунтари» (1965—1968) и «Пушка «Братство» (1970) Ж.-П. Шаброля, «Пушки пляшут польку» (1971) и «Красный петух» (1972) Армана Лану, «Семьдесят два солнечных дня» (1975) Пьера Гамарра, «Большая жизнь» (1981) и «Счастливые времена» (1984) Роже Бордье и др.)

Такой поворот стрелки тематического компаса сопровождался эстетической перестройкой французского романа: переболев искусом авангардистского экспериментаторства, отменявшего событийность повествования и художественный характер, роман, словно изголодавшись по реальным коллизиям, жадно пил из «реки по имени факт», не стесняясь воссоздания того, что действительно было, не пытаясь во что бы то ни стало заслонить пережитое усложненными метафорами, символами. «Возвращение к реализму» в разных его формах, в том числе и метафорических, можно считать сегодня уже фактом биографии зарубежного искусства 70—80-х годов: закономерности и оттенки его многократно анализировались и советской и зарубежной критикой[1].

В эту сложную систему факторов — политических, идеологических, эстетических — вписывается еще один важный феномен движения современной зарубежной прозы (французской в первую очередь): пробуждение интереса к военной тематике у писателей совсем молодых, родившихся после войны. Собственно, слова «военная тематика» должны быть здесь взяты в кавычки: уж очень крупные, глобальные проблемы, уходящие корнями в еще более далекое прошлое и тревожащие своим дыханием наш сегодняшний день, были там по-

[1] О поэзии Сопротивления см. статьи Т. Балашовой «Высокая и чистая поэзия борьбы» в «ИЛ», 1969, № 2, и «В центре спора — поэзия» в «ИЛ», 1975, № 1 *(прим. ред.)*.

[1] См., например, книгу «Новые художественные тенденции в развитии реализма на Западе. 70-е годы». М., 1982. *(Прим. ред.)*

ставлены; кроме того, ни один из авторов не стремился к панорамному воспроизведению событий.

В поле зрения попадал обычно лишь один из фрагментов большой и сложной картины, но в этом осколке зеркала, пронесенного по дорогам войны, писатель пытался увидеть нечто самое важное для современности.

Помнятся ответы юных на разные анкеты, печатавшиеся в зарубежной прессе: «Гитлер? Такого не знаю...» Что это — и впрямь наивное неведение? Нет, скорее, конечно, решительное нежелание знать, отказ разбираться в «драках старших», надежда вообще начать все с нуля — подальше от благ и соблазнов цивилизации, прикрывшись театральными лохмотьями хиппи. Однако постепенно эта часть молодежи расслоилась: у одного берега — нирвана наркомании, позволяющая «все забыть», пока длится действие опиума; у другого — активность антимилитаристского протеста (последняя тенденция ярко выражена в американском фильме «Волосы»). А тем временем ровесники тех, кто отвечал презрительно: «Такого не знаю...» — начали ощущать в себе странное, совсем не модное в условиях глобальной «ссоры» поколений, объявленной чуть ли не главным знаком середины века, стремление понять, что же тогда произошло у старших? Почему до сей поры отголоски того мирового конфликта врываются в споры и разногласия сегодняшнего дня?

В литературу пришли писатели, которые, отодвинув в сторону привычные проблемы «общества потребления», молодежной контестации, «красного мая», словно переселились во времена молодости своих отцов.

«Я принадлежу к людям, которых волнуют немые фильмы, старые газеты и имена, высеченные на стеле памятника погибшим... — как бы оправдывая свою «необычность», поясняет молодой писатель Жак-Пьер Аметт.— Фантазируя и исповедуясь, пробиваясь к пониманию, я хочу приоткрыть дверь в зал, где игралась непостижимая теперь для меня драма молодости моих родителей, увидеть тени другой жизни, другого города. В общем, я с упрямым спокойствием рвусь к факелу, освещающему ночь прошлого...». «Я кружу по улицам города в поисках вашей тени»,— вторит Ametту Патрик Модиано (род. в 1945 г.), обращаясь к отцу, которого никогда не знал.

Для Жак-Пьера Аметта прошлое — это разрушенный, исковерканный, истерзанный мир, свидетель страданий, агоний, голодных ночей и рассветов. «Юность в нормандском городе» (1981) — так назвал Аметт роман, где воскресил образ северного Кана, лежащего в руинах. Сюда маленьким мальчиком он приехал после войны, здесь, среди каркасов обугленных зданий, в узких коридорах еще хранящих запах пороха, прошло его детство, здесь канские мальчишки, что были постарше его, играли в войну, имитируя недавно слышанный рокот самолетов, взрывы бомб. На город падали летом 1944 года английские бомбы. Аметт понимает, что это можно «оправдать и прокомментировать», но он хочет отвлечься от опознавательных знаков на крыльях самолетов, что сеяли смерть. Смерть несла сама война, раз она была развязана, раз шла на территории Европы, и он восстает всем своим существом против гипотетической возможности нового апокалипсиса: «Об этих событиях словно забыли. Погребли на дне бездонного болота. Каждое утро я открываю газеты: новое утро, свежая типографская краска, иллюзия, что мир только что родился. Друзья, соседи часто, почти не задумываясь, говорят о возможности третьей мировой войны. Я хочу, чтобы они прочли эту книгу — зовите ее исповедью, романом, хроникой, как хотите; я хочу, чтобы они прогулялись по этому мрачному берегу, где дымятся еще останки города...».

Сам он не забыл. Не забыл даже то, чего не видел. Прошлое вставало со страниц прочитанных книг, из рассказов взрослых для воображения было достаточно пищи, чтобы представить, «как было тогда, до меня».

В романе три плана — сегодняшний день, когда вспыхивают войны в различных уголках земного шара; послевоенное десятилетие, когда еще мужчины донашивали военные брюки, на стенах домов чернели полосы копоти, в полях давали прибежище играющим подросткам зловещие воронки; и, наконец, годы военные — окровавленные, обезображенные трупы, охваченное огнем здание детских яслей, страшное возвращение из бомбоубежища к пепелищу, где еще час назад был родительский кров. Этот план изображен, пожалуй, даже более зримо, осязаемо, чем два других. «Нет, я не рассказываю о тех людях, которые погибли,— уточняет Аметт,— я вижу». «Я заперт, заточен, замурован в своей памяти». Он действительно «видит» все, что было тогда, так, словно это имеет место сейчас, рядом с ним. Проходит ли он по площади, которую называют, не вслушиваясь в сочетание слов, площадью Сопротивления, видит ли имена, выбитые на мемориальных досках, смотрит ли веселый довоенный фильм— его воображение неотступно рождает картины мук и разрушений.

«Все те же дрожащие кадры в свинцовом свете, все те же фасады медленно распадаются, застывая на мгновение в воздухе и обрушиваясь на трамвайные пути, прихватывая с собой столбы фонарей. Это все время одна улица, в каком бы городе она ни находилась — свинцовое тяжелое небо, внезапная темь и застывший в страхе прохожий...» Находит Аметт и виновника, узаконившего философию забвения: для него это самодовольное холодное «общество потребления». Он передает подслушанный разговор: два человека смотрят на мемориальную доску — «Нашим братьям-железнодорожникам, погибшим за родину». Один скользнул взглядом и отвернулся, на лицо другого набежала тень. На удивленный вопрос: у вас, мол, что, погиб здесь кто-то из близких? — тот, погрустневший, отвечает язвительно-раздраженно: «Я высекал эти имена, а тут много длинных — Дюпон-Дюбрей, Леви-Арно... На меня тяжело действовала эта работа. Пока я выводил имя, я как бы входил в семью». Нет, отвечавший не обязательно и впрямь был гравировщиком. Просто каждый, кто читает эти имена, должен «войти в семью», разделить ее горе.

Вот город залечил свои раны, оделся в бетон и стекло, заасфальтировал свои улицы, так что не осталось ни сантиметра земли, заставил все холодильниками, телевизорами и стиральными машинами разных размеров, миксерами, озонаторами, электросушилками, громоздкой музыкальной аппаратурой. «Социальная и моральная анестезия»,— роняет автор. Ниточка жизни, связывающая нас с другими эпохами, «тончает и совсем исчезает».

Сваи, которые вбивают в грунт, кажутся рассказчику страшными инструментами, с помощью которых «забивают поглубже в землю память о тех, кто погиб. Чудовищное убийство памяти...»

Вещи, искусственное веселье в окружении игральных автоматов убивают душу, потому что уничтожают память. А человек без памяти легко опять пустит события на самотек. Аметт уверен, что, если бы все были, как он, «подключены» к памяти предшествующего поколения, новой войне не удалось бы разразиться. Аметт не так уж далек от истины, именно поэтому и кажется доброй приметой внимание тех, кто не видел войны, к ее событиям.

«Ветеранами нового типа» горестно, но и с надеждой назвал юных, чье сознание отмечено трагедией второй мировой войны, Жан-Пьер Шаброль. Как ни сложно им отыскать правдивую ниточку в том клубке разноречивых толкований, которые предложены «желтой» и иных оттенков буржуазной прессой, сама настроенность на волну такой памяти — уже добрый знак.

Аметта терзает память о чудовищных разрушениях и бесчисленных смертях. Для Патрика Модиано драматизм войны — совсем в другом. Он не вспоминает ни бомбежек, ни ран, ни лежащих в руинах зданий. Для него война — это апофеоз ненависти. Ненависти одного человека к другому. Как и Аметт, Модиано не ищет причин. Он только хочет, чтобы такая ненависть больше не восторжествовала никогда.

Но если у Аметта стерт образ фашизма, хотя именно он обрушил на планету катастрофический шквал огня и свинца, Патрик Модиано ощущает человеконенавистничество фашизма каждой клеточкой кожи, как если бы оно коснулось его лично. Писатель не знал своего отца; одна из версий его гибели — смерть в еврейском гетто, каких много настроили теоретики и практики «нового порядка». И вот, теряясь в мире, где «не за что зацепиться», Модиано начинает поиск своих корней, своей родословной, своей «личной истории», которая оказывается неотделимой от Истории большой.

Творчество Модиано — феномен почти исключительный. Он был замечен сразу, едва, двадцати трех лет, опубликовал «Площадь Звезды» (1968); потом интерес к нему и не упал, как это бывает нередко после яркого дебюта, и не просто «стабилизировался», как было, например, в случае с Франсуазой Саган, чье творчество хотя и не ушло из поля зрения критики, но больше уже никого не будоражило неожиданностями. От романа к роману волна интереса к Модиано поднималась: премия Роже Нимье в 1968 году, Большая премия Французской Академии в 1972-м, Гонкуровская премия в 1978-м. И параллельно нарастало удивление: почему этот молодой и «бесспорно самый талантливый из молодых французских писателей», как восхищенно писала критика, во-первых, совершенно равнодушен к повествовательным изыскам авангардистов, а во-вторых, так упорно, словно завороженный, все время пишет и пишет о войне, которую не видел, не знал?

Действительно, возьмем ли мы «Площадь Звезды», которую Модиано написал раньше, чем ему исполнилось двадцать, возьмем ли «Ночной дозор» (1969), «Бульварное кольцо» (1972), «Семейную хронику» (1977) или «Улицу темных лавок» (1978) — везде мотив прошедшей второй мировой—своеобразный камертон повествования. «Память родилась до меня. Я почти уверен, что жил в Париже времен оккупации»,— поясняет герой «Семейной хроники». Рассказчик, обнаруживающий много автобиографических черт, проигрывает в воображении модели судьбы своего отца. Может быть, тот был среди макизаров, может быть, просто прятался в глуши от антисемитских облав, а может быть, был вынужден, спасая жизнь, служить у немцев... Герой-рассказчик то сливается с тем персонажем, который рожден его воображением, то отстраняется от него и решительно судит.

Очень своеобразно соотношение эпох и героев в романе Модиано «Бульварное кольцо».

За кольцом периферийных бульваров, опоясывающих Париж, тянется предместье, облюбованное состоятельными парижанами для загородных вилл. Циники, ловеласы, прожигатели жизни: редактор порнографического журнальчика Жан Мюрай; его дочь Ани — гулящая актрисочка, являющаяся к венцу после ночной попойки в одном из притонов; жених ее — солдафон и бабник с графским титулом Ги де Машре; эмансипированная амазонка Сильвиана Кемп и еще целый рой отвратительных темных личностей, справляющих здесь, в предместье, свой шабаш. Сначала лишь намеком обозначено время действия: «в такую эпоху, как наша», «странная эпоха», «в такие времена ничему не удивляешься», «тревожные времена», «опрокинуты все ценности». Постепенно читателю становится ясно, что Париж оккупирован немцами, но для всех этих весельчаков драма совсем в другом: в том, что скоро власть Гитлера кончится (война идет к своему финалу) и им придется расплачиваться за коллаборационизм. С мрачным юмором в подлитии паясничают они, «репетируя» речи перед виселицей. Собственно, и начинается-то роман с того, что рассказчик, рассматривая старую фотографию, отмечает на ней лица людей, которых уже нет, которые после войны были расстреляны за сотрудничество с оккупантами. Вглядываясь в пожелтевшее от времени фото, герой разматывает в воображении новую ниточку судьбы своего отца — что с ним было бы, если бы он тогда оказался среди этих циников и монстров?

И вот придумана целая история: безвольный отец-неудачник, бросивший сына в приюте, вдруг решает забрать его к себе и даже приспособить к своим темным спекуляциям — то книгами, то марками. Потом, не выбравшись из нищеты, не прочь

от сына снова избавиться (эпизод, когда мальчик то ли случайно, то ли от толчка отца падает на рельсы метрополитена, остается в романе символом вражды, которая отталкивает детей от родителей). Но здесь Модиано сильно корректирует обычный для западной литературы мотив всеобщего отчуждения. Мальчик так и не начал ненавидеть отца; жалость к нему, сыновья нежность берут верх, и он через несколько лет принимается за поиски этого странного родителя, сбежавшего сразу после инцидента в метро.

Тем временем война вступила в свои права. Юноше уже двадцать семь, и отец не узнает его, когда тот оказывается с ним рядом; отец заводит знакомство с Мюраем и Машре, даже соглашается публиковаться в их журнальчике, хотя и переполнен отвращением. «Если бы не та критическая ситуация, в которой я находился, я бы дал ему пощечину. Как может эта продажная душа вообразить, что я с легким сердцем приму его предложение сотрудничать в этом грязном листке доносчиков, продажных писак?»

Оценка этой среды коллаборационистов в романе абсолютно ясна, здесь нет никакой двойственности. Двойственно отношение юноши только к отцу, которого он презирает за рабскую услужливость (Мюрай и Машре используют его в махинациях с валютой и фальшивыми документами), но надеется вытащить из этой клоаки. «Как бы то ни было, я разделю вашу судьбу»,— дает сын клятву сам себе, по-прежнему не открывая отцу своего имени.

Во время очередной вечеринки сын выходит погулять вместе с одним из гостей, только что откровенно хвастався своей ненавистью к коммунистам, евреям, партизанам, и убивает его, говоря себе, что только приблизил ту минуту праведной мести, которая все равно неизбежно ждет этого пособника фашистских палачей. Отцу и сыну удается сбежать в Париж, но на улице Риволи их настигают каратели. В полицейском фургоне отправляются они навстречу своей страшной судьбе — такова последняя сцена романа. Рассказчик существует в книге как бы в двух измерениях: во-первых, юноша, который в дни войны был рядом со своим отцом; во-вторых, юноша, родившийся уже после войны и восстанавливающий по каким-то крохам чужих рассказов жизнь отца во время оккупации.

«Как же вы, такой молодой, могли знать этих людей?» — недоуменно спрашивает тот, кто показывает рассказчику пожелтевшую фотографию. «Действительно,— звучит в книге авторский голос,— каким образом я мог знать вас, когда вы не были еще моим отцом?»

Сейчас биологи и психологи много пишут о генетической памяти. Французская критика определяет феномен Модиано как «спуск в глубины коллективной памяти». Да, это коллективная историческая память: ведь эпоха, которая завершилась в 1944—1945 годах, продолжается тем не менее и сегодня. Она интенсивно живет в сознании наших современников, независимо от того, причастны ли они лично к событиям войны и Сопротивления.

Творчество Модиано говорит о том, что молодому поколению очень трудно пробиться к правде о войне. Слишком много путаницы внесли в ее историю буржуазные газеты, журналы, псевдодокументы, периодически вытаскиваемые на свет ради очередной сенсации, задача которой — еще и еще раз бросить неверный отсвет на эпоху трагедии и героики.

В «Бульварном кольце» Патрик Модиано смог удалиться от этой полосы неверного света на самую дальнюю дистанцию.

В сценарии «Люсьен Лакомб» (1977) он, напротив, приблизился к ней, к сожалению, максимально. Правда, и здесь правильнее сказать, что масс-медиа — в данном случае кинематограф — использовали зыбкость оценок Модиано явно в неблаговидных целях, а сам сценарий объективно не имеет все-таки того звучания, которое получил фильм «Люсьен Лакомб», снискавший громкую недобрую славу.

Действительно, деревенский парень Люсьен Лакомб, если вчитываться в текст, изгнав из памяти образы фильма, отталкивает своей тупостью. Он становится подручным СС, не думая, не размышляя. Встреча с учителем-партизаном, визит матери, стыдящейся сына, драма еврейской семьи, в которую он входит на правах человека, полюбившего красавицу Франс, цинизм и жестокость его дружков-полицаев — все должно бы пробудить в Лакомбе муки совести: ведь, согласно сценарию, перед Лакомбом оба полюса, противостоящих друг другу в той борьбе, что шла не на жизнь, а на смерть. Негативную окраску этому образу сообщает полная «выключенность» сознания Лакомба. В его памяти абсолютно не соединяются какие-то эпизоды, детали, которые в сознании читателя связываются и «звучат». Лакомб — как чистый лист бумаги, на котором можно написать любую программу. А материальные преимущества, получаемые от определенной — нацистской — «программы», чем дальше, тем больше побуждают Люсьена Лакомба держаться одной стороны, пододвигая, так сказать, «чистый лист» своего сознания ближе к тому индикатору, который выводит кривую нацистской ориентации.

Текст сценария «Люсьен Лакомб» — хотя и делал главным действующим лицом француза, добровольно ставшего подручным оккупантов,— носил все-таки антифашистский характер. Но при переносе сценария на экран образ Лакомба был сориентирован в определенном направлении: из туповатого солдафона Лакомба превратили в очаровательного голубоглазого парня, который рад бы всем помочь, да не получается. Хочет помочь немцам — вынужден арестовать Альберта Хорна, в дочь которого, Франс, влюбился; хочет развлечь Франс — обрекает ее на оскорбления оголтелых расистов. В финальных кадрах, которые следуют друг за другом без всякого сопровождающего текста, показан некий оазис (Лакомб увозит Франс куда-то в глубь лесов, и торжествует пасторальная идиллия) — место вне истории, которое позволяет наконец каждому делать то, что хочется, а не то, что получается. Воздействие обстоятельств отменено — и человек становится благородным, нежным, сильным. Собственно, вопрос выбора, сделанного Люсьеном Лакомбом, в фильме полностью снят. Так в пре-

делах одного и того же произведения — в варианте книги и варианте кинематографическом — те же черты характера (слабость воли, нежелание размышлять) могут получать различное идеологическое истолкование: или как прямое соучастие в преступлении, или как похвальная «жажда жить вне всяких идеологий» (из рекламы фильма, «объяснявшего» и защищавшего идеологию коллаборационизма).

К подобному объяснению, к сожалению, склонны многие из нынешних молодых писателей. Таков, например, смысл одной из линий многопланового романа Жана-Мари Руара (род. в 1943 г.) «Канун войны», получившего премию Ренодо за 1983 год. Герой Руара — Пьер Ленар,— которому автор отдает свои симпатии, пресловутыми «обстоятельствами» вовлечен (как и Люсьен Лакомб) в сотрудничество с оккупантами: он принимает портфель министра в правительстве Виши. Там, используя свое положение, пытается помогать патриотам, достает фальшивые документы, организует выезд за границу, вызволяет пленницу Дранси. Ленар не скрывает своей неприязни к коммунистам: для него «истинная революция состоит в том, чтобы поставить у власти компетентных людей... Когда такая элита будет у кормила, утратит смысл классовая борьба, рабочие поймут, что люди, выросшие из их среды, борются за их интересы вместе со всеми, кто представляет здоровые силы нации».

Судьба Пьера Ленара должна напрямик подтвердить мысль Борхеса, вынесенную в эпиграф романа: «Все, что происходит с человеком — от дня появления на свет до кончины,— им самим предопределено. Всякое внимание — умышленно; всякая случайная встреча — это свидание; любое горе — наказание; успех — всегда победа, к которой тайно стремишься». Избрав «пассивное сотрудничество» без учета зависимости Виши от Германии, Ленар предопределил свой конец. В Виши его могли расстрелять за помощь патриотам; в Алжире, где базируются армии «Свободной Франции», его ведут на расстрел за коллаборационизм (сцена повторена в романе дважды — в первой и последней главах). Автор сентиментально оплакивает и «фатально неизбежное» преступление героя, и расплату за него. Будь эта линия в «Кануне войны» единственной, роман оказался бы за порогом тех явлений, которые позволяют говорить о стремлении молодых всерьез изучать опыт прошлого. На самом деле книга Руара останется в истории литературы именно как характерный симптом возвращения к теме войны.

Само название и выбор времени, когда происходит действие (1933—1944), свидетельствуют о сознательной ориентации. Попытка придать действию панорамность (высшие сферы власти, приемы у министров, правительственные переговоры, английские соединения армии де Голля, Алжир, действия партизанских отрядов в самой Франции и т. п.) тоже говорит о желании добиться определенного историзма. В юности Пьер Ленар и его друзья — Роллан де Невилль, Пьер Вайсберг, Эрик де Спам — не стыдились своего интереса к Моррасу и Дорио, мечтая о сильной власти. Мюнхен и оккупация показали им оборотную сторону медали, и каждый по-своему ответил на этот вызов: Роллан де Невилль стал подпольщиком, выполняя самые рискованные поручения; Пьер Вайсберг ушел в маки и погиб в бою; Эрик де Спам, под именем Валлес, вел конспиративную работу, а потом, вырвавшись из лап полиции, занял высокий пост в армии союзников в Алжире.

Роману «Канун войны» не чужды приемы «массовой литературы»: весьма изобретательны вариации любовных треугольников, высокого накала достигают сцены ревности, почти как в детективном романе действуют герои, чтобы явиться на свидание с любовницей, усыпив внимание жены, или, напротив, проследить маршруты жены, с завидной пунктуальностью покидающей дом в определенные дни и часы. Но одновременно эти же персонажи вовлечены в другую игру — куда более опасную, серьезную — с теми обстоятельствами, в которые их поставила История. Повествование, избравшее поначалу русло адюльтерного романа, завершается трагическими размышлениями о власти и ответственности Человека перед Историей. Автор намеренно беспрерывно сталкивает два плана — интимный и общественный, показывая не столько пугающее несоответствие между ними, сколько прямую зависимость личного от общего. «Они надеялись заговорить, отдалить несчастье наслаждениями...»

Но это не получается. Значимость общего возрастает, оно разрушает иллюзию, будто возможна тихая «бухта любви» во время шторма на море Истории. «Сознание героев Руара,— писал об этой книге Ален Боске,— пробуждается толчками». Мысль о неизбежности выхода каждого на встречу с исторической реальностью отчетлива в романе. Автор оставляет открытым нерешенный им, видно, и для себя вопрос: что же предпочтительнее — «творить историю или терпеть ее», действовать или отстраниться от действия. Одно он осознает ясно: даже отстраняясь, человек — во власти истории своего века. Историю не обманешь потрясающе сладкими наслаждениями, от нее не спасут ни гектары тенистых парков, ни вожделенные титулы, ни банковские счета — таков главный вывод книги, несущий, как всякое прощание с иллюзией, целительный смысл.

«Романистом недавнего прошлого» назвал Руара один из французских рецензентов, а сам Руар так объясняет «бум истории» в сегодняшнем романе и свое решение обратиться к событиям, которые происходили до его появления на свет: «Историю почти совсем изгнали из учебников — с тем большей силой врывается она в роман. Настоящий реванш. Кажется, никогда раньше роман с такой жадностью не черпал сюжеты из бурной реки великих свершений, страстей, вражды. И, наверное, благодаря этой жадности роман смог победить паралич и засуху, на которые обрекали его авангардисты 60-х годов. Опираясь на историю, роман способен выйти из любого, самого глубокого кризиса».

И Руар и Модиано, писала критика, широко открывают для Истории двери в свое творчество, но если Модиано при этом «заметает следы», то есть дает все время разное освещение событий тех лет, то Руар

«ждет, чтобы История сама осветила все следы». Следы, ведущие в сегодняшний день, когда тоже надо выбирать, когда тоже нужна бдительность, чтобы не очутиться ненароком, по слепоте, в стане тех, кому война выгодна.

Аметт потрясен разрушениями, которые принесла война, Модиано и Руар — разрушением человеческих душ: для тех, кто не находил точку опоры в противостоянии фашизму, довольно короткой оказывалась дорога к сотрудничеству с «новым порядком». Их сверстник Паскаль Лэне, обратившись тоже к событиям войны, избрал ракурс еще более сложный. Война предстает в его романе «Земля теней» (1982) как рубеж двух миров — капитализма и социализма. Социализм ему совсем неведом, и автор рассказывает о нем с чужого голоса, настроенного на антисоциалистическую волну. Зато капитализм — тот мир, который предпочел его герой Витольд,— Паскалю Лэне знаком отлично; его зловещие приметы находили мы и раньше в повестях Лэне, переведенных на русский язык,— «Ирреволюция» (1971) и «Кружевница»[1] (Гонкуровская премия, 1974).

Отвратительное лицо капиталистического бизнеса, умерщвляющего души почти с той же беспощадностью, с какой умерщвляла их война, увидим мы и в «Земле теней». Книга разбита на три главы, первая и вторая названы «эпохами». «Первая эпоха» — до войны, тревожное ожидание катаклизмов. «Вторая эпоха»—страшная участь варшавского гетто в дни войны и торжество мира, который оказался совсем не таким, о каком мечтали юные герои, прятавшиеся от фашистских ищеек. Третья, озаглавленная «Конец»,— годы, проведенные Витольдом, теперь знаменитым кинорежиссером, во Франции. Мы видим этого «Данте кинематографа» на вершине славы, окруженного почтительными корреспондентами и истеричными поклонницами. Он движется, открывает глаза и рот, но перед нами — живой труп, и он прекрасно осознает это. «Его взгляд плыл от бесцветности голубоватых глаз сквозь предметы, вещи и души, словно новый Данте ни на чем не мог его остановить... Как заключенный, которого бросили в одиночку, он рассматривал в пространстве потолок, ребра стен. Он снова — в который раз! — почувствовал себя заложником этих десятков людей, которых ему представили, имен которых он не запомнил. Вернее, у него было ощущение, будто все они носят одно имя...

Отчаяние оттого, что он не может быть где-нибудь в другом месте, понимание своей беспомощности перед неотвратимым потоком вежливых слов... доводило его до тошноты, которую почти невозможно было подавить».

Автор перебрасывает мост между временем войны и временем такого мира и напрямик говорит, что смерть настигла Витольда именно здесь, в удушающе притворных коридорах славы. «Ведь тот, кто спасался бегством в городе, похоронившем под своими развалинами миллионы трупов, думал о жизни, только о жизни».

Там, на вершине призрачной славы, о жизни Витольд уже не думает: ни надежд, ни любви, ни дружбы. «В тишине и мире» наступила настоящая смерть. Название главы тем самым символично — не просто последняя глава, конец книги, но конец жизни.

Паскаль Лэне остался верен своей основной теме, воссоздавая бездушие, антигуманность уклада существования в «обществе потребления». Только в последней книге он оттеняет эту тему предысторией, которая стоит за плечами героя. Именно там хочет он тоже отыскать следы, ведущие в сегодняшний день.

Книги, о которых шла речь выше,— лишь небольшая часть из тех, что посвятили молодые французские романисты второй мировой войне. Уже беглое знакомство с ними убеждает: молодому поколению гораздо труднее пробиваться к правде о войне, чем старшим, для кого война — личный опыт. Родившиеся после войны с самого первого дня росли в атмосфере изощренной пропаганды, которая не располагает к глубокому, правдивому анализу столкновения социальных и исторических сил.

Общественное мнение формируется не только искусством. Передовые статьи газет, навязывающих натовскую философию силы, предвзято отобранная информация, фальшивые речи в Белом доме или Вестминстерском дворце тоже оказывают — и немалое! — влияние на умы. Но ведь и статьи, и радиоголоса, и предвыборные или иные речи — это слово либо звучащее, либо прочитанное. Значит, этому слову может противостоять слово художественное, образы, рождающиеся у рампы, на экранах или страницах книг. Было бы недальновидным недооценивать такое столкновение слов и считать, будто искусство бессильно. Конечно, широко известно, что мощной антифашистской литературе 30-х годов не суждено было — увы! — остановить шквал второй мировой. Но известно и то, что, если бы в 30-е годы антифашизм не пустил такие глубокие корни в сознании большинства европейцев, может быть, и не сложилось бы в Европе антифашистское подполье военных лет — отряды макизаров и партизан, сеть конспиративных печатных изданий и патриотических радиостанций, а значит, и баланс сил после войны, вполне вероятно, был бы иной.

Сегодня, когда ветераны, прошедшие войну, передают судьбу планеты в руки молодых, от мнения этих молодых зависит очень многое. Зависит, может быть, главное — быть или не быть планете Земля в Солнечной системе.

Только осколок зеркала, пронесенного по дорогам войны, протягивают читателю Жак-Пьер Аметт, Патрик Модиано, Жан-Мари Руар и Паскаль Лэне, отодвинувшие за пределы своего внимания многие важнейшие факторы, словно «забывшие», что без Французской коммунистической партии не стало бы решающей силой французское Сопротивление, а без участия советского народа в сражении с гитлеризмом не остановить бы эпидемии коричневой чумы. Такая

[1] Опубликована в «ИЛ». 1976, № 9.

«забывчивость», конечно, внушена молодым идеологами, сознательно искажающими уроки истории; но и, умолчав о чем-то весьма существенном для понимания исторической ситуации, эти книги сказали свое, достаточно веское, слово и против фашизма, и против попустительства ему.

Опыт героев таких произведений — как бы ни был он противоречив — учит вниманию к тому, что происходит в большом мире, учит связывать воедино настоящее и прошлое, чтобы такое прошлое не повторилось.

Пусть удивляются, недоумевают критики, отчего это дебютанты «смотрят в прошлое», соперничая в этом пристрастии с писателями, возраст которых, естественно, располагает к воспоминаниям. Пусть настойчиво внушают им «учителя» вроде Жака Лорана, что лучше забыть об отцах и «начинать действовать с нулевой отметки». Нет, именно туда, к опыту отцов, устремлен взгляд молодых. Слишком тревожно в мире, слишком много географических точек, где и сейчас льется кровь, слишком быстро растут запасы смертоносного оружия. Молодая Франция, встревоженная размещением «Першингов» на европейском континенте, живет дурными предчувствиями и видит в ночных кошмарах снова петеновские трудовые лагеря, антисемитские погромы, застенки Франко, костры из книг на площадях Берлина, печи Освенцима... Молодая Франция помнит о тех трагедиях, в огне которых родился современный мир. И может быть, силе исторической памяти суждено в конце концов уберечь сегодняшних тридцатилетних от необходимости взглянуть в глаза войне и смерти.

◆

Критика

С. ПРОЖОГИНА

«ПОКА НЕ СБУДУТСЯ МЕЧТЫ...»

О творчестве Рашида Буджедры

Алжирец Рашид Буджедра — представитель литературы, возникшей в тех странах Северной Африки, которые долгое время находились под французским господством и где франкоязычие преобладало на начальных стадиях формирования новых национальных культур. Вступив на творческий путь в середине шестидесятых годов, то есть уже после обретения Алжиром независимости, Буджедра вскоре занял видное место в ряду писателей, выдвинувшихся еще во времена национально-освободительной борьбы (1954—1962 годы). Это поколение прозаиков и поэтов славно именами Мулуда Ферауна, Мухаммеда Диба, Мулуда Маммери, Катеба Ясина, Малека Хаддада, с чьими произведениями советский читатель не раз имел возможность познакомиться на страницах журнала «Иностранная литература»[1] и в отдельных изданиях.

С этими известными алжирцами (так же как и с их коллегами — демократически настроенными писателями соседних Марокко и Туниса) Буджедру роднит стремление сделать литературу зеркалом важнейших национальных проблем и решать эти проблемы, опираясь на лучшие духовные традиции собственных народов, но усвоив и опыт гуманистической культуры Запада. Пафос их книг направлен против колониализма и расизма, они показывают пробуждение и эволюцию национального самосознания, формирование новых общественных отношений, вскрывают социальные противоречия. В их прозе слышен яростный протест против косности традиционализма и в то же время обличаются язвы капиталистической цивилизации, идут поиски своего героя — человека, способного не только разрушить мир старый, но и построить новый.

Все это есть и в творчестве Рашида Буджедры, и в этом смысле он продолжает традиции предшественников. Однако писатель значительно углубил темы и расширил арсенал средств художественной выразительности.

Произведения Буджедры с самого начала отличали остросоциальное видение, психологизм, умение показать события через восприятие личности, способной оценить их в исторической перспективе. При этом, совмещая порой, казалось бы, несовместимые начала искусства, он переосмысляет сюрреалистическую поэтику и использует мифологизирующий элемент, ставя все это на службу именно реалистическому методу изображения. Экспрессивно сгущая или нарочито натуралистически «разлагая» образ старого мира, который — Буджедра верит в это — исторически обречен, писатель хочет добиться особой объемности повествования, при которой главная мысль не растворялась бы, но многогранно высвечивалась, подчеркивалась в разных ракурсах и держала бы в напряжении внимание читателя. Ему как художнику всегда важно не просто рассказать о событиях, волнующих его и его героев, но погрузить читателя в тот мир, который запечатлен на страницах произведения.

Буджедра неоднократно говорил в интервью, что главная его забота — Будущее Алжира. Во имя него он делает предметом художественного осмысления нынешнюю реальность в процессе ее изменения, которое предполагает непрерывную связь времен. Вот почему в его романах так часто своеобразное «наведение мостов» между реальным, настоящим — и памятью героев

[1] В частности, в «ИЛ» был опубликован роман Мухаммеда Диба «Большой дом» (1955, № 5, 6) его рассказы (1961, № 7; 1964, № 8,; 1967, № 11) и стихи (1961, № 10; 1964 № 7), фрагмент книги Катеба Ясина «Живая память» (1968, № 9), роман Малека Хаддада «Последний отпечаток» (1962, № 5) и его стихи (1964, № 7); а также роман Мулуда Ферауна «Земля и кровь» (1956, № 7) и главы из его книги «Дни Кабилии» (1970, № 4). *(Здесь и далее прим. ред.).*

о прошедшем. Вот почему так целенаправленно в большинстве произведений он сосредоточивает внимание на тех негативных особенностях жизни своей страны, которые оказались устойчивыми не просто в силу инерции, но и из-за того, что реакционные элементы общества стараются искусственно консервировать отсталые социальные формы, мешающие прогрессу нации. Протест Буджедры направлен против наследия феодального и колониального прошлого. Голос писателя, находящегося в авангарде борьбы за дело алжирской революции, звучит в защиту тех идеалов, с которыми связаны лучшие, героические страницы истории его народа, в защиту неумирающих традиций сопротивления социальному и духовному угнетению

Начинал Буджедра как поэт. В 1965 году он выпустил в свет сборник стихов «Чтоб больше не мечтать». Не бесплодные иллюзии, но активная борьба за революционные идеалы — вот основа его мироощущения. Все свое вдохновение, весь жар сердца, всю силу души он отдает народу, чтоб «не увяли красные розы его надежды», не сникло под натиском невзгод и неурядиц высокое стремление к свободе и счастью. И чтобы путеводной звездой для алжирцев, дорогой ценой завоевавших свободу, стала убежденность в справедливости народных идеалов и ничем не омраченная вера в них: «Вперед! Пока не сбудутся мечты...»

Основа образной экспрессии в поэзии Буджедры строилась на этом напряженном призыве, на целеустремленности, на очевидной политической заостренности, усиливавшей гражданский потенциал стихов, но не лишавшей их лирико-романтического звучания.

Романное творчество Рашида Буджедры вызревало позднее, после окончания революционного брожения в Алжире, в годы социально-экономической реконструкции, культурных преобразований, то есть в ином социальном и психологическом климате, когда своеобразной проверке подвергалась способность народа выстоять и преодолеть трудности. Но неизменное желание служить избранным идеалам связывает «прозаический» этап творчества писателя с его прежними поэтическими опытами, сообщает им ту же эмоциональную окрашенность и большой силы социальный заряд.

Первый роман Буджедры, «Отвержение», был завершен в 1969 году. Написанный от первого лица, он и впрямь отмечен некоторыми автобиографическими чертами: детство и юность автора прошли в обстановке, во многом подобной той, которая воспроизводится в романе. Из смещенных во времени и пространстве фрагментов исповеди больного героя, Рашида, всплывающих в его омраченном горячечным бредом сознании, постепенно вырисовывается страшная картина жизни в тисках средневековых традиций и нравов, страстно отвергаемых самим писателем. Уже в раннем детстве душа героя восставала против уродливых форм социального бытия, освященных религией и шариатом, а позднее, в лицее, он научился различать и истоки этого зла: стремление властей имущих увековечить миропорядок, основанный на угнетении. Таким образом им была выстрадана убежденность, что и в новой реальности следует отвергать все то, что видимыми и невидимыми нитями связано с мучительным для него кошмаром прошлого — того времени, когда царило колониальное разделение на рабов и хозяев, а феодальные пережитки, средневековая мораль держали народ во мраке невежества.

Написанный в 1972 году роман «Солнечный удар» развивает в значительной мере те же темы, что и «Отвержение», напоминая его даже композиционно: он так же написан в форме исповеди больного героя. И так же эффективно в нем действует прием «гирлянды лампочек», когда-то введенный А. Камю. «Вспыхивая» одна за другой, они как бы высвечивают в памяти героя, Мехди, те узловые моменты жизни, которые постепенно подводят к пониманию развязки. С развязки — такова особенность их композиции — начинаются оба романа. Но если в первом Буджедра «проявлял» в памяти героя картины детства и юности, как бы соотнося изображаемое с историческим прошлым Алжира, то во втором смятенный разум Мехди фиксирует приметы неизжитого прошлого уже в жизни новой. Загубленная судьба матери, «отвергнутой» отцом героя, пожелавшим взять юную наложницу, воплощала в первом романе Буджедры вековое насилие, творимое над женщиной в мусульманском мире. В «Солнечном ударе» исчезновение (или предполагаемая гибель) студентки Сельмы объясняется тем, что и в современном обществе женщине невозможно пока жить по закону свободного выбора. Обязанность свято следовать традиции, по которой только отец имеет право дать ей мужа, часто приводит к трагическому исходу. Женщина в охраняемом мусульманскими догмами мире живет «как в тюрьме» и изначально обречена. Это обусловливает в книге Буджедры недоказуемость вины героя, которого родня исчезнувшей девушки обвиняет в ее убийстве.

Нельзя не отметить особую значимость именно женских персонажей в творчестве Буджедры. С ними (так же как и в книгах многих других североафриканцев) связан у него прежде всего образ многострадальной родины, подвергавшейся завоеванию, веками испытывавшей угнетение. Отсюда характерное для Буджедры совмещение планов в воспоминаниях героев: картины детства сопрягаются в них с несчастьями и бедами, обрушивавшимися на страну. Вихрем проносятся перед их мысленным взором былая жизнь, пронизанная ужасом перед непостижимой для разума, почти шаманской, колдовской силой старых обрядов и ритуалов, сопровождавшихся исступленными заклинаниями и кровавыми жертвоприношениями животных. И параллельно с этим смелой и сильной рукой мастера нарисованы эпизоды освободительной войны, обнажающие истоки неотступной веры в справедливость и неизбежность Возмездия. «В памяти — только стальной вихрь и рассеиваемый вокруг напалм, тысячи разрушенных деревень, толпы нищих и лишенных крова людей, бредущих по дорогам войны... Земля в татуировке, сделанной

сталью снарядов... Старуха, смывающая слезы кровью своей убитой коровы».

Так, со страниц уже первых книг Буджедры вставала его родная страна, страдавшая от ран, полученных в жестокой и неравной битве с врагом, отнявшим у народа землю, и не меньше страдавшая от коварства врага внутреннего, державшего Алжир в сетях социальных анахронизмов, которые мешали вдохнуть полной грудью воздух завоеванной кровью Свободы.

Но не только это. В произведениях Буджедры находят отражение и те острые проблемы современности, которые связаны с новыми явлениями в жизни алжирского общества. Писатель пытается разглядеть их диалектическую связь с Будущим своей страны, отторгнуть то, что может способствовать приближению к нему, от того (и это главное для Буджедры), что мешает продвижению по избранному народом пути.

В вышедшей в 1977 году повести «Упрямая улитка» писатель затронул проблему современной алжирской бюрократии, ее «технократизации», постепенного отрыва от народа, за счет которого она реально существует, создание ею видимости собственной «нейтральности», а на деле солидарности с самыми консервативными силами алжирского общества.

Написанная в необычайной для Буджедры манере, «рублеными» фразами, сухим и четким «канцелярским» языком, как докладная записка или недельный отчет чиновника начальству, «Упрямая улитка» гротескно изображает духовное и физическое вырождение человека, живущего в плену бумажного царства, в тесном и душном мирке бессмысленных, но производимых с фанатическим упорством расчетов и подсчетов. Утративший нормальный контакт с окружающей действительностью, предпочитающий в конечном итоге стать узником тюрьмы, где можно «спокойно спать и испытывать удовольствие от сознания четко исполненного служебного долга», герой повести Буджедры становится символом самого бюрократического универсума, психологическую атмосферу которого необычайно образно воссоздает писатель. А вся повесть — «сигналом тревоги», предупреждающим общество о такого рода социальной опасности.

Через два года после «Упрямой улитки» выходит в свет одно из самых значительных и крупных произведений алжирской литературы прошедшего десятилетия — роман «Тысяча и один год ностальгии». Буджедра обращается в нем к еще одной важной и серьезной проблеме развития современного алжирского общества, связанной с «самосознанием арабского мира», «его колебаний,— как говорит писатель,— между продвижением вперед, к прогрессу, и тягой к прошлому, пассеизмом». Именно от того, считает он, на что ориентируется сегодня сознание арабских народов, на какие духовные ценности национального наследия и современности, зависит и само Будущее этого мира.

Создавая в фантастическом романе образ человека, «ищущего свое имя», желающего утвердить собственную принадлежность к «великим предкам нации», писатель как бы предупреждает о возможных последствиях абсолютизации такого рода «поисков», он направляет сатирический удар на бессмысленное упорство попыток «возвратиться к прошлому», на бесплодность искусственно поддерживаемого (чаще всего силами извне) традиционализма. Своеобразно обыгрывая ситуацию романа Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества», используя созданную латиноамериканским писателем символику мифа о вырождении племени Буэндиа, Буджедра создает алжирский вариант сказания о смертельной опасности культурной самоизоляции и социально-исторического самообособления [1].

«Все мои мысли — о будущем» — эти слова Буджедры особенно важно помнить сегодня, когда писатель обращается, как это ни парадоксально, к проблеме прошлого. Ибо — и так считает он сам — в бесконечной цепи, состоящей из событий, расположенных в их временной последовательности, прошлое обусловливает настоящее и подготавливает Грядущее. Поэтому, обращаясь даже к истории не столь отдаленной, но исключительно значимой для его родины, к алжирской войне, Буджедра, по существу, ищет в ней Непреходящее — урок, пример и абсолютную ценность того подлинного настоящего времени, в котором человек обретает самого себя.

В романе «Обладатель кубка» (1981), написанном на документальной основе, герой-подпольщик, работающий на территории врага, в метрополии, воплощает образ «народного мстителя», для которого главное — быть честным борцом в справедливой борьбе народа. Неудачи в этой борьбе, поражения и отступления, минутная слабость, даже тюрьма, даже смертный приговор — все это ничто в сравнении с волей героя к победе.

«У Истории один герой — народ». Этот девиз алжирской революции Буджедра взял эпиграфом к роману Его народный мститель, совершающий возмездие, сознательно идет на гибель, но исполняет волю народа (точным выстрелом он убивает на огромном стадионе предателя алжирской революции). Тем самым он становится безымянным героем, единственным победителем в истории, имя которому — народ. Эпизод прошлого, исторический факт, имеющий для Буджедры огромный смысл, не только позволяет воскресить дух народной эпопеи, но и становится важным звеном его излюбленного повествования о будущем. Ибо опыт отдельного человека, вступившего в борьбу за народное дело, синонимичен коллективному опыту, адекватному задачам истории. Таков необходимый этап продвижения вперед.

Эта же, в сущности, мысль, хотя в другой, более драматической интонации, звучит и в романе «Ломка» (1982) — произведении тонкопсихологическом и в то же время острополитическом. Герой романа Тахар Эль Гомри, коммунист, бывший подпольщик, партизан, прошедший во время алжирской войны через многие страдания, тяжело переживший смерть единомышлен-

[1] Подробно о романе см. статью В. Иорданского «Когда арена — народное воображение» в «ИЛ», 1982, № 4.

ников, товарищей по оружию и чудом уцелевший в исторической для народа «ломке», так и не находит своего места в новой жизни. Мысль о том, что путь человечества вообще — это путь ошибок, а история — торжество несправедливости, сокрушает дух героя, и он медленно «дотлевает» на пепелище надежд, измученный тяжелой болезнью. С прежней жизнью его связывает лишь подобие удостоверения личности — хранящаяся у него полуистлевшая фотография, на которой изображен его погибший отряд. Для героя это не просто отпечаток прошлого, но единственное со смыслом прожитое время, когда у них была вера в силу интернационального братства, надежда на возможность радикального преобразования общества, когда освободительная борьба против колонизаторов была для них одновременно социальной революцией, сметающей устои старого мира. Но последний вздох героя как бы вливает силы в иное существо: молодая алжирка, случайный друг Тахара, воспринимает его мысли и чувства и словно становится его эхом. Она прочтет дневник, где запечатлены страницы его ушедшей жизни, его героического времени, и в ее сознании снова оживут те, кто боролся и за ее свободу, и за ее надежды. Конец одной жизни, не сумевшей обрести себя в настоящем, дает импульс другой, которая осознает духовное наследие, оставленное Историей, и без него уже не сможет идти вперед.

Взяв на себя задачу в самых общих чертах познакомить читателя с творчеством замечательного, на наш взгляд, алжирского писателя, мы не можем не сказать несколько слов и о романе, опубликованном в этом номере «Иностранной литературы» [1]. Написанный в 1975 году, он словно бы стоит особняком в творчестве Буджедры. Во-первых, потому, что в нем показаны проблемы скорее западного мира, хотя, несомненно, небезразличные и для Алжира. Во-вторых — и сейчас, с дистанции времени, это очевидно,— «Идеальное место для убийства» — произведение, форма которого столь подчинена его содержанию. И образная ткань, и язык произведения — все средства художественной выразительности направлены на выявление страшного смысла «агрессии», метафора которой лежит в основе романа (в буквальном переводе название его — «Идеальная топография для типичной агрессии»). Эпизод убийства алжирского иммигранта, попавшего в подземные джунгли большого города, становится отправной точкой для рассказа о бездушной, антигуманной сущности той социальной системы, которая обрекает человека на гибель в современном «лабиринте смерти»: метро предстает в романе как символ современного капиталистического города.

Буджедра воспользовался распространенной в магрибинской литературе темой все продолжающейся эмиграции североафриканцев в Европу в поисках заработка. Но решил ее отлично от других писателей. В романе «Идеальное место для убийства» непосредственно не показаны нечеловеческие условия существования иммигрантов во Франции (это с блеском сделали алжирцы Мулуд Ферауи и Катеб Ясин и марокканцы Дрис Шрайби и Тахар Бенджеллун), но с большой художественной силой запечатлен образ западной цивилизации, чудовищного «стального капкана», в котором гибнут человеческие надежды и иллюзии. Жертвами агрессии капиталистического «рая» в романе Буджедры становятся не только бедный алжирский крестьянин, уехавший за море искать счастья, но и люди, которые проносятся мимо него в мрачном, хотя и освещенном неоновыми огнями, подземелье. Для них опасность не меньше, пусть они уже и не ощущают ее в своем отупении, не замечают всей силы ее «вторжения», ее тяжести, гнета и плена, не чувствуют, как из них постепенно выжимают душу и превращают в автоматы по перевариванию сомнительных благ «общества потребления».

Убийство алжирца в метро группой фашиствующих молодчиков — лишь один из бесчисленных подобных случаев, о которых сообщают французские газеты, радио и телевидение. Зримо и осязаемо, образным строем и звукописью воссоздана в романе та «идеальная топография», где все сплелось в единый клубок заговора против человека и обрекло его на смерть. Но будет несправедливо видеть в книге Буджедры некий протест против цивилизации вообще или призыв к возврату в «патриархальное лоно», или же своего рода «антизападничество». Обличительный пафос книги имеет определенный социальный и политический адрес. Писатель борется против тех сторон буржуазной цивилизации, в которых видит реальную угрозу демократическим преобразованиям в своей стране, идущим в русле социалистической ориентации. И данная в книге развернутая метафора бездушия и безвыходности капиталистического мира становится как бы предупреждением не повторить пути в «лабиринт смерти», не уподобить собственное развитие капиталистической модели, уберечь от ошибок свою страну, недавно сбросившую ярмо колониального рабства.

Читать книгу Буджедры не просто. Писатель нарочито усложняет текст, «паукообразно», как на схеме метро, разветвляет сюжет, использует звукопись, передающую грохот и скрежет подземного ада, разрывает на фрагменты сюжет, уплотняет поток ассоциаций в мыслях близкого к помешательству героя... Как писал французский критик Клод Прево, при внимательном чтении обнаруживается, что художественные средства, использованные автором в этом произведении, характерны для так называемого «нового романа»: тщательные, пространные описания предметов, употребление аллегорических наименований для обозначения вполне конкретных явлений, отсутствие собственных имен у персонажей, бесконечные монологи, включение коллажей, рекламных и газетных текстов, отчуждение реальности, которая становится загадочной, недоступной пониманию, насыщенность текста намеками, символами, различное толкование слов... Однако за авангардистскими приемами встают карти-

[1] Подробнее о романе см. статью С. Прожогиной «Лабиринт смерти, или Идеальная топография для типичной агрессии» в «ИЛ», 1977, № 1.

ны реального мира: кабильская деревня, эпизоды алжирской войны, люди на фабрике, на заводе, в бидонвилле, в парижском метро, смятые мегалополисом, пролетарии-иммигранты, которые работают, страдают и умирают в нищете, под игом эксплуатации.

Трудность передачи на русский язык «словесного чертежа» этой «идеальной топографии» очевидна. Но и в переводе читатель получает возможность познакомиться с творческой манерой художника, почувствовать его стремление передать работу галлюцинирующего сознания человека, совершающего свое роковое паломничество в бездушный, тиранический мир. Сложность художественной формы призвана лишь проявить и подчеркнуть социально-критическую тенденцию романа, остроту мировидения писателя.

После выхода в свет книги Буджедры прогрессивный французский журнал «Эроп» отмечал: «Язык этого произведения своей красотой подобен с неистовой силой низвергающемуся водопаду. Компактные и мощные страницы одна за другой увлекают читателя в могучую реку мыслей, ассоциаций и образов. Сплав документальной точности и лиризма достигает здесь особого блеска... Это искусство одного из лучших писателей сегодняшнего дня, и книга его делает честь нашему языку».

Развенчивая мифы «благополучного» и «процветающего» западного мира, писатель развивает те черты своего творческого метода, которые связаны прежде всего с традицией реалистической. И никакие внешние приемы формального экспериментаторства, усвоенные им, не могут скрыть социальной обусловленности художественных образов, очевидной гражданской позиции писателя в вопросе о демократическом преобразовании мира. Буджедра в основном показывает то, что он не приемлет. Но и в таком, «негативном», ключе отражая свою эпоху, он — участник борьбы за лучшее будущее, которую ведет его народ.

Алжирский писатель поднимает голос в защиту человека, его идеалов, надежд и веры в силу интернационального братства людей Земли. Земли, которую он мечтает всегда видеть омытой лучами рассветного солнца. И может быть, строки из юношеского стихотворения «Воспрянь!» помогут выразить силу его устремленности к будущему: «Лишь бы проснулись народы, лишь бы воспрянули вместе и не терпели более несправедливости гнет»...

◆

Трибуна переводчика

ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ

КВАДРАТУРА КРУГА— ПЕРЕВОД НЕРИФМОВАННОГО СТИХА

В этом номере мы знакомим читателей с мнением известного болгарского переводчика и литературного критика о проблемах перевода нерифмованной поэзии — белого и свободного стиха. Статья, разумеется, не охватывает всех аспектов затронутой темы. Наиболее подробно рассматривается вопрос о возможностях и способах точной и яркой передачи верлибра на другой язык, в частности на русский. С некоторыми высказываниями автора можно, вероятно, и не согласиться. Надеемся, что разговор, начатый выступлением нашего коллеги, будет продолжен на страницах «Иностранной литературы» [1].

Я не открою, пожалуй, новых истин, если скажу, что едва ли не каждый болгарин и русский знает и любит рифмованную лирику. И поныне в болгарской и русской оригинальной и переводной поэзии преобладает рифмованный стих. Им написаны сотни шедевров мировой (преимущественно славянской) поэзии. И каждое поколение переводчиков ведет новые битвы со словом, чтобы еще совершеннее воссоздать на родном языке произведения Данте и Гёте, Байрона и Мицкевича, Петёфи и Бодлера.

Но существует и поэзия без рифм. Известно, что нерифмованные стихи делятся на белые (то есть лишенные рифмы метрические стихи) и свободные, верлибр (то есть отличающиеся от равносложного силлабического и равносложного силлабо-тонического стиха и преимущественно нерифмованные). В белом стихе сохранены строгий повторяющийся ритм, мужские, женские и дактилические клаузулы, а иногда их чередование, но отказ от рифмы нередко приводит к астрофичности или к бедной строфичности. Для пьес в стихах традиционно характерен пятистопный ямб. И в русской и в болгарской поэзии имеются блестящие образцы белого стиха.

Отказываясь от рифмы, поэт отказывается и от преимуществ, связанных с ней. Но известно, что рифма и другие формальные приемы сами по себе еще не создают поэзии. Она либо существует, либо ее нет. Примером тому служат болгарские пословицы. Яркая мысль, обобщение, остроумие, афористичность, немногословность делают их запоминающимися, придают им неотразимое художественное обаяние, независимо от того, рифмованные они или нет.

Мне кажется, что именно на уровне поэтично звучащих пословиц должен быть написан каждый белый или свободный стих в поэзии без рифм. Задача исключительно трудная, успешно решить ее удалось лишь некоторым крупнейшим поэтам с мировым именем.

---

[1] Статья прислана автором в редакцию на русском языке. *(Прим. ред.)*

У болгарского переводного белого стиха свои традиции. К его лучшим образцам следует отнести переводы Гео Милева («Гамлет» и «Манфред»), переводы Валерия Петрова (некоторые пьесы Шекспира), перевод Христо Радевского (трагедия «Борис Годунов» Пушкина), ряд переводов Л. Милевой, Ал. Шурбанова и других.

Высшими достижениями русской переводческой школы, с моей точки зрения, являются переводы Ивана Бунина («Песнь о Гайавате» Лонгфелло), Анны Ахматовой (древнеегипетская лирика), Веры Марковой (стихи японских поэтов), Аркадия Штейнберга («Потерянный рай» Мильтона) и других.

К сожалению, особенности белого стиха еще недостаточно изучены. Болгарских работ, касающихся этого вопроса, пока нет; в русских же стиховедческих трудах проблемы белого стиха затрагиваются лишь вскользь. А между тем назрела необходимость в теоретическом осмыслении.

Многократно высказывалось мнение, что некоторые псевдопоэты более или менее успешно скрывают с помощью рифмы отсутствие поэзии в своих стихах. Перефразируя эту мысль, я бы сказал, что белому стиху присуща поэзия в ее чистом виде. В белом стихе в большей степени, чем в рифмованном, используются поэтические средства, частично компенсирующие отсутствие рифмы: аллитерации, звуковые повторы, анафоры; белый стих отличается большей смысловой уплотненностью фраз благодаря отсутствию вынужденно используемых в рифмованном стихе слов и выражений, а также излишних местоимений, наречий и прилагательных, необходимых для замыкания рифмы. Хороший верлибр звучит поэтому максимально естественно.

Мне кажется, что перевод белого стиха обычно создает меньше затруднений, чем перевод рифмованного, хотя ряд поэтов-переводчиков придерживается противоположного мнения. Здесь, пожалуй, можно достичь большей верности оригиналу, чем при переводе рифмованных классических стихов. Если многие все еще продолжают оспаривать переводимость некоторых рифмованных стихов, то переводимость белых стихов кажется бесспорной, по крайней мере с близкородственных языков. Но добиться уровня настоящей, высокой поэзии одинаково трудно и в переводах рифмованных классических, и в переводе белых стихов.

Белый стих существенно облегчает перевод астрофических поэм — известно, что И. Бунин, Г. Милев, В. Петров и другие видные поэты-переводчики подчас несколько увеличивают количество строк в своих переводах, чтобы более полно раскрыть смысл английских поэтических произведений. Но белый стих не терпит нарушений основных требований, предъявляемых к переводу. Хотя читатель обычно не знаком с оригиналом, переводчику не следует злоупотреблять этим незнанием (незнанием священным, ибо потому и живет само искусство перевода поэзии и перевода вообще!) и безответственно добавлять не существующие в оригинале строки, резко менять ритм, а кое-где вообще отказываться от ритма, вводить рифму туда, где ее нет, и т. д.

Здесь было бы уместно привести выдержку из предисловия И. Бунина к его переводу «Песни о Гайавате» Лонгфелло: «Я всюду старался держаться возможно ближе к подлиннику, сохранить простоту и музыкальность речи, сравнения и эпитеты, характерные повторения слов и даже, по возможности, расположение стихов. Это было нелегко...». Но в этом был залог успеха Бунина. Мне кажется, что метод его перевода «Песни» заслуживает специального разговора.

Гораздо сложнее обстоит дело с переводом свободного стиха. Верлибр вторгся в болгарскую поэзию в конце 50-х годов, и сегодня, четверть века спустя, у него уже есть немалые достижения: стихотворения Л. Левчева, Ст. Цанева, Ив. Теофилова, Н. Йорданова, Кр. Станишева, Н. Кынчева и других болгарских поэтов. За тот же период в болгарском переводе вышли в свет томики стихов В. Незвала, В. Мигалика, К. Кавафиса, А. Лундквиста, Н. Гильена, С. Квазимодо, Х. Р. Хименеса, П. Неруды, Л. Стаффа, Р. М. Рильке, У. Уитмена, К. Сэндберга, Г. Апполинера, П. Элюара, О. Элитиса и ряда других зарубежных поэтов, чьи произведения написаны преимущественно или полностью свободным стихом. Главная трудность работы обусловлена тем, что в Болгарии пока еще нет устоявшихся традиций для адекватной поэтической передачи верлибра.

При переводе свободного стиха приходится вести непрерывную битву за внимание читателя, куда более тяжелую, чем при переводе рифмованного силлаботонического. Отсутствие повторяющегося ритма вовсе не означает отсутствия ритма вообще — напротив: как раз ритм, хотя он часто подспудный, меняющийся, организует стих и отличает его от прозы. Нередко в свободных стихах преобладает какой-либо классический размер (чаще всего ямб или амфибрахий). Переводчик должен постигнуть все, что использовал в оригинале автор: ритм, повторы, подтекст, антитезы, афористичность и т. д. Надо ли повторять, что нельзя лишать перевод непривычных для болгарского или русского читателя особенностей подлинника — надо находить приемлемые эквиваленты. Переводчику следует помнить, что он — не автор или соавтор переводимого произведения, а прежде всего переводчик. Он должен стремиться сохранить стилистические особенности подлинника, не противоречащие синтаксису родного языка. Не требуется пускаться в ненужные приукрашивания, разъяснения и толкования оригинала, обычно превращающие его труд в пересказ.

Конечно, при переводе свободных стихов современных западных поэтов-авангардистов возникают трудности в связи с некоторой затуманенностью смысла их произведений. Здесь на помощь переводчику может прийти знание и понимание всего творчества писателя, литературной школы и т. д. и, наконец, сам автор, если

он жив и откликнется на просьбу. Так или иначе, проникновение в содержание каждого стиха не только желательно, но совершенно необходимо. Лишь тогда удается привнести в перевод лаконичное, но и достаточное для понимания толкование.

Удача в переводе свободного стиха, особенно с близкородственных языков, приходит тогда, когда переводчик умеет передать содержание и ритм оригинала, не нарушая естественности и поэтичности звучания родной речи. В качестве примера приведу известное стихотворение болгарской поэтессы Доры Габе «Почакай, слънце!» и его русский перевод [1], сделанный Л. Озеровым:

Почáкай, слънце,	Помедли, солнце,
áз не съм готóва	я не готова
за йдващата нощ —	ко встрече ночи —
денят ми не е свършил óще!	еще не завершен мой день
Не се пребóрих с съвестта́ си,	и с совестью не кончен спор,
за да й дáвам правó на почúвка.	ей право не дано на отдых.
Току́-що се нау́чих да говóря	Я только-только научилась говорить
със кáмъните и дървéтата	с деревьями, с камнями,
и óще не запълних свóя ден	еще я не наполнила свой день
със мъдростта́ им,	их мудростью.
а ти́ ме кáраш да си ля́гам	А ты велишь мне отдыхать
и си отúваш тъй спокóйно	и исчезаешь так спокойно
с огрéяните върхове́ на Вúтоша,	и торжественно
със подновéните от бáгрите	с багряными вершинами Вúтоши,
на зáлеза селцá,	с селами в обнове зарева,
с илю́зии за у́трешния ден!	с иллюзиями о грядущем дне.
Почáкай, дáй ми врéме	Помедли, дай мне время
да разберá как мóже да се спúт	понять, как можно засыпать
във тóя разтревóжен свят,	в тревожном этом мире,
когáто е безсънието съвест,	когда бессонница что совесть,
а съвестта́ е дéн?	а совесть — это день?
Почáкай, слънце![2]	Помедли, солнце!

По-моему, этот перевод отвечает требованиям хорошего воссоздания свободного стиха. Верно передана интонация оригинала, русские фразы звучат естественно, переводчик добился полного смыслового совпадения. Особой удачей следует считать перевод ключевого стиха, которым начинается и кончается стихотворение «Почакай, слънце!». Категорическое болгарское «Почакай!» передано глаголом «Помедли!», а не буквальным эквивалентом «Подожди!». Отказ от буквального перевода позволил переводчику добиться сохранения не только ритма оригинала, но и очарования чистосердечного призыва к солнцу. Великолепно переведен финал стихотворения («Помедли, дай мне время...» и т. д.) — каждый стих перевода отзывается ясным эхом в сознании того, кто знает подлинник наизусть, и поэтому перевод порождает для него двойное звучание. Высокая смысловая точность достигнута не путем механического пословного перевода. Озеров находит возможным сохранить буквальный (но не буквалистский, поскольку естественность русского синтаксиса не нарушается ничем) перевод некоторых стихов:

аз не съм готова	я не готова
денят ми не е свършил още	еще не завершен мой день
Току-що се научих да говоря	Я только-только научилась говорить

Но в большинстве случаев переводчику удается минимальным отклонением от буквального перевода найти точный эквивалент стиха, например:

...а ти ме караш да си лягам	А ты велишь мне отдыхать
и си отиваш тъй спокойно	и исчезаешь так спокойно
с огреяните върхове на Витоша.	с багряными вершинами Вúтоши.

Я бы упрекнул Л. Озерова только за допущенный им ритмический провал в последнем из цитированных стихов и за ненужное добавление тринадцатой строки («торжественно»). Лишний стих можно легко убрать; более труден для разрешения вопрос с интонационно несколько неуклюжим словосочетанием «вершинами Вúто-

---

[1] Дора Габе. Стихи. М., «Художественная литература», 1980, с. 85—86.

[2] Буквальный перевод:

Подожди, солнце,	и уходишь так спокойно
я не готова	с озаренными вершинами (горы)
к приближающейся ночи —	Витоши,
мой день еще не кончился!	с селами, чьи краски обновлены
Я еще не победила в борьбе с совестью,	красками заката,
чтобы дать ей право на отдых.	с иллюзиями о завтрашнем дне!
Я только что научилась говорить	Подожди, дай мне время
с камнями и деревьями	понять, как можно спать
и еще не наполнила свой день	в этом растревоженном мире,
их мудростью,	когда бессонница — совесть,
а ты заставляешь меня	а совесть — день?
ложиться спать	Подожди, солнце!

ши» — не напрасно переводчик поставил ударение, так как читатель, уже привыкший к плавному течению стихов, прочитал бы ошибочно (а в сущности, правильно, с чисто интонационной точки зрения): «вершинами Витóши».

Не впадая в излишний педантизм, Озеров хорошо в целом сохраняет и характер нерифмованных клаузул. Это немаловажный момент, хотя переводчики поэзии часто не обращают на это внимания. Сохранение характера клаузул — важный элемент интонации стихов без рифм.

Переводя верлибр, нужно постоянно помнить, что перестановка строк, столь часто возникающая при работе с рифмованной поэзией, как правило, нежелательна, а подчас невозможна, особенно в заключительных строках. И действительно, что́ бы вышло, если бы в финале другого прекрасного стихотворения Д. Габе «Непримиримая» переводчику вздумалось перенести последнее, ключевое слово в предпоследнюю строку?

Глéдам Йзгрева
и Зáлеза
поглъщам Вечността́ ти
и чáкам свóя край
непримири́ма...

Смотрю на Восход
и Заход,
поглощаю Вечность твою,
непримиримая,
и жду своего конца...

Столь невинная на первый взгляд перестановка имела бы печальные последствия — она погубила бы замысел стихотворения: акцент был бы не на непримиримости, не на бунте против смерти, а на ожидании конца, на смирении. Пропала бы и зеркальная симметрия между заголовком «Непримиримая» и последней, заключительной строкой «непримиримая». Ведь совсем по-иному звучит:

Смотрю на Восход
и Заход,
поглощаю Вечность твою
и жду своего конца,
непримиримая...

(Перев. Л. Ошанина [1]*)*

А в переводах рифмованных стихов требования (вернее, возможности) рифмовки определяет обычно именно последнее слово в финальном стихе.

Наиболее сложный случай перевода свободного стиха — перевод по подстрочнику стихов, написанных на каком-либо древнем языке, звучание которого мало кому известно. Это подтверждают переводы древнеегипетской лирики, выполненные Анной Ахматовой и Верой Потаповой [2]. Ни одна из переводчиц не знала древнеегипетского языка и переводила включенные в сборник 39 стихотворений с помощью подстрочника, сделанного крупным советским египтологом И. С. Кацнельсоном [3].

Прежде чем приступить к анализу примеров, я хочу подчеркнуть, что высоко ценю творчество обеих переводчиц. Мне приятно напомнить, что перу А. Ахматовой принадлежит ряд прекрасных переводов стихов болгарских поэтов. Из работ В. Потаповой должен отметить ее блестящий перевод «Энеиды» И. П. Котляревского, высоко оцененный К. И. Чуковским. Конечно, у каждой из переводчиц свои взгляды на перевод, свой переводческий метод.

Сначала мне хотелось бы отметить некоторые особенности самого подстрочника. Вот подстрочник надписи в гробнице фиванского некрополя (XXI в. до н. э.):

Золотая появляется в барке Бога Солнца (т. е. в Солнечной барке)
— (бог) Ра любит ее,—
Могущество (Сила) дневного судна (барки)
— (бог) Ра любит ее,—
(Твоя) сила достигает народов Средиземного моря.
— (бог) Ра любит ее,—
Вышел Ра, дабы узреть красоту твою.
— (бог) Ра любит ее,—

На 32 слова подлинника приходятся 7 слов в скобках. Это делает текст обстоятельным и ясным для работающего над ним поэта. Другая особенность подстрочника — его логичность, естественность и даже известная поэтичность. Он представляет собой отличную основу для перевода, что видно из сравнения с переложением Ахматовой:

---

[1] Дора Габе. Стихи, с. 83.
[2] Лирика Древнего Египта. М., «Художественная литература», 1965.
[3] В 1966 году и в Болгарии возникла идея перевести дошедшую до наших дней древнеегипетскую лирику. Издательство «Народна култура» поручило перевод Григору Ленкову и мне. Первоначально мы намеревались сделать болгарский перевод с русского, но позднее у нас родилась мысль ориентироваться на русский подстрочник Кацнельсона. В ответ на просьбу издательства ученый любезно предоставил его нам. Прежде чем приступить к работе, мы сравнили, строку за строкой, подстрочник Кацнельсона с переводами Ахматовой и Потаповой. В дальнейшем приведены отрывки из подстрочника Кацнельсона.

Золотая появляется на судне Солнца —
Ра любит ее.
Дневное судно могуче —
Ра любит ее.
Твоя сила достигает Средиземного моря —
Ра любит ее.
Ра вышел, чтоб узреть красоту ее,—
Ра любит ее.

Итак, Ахматова сохраняет четырехкратный рефрен подстрочника. Более заметная перемена имеет место в третьей строке: поэтесса превратила подстрочный перевод «Могущество (Сила) дневного судна (барки)» в несомненно более поэтический «Дневное судно могуче». Привнесенные в остальные стихи изменения минимальны: в первом вместо в «барке Бога Солнца» — «на судне Солнца»; в третьем вместо «достигает народов Средиземного моря» — просто «достигает Средиземного моря»; в четвертом вместо «дабы узреть красоту твою» — «чтоб узреть красоту ее». Эти изменения делают стихи короче, проще, естественнее, поэтичнее. Ахматова верит подстрочнику и придерживается его максимально. Этот подход еще более ощутим в стихотворении «Вечная любовь»:

Подстрочник И. Кацнельсона	*Перевод А. Ахматовой*
1	1
Мы будем пребывать (находиться) вместе, Не сможет разлучить нас бог, Клянусь, как ты живешь для меня, не разлучусь (не расстанусь) я с тобой До тех пор, пока я не наскучу тебе.	Мы будем с тобою вместе, И бог разлучить нас не сможет. Клянусь, что я с тобой не расстанусь До тех пор, пока не наскучу тебе.
(Лишь) пребывать ежедневно в досуге (свободными от труда), Не ожидая (досл.: без того, чтобы пришло) зла (дурного). Мы ушли в страну вечности, Дабы не были забыты наши имена.	Отныне пребудем свободными от труда, И дурного с нами не будет. Мы удалились в страну вечности, Чтоб наши имена не были позабыты.
Прекрасно время, Когда видно сияние солнца Вовеки, В качестве (т. е. будучи) владыки некрополя.	Прекрасно время, Когда сияние солнца видно Вовеки и когда оно царит Над гробницами.
2	2
Ах, здесь пребываешь ты вечно И остаешься постоянно. Я вижу тебя день за днем И не могу разлучиться с тобой.	Ах, вечно ты пребываешь здесь И остаешься постоянно. Я вижу тебя день изо дня, Я не могу расстаться с тобою.
Я ликую радостным сердцем, Вспоминая тебя вновь молодым. Я рассказываю своим детям, по своему обыкновению, Непрестанно об их отце и матери (т. е. дедушке и бабушке).	В радостном сердце моем — ликованье, Когда вспоминаю тебя вновь молодым. И рассказываю детям, по обыкновению, Непрестанно об отце и матери.

Более значительные изменения сделаны Ахматовой в первой части стихотворения. Она сильно упрощает третий стих: вместо «Клянусь, как ты живешь для меня, не разлучусь я с тобой» — «Клянусь, что я с тобой не расстанусь». По-видимому, это продиктовано прежде всего стремлением к эквилинеарности [1], поскольку количество слогов в подстрочнике (17) намного больше количества слогов в переложении (11). Если бы Ахматова захотела сохранить все смысловые единицы буквально переведенного древнеегипетского стиха, ей пришлось бы переложить его двумя стихами.

Подобное упрощение претерпел и первый стих. Синтаксическому упорядочению (изменение порядка слов) подверглись второй и десятый стихи. Более существенная переработка наблюдается только в шестом и седьмом стихах: редакция Ахматовой — «Отныне пребудем свободными от труда, И дурного с нами не будет»,— на мой взгляд, звучит интереснее. Последний стих подстрочника «В качестве (т. е. будучи) владыки некрополя» переложена в «когда оно царит Над гробницами», и в данном случае разница между прозой и поэзией видна даже неискушенному читателю. В остальных стихах подстрочника мало или совсем нет изменений.

Вторая часть стихотворения сохранена Ахматовой почти в том же виде, в каком

[1] Соблюдение в стихотворном переводе того же числа строк, что и в подлиннике. *(Прим. ред.)*

была переведена буквально Кацнельсоном. Я бы сказал, что Ахматова просто отредакировала подстрочник. Существенно изменился лишь пятый стих («Я ликую радостным сердцем» — «В радостном сердце моем — ликованье») — у Ахматовой он звучит как правильный четырехстопный дактиль.

И в других переводах из древнеегипетской лирики Ахматова максимально верна подстрочнику. Ничего не добавляла и не опускала. Редко прибегала к толкованию текста и всегда использовала при этом пояснения автора подстрочника в скобках. Ее синонимические замены отдельных слов и выражений в смысловом отношении весьма удачны. Местами несколько упорядочен синтаксис. Ахматова с исключительным умением использовала подстрочник, и под ее пером древняя поэзия зазвучала естественно и поэтично для русского слуха. Такой стиль переложения, такой переводческий метод, мне кажется, создает максимальную близость к подлиннику. Насколько я знаю, среди поэтов-переводчиков не так уж много приверженцев этого метода.

У В. Потаповой иной подход. Она большей частью стремилась не повторять подстрочник, охотно находя новые обороты и делая некоторые добавления, разъяснения и даже пересказы. Это хорошо видно на примере ее переложения стихотворения «У реки».

Подстрочник И. Кацнельсона	*Перевод В. Потаповой*
1	1
Любовь к сестре моей На том берегу. Река — между нами, Крокодил лежит на отмели (досл.: на берегу).	Сестра — на другом берегу. Преграждая дорогу любви, Протекает река между нами. На припеке лежит крокодил.
Я вхожу в воду И иду вброд через волны. Сердце мое отважно в реке. Вода подобна земле для моих ног.	Вброд я иду по волнам, Пересекая теченье, Храбрости сердце полно. Тверди подобна река.
Любовь к сестре придает мне силу, Точно она пропела заклинанья от воды; Когда я вижу мою сестру приходящей, Мое сердце радуется и руки раскрываются.	Любовь укрепляет меня,— Как от воды заклинанье, Пропетое девой. Я вижу ее приближенье — и руки простер.
Сердце мое ликует на своем месте, Точно на вечность, Ибо приходит ко мне Моя властительница.	Сердце взыграло, Как бы имея вечность в запасе. Царица моя, подойди — Не медли вдали от меня!
2	2
Когда обнимаю ее И ее руки охватывают меня, Это точно как в Пунте, Это как (умащение) мазью (благовоний).	Ее обняв, я ощущаю Ответное объятие рук ее, Напоминающее негу Пунта, Смолою благовонной умащенье.
3	3
Когда я целую ее И ее губы размыкаются, Я ликую без пива (т. е. радостен и трезвый).	Когда от поцелуя моего, Помедлив, разомкнутся Ее уста — Я опьянен без хмеля. . . . . .
5	5
Ах, если бы я был негритянкой, Которая находится у ее ног (т. е. услужающей ей), Тогда бы я видел Цвет всех ее членов.	Быть бы мне черной рабыней, Мойщицей ног! Мог бы я вволю Кожей твоей любоваться
6	6
Ах, если я бы был прачкой (ее платьев, одежд) Хоть на один (единый) месяц, Я был бы (счастлив) отмывать умащения, Которыми пропитано ее платье.	Рад бы стиральщиком стать я На один-единственный месяц: Платья твои отмывать От бальзама и мирры душистой.

Конкретное сравнение оригинала с переводом показывает, что Потапова добавила некоторые слова (на припеке, помедлив, вволю) и даже две строки, отсутствующие в оригинале. Вместе с тем кое-что она при этом опустила (например, выражение «Мое сердце радуется» из двенадцатой строки первой части). В шестой части подстрочника переводчица перешла от третьего лица к первому. Почти во все стихи внесены какие-либо изменения. Они объясняются, очевидно, стремлением сделать текст более поэтичным и вместе с тем более понятным для русского читателя и звучащим как оригинальные русские стихи. Это, конечно, вполне в порядке вещей; нужно только относиться с крайней осторожностью к таким добавлениям. Крокодил никак не может лежать «на припеке», иначе он минут через двадцать пять погибнет. (Именно этим жестоким, но эффективным методом пользуются охотники, чтобы не повредить ценную кожу животного, не портить ее пятнами крови.) Но это мелочь. Мне кажется, перевод Потаповой обладает самым главным — силой художественного воздействия.

Я мог бы привести еще некоторые наблюдения и примеры, но вряд ли исчерпал бы этим все сложности перевода свободного стиха. Отказ от формальных оков в сочетании с изобретательностью поэтов придает каждому хорошему стихотворению, написанному верлибром, свою неповторимость, выраженную с помощью самых разнообразных поэтических средств и приемов. Их правильная расшифровка и находчивость переводчика — вот главные предпосылки успешного воспроизведения оригинала.

◆

Культура и современность

ПИСАТЕЛИ ПРОТИВ АПАРТЕИДА

В конце 1983 года в Париже под эгидой ООН в выставочном зале Национального института графического и прикладного искусства была развернута экспозиция работ художников, протестующих против апартеида. В каталоге выставки наряду с репродукциями представленных произведений приводятся высказывания Хуана Гойтисоло, Андре Бринка, Мишеля Лейриса, Хулио Кортасара, Эдмона Жабеса, Мишеля Бютора, выступающих против расовой дискриминации. Три из них мы предлагаем вниманию читателей.

ХУАН ГОЙТИСОЛО (Испания)

Берегитесь загара

Вернувшись после чудесного летнего отпуска в горах или на море с сильным южным загаром на лице, ни в коем случае не пользуйтесь метро. Вас могут принять не за белого, особенно если, несмотря на то, что вы давно натурализовались и полны неизменного патриотического пыла, ваш облик выдает ваше низкое происхождение: брахицефальный череп, черные, жесткие, курчавые волосы, выступающие скулы, нижняя губа, слишком толстая для стопроцентного представителя белой расы. Цвет вашей кожи, смуглой и обветренной, которую вы в свое время опрометчиво покрывали кремом для загара, может вызвать ненужное внимание и начать как магнит притягивать различные неприятности. Представьте себе, например, что вы спокойно спускаетесь по ступенькам лестницы метро, затем, погруженные в свои мысли, идете по коридору и вдруг группа полицейских выхватывает вас из густой толпы и вместе с другими подозрительными прижимает к стене рядом с броской афишей, которая, по иронии судьбы, расхваливает туристические прелести: залитые солнцем морские пейзажи, роскошные пляжи, скромные цены, загар по дешевке!

Ну, а если, как это часто случается, вы очень торопитесь и высказываете признаки неуместного недовольства или достойной сожаления невежливости и требуете объяснений у полицейского, дружески удерживающего вас за руку, — умелым приемом каратэ он быстро умерит ваше нетерпение, в результате чего вы вдруг окажетесь на полу и ваши возражения утратят смысл.

А если вы по-прежнему не будете понимать, что происходит, и в этом унизительном и смешном положении вздумаете протестовать против недопустимого обращения с вами, громко провозглашать, что вы ни в чем не виновны, и, что еще хуже, неосторожно поднесете руку к карману, чтобы достать документы, неопровержимо удостоверяющие безупречность вашего происхождения, этот импульсивный и нелепый жест может быть и наверняка будет истолкован неправильно.

Трое коллег специалиста по каратэ немедленно придут ему на помощь и будут держать ваши дергающиеся и протестующие конечности, пока не убедятся, что вы полностью лишены возможности что-либо сделать.

И тогда они бесцеремонно схватят вас и вознесут в разорванной одежде по той же самой лестнице, по которой вы несколько минут назад так беззаботно спускались. Вы неожиданно окажетесь в своеобразном месте — полицейском фургоне.

Там во избежание возможного ущерба, который может причинить ваша неконтролируемая ярость, вас заставят лечь животом на пол, и для большей безопасности подошвы полицейских сапог понадежнее прижмут ваше распластанное тело, а машина тем временем с воем сирены будет нестись через весь город.

Если же вы вздумаете шевелиться и возмущаться тем, что с вами обращаются как с негром без документов, если вы проявите горячность и безрассудство, граничащее с врожденным слабоумием, если позволите себе оскорбиться и будете продолжать настаивать на своей невиновности, то ваши спутники, прервав тривиальный разговор о том, кому какая диета предписана, кто как

провел отпуск, как протекает дежурство и служба, решительно и энергично положат конец вашему кудахтанью. Вашу грязную пасть заткнут дубинкой.

Прекрасный урок хороших манер, он раз и навсегда научит вас уважительному отношению к блюстителям порядка, коль скоро вы с загорелым лицом и внешностью пролетария дерзнули войти в метро.

ХУЛИО КОРТАСАР (Аргентина)

Этот необходимый, медленный и прекрасный процесс расового смешения

Наша земля — не шахматная доска, где белые обязательно должны одержать победу над черными или наоборот. Человечество придумало шахматы, чтобы игроки, как черные, так и белые, упражняли свой ум в благородном поединке, где вместо кровопролития шла бы изощренная борьба двух интеллектов, двух характеров. И в этой игре черные могли бы бить белых, а белые — черных, ибо черные и белые полностью равны в пешках, слонах и конях.

Точно так же и люди полностью равны на этой огромной шахматной доске, разделенной на города, страны, континенты. Лишь в силу культурно-исторических предрассудков могут жадные до власти меньшинства заявлять о какой-то расовой иерархии, которую опровергает сама жизнь, сам этот необходимый, медленный и прекрасный процесс биологического и духовного смешения рас. Смешения, которое постепенно сближает народы. С развитием контактов, международного диалога, общения барьеров, разобщавших в прошлом народы, становится все меньше. Конечно же необходимо еще много преодолеть, но неотвратимый ход человеческой истории делает реальным то, что еще не так давно считалось утопией.

Апартеид — такой же анархизм, как вера в самопроизвольное зарождение жизни или в систему Птолемея. Подобно этим верованиям апартеид рухнет, как засохшее дерево, оставшееся без единой капли жизненного сока. Он и живет сейчас благодаря террору, благодаря тому, что высасывает кровь у другого народа. Он питается страхом и держится из последних сил среди других руин феодальных времен.

Я вижу, как по моей улице проходит юноша-негр, обнимая свою белую невесту. И однажды так будет на всех улицах мира, в будущем любовь этих двоих бесконечно умножится. Так поможем же ей раз и навсегда прогнать призрак нелепой гордыни, и пусть ветер современности унесет в небытие все перья этого совиного чучела. И пусть слово «апартеид» придется искать в словарях, как мы ищем сегодня объяснение слов: «трирема», «катапульта», «василиск».

МИШЕЛЬ БЮТОР (Франция)

Линия раздела по крови

Ты не имеешь права сюда ступать, потому что именно ты веками прокладывал тропы, по которым мы пришли, чтобы обосноваться здесь, и для нас лучше, чтобы ты проложил новые дороги внутри пыльных шахт, чтобы мы могли добывать там наши алмазы.

Ты не имеешь права сидеть здесь, потому что в течение тысячелетий твоя кожа приспособилась к этому климату, и со стороны завоевателей было бы непоследовательно предоставлять тебе такое преимущество до тех пор, пока наша кожа благодаря солнечным ваннам и втиранию масел для загара станет такой же черной, как твоя.

Ты не имеешь права есть здесь, потому что ты пришел сюда раньше нас и можешь испортить нам аппетит, ибо, глядя на тебя, мы можем вообразить, что придет новая волна завоевателей, еще более неприметных и более хитрых, чем мы, которые оттеснят нас или вовсе выгонят отсюда, лишат нас наших уютных коттеджей и наших кумиров, навяжут нам иные законы.

Ты не можешь здесь мочиться, потому что сама мысль о том, что часть влаги нашей земли вышла из твоего ненавистного тела, впитав его омерзительные запахи, подстегивающие, вполне возможно, воображение наиболее слабых из нас, породила бы фантазии всякого рода и угрызения совести — эта мысль заставила бы нас предпринять такие ассенизаторские и очистительные работы, что наше дальнейшее здесь пребывание потеряло бы всякий смысл.

Тебе запрещается здесь страдать, так как наше любвеобильное сердце не позволит нам и впредь не помогать тебе, не предоставить тебе лучшие жизненные условия, а твоим детям — условия для развития.

При нынешнем положении вещей для тебя, как и для нас, лучше, чтобы возмутительное численное превосходство твоих братьев по коже, по сравнению с нами, быстро бы сокращалось, да и надо щадить нашу чувствительность!

Ты не можешь здесь кричать, потому что твой крик навязывает нашему языку акцент, интонацию, тембр, даже слова, которые заставляют нас задуматься, действительно ли единственным и неизбежным является наш язык или было бы лучше говорить здесь и на каком-то другом языке, на каких-то других языках, быть может, и на твоем. Даже если ты его забыл, что могло бы вызвать у нас сожаление, если бы только у нас было время на сожаление.

Ты не можешь умереть здесь, хоть в этой земле и покоятся твои предки, ибо теперь уж пришел наш черед ложиться в нее, чтобы потом, не ведая того, навсегда смешаться в этой земле с твоей расой, уступив место на ней нашим потомкам.

Перевод с французского Р. ДРАГУНОВОЙ

Документальная проза

К 40-летию освобождения Белграда

Перевод с сербскохорватского и вступление АЛЕКСАНДРА РОМАНЕНКО

Осень 1944 года. Солнечный и теплый октябрь, ласковая природа, несмотря на всю боль и горе людское словно собирающая свои щедрые дары к празднику грядущей, близкой теперь Победы.

«О Русская земля! Ты уже за холмом!» — и балканские звезды освещают теперь по ночам победоносный, тяжелый и трудный, воинский путь Красной Армии...

В августе — сентябре 1944 года соединения Второго и Третьего Украинских фронтов, завершив операции по освобождению Румынии и Болгарии, вышли к Дунаю и, форсировав великую реку, начали боевые действия на территории Югославии. По ночам все более грозно звучали на севере и востоке артиллерийские раскаты и жители измученного, но не сломленного, героического Белграда все более жадно слушали эту «музыку батарей». И ждали, всем сердцем ждали «того дня», как писал Иво Андрич, дня освобождения, дня встречи с Красной Армией и воинами своей, новой, освободительной армии. Партизаны Срема, тесно взаимодействовавшие со своими товарищами на левом берегу Дуная, приносили вести о том, что Красная Армия совсем близко и скоро придет... С севера и востока, с юга и запада подтягивались к югославской столице соединения Красной Армии и дивизии Народно-освободительной армии Югославии. Встречи боевых друзей, союзников, товарищей по общей борьбе с первого ее дня были волнующими и сердечными. Ведь Красная Армия встречалась с теми, кто ценой величайшего самопожертвования и героизма, в меру своих сил и возможностей уже суровой осенью и зимой 1941 года сковывал крупные воинские формирования гитлеровцев. Город ждал и готовился, понимая, что предстоит самое трудное, что свобода будет достигнута высокой ценой.

Три с половиной года оккупации, три с половиной года страданий, разрухи, голода, расстрелов и три с половиной года непрекращающейся борьбы против оккупантов и предателей.

На рассвете 6 апреля 1941 года Белград был разбужен подлым варварским налетом бомбардировочной авиации «люфтваффе». Около пятисот бомбардировщиков, сопровождаемых почти тремя сотнями истребителей, обрушили на мирный город тысячи бомб — несмотря на то что накануне югославская столица была объявлена «открытым городом». Несколькими волнами в разное время суток 6 и 7 апреля методически и последовательно уничтожали город гитлеровские асы, незадолго перед тем сровнявшие с землею Варшаву, Роттердам, Ковентри. А на земле с разных сторон продолжалось одновременное вторжение в Югославию сухопутных войск Германии и ее сателлитов.

В те тяжелые дни именно Белград стал в стране центром антифашистской борьбы, именно из Белграда прозвучал призыв Коммунистической партии Югославии к борьбе против оккупантов. С мая по сентябрь 1941 года в Белграде работало Политбюро партии и Главный штаб партизанских отрядов Югославии. Уже в течение июля — августа 1941 года членами подпольных организаций, преимущественно молодежью, было совершено более пятидесяти диверсионных актов — горели фашистские грузовики, взлетали в воздух склады боеприпасов, на стенах домов появлялись лис-

товки и призывы патриотических сил, собиралось оружие. Оккупанты отвечали террором. В июне 1941 года в предместье города был создан концентрационный лагерь Баница, первыми узниками и первыми жертвами которого стали коммунисты и антифашисты, сперва из Сербии, затем из других краев Югославии. В августе на центральной площади Белграда Теразие фашисты повесили, «для устрашения», пятерых подпольщиков.

Однако борьба продолжалась, принимая все более организованные и разнообразные формы, становясь все более целеустремленной, повсеместной. Сотни белградских «омладинцев» — членов молодежных комсомольских ячеек — отдали свои жизни в этой борьбе. Имена многих из них стали легендой. Тысячи жителей Белграда погибли в Банице, были расстреляны в местечке Яинцы.

Белград не складывал оружия, верил и боролся, приближая «тот день». И он наступил «тот день», который и Москва и Белград 20 октября 1944 года славили как дорогой, светлый, долгожданный праздник мирными раскатами артиллерийских салютов над Москвой-рекой и над Дунаем.

Об этом, собственно, и идет речь в публикуемых журналом материалах, посвященных 40-й годовщине освобождения от фашизма столицы социалистической Югославии — города-героя Белграда.

В числе авторов этих воспоминаний — славные югославские «первоборцы»: поэт Радоня Вешович и врач Саша Божович. Осенью 1941 года вступили они в ряды Первой пролетарской бригады (потом она стала дивизией, затем корпусом) и вместе с нею прошли через все этапы и все испытания героической эпопеи югославской революции — от Игманского марша лютой зимой 1941-го, через озаренную пламенем величайшего героизма Сутеску в 1943-м, через окопы Сремского фронта 1944—1945 годов. Радоня Вешович был и непосредственным участником битвы за освобождение Белграда.

«Радостные, волнующие и чистосердечные отношения югославского народа мы, воины Красной Армии, чувствовали на каждом шагу,— писал Герой Советского Союза Народный герой Югославии, Маршал Советского Союза С. С. Бирюзов.— Во всех городах и селах жители выходили навстречу советским войскам. Радость и ликование были повсюду, где появлялись советские воины. Улицы и дома освобожденных населенных пунктов украшались советскими и югославскими флагами, плакатами и портретами руководителей коммунистических партий. На стенах многих домов можно было увидеть знак «Серпа и молота». Многие советские военачальники: маршалы и генералы — М. И. Неделин, В. Ф. Толубко, В. А. Судец, Н. А. Гаген, Народный герой Югославии В. И. Жданов, адмирал флота Советского Союза С. Г. Горшков — в своих воспоминаниях рассказывали о незабываемых днях белградской операции [1].

Уместно вспомнить: среди советских воинов, пришедших в Белград октябрьскими днями 1944 года и непосредственно принимавших участие в наступательных боях, были будущие советские писатели — гвардии капитаны Алексей Недогонов и Яков Белинский, политработник майор Борис Слуцкий, командир полка подполковник Илья Вергасов...

«Пролетеры» Р. Вешович и С. Божович были молоды в апреле 1941 года. А у людей постарше судьбы в годы оккупации складывались иначе. Сербские «квислинги», придя к власти, уже в июле 1941 года обратились к известным писателям, художникам, музыкантам, деятелям буржуазных партий с требованием подписать «Обращение к сербскому народу», осуждающее любое проявление вооруженной борьбы против оккупантов. Д-р Иво Андрич, действительный член Королевской академии наук и последний посланник независимого Королевства Югославия в Берлине, писатель мировой известности, отказался поставить свое имя под этим документом. Он запретил переиздавать свои книги, отверг предложенную ему пенсию. Он пережил обстрел и бомбардировки Белграда, был свидетелем его освобождения. И если Р. Вешович описывал бои за Белград с позиций вооруженного воина, идущего в атаку с фронта, то свидетельства И. Андрича ценны для нас помимо своей документальной точности тонкими зарисовками психологического состояния, свойственного жителям оккупированного города, зарисовками «изнутри».

Д-р Велибор Глигорич, известный критик и публицист, сотрудник довоенной «Политики», в ноябре 1941 года был брошен в концлагерь на Банице, откуда через два года его отправили в Германию...

Ну вот, собственно, и все. Остальное расскажет текст...

Годы проходят, и уходят люди Не так много осталось в живых ветеранов, своей доблестью завоевавших право носить на груди боевую советскую медаль «За освобождение Белграда». Ею были награждены участники Белградской битвы, а воинов Красной Армии — более двух тысяч человек — правительство Югославии за проявленные мужество и героизм наградило югославскими орденами. Тринадцати из них было присвоено звание Народного героя Югославии...

Сорок лет прошло с октября 1944 года. Счастья и здоровья вам, участники битвы за Белград, фронтовики-ветераны, празднующие этот день! Счастья и процветания тебе, гордый и прекрасный Белый Город в устье Савы, на реке Дунай! Счастья тебе, социалистическая Югославия!

---

[1] См. сборники «Советские вооруженные силы в борьбе за освобождение народов Югославии», М., Воениздат, 1960; С. С. Бирюзов. Советский солдат на Балканах. М., Воениздат, 1963; В. Ф. Толубко, Н. И. Барышев. От Видина до Белграда. М., «Наука», 1968; «Освободительная миссия Советских Вооруженных сил...». М., Воениздат, 1974.

САША БОЖОВИЧ

Мой Белград

Шестое апреля 1941

Ребенок, которого я ношу, большое счастье для всей нашей семьи — и для Бо́жовичей и для Магазиновичей. Бора с братьями уже строят планы праздника, который нас ожидает. Мама каждый день на рассвете жарит блинчики, чтоб с пылу с жару принести мне их на завтрак. Ожидают первого ребенка, первого внука, первого племянника восьми дядей. И хотя времена мрачные, мы не думаем о самом худшем, не думаем о том, что война во всем нас опередит.

В канун 6 апреля мы с Борой дежурили в клинике. Я дежурю с ним добровольно. Чтоб не расставаться, быть рядом подольше. Утро. Уже шесть часов. Бора остается в клинике: его смена кончается лишь в полдень. Мы прощаемся, и я ухожу домой, чтобы приготовить все для встречи любимого. По пути в маленькой овощной лавке через дорогу от сквера Карагеоргия покупаю красные яблоки. Выбрала самые лучшие. Мне хочется, чтобы сегодня все было особенно торжественно и сердечно. Воскресенье. Мы свободны и целый день проведем вместе. Миную Автокоманду, выхожу на улицу Максима Горького, где наш дом. Приятное утро. Теплое. Солнечное. Переполненная ощущением счастья, иду я к себе домой, в свою квартиру, которую так люблю. Вот он, наш с Борой, дом. Наш. Скоро нас будет трое.

Какой-то гул, будто издалека, прерывает мои размышления. Гром? Странный, равномерный, без перерывов. Все ближе, сильнее. Пока не понимаю, в чем дело, но покоя уже нет. И вот первая волна самолетов. Даже мысли не было, что вскоре пламя и смерть они обрушат на мой дорогой Белград. Гул усиливается. Вторая волна самолетов, третья... Они кружатся, возвращаются обратно, улетают вперед — словно бы суетятся. Наверное, какие-нибудь учения. Время от времени еще без страха поглядываю вверх, не опасаясь беды. На улице много женщин. С сумками, кошелками спешат на базар, в лавки, чтоб успеть приготовить воскресный обед. Праздник. Какой-то мужчина средних лет остановился, вслух спрашивая: «Люди, что ж это такое?» Другой прохожий коротко отвечает: «Учения. Что ж еще?» — и продолжает свой путь. Самолеты закружились быстрее, в небе появились черные шарики. Уже слышны разрывы. «Холостые»,— произносит кто-то. И только он успел произнести это слово, как Белград вздрогнул и загремел. Задрожала под ногами земля. Кто-то крикнул: «Люди, бомбят! Прячьтесь!» — и побежал. Началась паника, люди бросились кто куда Слева от меня, в какой-нибудь сотне метров, громыхнуло, мне показалось, будто я взлетаю ввысь. Стоявший рядом дом просто-напросто исчез в облаке дыма и пыли. Я ощутила запах гари. Остановилась, посмотрела на яму, где только что стоял дом. Кругом все бегут, кричат, плачут. Бегу и я — только бы добраться до дома! Красные яблоки падают из рук, катятся по мостовой.

Самолеты продолжают кружить над городом, рассыпая смерть, разрушения, огонь. Повсюду встревоженные лица, люди в пижамах, ночных рубашках, прикрываясь одеялами, мечутся в поисках спасения. Грохот, осколки разорвавшихся бомб, камни, обломки домов и строений. Лопаются стекла, засыпая мостовую. Со всех сторон — крики, суматоха, одни бегут вниз по улице, другие вверх. Какой-то юноша, весь в крови, бежит мне навстречу. Но не успела сказать, что я врач и могу оказать ему помощь, как он уже был далеко, даже не услышал меня. Из подъезда, обнимая трех сонных девчушек, выскочила женщина, захлебываясь от рыданий.

Вот он, наш дом. Стеклянная дверь подъезда разлетелась вдребезги. Нет и стекол в оконных рамах. Вход в квартиру завален стеклом и известкой. Балконная дверь вывернута и повисла над оградой, зияя провалами. В квартире ни души. Что мне там делать? Неподалеку дом моей матери. Я пошла к ней. На мне новый плащ зеленого цвета. Какие-то женщины кричат, чтобы я легла. У меня на это нет сил. «Испачкаюсь»,— думаю про себя. И не могу лечь. «Ложись! Убьет!» — несутся крики. Я продолжала медленно идти дальше. «Ложись!..» Дошла до материнского дома. Тишина. Самолеты исчезли. Тишина, но та странная, внушающая ужас тишина, от которой звенит в ушах. Дом пуст. По соседству тоже никого — все кинулись на окраину. Однако едва я вошла внутрь, как появился деверь Милан. Он поначалу бросился к нам и, никого не найдя, предположил, что я здесь, у мамы. Я кинулась ему на грудь и зарыдала.

Издали опять доносится глухой гул моторов. Новая волна самолетов. Небо почернело от них. Их много. Гораздо больше, чем в первый раз. Милан, оттолкнув меня, бросился в спальню: вынес большую перину и накрыл ею меня с головой. Наивная защита, но хотя бы известка не будет сыпаться на голову и в лицо. Рот у меня уже полон песку. Деверь стоял рядом. Упираясь руками в стену, прикрывал меня своим телом. Выгнулся надо мною, готовый лицом к лицу сразиться со всеми бедами этого мира, только бы спасти меня вместе с ребенком.

Все вокруг нас вдруг закачалось. И хотя всего лишь одиннадцать часов утра, небо почернело от воющих машин, от дыма и пыли. Самолеты закрыли небо и солнце. Вдруг стало свежо, как бывает, когда появляются облака, и воздух сгустился, словно в преддверии грозы. Разрывы бомб слились в один сплошной, бесконечный грохот, которому нет конца. Я не в силах больше считать ни самолеты, ни разрывы. И, однако, один из последних чем-то выделяется. Прямо у нас над головой что-то вдруг протяжно завыло, залилось сиреной. Милан обнял меня. «Вот эта наша!» — произнес он спокойно. Я стала креститься, тихонько шепча: «Господи, помилуй! Господи, помилуй!» Во дворе глухо бухнуло. Томительно текли секунды, долгие, словно

годы. Мимо. Мы поднялись и первым делом пошли посмотреть, в чем дело. В трех метрах от нашего дома большим кругом побелела земля, точно политая известью. «Зажигалка!» — констатировал Милан, поднимая пригоршню белого вещества. Он попытался раскрошить его пальцами, но оно было твердым, как камень.

Часть ограды поломана, остался зловеще зияющий провал. Милан хотел было поправить, но тут на соседнем балконе вдруг появилась какая-то полная женщина и завопила: «Не ломай, не касайся! Не воруй!»

Скрипнула дверь, вбежал Бора, всклокоченный, задыхающийся. Долгие безмолвные объятия — и тут же залп вопросов: «Кто уцелел? Кто где?» Мы показывали ему белый круг обожженной земли, а он показывал нам свои обожженные ладони. Зажигательная бомба упала на крышу клиники, он тушил ее и едва сумел справиться с пожаром.

Наступил полдень. Возвращается мама. Я никогда прежде ее такой не видела. Она как-то сразу, вдруг уменьшилась и постарела. Белград в огне. Она родилась здесь, выросла здесь. Она любит каждую улочку в этом городе, знает каждый уголок. Скадарлия, Палилула, Врачар... Она росла вместе с ними. Она помнит еще трамваи на конной тяге, помнит, как со своими сверстниками встречала его вагоны на Славии и забрасывала цветами. И фонарщики... А теперь пламя, пожарище, развалины и обезумевшие люди, несущиеся сломя голову в разные стороны, неведомо куда! Началась война...

ВЕЛИБОР ГЛИГОРИЧ

Книга в челюстях смерти

Память уводит меня в фашистский лагерь на Банице. Я в числе политических заключенных, которых специальная полиция отправила в этот лагерь. Под угрозой казни нам запрещено пользоваться книгами. Май месяц. Массовые расстрелы. Огромный закрытый грузовик, оборудованный приспособлениями для аккумуляции в кузове выхлопных газов, увозит жертвы из лагеря. Майская юность в кузове этого грузовика. А кругом свинцовая тишина. Свинец во взглядах и на лицах озверевших палачей и их пособников, под касками и в стволах автоматов немецких солдат. Какая-то леденящая душу истерия охватывает начальников, охранников лагеря и конвоиров. В страхе и ярости вопят они, но голоса у них хриплые, тусклые. И движения какие-то звериные, неуверенные, суетливые.

К нам в камеру, пользующуюся зловещей славой, камеру смерти, «четверку», переводят уцелевших узников из соседней камеры, режим там был другой. Один из них протягивает мне книгу — «Рассказы Антона Чехова». На поле боя ее назвали бы ласточкой в пулеметном гнезде. здесь она — ласточка в чудовищной пещере дракона. Несколько кровавых месяцев не видел я книги и думал, что никогда больше не суждено ее вновь увидеть. Но вот она, здесь, в смертельном аду, в логове смерти, согревает меня своим горячим человеческим дыханием.

Потрясенный, держу я ее в руках. Она истерзана, многих страниц не хватает, она прошла через множество жарких человеческих рук, и множество глаз смотрят на меня из нее, многое из моей прошлой свободной жизни вернула мне она в этом аду. Еще звучит эхо смертельного страха, который висит над лагерем, когда смерть правит здесь свой обряд. Ее призрак гиеной продолжает кружиться вокруг нас. Даже когда она удаляется прочь, мы вслушиваемся в ее походку.

Книга у меня в руках — живое существо. Я не читаю ее. Довольно того, что она рядом. Я слышу биение ее сердца, ток ее крови. Она пришла ко мне, словно вестник из иного мира, и этот иной мир есть жизнь, та жизнь, которой я жил в детстве и юности.

В памяти оживает домик ее автора в Ялте, солнечные просторы над мягкой зеленью гор, солнечная земля, солнечное море. Потом — спектакль «Иванов» на сцене Югославского драматического театра. И вот сейчас, миновав колючую проволоку, по которой пропущен электрический ток, миновав угрожающе торчащие сторожевые вышки с автоматчиками, перелетев поверх угрюмых стен кровавой пещеры, она нашла меня в кровавом разгуле смерти — книга писателя, которому открыты все виды людских страданий и мук.

Камера в фашистском лагере расположена на втором этаже, а мне кажется, будто она глубоко под землей, живая гробница. Снаружи солнце, весна, май. Цветут фруктовые деревья: мы их не видим, даже птицы не летают над лагерем смерти. Словно самое весну окружили колючей лагерной проволокой.

Майским днем сидел я возле барака в нескольких шагах от того места, где недавно стояла виселица, и видел в вышине бескрайнее голубое небо, солнечное, напоенное весенними соками. А я словно бы погребен, закопан живьем в землю. Не слышно шума Белграда, далеко от нас Белград, необозримые пустыни смерти легли между нами.

И тем не менее оттуда доходят к нам вести, которые ободряют дух. Человек не уступает страшилищу смерти, даже такому, какое стоит возле нас. Самое главное, самое человеческое в нас не может исчезнуть. Все они сделали, чтобы заставить нас расстаться с жизнью, уйти от великой битвы за человечность, которая идет снаружи, и все-таки мы все крепче и крепче оказываемся связанными с нею. Редки те, кого «зоологический эгоизм» увлекает на дно. Редки те, кто, охваченный смертельным страхом, теряет совесть и душу. Всего нас лишили, все нам запретили, необозримые пустыни смерти отделяют нас от жизни, а мы несмотря ни на что немало узнаем о том, что в этой жизни происходит. Битва за человечность имела своих вестников, своих стражей и своих воинов и в лагере смерти.

Когда подпольщики убили агента тайной полиции страшного Космаяца, кровавое отмщение началось в лагере. Разъяренными ранеными зверями бегали по камерам надзиратели и охранники. На расстрел уводили сотни узников. Среди них был и писатель Илия Петрович. Голова ученого и писателя упала в отместку за голову преступника и палача. Как ушло и множество других жизней, светивших гуманизмом. За жизнь осведомителя, убийцы и предателя Тиляка в Загребе отдают свои жизни Огнен Прица, Оттокар Кершовани, Божидар Аджия, люди, чьи имена навеки вписаны в славную историю югославских народов. Тайком, подло преступники и предатели убивают Августа Цесареца. Ненависть врагов человека к человеческой книге огромна. Эшафот с пылающими книгами — пиршество для негодяев. Цесарец был олицетворением человека, совести писателя. Кершовани десять лет провел на королевской каторге, а песнь жизни его по-прежнему служит человеку. И книгой он считал возможным называть лишь такую, которая освобождает человека. Такой она была для Цесареца и для Прицы, тонкого мыслителя и эрудита, для Аджии. Это были великие зодчие истории, писатели, которых уничтожили подлые злодеи в июне 1941 года в Загребе. Их очень не хватает нашей культуре. Нашей и мировой.

Семьи писателей заложниками брошены в лагерь. Ненависть торжествует, стремясь уничтожить род и племя писателя-борца. В лагере смерти — брат Йована Поповича, отец и брат Танасие Младеновича. В лагере смерти и мать Джордже Йовановича. Она отдала борьбе единственного сына.

В Яинцах убит Павле Бихали. Его имя было в первом сообщении о расстрелах. Он выпустил целую библиотеку произведений свободолюбивых писателей мира, библиотеку книг, которые говорили правду о социальной несправедливости и рабстве, о жизни человека под железной пятой капитала. Он выиграл битву. Книги издательства «Нолит» оказали свое ощутимое действие. Именно за это его скосила пулеметная очередь мести и ненависти.

В лагере мы часто вспоминаем Маслешу. Во всех наших действиях этот крупнейший ученый-марксист был нашим вдохновителем. Вдохновителем и опорой. Более десяти лет преследовали его вражеские облавы, но он выдержал все угрозы все физические и моральные пытки благодаря своей непоколебимой энергии, высокой революционной морали, одухотворенности своего интеллекта, жизнелюбию. Даже в условиях вражеского наступления он не выпускал из рук книгу. Он любил искусство, любил жизнь, любил труд, он умел наслаждаться радостями жизни. Жизнь его завершилась в битве на Сутеске.

На одной из фотографий мирных лет он не случайно снят вместе с Борой Продановичем. Они часто бывали вместе. Бора Продапович дружил с людьми жертвовавшими собою во имя революции, близкими его друзьями были Оттокар Кершовани и Веселин Маслеша. Он тоже жил в мире книги и искусства. Его товарищ, подруга в жизни и в искусстве, его Милица, теперь находится в лагере.

Воспоминание о книге Чехова, которая внезапно появилась в моей жизни в то трагическое время, вызвала у меня в памяти и эти воспоминания о близких мне людях. Все они искали высокий духовный и этический смысл в литературе и искусстве, всем им была дорога жизнь, и именно потому, что она была им дорога, что в их жилах текла кровь подлинных гуманистов, они защищали и своим личным вкладом, и жертвами ее ценности, те из них, которые они считали воистину благородными в самом прекрасном и высоком значении этого слова. Они защищали жизнь от унижения, жестокости, обмана, насилия, преступного истребления людей. Чтобы не было больше палачей, эшафотов, расправ над людьми и книгами.

Я спрашиваю себя, разрушил ли я у себя в душе эту «обитель смерти», возможно ли это вообще, ибо к этой теме я неодолимо время от времени возвращаюсь. Все-таки победила жизнь. Она уже побеждала и тогда, когда в окружении лагерной проволоки все чернело под ударами физическими и моральными, под психическими пытками, при виде смерти товарищей, когда человек открывался во всей своей душевной и нравственной наготе, на всю шкалу, от самых высоких и светлых до самых низменных и подлых ее ступеней — во всех видах эгоизма, но и вознесенный ввысь пламенем своего духа. Сейчас, когда в литературе и в искусстве не такая уж редкость встретить воспевание идеи смерти, нам, вышедшим из живых гробниц, это по меньшей мере кажется самообманом и ложью. Ибо, живя в условиях, когда реальная смерть угрожала со всех сторон, мы поняли, сколь драгоценен свет человеческих идеалов, воистину исполненных человечности, сколь драгоценно деяние благородной человеческой души, сколько прекрасного заключено в утверждении светлых жизненных перспектив и сколь драгоценна книга великого гуманиста, сиявшая животворным светом в челюстях смерти, какими неизмеримыми ценностями обладает жизнь в условиях свободы. И разве можно вообразить себе кошмарные ужасы той смерти, которые мы пережили наяву в самых жутких ее проявлениях!

РАДОНЯ ВЕШОВИЧ

Битва за Белград

Во время марша нас настигла ночь. Сыплет дождь. Дорога разбита. Какая-то часть, состоявшая из местных предателей, от кладбища у дороги до самого рассвета пускала нити трассирующих пуль, прикрывая отступление немцев из Валева. Мы оставили их своим товарищам и ускоренным маршем продолжали движение вперед. Мы спешили, потому что нас ожидал Белград и встреча с Красной Армией... И мы, инженеры, вскоре ее увидели: по шоссе от Рали к Белграду двигалась длинная колонна со-

ветской техники и тяжелой артиллерии. А по холмам, по раскисшей от дождей пашне, по грязи «прокладывало тропу» отделение советской пехоты. Слияние наших колонн, начатое еще в ходе восстания и продолженное на горах Коньска, принимало величественный характер... И их грубо сшитые, выцветшие защитные гимнастерки, сапоги из непритязательной «кирзы», автоматы и артиллерийские орудия, на которых видны следы полевого ремонта, говорили мне об их отношении к самой идее войны, о величии этой идеи: все это сделано наскоро, только в целях обороны, только ради необходимости, и заранее уже предназначено для переливки в тракторы и комбайны после победы.

Кусты и фруктовые деревья вдоль шоссе посерели от пыли, поднятой моторизованными колоннами. Гудит земля под металлическими великанами Четвертого механизированного корпуса Красной Армии. На дороге и на обочинах смешались советская пехота и наши бригады. Солнечная осень в виноградниках и корзины с виноградом на головах у сборщиц. И склоняющиеся под тяжестью плодов ветки. Над изгородями частокол голов — старые и молодые угощают и нас и красноармейцев ракией, виноградом, сливами.

В таком настроении при могучей поддержке советской артиллерии наши и красноармейцы быстро оттеснили немцев с горы Авала, а выйдя на ее вершину, красноармейцы в темноте возложили на мраморные ступени памятника Неизвестному герою — из веток и кустарника сплетенный венок. ...Под Авалой в окружении наших и советских офицеров и бойцов командир Четвертого гвардейского механизированного корпуса прославленный советский генерал Жданов и командующий нашей Первой армейской группой — и для нас из Первой пролетарской бригады столь же популярный, как Коча Попович,— Пеко Дапчевич договаривались о совместной операции по освобождению Белграда. И хотя решение они, вероятно, уже приняли, тем не менее советовались с бойцами: когда им удобнее начинать атаку — в тот же день в четыре часа пополудни или на рассвете следующего дня. Разумеется, все, и наши и красноармейцы, в один голос высказались за то, чтобы приступить к делу как можно раньше.

Немцы организовали оборону Белграда концентрическими кругами, сужавшимися к площади Теразие, железнодорожной станции Дунай и Калемегдану. Особенно они укрепили станцию — единственный выход через старый Савский мост к Срему. Внешний пояс обороны после потери Авалы проходил от Дуная через районы Белграда — Великий Врачар, Конярник, Баничский верх, Дедине, Кошутняк, Банову гору и Чукарицу...

На подходах к городу все кипело. Высоко в небе слышались звуки воздушного сражения. Стремясь избежать разрушений, советское командование не только не использовало в белградской операции свои бомбардировщики, но чтобы помешать в этом противнику, сконцентрировало на подходах к городу огромные массы истребительной авиации, и она не позволила немецким летчикам даже приблизиться к Белграду.

Наступало восемь наших дивизий: Первая и Шестая пролетарские, Пятая, Одиннадцатая, Шестнадцатая, Двадцать первая, Двадцать восьмая славонская и Тридцать шестая ударная. Из советских: Четвертый гвардейский, механизированный корпус, Семьдесят третья и Сто девятая гвардейская, Двести тридцать шестая стрелковые дивизии, две артиллерийские бригады, шестнадцать полков артиллерии, минометов и самоходок, дивизия зенитной артиллерии и три отдельных зенитных полка, Семьдесят четвертая и Двести тридцать третья пехотные дивизии (в боях под Врчином и Авалой). Наступление поддерживали: Семнадцатая воздушная армия Третьего Украинского фронта, три дивизии штурмовой авиации, две дивизии истребительной, дивизия бомбардировочной и Дунайская военная речная флотилия.

Наша бригада наступала от Рипня через Пиносаву к Баничскому верху; справа двигались красноармейцы, слева — Восьмая черногорская бригада под командой тихого Саввы Машковича, прежнего командира нашего батальона. На рассвете наша бригада вышла на Баничский верх и первой же атакой заняла немецкие окопы. Однако вместе с красноармейцами она вырвалась вперед от других частей, и немцы сосредоточили на нас весь свой огонь. Командиру бригады Ягошу Жаричу во избежание крупных потерь пришлось несколько оттянуть три батальона, то же самое сделали красноармейцы. Но когда немцы обнаружили свои главные огневые рубежи, советская артиллерия немедленно накрыла их прицельным ураганным огнем. Нам открылась величественная картина, когда из стволов «катюш» к немецким позициям потянулись стаи хвостатых птиц. Первой пролетарской бригаде выпала честь первой сломить сопротивление немцев на Банице и в Яинцах, этих зловещих местах, где немцы и их пособники уничтожили более восьмидесяти тысяч бойцов народно-освободительной армии, коммунистов и патриотов из Сербии и других краев Югославии.

Огни в городе были потушены... Немцы оказали жестокое сопротивление во многих пунктах: у площади Славия и возле тюрьмы Главняча, из зданий министерств, из палаты «Албания», из Народной скупщины, из Главного почтамта, возле Дома Армии и Народного театра и площади Теразие. Огонь из палаты «Албания» по нашей бригаде и Восьмой черногорской мешал продвижению в сторону Калемегдана. Однако немецкая оборона была сокрушена и рассечена на две части: уничтожение ее продолжалось по частям.

В здании Народной скупщины сдалось в плен сто двадцать четников.

А пока «пролетеры», бойцы пролетарских дивизий, пробивались от Косовской улицы к зданию Белградского радио, во главе своей части появился советский офицер с автоматом на груди. Наши из ворот кричали ему, чтобы он укрывался. Он презрительно махнул рукой и, обругав немцев, продолжал свой путь. Через несколько шагов он упал, скошенный очередью...

То, чему были свидетелями бойцы нашей и Восьмой черногорской бригады и красноармейцы на улице Князя Михаила во время наступления к Калемегдану, явилось лишь эпизодом героической борьбы белградцев. После прямого попадания снаряда вспыхнул советский танк, который своим огнем поддерживал нашу атаку. Из подворотни выскочил какой-то юноша в гражданской одежде и попытался сбить пламя. Однако тут же упал, видимо сраженный пулей. И остался лежать возле сгоревшего танка. Чуть погодя появилась какая-то пожилая женщина, она остановилась возле обгоревшего трупа и дымившейся еще машины и со словами «Ты героически погиб, сынок!» пошла дальше... Сколько таких подвигов было совершено, сколько презрения к смерти было проявлено во время нашего совместного наступления...

Здание Народного театра трижды переходило из рук в руки. Здесь погиб комиссар шестого батальона, крагуевчанин Саво Димитриевич, гимназист, начавший борьбу рядовым бойцом третьего батальона... Услыхал я, что погиб и Саво Савович, гимназист из Беранов, член Союза коммунистической молодежи Югославии, единственный ребенок не только у своих родителей, но и у двоих дядей, получавший образование в крайней бедности, ценой величайшего напряжения. Вместе с Вуйо Чукичем и братьями Коматина он был выслан в Италию, но вернулся из-за морей с бригадой и продолжал борьбу. Парки возле Славии были полны свежих холмиков, а сразу за стрелковыми окопами толпился народ, пришедший помочь воинам, подсказать, где находятся немецкие опорные пункты, угостить и напоить бойцов, вынести раненых, помочь захоронить павших. Около двух тысяч белградцев с оружием в руках участвовало в освобождении своего города...

После семи дней и семи ночей ожесточенных боев из Белграда «проводили» последних немцев залпами «катюш» и других орудий. Улицы заполнили бойцы и освобожденные жители. Радость этих людей невозможно описать. Бывшие узники, «красные каторжане», вернулись в свой город, неся свободу. В битве за Белград погибло около пятнадцати тысяч — третьей части гарнизона не удалось спастись, взято в плен около девяти тысяч немецких и квислинговских солдат и офицеров. Наши потери: около трех тысяч погибших, четыре тысячи раненых, около девятисот шестидесяти павших красноармейцев [1]; сколько их было ранено, неизвестно. В боях за Белград и на смедеревском шоссе много красноармейцев получили звание Героя Советского Союза...

Первая пролетарская бригада стала и первым гарнизоном Белграда... Мою роту вскоре перевели с Дединя в центр города, ближе к штабу Первой дивизии, размещавшемуся в здании нынешнего «Форума». На улицах мощно звучит советская песня: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!»... Стены, изрешеченные пулями, минами и снарядами, надписи: «Проверено, мин нет» с подписями советских саперов. Фашистские агрессоры не только шестого апреля 1941 года проявили свою безумную ненависть к Белграду, врасплох, когда люди спали, засыпав его бомбами и разрушив, они готовились повторить это и при отступлении — все большие здания были минированы. Во время боев и после них семь инженерных батальонов Красной Армии разминировали около восьмисот пятидесяти объектов и извлекли 3179 мин, содержавших около тридцати тысяч килограммов взрывчатки... В течение нескольких дней после освобождения города в развалинах, в подвалах, в канализационных системах ловили группы немцев и их пособников, надеявшихся под покровом ночи, переодевшись в штатское, выбраться из города. Обнаружить их след и переловить было очень сложной и без помощи горожан оказалось бы почти невыполнимой задачей...

Жизнь в городе быстро налаживалась, в первые дни она больше проявлялась в празднествах и повсеместном веселье, чем в работе. Выступали и наши и красноармейцы. В кафе и на танцевальных площадках веселились до глубокой ночи. На Теразиях скрипели трамваи, а перед гостиницей «Москва» каждый вечер под гармонь сливались воедино козарацкое и черногорское коло, сербская плясовая... Как ночные призраки, на рассвете исчезали преграды между людьми. Все были на «ты». Мне даже казалось неудобным к более пожилому человеку обратиться на «вы» — это значило бы, что тем самым мы несправедливо исключали его из всеобщего праздника людского братства...

По разбитым грязным дорогам днем и ночью спешили от Белграда через Саву на Сремский фронт пехотные колонны, грузовики, телеги с боеприпасами и снаряжением. Среди военных в машинах и на телегах можно было увидеть и крестьянок в национальных костюмах. Следуя старинным обычаям народной войны, Сербия в пестрых сумах несла смены белья, джемперы, носки, лепешки, пироги — сыну, брату, мужу или деверю на фронт. Группы рабочих, отогревая руки у костров, восстанавливали железнодорожное полотно — отступая, немцы огромными крюками, похожими на плуги, с двумя «впряженными» в них паровозами на сотни километров разрушали шпалы.

Набравшись свежих сил на отдыхе, в два раза увеличив свой численный состав благодаря пополнению из Белграда и Сербии, вооруженная советским оружием, Первая пролетарская бригада со своего сборного места, с площади перед Народным театром, 24 ноября выступила на Сремский фронт. Весь город вышел ее провожать, почти половину нашей бригады составляли его сыновья и дочери...

Части Третьего Украинского фронта повернули на Будапешт, оставив нам значительные силы артиллерии, огонь которой «ковром» по немецким окопам под Ороликом вызывал общий восторг. Смыкаясь справа с южным крылом советских войск в Венгрии, слева связанный с частями за-

[1] По уточненным данным, в Белградской операции советские войска потеряли более 30 тысяч человек. (см. «Освободительная миссия Советских Вооруженных сил во второй мировой войне», с. 224).

падных союзников на Адриатике, Сремский фронт стал частью непрерывного югославского фронта, на севере опираясь на нашу Третью армию и Дунай, а на юге, на Дрине,— на нашу Вторую армию... Для формирования фронта в Среме огромное значение имела завершившаяся как раз в эти дни битва на Дунае у Батины. Это было великое сражение, в результате которого были уничтожены немецкие силы на правом берегу Дуная. В его ходе сложили головы около тысячи четырехсот воинов Пятьдесят седьмой советской армии и около восьмисот бойцов нашей недавно сформированной Пятьдесят первой воеводинской дивизии. Благодаря этой победе наши и советские части вышли на левый берег Дравы, очистив от врага область Бараня и создав условия для дальнейшего продвижения Красной Армии через Паннонию и окружения Будапешта с юга.

Сремский фронт несколькими линиями укреплений тянулся почти на тридцать километров — от Босутских лесов и болот до Дуная. И он дорого нам обошелся: здесь погибло свыше тридцати тысяч человек, что составляло тридцать бригад. Здесь сложил голову цвет сербской молодежи, взмятенной силой освобождения... Белеет снег на пашнях. Перед Бургеровыми хуторами, около угрюмых Босутских лесов и мутных заледеневших болот — повсюду подстерегали нас закоренелые немецкие и усташские убийцы. Сремский фронт во многих отношениях превзошел собою все то, что нам пришлось пережить прежде. Лишь в те дни поняли мы проявленный в окопах героизм защитников Москвы, Ленинграда, Сталинграда...

18 марта 1945 года бригада из Адашевцев была переброшена на правый фланг фронта — к Шаренграду на Дунае. С помощью инструкторов Красной Армии — специалистов по фортификации — мы сперва поправили траншеи, построили и связали между собой блиндажи. В окопы провели электричество, поставили печки. Оборудовав первую линию, мы сообразили, что таким образом можно еще ближе подойти к противнику. Каждую ночь, работая посменно, мы продвигались вперед на сорок метров. За десять ночей мы приблизились на расстояние в пятьдесят — восемьдесят метров к брустверам немецких окопов. Испугавшись, как бы мы не свалились к ним на голову, немцы усилили минометный огонь. В конце марта здесь посетил бригаду командующий войсками союзников в Италии фельдмаршал Александер. Покидая траншеи, он заявил, что никогда до сих пор не был ближе к противнику...

ИВО АНДРИЧ

Тот день

Шесть октябрьских дней сверкало и громыхало и земля тряслась под Белградом, а на рассвете седьмого дня воцарилась тишина, какая-то целительная тишина для детей и женщин, которые уже шесть недель жили и дрожали в подвалах и убежищах той покуда неосвобожденной части Белграда, от площади Теразие до Калемегдана. Рассвет приближался, а стрельба не начиналась, и среди народа стала утверждаться вера, будто это не временное затишье, а конец. И с рассветом в самом деле лопнули, точно почки весною, до тех пор мертвым ужасом припертые двери в домах. Сперва из них выскочили лишь одинокие фигуры, гонимые нуждой, восторгом или любопытством. Среди первых выскочивших на улицу был Петар Малбашич, которого в просторечии называли попросту: инженер с третьего этажа.

Он был среди первых гражданских лиц, что прошли едва освобожденными улицами со следами шестидневной борьбы. Он двигался к своей цели — пятиэтажному дому на Калемегдане. Он шел по знакомым улицам, изменившим свой облик и вдруг ставшим бесконечно длинными, ибо на них было полно препятствий, невыразимых перемен и ужасов. То и дело приходилось обходить вздувшиеся и посиневшие трупы немцев. Землю накрыл толстый слой разбитого стекла, которое скрипело и хрустело под ногами, точно снег при лютом морозе. Зияли разбитые окна, шрамы от мин и дыры от снарядов на фасадах домов. Отовсюду свисают, уползая куда-то, оборванные провода (пока они находились в воздухе, натянутые над нами, и в голову не могло прийти, что их столько). Безжизненными тушами стояли разбитые танки и наполовину сожженные грузовики. Повсюду разорение и запах гари.

Невероятное и непонятное возбуждение целиком охватывало его, ему казалось, будто он не просто видит окружающее, но целиком и полностью, со всеми своими чувствами, каким-то величественным и опасным образом утопает в нем.

На площади Теразие, на том месте, где погибли последние советские танкисты,— букетики трогательно-безыскусных бумажных цветов, красных и белых, и две горящие восковые свечки. Он переносил свое возбуждение на окружающий мир и ему казалось невероятным, что в столь бурные мгновения свеча может спокойно гореть посреди улицы, и это выглядело одним из бесчисленных чудес, возникавших вокруг.

По обе стороны улицы вдоль домов двигаются длинные прерывистые цепочки партизан с опущенными винтовками. Посредине улицы пройдет иногда немногочисленный советский патруль в серых шинелях и касках или перебегут редкие штатские с красными или трехцветными повязками на рукавах.

Петар спешил добраться к высокому дому на Калемегдане, где его, возможно, ожидали товарищи и где он верил, он нужен. Он спешил, но продвигался медленно. Месяцами и месяцами говорили: «Вот когда наступит тот день...» И вот он, тот день, наступил. Это начало, он обозначен датой 20 октября, и это чудесный осенний день, без дождя и ветра. Все это человек осознает, и самому себе вполголоса говорит об этом, и, однако, тут же забывает, ибо все в нем и вокруг него колеблется,

волнуется и постоянно движется. Нет ни одной неподвижной точки. И в основании того крутого мыса, на котором почиет Белград, ощущается это колебание. «Дело пошло!» Эти слова он услышал еще дней десять назад, когда с Малого Калемегдана прислушивался к орудийной канонаде в Банате. Их произнес какой-то невидный маленький человек, но они, кажется ему, лучше всего выражают общее, главное чувство в эти мгновения. Да, все идет, и все идет в одном направлении: армия, народ и вместе с ними, точно привязанные, движутся орудия, автомобили, механизмы любого вида и животные, все стремится к невидимому магнитному полюсу. Человека несет. Осознание своей личности сведено к минимальной мере. Даже самую беглую мысль об индивидуальном определении нужно произнести вслух, повторить ее себе, прежде чем осуществить. И он произносит вполголоса: «Я иду, чтобы предоставить себя в распоряжение...» И вот так, при каждом пустяковом решении, при каждом повороте в другую улицу он должен сам себе отдавать приказ. Разумеется, при таком способе передвигаешься наверняка, но не быстро — в ритме всеобщего движения, с остановками и обходами, смысла и причин которых человек не видит и которые приходят бог ведает откуда и возникают бог ведает из-за чего.

«Когда наступит тот день...» Вот, случается, что сбывается даже самое заветное желание, но когда наступает тот день, человек не в силах охватить его сознанием и находится в состоянии непрерывной борьбы против времени и пространства. Он движется по течению, следует одному решению и в то же время думает о том, что находится слева, а что справа от него, что остается неисполненным, неувиденным и невыраженным.

Однако есть волшебное, спасительное слово — «вперед». Оно все решает. Оно, в кажущемся противоречии с физическими законами, возвращает всем вещам стабильность, придает всякому жесту смысл, а возбужденному человеку — дыхание тем, что все движет в одном направлении по самой краткой существующей линии с максимально возможной быстротой. Вперед!

На пространстве перед Театром опять трупы, металлические бензиновые бочки, неподдающееся распутыванию переплетение телефонных и трамвайных проводов, поваленные столбы, разбитые автомобили.

Он уже миновал Театр, когда подряд громыхнули два орудия каким-то близким, четким и опасным звуком: ду-ууу, ду-ууу. А чуть погодя, где-то внизу у Дуная, разорвались выпущенные снаряды, один за другим, глухо и смертоносно: бам-бам. Он скорее ощутил, нежели увидел, как пустились бегом какие-то люди в гражданском. Цепь партизан замерла на ходу, прижалась к домам и по закону послушной материи слилась с ними в одно целое. Люди бежали от Калемегдана к площади Теразии. Кое-кто останавливался, спрашивал вслух:

— Что это? Откуда бьют?

Другие отмахивались на бегу и указывали куда-то в сторону Земуна. Это не были испуганные, обезумевшие люди, каких видели прежде при бомбардировке. Нет, теперь они бежали размеренным шагом, с ясными лицами, как бывает у людей, спасающихся от дождя. Но движение подчиняло себе. Петар вдруг повернулся и пустился бежать в одном направлении с этими людьми, не слишком быстро, почти смеясь. А перебежав большую часть площади, внезапно остановился. Стрельба прекратилась. Несколько пристыженный, он вновь повернулся и шагом пошел обратно к Васиной улице.

И цепь партизан вновь ожила и двинулась легко и естественно, точно ее кто-то потянул издалека со вполне отчетливым смыслом.

Едва он вошел на Васину улицу, медленно и осторожно обходя клубы проволоки и кирпичные глыбы, как прежние орудия вновь открыли огонь. Раздался отвратительный вой. На этот раз Петар не побежал, но, повинуясь какому-то инстинктивному закону подражания, прижался к каким-то воротам, запертым, но с достаточно глубокой нишей, чтобы человек сумел почувствовать себя защищенным, особенно когда вот так, подобно ему, не ведал ни меры опасности, ни важности прикрытия.

Взрывы раздались совсем рядом, где-то здесь, на Дорчоле. Слышно было, как отваливались кирпичи и трещало дерево после разрыва, точно его непременное эхо. Ощущение полной незащищенности — где-то под желудком, потом во всей груди. Страх перед страхом. Бессильный стыд. Лучше всего было бы закрыть глаза. Тогда, кажется ему, исчезли бы все эти противоречивые ощущения. Однако страх и осторожность удерживают их во всей их полноте. «Успокойся»,— приказывает он себе негромко. И только тут замечает, что в этих же самых воротах стоит еще кто-то, также прижавшийся к неумолимым доскам, как и он. Их взгляды встретились.

В те мгновения, когда стрельба прекращалась, Петар бросал взгляд на своего соседа. Это был молодой рабочий, поденщик, наполовину крестьянин, в тонком пиджачке, столь тесном для него, что он даже не мог его застегнуть, а из коротких рукавов торчали большие белые кисти рук с черными пальцами и обломанными ногтями: два живых и могучих рабочих инструмента. Опять ударили пушки, взгляды людей встретились, и каждый пытался по выражению глаз другого определить степень опасности.

— Это последние, оттуда, с Земуна,— произнес Петар.

Парень не ответил и только осматривался вокруг своими большими голубыми глазами, весь внимание и осторожность. «Он прав, он умнее, о чем тут говорить?»— подумал Петар, стыдясь своей потребности в общении.

Во всем этом, пожалуй, самым необыкновенным было то, что он почти целиком утратил прежнее осознание себя. И лишь твердил, обновляя в памяти то, что оставалось постоянным в его сознании за эти три с половиной года.

Он помнил, что 6 апреля 1941 года, подобно всем остальным, он покинул свое рабочее место инженера общины и члена Комитета пассивной обороны, что лишь

где-то под Младеновацем он пришел в себя, устыдился, отделился от толпы беженцев и вместе с семьей вернулся в Белград. Что вскоре после этого молодая и красивая жена бросила его и с двухлетним сыном уехала к своему отцу в Вену, что затем он получил письмо о смерти своего единственного ребенка. Что долгое время, целый год, он провел в полном отчаянии, где-то на грани самоубийства, что бессонными, бесконечными ночами он пришел к книгам, которые принесли ему первое облегчение, что через эти книги он установил связь с двумя друзьями, которые поначалу отнеслись к нему с оскорбительной холодностью (или, по крайней мере, так ему показалось), а потом, потихоньку-полегоньку, сердечнее, с большим доверием. Что в беседах с ними он обрел дальнейшее успокоение и, наконец, то главное — уважение к самому себе, без которого жизнь была невозможна, искреннее и правильное объяснение всем своим поступкам и всему хаосу и беспорядку, царящим вокруг. Что в этих беседах большую роль играла фраза: «Когда наступит тот день...» — и что все сейчас происходящее есть лишь исполнение морального обязательства, вытекающего из этих бесед...

Ду-уу, ду-ууу, вновь загромыхали орудия, три, четыре. В том же порядке им ответили разрывы, где-то возле Дуная. Петар встретил взгляд рабочего, но снова уцепился за свою мысль.

Да, он лишь понимает, что «идет отдать себя в распоряжение», это столь ясно, просто и естественно, хотя неизвестно точно, к кому, зачем и как. Но он понимает, что сделает это и это будет хорошо. А все прочее, что когда-то казалось горным массивом, через который живым не перевалить, все спало с него, в длительном страдании, постепенно: и постыдная весна 1941 года, и безумное бегство жены; даже тоска по сыну преобразилась в его душе. Он от всего освободился.

«Освобождение»,— произнес он негромко, а сосед смотрел на него большими глазами, полностью подчиненными службе осторожности. «Освобождение!» Словно в подтверждение этого Петар чуть высунул голову за угол и в глубине улицы увидел еще сохранивший свою зелень Калемегдан.

Да, жизнь возможна. Он ясно ощущал это, хотя в любую долю секунды мог погибнуть от одного из этих гнусных, последних снарядов, как отчетливо подсказывал ему страх, который стискивал сердце и который он видел в вытаращенных глазах молодого рабочего. И все-таки жизнь возможна, богата и полна смысла. И никогда она не была столь близка, понятна и возможна, как теперь. Вот эта зелень, что виднеется вдали, этот Калемегдан с его площадками, заросшими откосами, тропинками. Здесь есть место для новых площадок, для больших зданий, школ, заводов. Здесь будут и красивые женщины, и здоровые дети. Здесь, у слияния двух больших рек, в чудесном содружестве света и влаги, все растет быстро и хорошо развивается — трава, деревья и дети. Все это вырастет, полное здоровья, достоинства или по крайней мере надежно защищенное от болезни и позора. Это будут сильные, здоровые юноши, опаленные солнцем, обитающие в светлых спальнях и привычные к лабораториям и читальням, умеющие всласть смеяться, живые, всегда готовые к игре, созданные для того, чтобы творить и создавать других людей, еще лучше и сильнее себя, а вовсе не для того, чтобы позорно спасать свою жизнь в бегстве и нелепо погибать. Да, жизнь возможна, полнокровная жизнь...

Опять громыхнули оба орудия, в третий, четвертый раз. Петар хотел сосчитать, как раньше, разрывы. Но услышал только первый и второй, а затем вдруг над головой у него раздался жуткий треск, и грохот, и звуки падения тяжелых глыб камня, дерева, стены и стекла.

Молодой рабочий упал на колени, потом на руки и бесформенным клубком остался лежать на земле, а Петар лишь прижался спиною к воротам, прикрывая локтем левой руки глаза и лицо. Перед ними и повсюду вокруг них до середины улицы падали кирпичи, стекло и куски дерева. Где-то дробно сыпалась штукатурка. Пахло известковой пылью.

Когда лавина утихла, Петар опустил руку. Посмотрел вниз. Он был сплошь покрыт белой пылью, а рядом с ним белым холмиком лежал его сосед, но вот он поднял голову, осмотрелся, по-прежнему настороженный, и стал медленно подниматься.

Петар почувствовал, что страх покинул его столь же незаметно, как и пришел, но что он весь охвачен нетерпением и тревогой оттого, что не успеет вовремя добраться до высокого дома на Калемегдане. И он выскочил из своего укрытия и осторожно, но решительно направился к Университету, пробираясь между обожженными балками, развалинами, проволокой, используя укрытия, точно опытный солдат и человек, которому предстоит серьезное задание и он спешит, «чтобы отдать себя в распоряжение» в определенном месте в определенный час ради определенного дела.

Дедушкин дневник

20 октября 1996 года в просторном здании Института по химии питания (Химпит) в Макише после полудня встретились три молодых инженера.

Пообедав, они вышли из столовой и расположились в кабинете старшего из них, Марко, чтобы без помех курить и беседовать. Большое окно комнаты выходило в обширный парк Института, который на этой когда-то пустынной и болотистой местности вырос за сорок лет столь прекрасным, что стал гордостью этого нового белградского района и одним из лучших городских парков.

Трех друзей, верных товарищей и больших весельчаков, звали Марко, Жарко и Йован, однако еще в университете этого последнего они окрестили Дарко, чтобы имена всех трех рифмовались и соответствовали, как они сами соответствовали друг другу. С тех пор это стало его прозвищем.

Разговор шел живой, не очень связный, как обычно бывает у молодых людей, которые пока не ощущают ни усталости после восьмичасового рабочего дня, ни тяжести в желудке и у которых оставшееся время суток заполнено приятным времяпрепровождением и развлечениями.

— Меня сегодня выделили присутствовать на праздновании двадцатого октября во Дворце профсоюзов,— сказал Марко.— Отмечают пятьдесят вторую годовщину того дня, когда наши войска вместе с Красной Армией после шестидневных боев освободили наш город, изгнав из него фашистов.

— Ладно, ладно, нам тоже история знакома, хотя мы черпаем сведения не из дедушкиных дневников, как некоторые,— подтрунивал над ним Дарко.

— Ну, если речь зашла о дедушкином дневнике, то я прочту вам, что записал мой дед Петар в этот день пятьдесят два года тому назад.

Марко опустил створку на белом шкафчике, достал оттуда старомодную записную книжку в пожелтевшей обложке из потрепанного картона и, полистав ее, приступил к чтению:

— «Пятница, 20 октября 1944 года. 9 часов вечера. Теплый, будто весенний вечер. Над Савой спустился пронизанный лунным светом туман. Противоположного берега не видно, и кажется, словно выросла непроницаемая стена...»

— М-да,— заерзал Дарко.

— Чего ты удивляешься? Это вполне в духе времени. Тогда так писали,— возразил Марко, подняв глаза.

— Не мешай,— строго произнес Жарко,— мне это интересно, и я хочу слушать.

— «...словно выросла непроницаемая стена. Где-то на окраине города слышны одиночные выстрелы. Время от времени вдали вспыхивает световой сигнал и мелькают огни движущейся колонны грузовиков.

Я устал, однако волнение гонит даже всякую мысль о сне. Все стекла в моей гарсоньере разбиты...»

— Что такое гарсоньера? — прервал Дарко.

— Так называли тогда небольшие квартиры на одного или двух человек, большей частью под крышей.

— Дай ему прочесть, потом будешь спрашивать что хочешь.— В тоне Жарко звучало недовольство.

— «Я опустил жалюзи, кое-где они пробиты пулями и потрескались. Водопровод не работает, света нет, телефон молчит. В доме ни дров, ни угля. Счастье, что еще не наступили холода. В прихожей на диване спит мой сегодняшний гость — советский командир, русский. Он похож на усталого ребенка, спит так, что не слышно даже дыхания. Тщетно пытаюсь я собраться с мыслями и привести в порядок разнообразные впечатления минувшего дня, который кажется длинным, точно целая жизнь.

Сегодня утром, около пяти часов, едва забрезжил рассвет, я в числе первых вышел на улицу, которую немцы незаметно оставили ночью. Еще несколько горожан высовывали головы из парадных. Однако не прошло и пяти минут, как улица буквально кипела народом, звучали восклицания, возгласы. Из глубины ее шла шеренга советских воинов в серых шинелях, в касках, а рядом с ними, чуть в стороне вдоль домов тянулась длинная, но негустая цепочка наших партизан, неодинаково одетых и вооруженных, однако объединенных общей воинской дисциплиной.

Я отправился искать своих друзей. Шел по площади Теразие. И казалось, будто все вокруг было разбито, разгромлено и перекорежено в течение продолжавшихся пять дней боев. Посередине улицы стоял большой советский танк; здесь он замер, сильно поврежденный немецкими снарядами, и сейчас он наклонился поник, точно раненый боец, а вокруг него уже собирались люди, жители нашего города. Какой-то юноша засунул скромный трехцветный флажок в дуло его орудия. Рядом с танком, накрытые брезентом, тела двух бойцов из экипажа этой машины. В головах у них уже горит несколько свечечек и стоят простые бумажные цветы, которые укрепляет какая-то женщина. Под этими свечками несколько монет, по старинному обычаю их кладут у тела покойного.

Чуть подальше, у самого тротуара, громоздились трупы немцев, вздувшиеся и посиневшие. Я не стал смотреть и считать их, пробираясь сквозь переплетения проводов и поваленных электрических столбов. На углу улицы Пуанкаре...»

— Почему у них улицы назывались по-китайски? — не выдержал Дарко.

— Помалкивай и слушай, спрашивать будешь потом,— сделал ему выговор Жарко.

— «На углу улицы Пуанкаре,— продолжал Марко,— у подъезда стоял высокий человек, небритый, как мы все; даже не вполне одетый, он просто набросил на себя наскоро какой-то дождевик, в руках он держал сигареты, которыми хотел угостить приближающихся бойцов.

Я шел дальше. Но не успел дойти до Театра, как вдруг у Земуна грохнул орудийный залп, задрожал воздух и градом застучали по крышам осколки. Позади раздались крики и стоны. Люди бросились бежать. Испытывая одновременно и страх и любопытство, причем любопытство как бы прикрывалось страхом, я тоже повернул обратно. И в несколько прыжков оказался опять перед домом на углу улицы Пуанкаре. Двое мужчин склонились над третьим. Я подошел ближе. Высокий человек лежал на земле на своем дождевике, будто подстелив его под себя; осколок попал ему в грудь, кровь заливала асфальт, он вращал глазами и, задыхаясь, просил: «Доктора, позовите доктора!» Грязные и мокрые сигареты рассыпались вокруг, на некоторых из них были пятна крови. А люди, придя в себя, шли дальше. Мгновенно позабыв о своем собственном страхе, я пошел обратно к Театру».

— Где у них был этот Театр? — на Дарко не действовали никакие замечания.

— В старой части города, возле нынешнего Дворца ширпотреба, здание это сохранилось и в нем теперь товарный склад,— спокойно ответил Марко и продолжал чтение.

— «В Васиной улице я увидел развалины первых домов, которые немцы минировали ночью перед отступлением, похоронив под ними всех обитателей. Сверху нависали изуродованные бетонные плиты, словно в клочья изодранные ковры. Я шел быстро, стараясь не думать о мужчинах, женщинах, детях, которые, может быть, еще были живы и умирали под этими развалинами. Здание нового университета сгорело, осталось лишь дымящееся пепелище, а перед ним — нагромождение разбитой мебели, стекла и бесформенных предметов, которым нет более названия. Пока я искал проход через эти завалы, навстречу попался старый знакомый, университетский профессор. Он шел с сыном, семнадцатилетним юношей на голову выше его ростом. Оба они были покрыты грязью и пылью, вымазаны сажей, руки почернели от дыма, а веки покраснели от бессонных ночей.

Они жили в одном из тех красивых высоких домов у Калемегдана, которые продолжали гореть. Профессор рассказал мне о том, что им пришлось пережить. Накануне вечером, часов около десяти, немцы пошли по квартирам, они выгнали из подвалов всех жильцов и у них на глазах стали обливать бензином этаж за этажом и поджигать. Плакали дети, женщины теряли сознание. А отступавшие в темноте через Саву последние группы солдат продолжали вести огонь. Лишившиеся крова над головой, несчастные люди пытались найти убежище в пещерах Малого Калемегдана. Здесь на время удалось устроить женщин и детей, пока мужчины подыскивали более надежное укрытие.

Отец и сын смотрели смело, оба они были возбуждены, но в их рассказе я не ощущал страха и какого-либо сожаления. «Мы живы и свободны, а это главное. Вот только книг жалко. Но все будет хорошо!» — произнес профессор, прощаясь со мною. Я пошел дальше, но, сделав несколько шагов, оглянулся. И еще раз посмотрел им вслед: они шли рядом, выпрямившись, точно два сверстника, точно два молодых человека. И я подумал о том, какой силой наделены наши люди, какой самоотверженностью и какой простотой, само собой разумеющейся храбростью, и о том, что́ бы из всего этого можно было сделать в иных обстоятельствах, на пути созидания, а не разрушения и страданий. Я шел дальше. Впереди постепенно открывался Калемегдан, свет утреннего солнца сливался с туманом и пламени — с дымом. Казалось, будто впереди меня ожидает невероятная сказка, но первое, на что упал мой взгляд, была груда тел мирных горожан: они лежали на каком-то газоне, друг возле друга, диковинные безжизненные рыбины. И мне вспомнились слова, которыми начинается хроника Афанасия Диакона времен османских завоеваний: «И лежаху тела погубленного люда сербского по всем улицам великого Белогорода». Из этих исторических воспоминаний меня вывели орудийные выстрелы, вновь раздавшиеся у Земуна. Вспомнился раненый мужчина на улице Пуанкаре, и я присел на откосе газона, повернувшись спиной к неподвижным трупам...»

— Слушай, это очень интересно, но нам пора двигаться. Я полагаю, дед не обидится, если на сегодня мы с ним простимся,— теперь уже Жарко прервал чтеца.

Все посмотрели на часы. И в самом деле было пора идти: Марко — на собрание, а Дарко — в Панчево к своей невесте Елизавете Пётров, работавшей инженером на тамошней шелкоткацкой фабрике — они собирались пожениться в конце месяца. И его частые наезды в Панчево служили для ребят темой постоянных шуток.

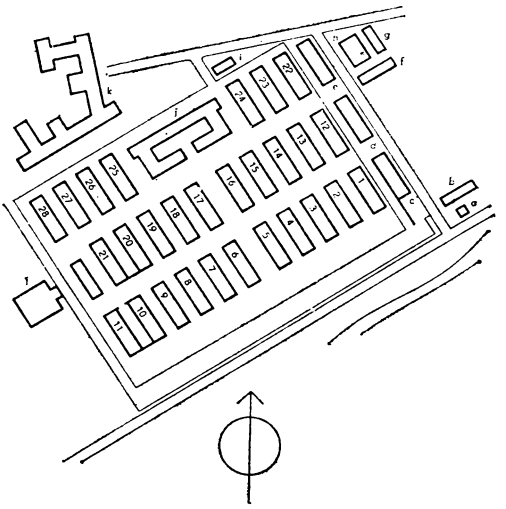
— Не знаю, как там Елизавета прядет свой шелк у станка, но все нити твоей души она зажала в кулак, это очевидно,— со смехом и на сей раз не преминул заметить Жарко и продолжал, теперь уже обращаясь к Марко: — Знаешь, я хотел было остаться и почитать дальше старомодную, но сердечную прозу твоего деда, но передумал и решил тоже пойти на празднование двадцатого октября. Охота послушать. Мне идти необязательно, но я чувствую потребность выразить свою благодарность людям, которым так трудно жилось и которые так здорово воевали в этом Белграде, а он ведь тогда был маленьким и разрушенным, а сегодня нам так хорошо в нем живется и работается. Завтра поглядим, о чем дед рассказывал дальше. Пошли!

Марко закрыл старый дневник и с шумом опустил шторку на шкафчике. Смеясь и подшучивая друг над другом, три молодых инженера спустились по просторной мраморной лестнице к аллее, где стоял, засыпанный первыми осенними листьями, их маленький автомобиль марки «триглав». Усаживаясь за руль, Дарко и сейчас не упустил случая посмеяться, назвав скромный автомобильчик «экипажем системы НЕДЕПОШ», расшифровывая это новообразование как «невидная, но дешевая и полезная штука».

Дарко включил мотор, и юноши стремительно исчезли за углом.

Ещё плодоносит чрево, откуда это выползло.

Бертольт Брехт



План расположения

1—28 блоки
a комендант лагеря
b центральная охрана
c комендатура
d администрация
e эсэсовский госпиталь
f—q политическое отделение
h крематорий 1
i помещение блокфюрера
j лагерная кухня
k приемный барак
l «театр»
m Черная стена

ПЕТЕР ВАЙС

МЕСТО, ДЛЯ КОТОРОГО Я БЫЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН

Размышляя о том, какое людское поселение или какой край наиболее подходит для описания в моем атласе, я поначалу перебрал много возможностей. Но, начиная с места, где я родился, которое носит название Нова-Вес и, согласно данным, находится неподалеку от Потсдама по дороге на Берлин, все мои местопребывания — от Бремена и Берлина, где прошло мое детство, до Лондона, Праги, Цюриха, Стокгольма, Парижа, куда меня потом занесло,— имели временный характер, причем более краткие промежуточные остановки — все эти уголки земли, будь то Варнсдорф в Богемии, или Монтаньола в Тессине, или Алингсос в западной Швеции, я уж и не упоминаю.

Все это были транзитные станции, оставлявшие впечатление главным образом непрочности, быстротечности, и когда я теперь пытаюсь установить, какую из них можно счесть опорной точкой, создавая топографию моей жизни, я снова и снова тычусь в нечто ускользающее, все эти города — словно тусклые пятна, и только одно место, где я пробыл всего один день, одно оно остается перед моими глазами.

Города, где я останавливался, в чьих домах жил, по чьим улицам ходил, с чьими жителями разговаривал, эти города лишены четких контуров, они сливаются друг с другом. они — части единого постоянно изменяющегося земного внешнего мира, я вижу то гавань, то парк, то произведение искусства, то ярмарку, то комнату, то арку, они присутствуют на основном рисунке моего метания по свету, на какую-то долю секунды задерживаешься в них и снова покидаешь, и их приметы каждый раз приходится заново придумывать.

Одно только это место, о котором я давно знал, однако с опозданием увидел, занимает особое положение. Это место, для которого я был предназначен и которого я избежал. Со мной самим там ничего не произошло. Я был связан с ним лишь тем, что мое имя значилось в списке тех, кто должен быть переселен туда навсегда. Я увидел это место двадцать лет спустя. Оно не меняется. Его строения нельзя спутать ни с какими другими.

Оно тоже носит польское название, как и город, где я родился,— возможно, мне его когда-нибудь и показали из окна поезда. Оно расположено в краю, где мой отец незадолго до моего рождения воевал в доблестной кайзеровско-королевской армии. Сохранившиеся казармы этой армии определяют его облик.

Для того чтобы облегчить общение с работающими и проживающими там людьми, его название онемечили.

На станции Аушвиц[1] постукивают товарные поезда. Свистят локомотивы, с шумом вырывается дым. Лязгают буфера. В воздухе изморось, дороги развезло, деревья голы и влажны. Черны от сажи фабрики, обнесенные колючей проволокой и каменной стеной. Тощие лошади тянут скрипучую деревянную телегу, на ней закутанный в старье возница с землистым лицом. Покрытые одеялами старые женщины бредут по дороге с узлами в руках. Дальше в полях виднеются одинокие крестьянские дворы, кустарники, тополя. Все мрачно, запущено. По железнодорожной насыпи беспрестанно катятся медленно туда и обратно поезда, окна вагонов зарешечены. Боковые ветки ведут дальше, к казармам, и еще дальше, через пустынные поля, на край света.

За поселками, которые после эвакуации снова заселены и выглядят так, словно война лишь недавно кончена, высится железная ограда территории, превращенной ныне в музей. На стоянке автомобили и автобусы, через ворота проходит школьный класс, группа солдат в темно-красных головных уборах возвращается с экскурсии. Слева длинный деревянный барак, в окошке продаются брошюры и открытки. Жарко натопленные сторожки. Сразу за бараком низкие бетонные стены, над ними заросший травой откос, поднимающийся к плоской крыше с короткой толстой четырехугольной дымовой трубой. По лагерному плану я определяю, что стою у крематория, у малого крематория, первого крематория, крематория с ограниченной пропускной способностью. А барак перед ним — это барак политического отделения, в нем находилась так называемая регистратура, которая вела учет поступивших и выбывших. Здесь сидели секретарши, входили и выходили люди с эмблемой «мертвая голова».

Я пришел сюда по доброй воле. Меня не выгружали из поезда. Меня не гнали дубинками на эту территорию. Я пришел сюда с опозданием на двадцать лет.

Железные решетки на маленьких окнах крематория. Сбоку тяжелая трухлявая дверь, криво висящая на петлях, внутри сырой холод. Выщербленный каменный пол. Справа большая железная печь. Перед нею рельсы, на них металлическая тележка в форме корыта длиной в человеческий рост. В глубине еще две печи, на рельсах тачка, печные дверцы широко открыты, в них серый прах, на одной из тележек засохший букет цветов.

Никаких мыслей. Никаких ощущений, кроме того, что я стою здесь один, что холодно, что печи холодные, что тележки неподвижны и заржавели. По черным стенам сочится влага. Вижу дверной проем. Он ведет в соседнее помещение. Длинное помещение, я меряю его шагами. Двадцать шагов в длину. Пять шагов в ширину. Беленые обшарпанные стены. Бетонный пол в выбоинах, весь в лужицах. На потолке, между массивными несущими балками, четыре квадратных люка, проходящих наподобие шахт сквозь бетон, над ними крышки. Холодно. Клубится пар дыхания. Издали слышны голоса, шаги. Я медленно иду сквозь эту могилу. Ничего не чувствую. Вижу только этот пол, эти стены. Догадываюсь: через отверстия в потолке сыпали порошок, который выделял во влажном воздухе газ. В конце помещения железная дверь с глазком, за ней узкая лестница, ведущая на волю. На волю.

Там стоит виселица. Дощатый ящик с люками, столб с поперечиной. Табличка извещает, что здесь был повешен комендант лагеря. Когда он стоял на ящике, с петлей на шее, он видел за двойным ограждением из колючей проволоки центральную дорогу лагеря, обсаженную тополями.

Я взбираюсь по откосу на крышу крематория. Деревянные, обшитые толем крышки над загрузочными люками. Под ними бункер. Санитары в противогазах открывали зеленые жестянки, высыпали содержимое на поднятые кверху лица и быстро опускали крышки.

Дальше. Я все еще за пределами лагеря. Виселица стоит на фундаменте барака для допросов, здесь была камера с деревянным помостом и железной трубой над ним. Они висели на железной трубе, их раскачивали и стегали плетью.

Казармы стоят плотно друг к другу — администрация, комендатура, помещение для охраны. Высокие ряды окон над бункером крематория. Отовсюду вид на плоскую крышу, на которую поднимались санитары. Совсем рядом окна барака, сквозь которые доносились удары и крики из камеры для допросов — «качалки».

Все тесно, стиснуто. Иду мимо бетонных столбов с двумя рядами колючей проволоки. На них электрические изоляторы. Щиты с надписями: «Осторожно. Высокое напряжение». Справа сараи и смахивающие на стойла постройки, несколько сторожевых вышек, слева будка с окошком, к нему под выступающим навесом прикреплена доска, чтобы удобно было штемпелевать бумаги, затем неожиданно — ворота с чугунной надписью, в которой особенно выпирает среднее слово «делает»[1]. Красно-белый шлагбаум поднят, я вступаю в четырехугольник — это и есть лагерь.

Много об этом читал и много об этом слышал. О них, о тех, кого здесь рано утром гнали на работу—в гравийные карьеры, на строительство шоссейных дорог, на фабрики господ, а вечером они тащились обратно, колоннами по пять человек, неся своих покойников под звуки оркестра, игравшего вон там, под деревьями. Но о чем все это говорит, что я об этом знаю? Теперь я знаю только, как выглядят эти дороги, обсаженные тополями, прямыми как стрела, с отведенными под прямым углом боковыми дорогами, между ними симметрично расположенные двухэтажные, длиной в сорок метров, из красного кирпича блоки с номерами от 1 до 28. Маленький, превращенный в тюрьму город, где господствовал принуди-

[1] Немецкое название Освенцима. *(Здесь и далее прим. перев.).*

[1] Видимо, речь идет о надписи на воротах концентрационного лагеря: «Arbeit macht frei» («Труд делает свободным»).

тельный порядок,— полностью покинутый. То тут, то там в сыром тумане экскурсант, отчужденно глядящий на дома. В отдалении идут дети с учителем.

Кухонный блок на главной площади, перед ним деревянная постовая будка с нахлобученной крышей и флюгером, пестро раскрашенная, словно сложенная из цветных кубиков. Это домик раппортфюрера, отсюда наблюдали за поверкой. Я знал об этих поверках, об этом многочасовом стоянии под дождем и снегом. Теперь я вижу только эту пустую глинистую площадь, в середине которой вбиты три столба, с рельсой на них. Об этом я тоже знал, как они стояли под рельсой на табуретках и как потом эти табуретки вышибали у них из-под ног и мужчины в фуражках с кокардой «мертвая голова» повисали у них на ногах, чтобы сломать им шею. Я видел это перед собой, когда читал и слышал об этом. Теперь я этого больше не вижу.

Преобладает ощущение, будто все гораздо меньшего размера, чем я себе представлял. Отовсюду видна ограда — светло-серая, составленная из бетонных плит стена позади колючей проволоки. В правом углу блоки — десятый и одиннадцатый,— соединенные стенкой. Впереди открытые деревянные ворота, ведущие во двор с Черной стеной.

Эта Черная стена, по бокам которой выпирают короткие щиты для улавливания пуль, теперь обложена плитами прессованной пробки и венками. Сорок шагов от ворот до стены. Песчаная почва утрамбована битым кирпичом. По краю каменной кладки левого здания с окнами, обшитыми досками, пролегает сточный желоб, в который стекала кровь уложенных в штабеля расстрелянных. Трусцой, голые, они появлялись из двери, шесть ступеней вниз, по двое. их держали за руки бункерные капо. А за наглухо заколоченными окнами в блоке напротив лежали женщины, чьи влагалища были набиты белой, похожей на цемент, массой.

Душевая одиннадцатого блока. Здесь они, те, кто должен был стать к стене, снимали свою жалкую, в синюю полоску одежду, здесь, в этом маленьком грязном помещении с гудронированными понизу и беленными вверху стенами в ржавых и темных пятнах и брызгах, с проложенным вдоль стен жестяным желобом, продырявленном черными трубами, пересеченном патрубком с душевыми лейками, здесь они стояли — номера, нацарапанные на ребрах чернильным карандашом.

Тут умывальня, а тут каменный коридор, разделенный железными решетками, впереди комната блокфюрера, в ней письменный стол, походная кровать и тумбочки, на стене девиз: «ОДИН НАРОД, ОДИН РЕЙХ, ОДИН ФЮРЕР», вместо двери решетчатая сетка — словно в вольер заглядываешь. Другой паноптикум — судебная комната напротив, длинный стол заседаний, на сером сукне журналы для протоколов: ведь смертные приговоры иной раз и выносились, выносились мужами, которые сегодня живут добропорядочной жизнью и пользуются почетом и уважением.

Лестница, ведущая вниз, в бункеры. Здесь не пожалели труда и размалевали стены рябенькой каймой «под мрамор». Средний проход, справа и слева боковые проходы с камерами, размером примерно три на два с половиной метра, с парашей в деревянном ящике и крошечным окошком. Иные и вовсе без окна, а только с отдушиной в потолке. Сюда заталкивали до сорока человек, они боролись за местечко у дверной щели, сдирали с себя одежду, теряли сознание. Иные оставались в живых после целой недели без пищи. Когда их вытаскивали, у некоторых на ногах были следы зубов, обкусанные пальцы.

Я смотрю на эти камеры, которых сам я избежал, тихо стою между допотопными стенами, не слышу ни топота сапог, ни команд, ни стонов и стенаний.

Здесь, в этом узком отсеке, четыре камеры, где узники могли только стоять. В полу люк, полметра в глубину, полметра в ширину, за ним железные прутья, сюда они вползали и стояли по четверо, в шахте площадью девяносто на девяносто сантиметров. Наверху отдушина, размером меньше ладони. Стояли пять ночей, десять ночей, две недели — каждую ночь после дня тяжелой работы.

К наружной стене блока пристроены бетонные ящики с маленькими перфорированными жестяными крышками. Отсюда воздух через длинный ствол шахты проникал вниз камеры, где они стояли, с прижатыми к камню спинами или коленями. Они умирали стоя, по утрам их приходилось выволакивать снизу.

Вот уже несколько часов я брожу по лагерю. Уже хорошо ориентируюсь в нем. Я стоял во дворе перед Черной стеной, видел деревья за стеной, но выстрелов малокалиберных винтовок, из которых стреляли в упор в затылок, я не слышал. Я видел стропила, на которые их вешали за связанные сзади руки, а они висели на несколько сантиметров над землей. Видел помещения с затемненными окнами, в которых женщинам выжигали рентгеновскими лучами яичники. Видел коридор, в котором они все стояли, десятки тысяч, и медленно продвигались к комнате врача, их вводили по одному за серо-зеленый занавес, толкали на табуретку, заставляли поднять левую руку и делали укол в сердце, а в окно я видел двор, где ждали сто девятнадцать детей из Замостця, они даже играли в мяч, поджидая свою очередь.

Я видел рисунок старого кухонного здания, где большими буквами начертано: «ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДНА ДОРОГА К СВОБОДЕ, ЕЕ ВЕХИ — ПОСЛУШАНИЕ УСЕРДИЕ ОПРЯТНОСТЬ ЧЕСТНОСТЬ ПРАВДИВОСТЬ БЛАГОРАЗУМИЕ И ЛЮБОВЬ К ОТЧИЗНЕ». Я видел гору срезанных волос в витрине. Видел реликвии — детская одежда, обувь, зубные щетки и протезы. Все было холодно и мертво.

Непрерывно лязгают и грохочут товарные поезда, пыхтят, протяжно свистят па-

ровозы. Поезда катятся по широкой равнине в направлении Биркенау. Вот здесь, где глинистая дорога поднимается к железнодорожной насыпи и пересекает ее, стояли властелины и рукой указывали на широкие поля, решая превратить их в место ссылки, которое теперь снова погружается в болотистую землю.

Одна колея ответвляется от железнодорожного полотна. Она заросла травой, местами разломана; ведет она через сводчатые ворота к облупленному длинному строению, к сараю с разлохмаченной крышей, разваливающейся вышкой.

Насколько в других лагерях все тесно и близко, настолько здесь все просторно, необозримо.

Справа, до самой лесной полосы, бесчисленные дымовые трубы снесенных и сожженных бараков. Сохранились лишь отдельные ряды этих стойл для сотен тысяч. Слева ровные ряды уходящих в туман каменных построек, где содержались узницы. Посредине длинная, в километр, платформа. Даже разрушенное, все это являет принцип порядка и симметрии. Позади ворот сарая, у стрелки, колея расходится направо и налево. Между шпалами растет трава. Трава растет и в гравии платформы, едва возвышающейся над рельсами. Двери товарных вагонов, рывком открываемые, были высоко над землей. Надо было прыгать с полутораметровой высоты на щебень с острыми краями, сбросив свой багаж и умерших в пути. Направо отправляли мужчин, которым дозволено было еще недолго пожить, налево женщин, которых сочли пригодными для работы, а прямо по дороге — к дымящимся трубам тащились старики, больные и дети.

Солнце над горизонтом прорывается сквозь облака и вспыхивает в окнах сторожевых вышек. В конце платформы, справа и слева между деревьями,— развалины, тополя позади ограды неподвижны, вдали гогочут гуси. А там, справа, березовый лесок. Я вижу женщин и детей, одна из них держит у груди младенца, на заднем плане плетется группа к подземным камерам. По огромной груде камней, по гнутым стальным балкам и обрушившейся бетонной крыше еще можно представить себе архитектуру сооружений. Вот здесь узкая лестница ведет вниз, к помещению длиной метров в 40, со скамьями и нумерованными крючками на стенах для обуви и одежды. Здесь они стояли голыми, мужчины, женщины и дети, и им велели запомнить свои номера, чтобы найти свою одежду после душа.

Длинные каменные котлованы, через которые переправляли миллионы людей в ответвляющиеся под прямым углом отсеки с продырявленными жестяными столбами, оттуда наверх к печам, чтобы потом разогнать над ландшафтом в виде коричневого сладковатого дыма. Эти каменные котлованы, в которые ведут ступени, сбитые миллионами ног, теперь пусты, они снова обращаются в песок и землю, мирно лежащие под закатным солнцем.

Вот здесь они шли, медленной вереницей, прибыв из всех концов Европы, вот горизонт, который они еще видели, вот тополя, вот сторожевые вышки, с солнечными бликами на оконных стеклах, вот дверь, через которую они проходили в помещения, залитые ярким светом, где не было душа, а только эти четырехугольные столбы из жести, вот стены, между которыми они умирали во внезапной темноте, в газе, струящемся из дыр. Но эти слова, эти картины ничего не говорят, ничего не объясняют. Остались только груды камней, заросшие травой. Пепел остался в земле, пепел тех, кто умер ни за что ни про что, кто был вырван из своих жилищ, своих лавок, своих мастерских, разлучен со своими детьми, женами, мужьями, любимыми, отрезан от всего, чем жил, и ввергнут в непостижимое. Ничего не осталось, кроме абсолютной бессмысленности их смерти.

Голоса. Подъехал автобус, из него выходят дети. Теперь школьники осматривают развалины. Послушав учителя, они взбираются на камни, иные уже спрыгивают вниз, смеются и гоняются друг за другом, одна девочка бежит по продолбленной колее, пролегающей вдоль остатков рельс через бетонный обломок. Это была ленточная дорога, по которой катились вагонетки с трупами. Направляясь к женскому лагерю, я оглядываюсь назад и вижу, как дети бегают среди деревьев, слышу, как учитель хлопает в ладоши, созывая их.

Когда солнце скрылось, с земли поднялся туман и заклубился над низкими бараками. Двери раскрыты настежь. Я вхожу в одну из них. Дыхание, шепот, шорохи еще не полностью заглушены тишиной, эти нары, в три этажа, вдоль стен и одним рядом посредине, еще не полностью покинуты, здесь в соломе, в густом сумраке, еще мерещатся тысячи тел — там внизу, на уровне пола, на холодном бетоне, наверху, под скошенным потолком, на досках, на полках, между каменными стенами, они лежат, прижатые друг к другу, по шесть в каждой дыре, сюда внешний мир еще не полностью проник, еще не исключено, что там внутри что-то зашевелится, поднимется голова, протянется рука.

Но немного погодя и здесь наступают безмолвие и оцепенение. Пришел живой, и перед этим живым замыкается то, что здесь происходило. Живой, который сюда пришел, пришел из другого мира, он не знает ничего, кроме цифр, письменных отчетов, свидетельских показаний, они часть его жизни, его бремя, но постичь он способен лишь то, что сам испытал. Только если его самого оторвут от письменного стола и закуют в кандалы, станут топтать и хлестать кнутом, он узнает, каково это. Только если он был вместе с теми, кого сгоняли, избивали, грузили на возы, он знает, каково это.

Теперь он только стоит посреди исчезнувшего мира. Здесь уже все кончено. Некоторое время царит полнейшая тишина.

И он вспоминает, что это еще не кончено.

1964

Перевод с немецкого Н. ТИШКОВОЙ

Публицистика

ГЮНТЕР ВАЛЬРАФ

«БИЛЬД»: В СВОЕМ РЕПЕРТУАРЕ[1]

Главы из книги

Перевод с немецкого М. Г. ФЕДОРОВА

«Бильд» — это газета, которая защищает преследуемых и угнетенных, помогает бедным, приносит облегчение больным...

Аксель Цезарь Шпрингер

...И вечно грозят забастовки

Итак, БИЛЬД видится Шпрингеру как нечто среднее между благородным героем Зорро и сердобольной монахиней. Следовательно, газета имеет также заслуги в области здравоохранения. Сегодня БИЛЬД оповещает: «Деготь помогает против облысения», завтра предлагает верить, что «горячее ружейное масло — средство против икоты». Даже могущество мысли воспевает БИЛЬД: «Думайте в темноте о вашем бюсте, и он увеличится в объеме на 6 см!» Разве это не приносит облегчения?

Облысение, икота, маленькая грудь — для БИЛЬД это и есть проблемы преследуемых и угнетенных. Напротив, проблемы труда удостаиваются упоминания, только если редакция находит их смешными до жути. «Рабочий попал в машину для изготовления колбас!» — вот это тема. Для последних данных о безработице БИЛЬД выделяет колонку в 3 на 4 см. О «схватке в метро — женщины против сексоманьяков» сообщается буквами величиной 6 на 20 см.

В этом и заключается доктрина Шпрингера, провозглашенная издателем «ГАМБУРГЕР АБЕНДБЛАТТ»: «Наша задача — угодить читателю!» А потому, как говорится, «Будьте взаимно любезны!». Отсюда следует, что для БИЛЬД и ее высокооплачиваемых изготовителей фальшивок любое изменение тарифных расценок, любой трудовой конфликт являются поводом для антипрофсоюзной пропаганды. Аппарат БИЛЬД твердо усвоил то, что́ сам Шпрингер охотно рекламирует. На банкете по случаю 30-летия со дня основания «ГАМБУРГЕР АБЕНДБЛАТТ» он поведал собравшимся, что некий «весьма влиятельный профсоюзный вождь» сделал ему комплимент: «Таким предпринимателям, как вы, не нужны никакие профсоюзы». Разумеется, этот профсоюзный деятель остался анонимным. А если у кого появятся сомнения, можно будет сказать, что его уже нет в живых. Вот потому-то, когда «грозят забастовки», БИЛЬД информирует об этом, словно о конце света.

Пример № 1. В конце 1980 года почтовые служащие обсуждали возможность проведения забастовки. Требование профсоюза: больше свободного времени рабочим и служащим, занятым посменно. За неделю до предварительного голосования, то есть вообще до того, как решился вопрос о проведении забастовки, из франкфуртской БИЛЬД позвонили уполномоченному профсоюза по связям с прессой. Уполномоченный следующим образом передает состоявшийся разговор:

«Редактор БИЛЬД спросил меня о последствиях забастовки, последствиях для граждан. Я ему ответил, что за семь дней до предварительного голосования я ничего не сказал бы ему о наших требованиях, даже если бы и знал их. Тогда он спросил меня, не собираемся ли мы отключить телефонную сеть. Я ему говорю: нет, этого мы не сделаем. А он спрашивает, возможно ли это технически. Я сказал ему, что технически, конечно, возможно отключить ток, а значит и сеть, но мы не собираемся этого делать. Я еще добавил, что подобные методы противозаконны, нас могли бы

© 1981, by Konkret Literatur Verlag, Hamburg

[1] См. предыдущие публикации Г. Вальрафа, посвященные истории его работы в редакции «Бильд» («ИЛ», 1981, № 6. Рождение сенсации. «ИЛ», 1981, № 10—11. Свидетели обвинения).

обвинить в саботаже. А мы прекрасно понимаем, чем это пахнет. Этот вопрос вообще не подлежит обсуждению. Все это я ему сказал, но в газете ничего не напечатали».

На первой странице БИЛЬД от 10 ноября 1980 года 20-тисантиметровая шапка извещала: «Забастовка на почте: все телефоны молчат!» А в статье значилось: «Хорош подарочек... Вероятно, все телефоны будут отключены. Уполномоченный профсоюза почтовых работников по связям с прессой заявил, что технически это вполне возможно...»

Конечно же, это была самая настоящая утка: нигде телефонную сеть не отключали. Работники службы междугородной связи во Франкфурте заявили тогда: «Это скверно повлияет на отношение населения к нашей секции, опорочит наши справедливые требования. В сообщении нет ни слова правды».

Уполномоченный профсоюза Брайт:

«На следующее утро не было отбоя от звонков... Я попал в двусмысленное положение... Вся забастовка оказалась скомпрометированной, это стоит добавить. Я попытался внести ясность. Моя заметка была напечатана лишь через несколько дней, где-то на последней странице. Профсоюз и не думал отключать телефоны, но сообщение об этом уже ничего не давало. Ничего нельзя было исправить».

Пример № 2. С 1977 года в городском магистрате Франкфурта-на-Майне заправляет бургомистр Вальтер Вальман, правый подстрекатель правой экстремистской гессенской ХДС. Его люди повсюду кричат о том, что пора наконец очистить Франкфурт от «товарищей» из СДПГ. Они же пытались с помощью юридических трюков и произвольного толкования закона сократить число членов совета служащих магистрата с 46 до 19. Это было явным нарушением интересов профсоюза, куда входит 15 000 служащих. Поэтому доверенные лица из профсоюза начали готовить общее собрание, что было довольно трудным делом, так как работники магистрата разделены по самым разным сферам и их рабочие места рассеяны по всему городу.

13 ноября 1980 года в Зале конгрессов собрались около 10 000 служащих на общее собрание персонала. Многие учреждения были закрыты. Но для работников службы уборки мусора 13 ноября было самым обычным рабочим днем, так как, согласно городскому распорядку, перерывы в уборке мусора не допускаются.

Общее собрание стало крупным успехом служащих и столь же крупным поражением бургомистра Вальмана. Но что же обо всем этом узнали на следующий день читатели БИЛЬД?

«Учреждения заперты наглухо: г-жа Шпицер не получила своего паспорта, г-ну Рохди не выдали водительских прав, полицейские не появились на своих постах»,— гласил заголовок в БИЛЬД. На гарнир в этой истории подана фотография якобы «весело кутящих рабочих-мусорщиков». И подпись к ней: «Пока в ратуше выступал бургомистр Вальман, мусорщики «в соседнем пивбаре» беззаботно отмечали «свой выходной».

Двое рабочих-мусорщиков, чьи фотографии появились в БИЛЬД, комментируют эту публикацию:

«...Мы сделали одну ездку до собрания, а вторую — после. В обеденный перерыв подошли двое, сфотографировали нас и сразу же, ни слова не говоря, смылись».

«На следующий день мы увидели в БИЛЬД все это дело. От товарищей по работе нам попало, да и конечно дома влетело. Как это так, налогоплательщики обязаны платить, а мы, мол, устроили себе выходной... Подло было так писать, что у нас «выходной». После обеда мы еще работали до четырех, да, пожалуй, до полпятого. Мы свое дело сделали — весь мусор вывезли... А нас выставили круглыми дураками, бездельниками, вредными для отечества...»

Лишь два примера, но они показывают, чем, не жалея сил, занималась БИЛЬД в течение всего трех дней. Это отнюдь не газета преследуемых и угнетенных и уж вовсе не бедных «маленьких людей». Постыдными доносами, передержками, фальшивками как раз у «маленьких людей» отбираются их права. А если они борются за свои права, их чернят и осмеивают, выставляя пьяницами и бездельниками.

Запрет на профессию

Томас Эрднер — учитель и «служащий на испытательном сроке» в Гамбурге. Только «испытательный срок» этот длится уже почти десять лет. Причина подобного рекорда: Томас Эрднер — член Германской коммунистической партии (ГКП). На него распространяется закон о «запретах на профессию».

В 1975 году гамбургский сенат издал распоряжение об его увольнении с государственной службы. Эрднер опротестовал это распоряжение в административном суде Гамбурга и выиграл дело. Суд обязал сенат восстановить его на службе. Политиканы и бюрократы, которые, разумеется, никогда не оплачивают судебные издержки из своего кармана, а потому с неизбывным упрямством, за

счет нервов и денег граждан, судятся во всех инстанциях, не желая легко сдаваться. Сенат обратился в Верховный административный суд. Эрднер, член профсоюза работников просвещения и науки, стал тем временем председателем совета по делам персонала гимназий Гамбурга, но оставался все же «служащим на испытательном сроке».

После победы гамбургской СДПГ на коммунальных выборах сенат начал пересматривать свою политику в отношении запретов на профессии. Гролле, сенатор по делам школ, предложил в сенате отозвать апелляцию в Верховный административный суд и считать увольнение Эрднера из школы недействительным. В ответ БИЛЬД, гамбургская ХДС и ведомство по охране конституции ганзейского города приступили к «форсированной акции». Под заголовком «Увольнение учителей и несостоявшиеся занятия. Коммунисты за три месяца заблокировали выполнение 1933 распоряжений в 500 школах!» и шапкой «Сенатор Гролле, что же дальше?!» шпрингеровская газета приписала председателю совета право принимать решения за все советы в школах. БИЛЬД: «С тех пор как функционер ГКП Эрднер избран председателем совета, во всех 500 школах Гамбурга ничего не делается без коммунистов». Партия ХДС с помощью разного рода запросов продолжила начатую БИЛЬД травлю так называемыми «демократическими методами».

BILD-Hamburg

DKP-Lehrer Erdner: Ist sein Freizeitheim in der Marsch Schulungszentrum für Kommunisten?

Rote Seminare - was sagt der Schulsenator?

Fünf Fragen an Professor Joist Grolle

Сообщая точный адрес Эрднера, чтобы единомышленники БИЛЬД, такие как новоявленный неонацистский фюрер Кюнен и его громилы-штурмовики, знали, куда им идти, БИЛЬД явно действовала с подачи гамбургского ведомства по охране конституции.

БИЛЬД сообщает о «белом крестьянском доме», «напротив луга с красными телятами». А в доме «иногда гуляют до трех утра» и к тому же «при красном свете». Ну и чтобы картина «красной опасности» стала полной, у Эрднера, живописует БИЛЬД, «красная борода».

А там, где столько красного, государство в опасности. Тем более что БИЛЬД якобы разыскала трех девиц, которые по соседству с Эрднером осведомлялись (их вопрос тиснут в газете жирным шрифтом): «Где тут семинар по обучению коммунистов?»

Это сообщение БИЛЬД стало основой дальнейших запросов христианско-демократической оппозиции в земельном парламенте. Если раньше сенатор по делам школ письменно заявлял, «что не существует больше сомнений в профессиональной пригодности г-на Эрднера», то теперь он только информирует парламент, что «возникают другие вопросы, которые предстоит выяснить... Мы проверим, содержит ли г-н Эрднер коммунистическую школу... И осведомлялись ли три девушки по соседству с Эрднером о коммунистической школе». Несмотря на иронию в ответе на запрос оппозиции, Эрднер до сих пор еще не стал служащим, получившим пожизненное право на свою должность.

БИЛЬД своего добилась. Не будь травли, устроенной БИЛЬД, Эрднер после «десятилетнего испытательного срока» давно бы уже стал старшим советником по делам просвещения.

Стервятники

Желанная тематика для БИЛЬД — самоубийства. При этом бильдовские журналисты действуют просто: пользуясь шоковым состоянием потрясенных родственников, они легко втираются к ним в доверие, забирают прощальные письма, фотографии, используют и самих родственников. Мертвый не способен защищаться. На его счет можно позволять себе любые измышления, можно фальшивить и клеветать, как БИЛЬД того захочется. Вот пример.

Хайнц Баац, директор одной из западноберлинских школ, был отстранен от должности по причине болезни. Две его попытки покончить жизнь самоубийством окончились неудачей, третья удалась. 30 января Хайнц Баац был найден мертвым в своем гараже. На следующее утро БИЛЬД превращает его смерть в сенсацию: «ИНТРИГИ УЧИТЕЛЕЙ-КОММУНИСТОВ ЗАСТАВЛЯЮТ МЕНЯ ПОКОНЧИТЬ С СОБОЙ... В ПРОЩАЛЬНОМ ПИСЬМЕ СЫНУ ОН НАЗВАЛ ПРИЧИНУ РАЗОЧАРОВАНИЯ В ЖИЗНИ». Эта фраза и пристегнутая к ней заметка — плод воображения БИЛЬД. Текст прощального письма гласит:

«Мой дорогой Юрген! Я больше не в силах жить. Прилагаю все документы по наследству; ты — единственный наследник 42 000 марок. Да еще есть лодка, которая стоит около 25 000 марок. Теперь вы купите дом. Сам я хочу, чтобы меня кремировали... Никаких прощальных церемоний устраивать не надо, я не хочу. Надо только отпечатать небольшие траурные карточки. Напишите: «29.01 неожиданно скончался наш отец г-н Хайнц Баац. Скорбящие Юрген Баац и семейство. Согласно желанию покойного, прощальной церемонии не будет». Разошлите карточки по адресам, указанным в прилагаемой белой адресной книжке. Больше ничего. Всего вам хорошего, и пусть вас минуют все несчастья, постигшие меня в последнее время. Ваш отец Хайнц Баац».

Сын покойного Юрген Баац:

«В тот же день я позвонил в БИЛЬД ответственному редактору. Мы с ним договорились, что я сам напишу опровержение и приложу копию прощального письма отца, с тем чтобы доказать, что цитата в БИЛЬД выдумана. Я все сделал и отослал в редакцию, но они до сих пор молчат».

Вместо ответа редакции Юрген Баац получает письмо от юрисконсульта издательства Шпрингера в Гамбурге. Там говорится: «Я отсоветовал редакции публиковать ваше опровержение. По закону требование опровержения является в высшей степени личным актом. Следовательно, выставлять его может лишь сам потерпевший. В рассматриваемом случае публикация затрагивает исключительно Вашего покойного отца. Он один мог бы привести доводы, по которым добровольно простился с жизнью. Глубоко скорблю о кончине Вашего отца и надеюсь, что Вы поймете причины нашего отказа...»

Юрген Баац нанял адвоката и вчинил иск издательству Шпрингера. Через пять дней текст появился на титульной странице газеты, но в самом неприметном месте и набран был петитом.

Юрген Баац вчиняет второй иск. Он требует публикации тем же шрифтом, каким две недели назад была набрана измышленная БИЛЬД цитата. Спустя неделю издательство отклоняет его иск. В обосновании нет ни слова насчет выдуманной БИЛЬД цитаты, вместо этого в качестве аргумента приводятся формальные моменты: «Отсутствуют точные данные о том, какие положения публикации ответчика вызвали претензии со стороны истца. Берлинское издание БИЛЬД названо только в заявлении истца».

И дальше: «Отсутствует конкретное указание, какое место в высказываниях БИЛЬД требует замены».

Шпрингеровские адвокаты ставят в вину заявителю даже то, что «он не подписал своего опровержения. Стало быть, уже по этой формальной причине опровержение отклоняется, вследствие чего и речи не может быть ни о каком иске».

До рассмотрения иска земельный суд приговорил издательство Акселя Шпрингера к выплате 5000 марок компенсации. С оговоркой, что штраф будет отменен, если газета БИЛЬД напечатает второе опровержение, шрифт и место публикации которого будут соответствовать первой публикации. 19 апреля БИЛЬД аккуратно воспроизводит опровержение Юргена Бааца. С момента появления выдуманной цитаты из прощального письма прошло 78 дней. Казалось бы, публикацией от 19 апреля, по крайней мере для сына покойного, вопрос был исчерпан. Но через 97 дней Юрген Баац оказывается перед судом. Газета БИЛЬД подала на апелляцию и выиграла.

Приговор весьма спорный, основанный лишь на формальных зацепках, хотя по существу сын явно был прав. На этот раз Юргену Бааду, пожелавшему отстоять свое законное гражданское право — право на правду,— предстояло уплатить 6000 марок судебных издержек.

Самоубийство из-за Юнке

«Телевидение прекрасно только благодаря БИЛЬД»,— утверждает БИЛЬД. БИЛЬД же определяет, что прекрасно для телевидения, а что нет. Если БИЛЬД обращает внимание на передачу, актер становится звездой, в противном случае передача проваливается.

И актеры это знают. БИЛЬД делает их великими. Но все имеет свою цену. Звезды обязаны быть в хороших отношениях с БИЛЬД, быть готовыми к ответам на телефонные вопросы в конце недели, поставлять материал для заголовков или по крайней мере помалкивать, если БИЛЬД сама выдумает что-нибудь «эдакое», что-нибудь умопомрачительное из жизни звезды.

Одной из звезд, «испеченных» БИЛЬД, является Харальд Юнке. Когда на Мюнхенском телевидении 31 марта 1979 года должна была состояться премьера его шоу под названием «Музыка — вот шанс», время передачи не совсем устраивало БИЛЬД. Это была суббота, а следующий выпуск БИЛЬД выходил только в понедельник. И чтобы подогреть интерес к Юнке, чтобы реакция зрителей, хотя бы и самая восторженная, не забылась за два дня, нужно было в понедельник дать о нем броский материал. Судя по нижеследующей заметке, редакции это вполне удалось:

САМОУБИЙСТВО ИЗ-ЗА ПЕРЕДАЧИ «МУЗЫКА — ВОТ ШАНС»

В. Шлагеан и В. Виндель

«Двадцать миллионов телезрителей в субботу вечером громко восхищались новым шоумастером Харальдом Юнке. И только одному она не понравилась — от злости он прыгнул с эстакады прямо в объятья смерти!

Боннский монтажник отопительных систем Герберт Х. (21 год) хотел смотреть по первой программе «Гиммиков» и Венке Мире. Его жена Ангелика (19 лет), наоборот, по второй программе — передачу «Музыка — вот шанс». Представитель полиции: «Произошла семейная потасовка. Супруги схватились врукопаш-

ную. Герберт Х. ринулся в пивную, чтобы остудить свою злобу.

Когда он через час вернулся, «Гимликов» уже не было, а шоу Юнке еще продолжалось. Тут монтажник заорал: «С меня хватит!»

Он выбежал из дому, пробежал 800 метров, перескочил через парапет эстакады и с шестиметровой высоты упал на автостраду Бонн — Кобленц, прямо под колеса мчавшегося на большой скорости «опеля». Полиция: «Кажется, парень умер на месте».

Selbstmord wegen „Musik ist Trumpf"

Von W. SCHLAGEHAN und W. WINDEL

Zwanzig Millionen Fernsehzuschauer waren Samstagabend vom neuen Showmaster Harald Juhnke hellauf begeistert. Einer nicht — er sprang vor Wut von einer Autobahnbrücke in den Tod!

Der Bonner Heizungsmonteur Herbert H. (21) wollte im ersten Programm die „Gimmicks" und Wencke Myhre sehen. Seine Frau Angelika (19) dagegen im zweiten Programm Harald Juhnkes **„Musik ist Trumpf"**.

Ein Polizeisprecher: „Es kam zum handfesten Familienstreit. Herbert H. rannte in die Kneipe um die Ecke, um seinen Ärger hinunterzuspülen."

Als er nach einer Stunde zurückkam, waren die „Gimmicks" schon zu Ende, und die Juhnke-Show lief immer noch. Da schrie der Monteur: „Das mache ich nicht länger mit."

Er rannte aus dem Haus. 800 Meter weiter schwang er sich über das Geländer der Autobahnbrücke „Endenicher Ei". Sechs Meter tiefer prallte er auf die Autobahn Bonn—Koblenz. Er fiel direkt vor einen Opel, wurde überrollt. Die Polizei: „Der Mann muß sofort tot gewesen sein."

В данной истории верно только одно: Герберт Х. из Бонна действительно покончил с собой в субботу вечером. Все остальное выдумка. Передача «Музыка — вот шанс» окончилась после 22 часов. Герберт Х. покончил с собой после 23 часов. Во время передачи его не было дома и с женой он не ссорился. Более того, как раз в это время он находился вместе с ней в одном из боннских ресторанов.

Представитель полиции Хальм утверждает: «Мы не давали газете БИЛЬД подобной информации. Сведения о самоубийстве исходят не от нас. Обычно дела о самоубийствах расследуют совместно полиция и прокуратура. Это дело давно закрыто». Представитель боннской прокуратуры Дитер Эрсфельд: «Сведения, поступившие из полиции, не давали никаких оснований для заметки, напечатанной в БИЛЬД. Что же касается мотива, я полностью исключаю какую бы то ни было связь самоубийства с телешоу Харальда Юнке». А шоумастер Юнке, который получает рекламу с помощью этой жуткой истории, терпит фальшивку. Он прекрасно знает, что его телевизионная карьера зависит от БИЛЬД. И пока бульварная газетенка будет петь ему хвалу, несмотря на разные там срывы по части спиртного, до тех пор Юнке останется в деле. А дело и для БИЛЬД превыше всего. Даже если при этом клевещут на какого-то монтажника после его смерти. Истинной причины самоубийства Герберта Х. БИЛЬД, разумеется, не называет: человек был болен и во второй раз потерял работу. Но разве это тема для БИЛЬД?

БИЛЬД и новости с того света

Тому, кого постоянное собственное вранье и фальшивки отучили доверять самим себе, просто необходимо спрятаться за чужую спину. БИЛЬД практикует это постоянно, продолжая при этом мошенничать и лгать. И дабы иметь возможность сбывать самые бредовые измышления, прикрывается «всемирно известными авторитетами» и именами «признанных специалистов».

Так, в день покушения на Рейгана читателей БИЛЬД под шапкой «КРОВЬ!» оповестили, что «у каждого есть свой ангел-хранитель». В качестве эксперта БИЛЬД ссылается на «известнейшую в мире исследовательницу проблем смерти г-жу Кюблер-Росс из Эскондиды (США)». БИЛЬД цитирует высказывания этой дамы: «У каждого человека есть свой ангел-хранитель! С момента рождения и до смерти этот незримый спутник не отходит от нас. Он придает нам мужество и вливает энергию для борьбы со всяким злом». (Что же, коли так, стало быть, и для борьбы с БИЛЬД! — **Г. В.**)

Чтобы совсем уж наивные читатели не сочли ангела-хранителя фигурой скорее символической, БИЛЬД через г-жу Кюблер-Росс однозначно поясняет: «Внезапно появился Анка, мой ангел-хранитель. Он коснулся моей руки, погладил волосы. Я очень разволновалась. А он мне посоветовал: «Скажи людям, что я существую». Так я и сделала».

Так как БИЛЬД выходит в XX столетии, а не в средние века, просвещенным читателям газеты, естественно, требуются аргументы, достойные нашей технотронной эры. Готовая к услугам БИЛЬД вновь ссылается на госпожу Кюблер-Росс, которая располагает неопровержимыми вещественными доказательствами: «Я разговаривала с моим ангелом-хранителем и записала его голос на пленку. Он зовет себя Анка». Ну вот, пожалуйста!

Чтобы устранить последние сомнения наиболее недоверчивых читателей, БИЛЬД в следующем сообщении подбрасывает доказательства еще более неопровержимые.

Снова аршинные заголовки: «Исследователь потустороннего: «Скоро мы сможем увидеть мертвых по телевидению... и разговаривать с ними». На сей раз

«всемирно известного» главного эксперта зовут Фридрих Юргенсон. БИЛЬД поселяет его в Швеции и для убедительности упирает на его «немецкое происхождение». Как вспомогательный эксперт выступает еще и Фиделио Кёберле из Дюссельдорфа, которого БИЛЬД наделяет званием «дипломированный психолог». Тот свидетельствует: «Юргенсон занимается своими исследованиями вот уже двадцать лет и с большим успехом».

И как он исследует! Согласно БИЛЬД: «В Удине (сев. Италия) Юргенсон предсказал: «Включив соответствующий канал телевидения, мы сможем даже разговаривать с умершими». Правда, для этого придется решить ряд мелких технических проблем. Но это детали. Статья БИЛЬД умалчивает о том, облекутся ли на экране наши дорогие усопшие плотью или нам предстоит общаться со скелетами. Еще в одном пункте своих разысканий БИЛЬД не проявила достаточной настойчивости, так что решающий вопрос (БИЛЬД напечатала его жирным шрифтом) остался открытым: «Какими будут на телеэкране лица умерших? Юргенсон — он живет в Швеции — не раскрыл своей тайны».

Но, конечно, потом мы эту тайну узнаем. Когда Шпрингер самолично поделится ею с телевизионного экрана.

Как и прежде, БИЛЬД приземляет и отправляет с нашей планеты летающие тарелки, и особо преданные и верующие читатели БИЛЬД продолжают надеяться, что их для разнообразия когда-нибудь захватят в космическое путешествие.

Сбитых с толку читателей БИЛЬД потчует бредовыми галлюцинациями душевнобольных. С большой помпой БИЛЬД сообщает:

«СПЕЦИАЛИСТКА ПО НЛО ИЗ МЮНХЕНА УБЕЖДЕНА: ЗАВТРА В ПОЛОВИНЕ ШЕСТОГО ВИЗИТ С ДАЛЕКОЙ ЗВЕЗДЫ».

Завтра утром для немецкой (ФРГ) специалистки по НЛО № 1 пробьет наконец час правды: мюнхенская переводчица Ильза фон Якоби всегда была твердо убеждена в том, что радиопередатчики мира когда-нибудь прервут свои передачи между половиной шестого и двенадцатью часами и единодушно возвестят о сенсации всех времен:

«В ночь на пятницу на военный аэродром Кимросс в американском штате Мичиган должны приземлиться десять НЛО! На борту — жители планеты «Корендор» из созвездия Плеяд и более 200 пилотов (среди них двое висбаденцев), которых пришельцы похитили за прошедшие 30 лет!»

Этого дня, начала новой космической эры, Ильза фон Якоби ждет уже 25 лет. Поэтому она вовсе не удивилась, когда в воскресенье вечером «голос друга» с удаленного от Земли на четыре световых года «Корендора» возвестил о прилете НЛО.

Ильза фон Якоби, окончившая школу 50 лет назад и потерявшая на войне мужа и сына, основала в 1965 году мюнхенскую группу по НЛО.

Профессор Герман Оберт, отец космических полетов, и автор бестселлеров Эрих фон Деникен — ее самые главные собеседники. А что, если НЛО в ночь на пятницу упадут в воду? Ильза фон Якоби: «Об этом не стоит и говорить. ВРЕМЯ ПРИШЛО!» Действительно, время пришло, иначе будет поздно. Ибо слабоумие, которое БИЛЬД — эта школа «добродетелей нации» — планомерно насаждает, не оставляя в головах читателей места для обыкновенного здравомыслия, лишает их способности к разумным действиям во имя спасения демократии.

Когда собирается компания путаников, зазнаек и клинических больных (их отличительная особенность — зрительные и слуховые галлюцинации), чтобы заняться своим, пусть даже поначалу довольно безобидным хобби, БИЛЬД подает это следующим образом:

«180 ученых и политиков со всем вниманием отнеслись к международному конгрессу по НЛО в Лондоне». И когда его председатель — чопорный полубезумный лорд Клансерти, отталкиваясь от НЛО-логии, доходит до проповеди расистских тезисов, он получает полную поддержку со стороны БИЛЬД: «Обитатели различных звезд прибыли 63 000 лет назад на Землю и заселили ее. Потому и существуют сегодня лорды с белым цветом кожи, чернокожие короли в Африке и краснокожие вожди индейцев в Америке».

«О наблюдаемых постоянно НЛО лорд заявил: «Одни появляются из космоса, другие из Земли. На Северном и Южном полюсах и в горах Тибета имеются отверстия, ведущие к гигантским подземным пещерам. Там внизу хозяйничают роботы из космоса». Далее, согласно БИЛЬД: «Конгрессмен Боуэн сообщает, что над Францией из НЛО к земле по световому лучу спустились два человечка и крикнули по-французски прохожему: «То, что вы считаете раком, идет от зубов». Затем инопланетяне растворились в пустоте».

Как же утешительно звучит: «Затем инопланетяне растворились в пустоте»! Это случится с самой БИЛЬД, правда, сколько еще предстоит работы по «реодурманиванию» ее читателей!

А пока БИЛЬД безнаказанно, строка за строкой начиняет их головы безумием и истерией.

«СУЩЕСТВА, ПОЙМАННЫЕ В КОСМОСЕ? 1.20 м ростом, круглые головы без ушей, руки до колен».

Даже авторитет папы римского используется для поддержки веры в чудеса. Вот и кричат заголовки: «Папа целует больного раком: выздоровление». Или: «Чудо! Папа исцеляет смертельно больного младенца... Он погладил мальчика по голове».

Даже папе Иоанну XXIII, которого при жизни БИЛЬД недолюбливала по причине его прогрессивных убеждений, приписали после смерти сочинение ужасающих историй, страшных пророчеств: «13 мая 1960 года папа Иоанн сломал печать «детей Фатимы» и прочел послание». И снова БИЛЬД намекает на свою вездесущность и всезнание. Грошовый листок информирует, что папа «стал пепельно-серым», что «он задрожал и целый день не мог вымолвить ни слова». БИЛЬД известно то, что «до сих пор официально не признано», нечто из ряда вон выходящее, нечто исключительное. Еще бы не исключительное, когда она сама это и стряпает! А именно: «Третье пророчество... возвещает о покушении на сегодняшнего папу. А потом,— гласит предсказание,— потом разразится великая война. Она произойдет еще в XX столетии».

(Что ж, весьма возможно, если Рейган будет продолжать накапливать вооружения и размахивать нейтронной бомбой. Но, интересно, из каких соображений его поддерживает в этом БИЛЬД?)

Далее в тексте БИЛЬД: «С неба упадут пламя и пепел и засыплют воды океанов. Миллионы людей расстанутся с жизнью». И еще дальше: «Этого послания не видел никто, кроме папы Иоанна XXIII». На этом круг лжи замыкается. Но читатели БИЛЬД уже так напичканы всяким бредом, что вряд ли заметили противоречие. Даже папский нунций в Бонне — а это что-нибудь да значит — назвал эту статью «возмутительной фальшивкой».

Чтобы продолжить свои откровения, БИЛЬД поднимает из могилы самого Нострадамуса: «Этот врач и прорицатель уже описал 450 лет назад начало третьей мировой войны в конце нашего столетия. Он даже предсказал, когда она разразится». Все это чистейший вымысел, но в нем есть своя метода. БИЛЬД, проводящая в таком роде комментариях политику фактического подстрекательства к войне, психологически подготавливает читателя к мысли о неотвратимости конца света, который якобы просто предрешен небесными силами. И если идея неизбежности катастрофы достаточно глубоко внедрится в сознание читателей БИЛЬД, политикам будет легче подобрать виновного в сем агрессора. «Только путем тотального вооружения у нас есть еще возможность остановить Ивана — таков лозунг БИЛЬД, а еще надежнее — опередить его, пока он нас не...» И когда генерал бундесвера противоречит данному тезису, с цифрами и фактами в руках пытаясь опровергнуть ложь о «явно наступательном характере политики Советов», заголовки в газете припечатывают: «Вздорная болтовня генерала Бастиана».

После того как семена мракобесия высеяны и приносят ощутимые плоды, БИЛЬД обращается к дежурному пастору, который все ставит на свои места. Итак, комментарий пастора Зоммерауэра:

> «Мания величия, мания преследования, массовые психозы, фанатические ритуалы вроде изгнания бесов и сжигания ведьм... Раз существует столько определений для различного рода помешательств, стало быть, в этом что-то есть.
>
> Мы живем в зловещем мире. Многое объяснить мы не в состоянии. Поэтому некоторые люди ищут ответы на вопросы жизни в мистических бдениях. Но все они ищут тщетно.
>
> Человеку, обращающемуся к Богу, как к отцу, не всегда легко в его вере; но, стремясь оградить себя от всяческих маний, он обращается по правильному адресу».

Без помощи бога, рассчитывая только на самого себя, 18-летний школьник из Бремена Торстен Хеннинг сумел оборониться против бредовых идей БИЛЬД. Изготовителей бредней он побил их же собственным оружием.

Когда БИЛЬД вновь углядела НЛО над Бременом, Торстен позаботился о дальнейшей судьбе пущенной в оборот сенсации: «Мне хотелось самому все испытать и доказать, что они фабрикуют свои «основанные на научном фундаменте» статьи из непроверенных сплетен». Рядом с фотографией Торстена БИЛЬД поместила следующую публикацию: «После появления НЛО: таинственный металл на бременских полях. В редакцию БИЛЬД позвонил возбужденный 18-летний школьник Торстен Хеннинг: «Я слышал об НЛО над Бременом. На поле у Альстердамма лежат отливающие серебром камни. Их могло оставить сверкающее небесное тело». Торстен Хеннинг не рекомендует трогать эти осколки: «Они же могут быть радиоактивными». Торстен скажет позднее: «Я вообще этого не говорил, это они сами за меня придумали».

Таким же образом фальсифицируются и мнения ученых: «Таинственные камни в редакции БИЛЬД. Они намного тяжелее просто камней и имеют множество небольших отверстий на поверхности. Геолог Торвальд Круков из морского музея рассматривал их блестящую поверхность и взял пробы: «Кто-то испытывает новые сплавы. Все три обломка из одного тигля». И пока читатель не заметил, что во всем, что говорил геолог, нет ничего таинственного,— тут же заключение жирным шрифтом: «Состав камней в состоянии определить только специалисты. Институт по изучению закалки металлов уже исследует таинственные металлы».

Итак, история БИЛЬД испечена. Но даже если репортер БИЛЬД считает своих читателей полными дураками, ему следовало бы с большей осторожностью цитировать ученых. Торвальд Круков: «Я же совершенно четко сказал сотруднику БИЛЬД, что это какие угодно «камни», только не внеземные». И в самом деле, «таинственные камни» оказались отходами металлургического завода, где работала мать Торстена. Он отыскал их дома в погребе, подмазал кремом «Нивея» и выложил как приманку.

Северогерманское радио, профсоюзный журнал «Рэн», ряд школьных газет оповестили об удавшемся опыте Торстена. Между тем БИЛЬД не проронила о нем ни слова.

Дежурный знахарь

98% всех граждан ФРГ знают БИЛЬД. И те же 98% хоть раз да слышали имя Кёнлехнера. Это не случайность. БИЛЬД и Кёнлехнер... неразрывны как проституция и сутенерство. БИЛЬД изображает д-ра Манфреда Кёнлехнера из Мюнхена эдаким медицинским чудодеем. Не важно, идет ли речь о «бо-бо» или раке, сердечно-сосудистых заболеваниях или старческих недомоганиях, бильдовский целитель Кёнлехнер, который даже летом появляется на элитарных приемах в меховой шубе, льет свой бальзам, а БИЛЬД публикует дилетанта от медицины миллионными тиражами.

Зарабатывают на этом и БИЛЬД и Кёнлехнер. Медицинская газета «Медикал трибюн» цитирует одного из ведущих редакторов БИЛЬД, который в частной беседе оправдывался следующим образом: «Лично я считаю Кёнлехнера...[1] но мы не можем от него отказаться, если хотим удерживать тираж. Когда в номере нет Кёнлехнера, тираж сразу же падает на несколько сотен тысяч экземпляров».

Такова этика журналистов из БИЛЬД. Итак, если не посмакуем убийства на сексуальной почве, потеряем сотни тысяч, без гнусных подстрекательских кампаний отпадут еще сотни тысяч читателей, без бредовых измышлений и россказней БИЛЬД вообще бы весьма скоро прекратила свое существование, ибо последние читатели разбежались бы со скуки. Подобным образом можно было бы развивать логику высказывания редактора. Иными словами, БИЛЬД имеет весьма условное отношение к истинному журнализму. Для этой газеты главное — реакционная пропаганда, взвинчивание разного рода страхов, поверхностная болтовня и цветистые шоу. And the show must go on (а шоу должно продолжаться).

Д-Р МАНФРЕД КЁНЛЕХНЕР: «Самым захватывающим для меня является то, что благодаря БИЛЬД я имею миллионную аудиторию. После одного из репортажей с продолжением я получил около 30 000 писем, ответил на множество телефонных звонков, отчаявшиеся люди умоляли о помощи. У БИЛЬД великолепные читатели. И помогать им для меня самое большое удовольствие. Вот что значит БИЛЬД!»

А «захватывает» газету БИЛЬД, доставляет газете БИЛЬД «удовольствие» взаимовыгодная сделка. В сотнях статей газета возводит Кёнлехнера в чудодеи и целители нации. С чудовищным бесстыдством фигурирует он в БИЛЬД и в БИЛЬД АМ ЗОННТАГ в качестве «известнейшего целителя» Германии (иногда также Европы или всего мира, в зависимости от длины строки). Пример: «Как справиться СО СТРЕССАМИ И ДЕПРЕССИЯМИ?» Совсем просто, средство знает Кёнлехнер: «ЯД ПЕСЧАНОЙ ГАДЮКИ И ГРЕМУЧЕЙ ЗМЕИ». Еще пример: «ЧТО ВЫ СТАНЕТЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВРАЧ УСТАНОВИТ У ВАС РАК ИЛИ ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ЛИШАЙ». Рак и кожная инфекция в одной упряжке, так сказать, в одной помойке. Для БИЛЬД и ее эскулапа все едино. Нет такой глупости, которую не смогла бы усугубить БИЛЬД. Она может, например, возвестить: «КЁНЛЕХНЕР: ЖИЗНЬ БЕЗ РАКА ЗА 3 МАРКИ В ДЕНЬ». Читаем рецепт: «За 3 марки в день плюс чуть-чуть самодисциплины любой здоровый человек может избежать заболевания раком». К этому выводу приходит Манфред Кёнлехнер...» Итак, несколько чудодейственных порошков — и человечество избавлено от бича, перед которым до сих пор пасует современная наука! Между тем целый ряд сопричастных факторов обходится молчанием: растущее загрязнение окружающей среды, вредные вещества в нашей пище, убивающая все живое стерилизация питьевой воды, радиоактивные и прочие излучения, психические стрессы, гиподинамия и многое другое — все они могут привести к ослаблению или даже разрушению иммунной системы организма. Одна беда: все это не темы для БИЛЬД. А то ведь подобные сообщения затронут существо нашего образцового общества и обожествляемых БИЛЬД потребительских фетишей.

Тысячи и тысячи тяжелобольных попадают в лапы этому супербогачу, который, по утверждению БИЛЬД, «для себя ничего не берет». Их толкают на это кричащие заголовки и серии публикаций: «ИСЦЕЛЕН. Д-р Кёнлехнер и безнадежные случаи. Например, инфаркт».

БИЛЬД: «Согласно теории Кёнлехнера, которая опирается на многочисленные научные исследования...» Беспримерная афера. Кёнлехнер никакой не исследователь. И сам он не открывал ни одного из применяемых им «методов исцеления», не развивал «теорий», все они уже были открыты.

Чтобы публиковаться в БИЛЬД, он консультирует по телефону всю страну. Ставит весьма предположительные диагнозы и без знания истории болезни рекомендует самые авантюрные методы лечения. Для этой же цели в газете предо-

[1] Здесь следует обидное определение, которое я не привожу, чтобы не давать в руки Кёнлехнера повода для судебного дела.— Г. В.

ставлена серия: «Г-н Кёнлехнер. Вы можете мне помочь?»

«Консультации у Кёнлехнера» — гласит заголовок другой серии: «Ежедневно с 13 до 14 часов у него можно проконсультироваться по мюнхенскому телефону 089/646635. Диагнозы на расстоянии для читателей БИЛЬД по телефону. «Вы страдаете бессонницей? В вашем случае я подозреваю, что ваша бессонница вызвана сердечным заболеванием. Вы просыпаетесь через каждые 2—3 часа, это типичный признак, что с вашим сердцем не все в порядке».

«Он почти всегда в состоянии помочь»,— заманивает читателей БИЛЬД. Тема о геморрое особенно перспективна: «Читайте в пятницу: ИСЦЕЛЕНИЕ. Каждый второй страдает этим. С помощью метода Кёнлехнера вы избавитесь от этой тягостной болезни за шесть недель. НАВСЕГДА». Даже у неизлечимых больных можно отнять последние деньги и надежды, рекламируя знахарские средства. «ПОТРЯСАЮЩЕЕ ОТКРЫТИЕ Кёнлехнера — змеиный яд лечит паралич».

«Женщины и мужчины, страдающие рассеянным склерозом и до сих пор тщетно надеющиеся на исцеление от этой коварной болезни! Манфред Кёнлехнер вселит в вас мужество».

К загребающему миллионы знахарю обращаются миллионы отчаявшихся больных псориазом. БИЛЬД АМ ЗОННТАГ: «Люди, в большинстве своем уже не верящие в чудо исцеления, ибо слишком часто разочаровывались, вас вдохновит практик из Мюнхена Манфред Кёнлехнер. Его рецепт ошеломляет: «Попробуйте-ка мазь из кокосового масла, пальмовых зерен и масла из лавровых листьев. Или соль из Мертвого моря»!

Аршинными заголовками ведет рекламную кампанию кёнлехнеровское семейство. В феврале 1981 года двенадцатисантиметровые заголовки возликовали в БИЛЬД: «Кёнлехнер — брак по любви с медицинской сестрой». Вскоре после этого уже высотой в шестнадцать сантиметров: «У новой жены Кёнлехнера рак груди». И тут же большая фотография обреченной: смеющейся и сияющей. У нее есть все основания смеяться, ибо скоро выяснится и о сем возвестят заголовки в конце июля: «Кёнлехнер ввел своей жене новое противораковое средство — спасена?» И маленькими буковками: «Теперь у нее нет рака».

Даже небольшие прегрешения его приемного сына, рассмотренные мюнхенским судом по делам для несовершеннолетних, становятся поводом для гигантских газетных шапок: «Кёнлехнер: как я потерял моего сына». Скоро его отцу исполнится 90 лет, и заголовки извещают о подарке: «К 90-летию отца Кёнлехнер дарит ему курс омоложения».

Спустя некоторое время в январе 1981 года (почтенный старец остался в живых после прохождения курса) бильдовский целитель выбрасывает на рынок то, о чем так долго мечтало человечество. Заголовок на первой странице: «КЁНЛЕХНЕР! Новый препарат, сохраняющий молодость». «Оставаться молодым, остановить старость, быть в 60 таким же бодрым и активным, как в 40,— новый препарат сделает это возможным. Кёнлехнер (фото сверху) разработал препарат совместно с одной германской фармацевтической фирмой». Тайну источника юности чудодей открывает исключительно читателям БИЛЬД: «Если удастся возместить недостаток жизненно важных веществ, мы задержим наступление старости»,— говорит Кёнлехнер, который готов сам принимать ежедневно в течение трех месяцев по две капсулы.

Как это жертвенно и благородно! Великие врачеватели ставили на себе опасные опыты во имя блага человечества, и Кёнлехнер не желает им уступать. Конечно, он тотчас же называет фармацевтическую фирму, чей препарат «можно сейчас купить во всех аптеках». А так как читатели БИЛЬД забывчивы и их надо постоянно тыкать носом в разную гадость, БИЛЬД помещает броскую рекламу чудодейственного средства. Ну разве это не предприятие, основанное на взаимной выгоде?

Когда фантазия Кёнлехнера начинает иссякать, БИЛЬД изобретает что-нибудь вместо него. Главное, всегда присутствовать на страницах. Никаких пауз. Иначе рынок захватят конкуренты. И БИЛЬД высасывает из пальца восемнадцатисантиметровые заголовки: «Больная раком американская кинозвезда дает Кёнлехнеру 17 миллионов».

Правда Шпрингер и Кёнлехнер в состоянии работать еще грубее. Когда похитили Корнелию Беккер, БИЛЬД АМ ЗОННТАГ впрягла в это дело и знахаря из Мюнхена. Заголовок: «Волна похищений! Немецкие родители в панике. Случай Корнелии Беккер. Кёнлехнер должен встретиться с похитителями!» Ни полиция, ни родители в качестве посредника его не привлекали.

Но в БИЛЬД АМ ЗОННТАГ появляется большая фотография Кёнлехнера с телефонной трубкой в руках, стоящего в позе напряженного ожидания. Подпись под снимком: «Последняя надежда Корнелии — д-р Кёнлехнер». Труп девочки скоро найдут. А той порою главное — рекламу для себя — Кёнлехнер заполучил.

Спустя каких-нибудь две недели Кёнлехнер вновь становится ключевой фигурой в очередной бильдовской сенсационной истории. Снова шапки: «Рак! 10 000 немецких ампул для Хомейни». И в тексте: «Они хотят лечить ими Хомейни — узнал целитель д-р Кёнлехнер». Откуда и что мог узнать Кёнлехнер, сообщение умалчивает. Да и сказать-то нечего, ибо это очередной трюк. Но вскорости БИЛЬД добавляет: «То, что антираковое средство «ТНХ» предназначено для Хомейни, выяснилось, когда на прошлой неделе персидский генеральный консул Пашай позвонил гамбургскому целителю Артуру Линднеру и попросил его: «Пожалуйста, поезжайте в Тегеран и полечите нашего духовного вождя аятоллу Хомейни. Время поездки мы вам сообщим». Целитель Линднер извещает БИЛЬД: «Я уже собрал чемоданы».

Должно быть, он так и сидит на них, поскольку генерального консула Пашая вообще не существует, а Хомейни не был столь любезен — не заболел раком в угоду Кёнлехнеру.

Иранское посольство в Бонне заявило по поводу статьи в БИЛЬД: «Генеральным консулом Исламской республики Иран в Гамбурге является г-н Киариши. Г-н Пашал, или Пашай, иранскому генеральному консульству совершенно неизвестен. Однако мы хотели бы также сообщить, что ни посольство Ирана, ни одно из иранских консульств не заказывали и не покупали в ФРГ средство «ТНХ» — ни прямо, ни через посредников.

Кроме того, мы можем с полной уверенностью утверждать, что аятолла Хомейни совершенно не нуждается в «ТНХ», ибо вообще не болен раком. По нашему мнению, тот факт, что основной «информатор» газеты «иранский генеральный консул в Гамбурге г-н Пашал» вообще не существует, убедительно опровергает соответствующее сообщение БИЛЬД».

Другим вариантом рекламы для Кёнлехнера являются сообщения, подобные помещенному БИЛЬД 23.XI.80 г.: «КЁНЛЕХНЕР: 500 000 марок на стажировку молодых врачей...».

«Завтра университет Регенсбурга получает от меня 500 000 марок для создания кафедры эмпирической медицины. Там смогут стажироваться молодые врачи, которые еще слабо разбираются в терапии, гомеопатии, озонной терапии, нервных болезнях и акупунктуре. А в будущем я подарю одной очень бедной латиноамериканской стране, где в радиусе трехсот километров нет ни одного врача, клиномобиль — лечебницу на колесах, в которой будут применяться методы гомеопатии, натуропатии, психотерапии и иглоукалывания».

Университет Регенсбурга высказался в письме по этому поводу: «Мы ничего не можем сказать о пожертвовании д-ра Кёнлехнера в сумме 500 000 марок для учреждения «кафедры эмпирической медицины» в университете Регенсбурга. Нет никаких подтверждений или сообщений со стороны д-ра Кёнлехнера о том, что данная сумма будет предоставлена университету в обозримом будущем. Мы знаем об этом не больше, чем было сказано БИЛЬД АМ ЗОННТАГ...»

«Главное — желание творить добро. В свой день рождения он дарит сотни тысяч домам престарелых. Он регулярно поддерживает деньгами парализованных детей. Индейцам в Южной Америке он дарит клиномобили — больницы на колесах». Так говорит БИЛЬД. Странно только, что ни один из этих клиномобилей не прибыл в пункт назначения.

Бескорыстен он и по отношению к налоговому ведомству: «Доставлять радость — на этом Манфред Кёнлехнер не обогащается. Себе лично он не берет ничего. Ни от пациентов, ни от издательств, выпускающих его книги (всего 14) огромными тиражами. Все идет на его институт, на его работу». Всей финансовой стороной дела занимается общество «МЕДИК», которое принадлежит ему на 100% и от которого он получает 90% прибылей.

Простой, гениальный трюк. Сама же БИЛЬД проболталась как-то: «Снова ему пришли на помощь его особые способности. Д-р Кёнлехнер — гений в использовании возможностей капиталовложений, таков он как банкир».

«Маэстро встает в шесть утра,— пишет БИЛЬД,— в это время в зеленом поясе Мюнхена большинство жителей еще отдыхает. Затем он проплывает кролем 1000 метров в бассейне за домом, и день начинается. Начинается работа. Согласно данным, которые мы недавно опубликовали, он получает 35 000 писем и 25 000 телефонных звонков — в основном это призывы о помощи. 100 000 писем за три года. И на каждое он отвечает лично».

А при этом Кёнлехнер вообще не имеет медицинского образования. Он — юрист, защитил диссертацию о телесных наказаниях и в качестве юрисконсульта союза аптекарей прекрасно понял, какие дела можно проворачивать на страхе человека за свое здоровье. В федеральном налоговом управлении научился разного рода трюкам, которые помогли ему с 1955 года сделать сногсшибательную карьеру у Бертельсмана. Добрался до поста генерального уполномоченного крупнейшего издательского концерна. «Но чуть ниже двух миллионов марок годового дохода» этому суперменеджеру было в 1970 году уже недостаточно. Когда он в 1970 году хотел купить для Шпрингера за 300 000 миллионов марок концерн Бертельсмана, в руководстве концерном его «не поняли». Журнал «Штерн», принадлежащий в основном Бертельсману, писал в то время: «Кёнлехнер в больших делах слишком рано стал думать только о себе, он должен уйти».

Но генерального уполномоченного не выставишь, как карманного воришку. В качестве компенсации он получает ежегодно миллион, «согласно особому условию в договоре».

Ну уж при этом условии имеет смысл быть бескорыстным по отношению к пациентам. БИЛЬД знает: «Доставлять радость — на этом Манфред Кёнлехнер не обогащается. Для себя лично он не берет ничего». Да, что была бы за радость, если бы за нее снизили налоги только Бертельсману. За Кёнлехнера есть кому получать деньги. Это «Институт Манфреда Кёнлехнера» или — опять же по данным бертельсмановского журнала «Капитал» — «его фирма МЕДИК ГМБХ», умолчавшая про его имя при внесении в торговый регистр. Фирма присваивает 70% доходов, которые получают практики, обслуживающий персонал и администрация учреждений, пользующих больных методами «натуропатии». А затем переадресует пациентов по всей стране тем медикам, которые работают «в духе» института. Тот же, кто полагает, что подобное маклерство проистекает из чистого бескорыстия, тот сам виноват. Верный своему девизу — «мой письменный стол всегда пуст, ибо умею распределять работу»,— Кёнлехнер пишет свои книги тоже не сам: он позволяет писать за себя.

Его пером водит Дитер Бохов, который представляет себя так: «дерьмо и борзописец». Маэстро и его стило трудятся над портретом эдакого всезнающего целителя с удивительной юридической сметкой. Кёнлехнер распространяет знания, не обременяя себя писаниной и не интересуясь последствиями своей деятельности.

В качестве пропагандистского хода газета и ее чудодей решили в мае 1981 года спасти «человека из народа». Водитель автобуса Райнер Шмек из Зигена получил возможность за счет БИЛЬД поехать в Мюнхен к Кёнлехнеру. Г-н Шмек, уже длительное время передвигающийся после несчастного случая на костылях, страдал искривлением позвоночника и постоянными болями.

В мюнхенской клинике его приветствовал сам Кёнлехнер довольно двусмысленно (согласно БИЛЬД): «Ах бедняжка, вы для меня легкий случай». Кёнлехнер прописал ему укол и диагностировал ревматизм. Вот и все «Через полчаса,— информирует БИЛЬД,— г-н Шмек снова натягивал рубашку. Боль как рукой сняло!» Чрезвычайно измотанный подобной работой, Кёнлехнер попрощался с «исцеленным» пациентом: «Напишите мне через четыре недели. Весьма удивите меня, если боль не пройдет».

Боль, естественно, не прошла. Райнер Шмек рассказывал мне через четыре месяца после мюнхенского шоу: «Боли такие же, как прежде. Я писал д-ру Кёнлехнеру, но ответа не получил».

А зачем? С точки зрения Кёнлехнера, мавр — г-н Шмек — сделал свое дело для рекламы в БИЛЬД. Поэтому знахарю не нужны ни история болезни, ни рентгеновские снимки, ни анализы. И это тот самый Кёнлехнер, утверждающий, что «рад каждому дню, когда его имя не фигурирует в газетах».

Возможно, одно из таких признаний «домашний врач семьи Беккенбауэр» (так его представил однажды спортивный репортер мюнхенского радио) подпортил своей неудачной попыткой самоубийства. БИЛЬД АМ ЗОННТАГ, не побрезговав спекуляцией на кончине своего лежащего в реанимации «благодетеля», вдруг переменила позиции и «продраила» Кёнлехнера по всем правилам шпрингеровского искусства. Внезапно всплыли и «женщины у его ног», и его голая (первая) жена, и его алкоголизм, и его неудачи: «Уже второй паралитик: 81 000 марок!» Вдруг он становится «шарлатаном», пользующимся «цирковыми методами», «делягой», который «все холодно рассчитывает» и точно планирует».

Кёнлехнер захотел даже начать «третью карьеру» и «основать новую религию». «Представьте себе, что сделал бы из религии ЭТОТ человек...» — вещала БИЛЬД АМ ЗОННТАГ, считавшая его покойником.

Но парень оклемался и снова его используют, и снова на него ставят и БИЛЬД и БИЛЬД АМ ЗОННТАГ. С тех пор он снова почти ежедневно фигурирует в миллионах экземпляров: «Д-Р КЁНЛЕХНЕР, ЗНАМЕНИТЕЙШИЙ ЦЕЛИТЕЛЬ ГЕРМАНИИ».

◆

Антирубрика

У нас в гостях писатели ГДР

КЛАУС МЁКЕЛЬ

ВСЕГДА К ВАШИМ УСЛУГАМ!

В бюро роботоуслуг
108 Берлин
Центральный парк 13/16

Глубокоуважаемые господа!

Пишу Вам относительно счета от 7 мая, который меня немало удивил. Очевидно, произошло недоразумение. Позвольте мне кратко изложить случившееся. Вы требуете, чтобы я заплатил 68 марок 23 пфеннига за услуги, о которых я, с одной стороны, не просил, а с другой стороны, вышолнил по сути дела сам. Изложу факты. Три недели назад, в пятницу 16.4, я заказал у Вас робота — мойщика окон. Заказ был принят на среду, 28.4, на 9 часов утра. В этот день — хочу напомнить — стояла прекрасная погода, как раз для мытья окон. Ждал я довольно долго. В половине одиннадцатого раздался звонок в дверь; к моей радости, явился робот. Я его впустил, поскольку думал, что он и есть мойщик. Однако у него с собой была шахматная доска, и он тотчас же уселся за стол. Заметив подмену, я пытался разъяснить роботу ошибку. Я сказал, что заказывал не игрока, а мойщика и что ему следует удалиться. На мои слова он не реагировал. Я знаю, что роботы обязаны действовать по программе, однако могут отклоняться от нее, если клиенты изменят свои пожелания. Этот же, с номером Ш 874, не хотел меня даже слушать. Я не мог его выпроводить, и поскольку все еще ждал мойщика, то в конце концов доставил игроку удовольствие. Признаюсь, я играл с ним в шашки, однако за это следовало бы заплатить мне. Он ехидно смеялся, когда я ошибался, и несколько раз обозвал меня «салагой». А когда я случайно уронил на пол шашку и не смог ее найти сразу, он оторвал черную пуговицу от моего пиджака, висящего на стуле, и заменил ею потерю. Протесты не помогли. Лишь через пять часов мне удалось выгнать этого робота, а мойщик окон так и не пришел. Я послал вам 30.4 письмо с изложением этих странных событий, но вместо ответа пришел счет. Если бы не присущее мне чувство юмора, я потребовал бы возмещения убытков.

Надеюсь, что обстоятельства дела прояснились. Окна в моей квартире до сих пор грязные.

С глубоким уважением
Тилл Маркхаузен
1055 Берлин
Шёнхаузер-аллее 200

Господину Тиллу Маркхаузену
1055 Берлин
Шёнхаузер-аллее 200

Глубокоуважаемый господин Маркхаузен!

В ответ на Ваше письмо от 8.5 сообщаем, что Ваши претензии справедливы, и приносим наши искренние извинения. Произошло досадное недоразумение. Робот Ш 874 будет немедленно проверен. Во исправление случившегося пришлем вам в среду, 26.5, в 9 часов, нужного робота. Пожалуйста, позвоните, если Вас не устраивает этот срок.

Всегда к Вашим услугам!
Бюро роботоуслуг
Шеф-кибер д-р Элек Трон

В бюро роботоуслуг
108 Берлин
Центральный парк 13/16

Уважаемый господин д-р Трон!

На моем столе вновь лежит счет, но я хочу обратить Ваше внимание не только на это обстоятельство. Я пытался дозвониться к Вам, однако оба номера, указанные в видеотелефонном справочнике, были непрерывно заняты. Напоминаю Вам — я человек с юмором, но дело заходит слишком далеко. После Вашего письма с извинениями я ожидал совсем другого. Если уж я во второй раз не иду на работу, ожидая, пока мне вымоют окна, то хотелось бы иметь гарантии обещанных услуг. Но увы! Мне посылают не мойщика, а пришивальщика пуговиц, который силой врывается в квартиру и начинает шарить по шкафам. Мне такое даже во сне не приснилось бы. Я даже не подозревал, что у Вас есть такие машины.

© Magazin, Berlin, 1983

Не найдя поначалу подходящего объекта, если не считать болтавшегося крючка на жилете — пуговицу на пиджаке, оторванную Вашим Ш 874, я уже заменил сам,— он начал с того, что с чудовищной быстротой вырвал все «молнии» из курток и оторвал пуговицы от прочей одежды. Представьте мое негодование! Энергичный протест ничего, однако, не дал. К тому же робот так угрожающе размахивал иголкой и ножницами, что мне не оставалось ничего лучшего как отступиться. Он был просто помешан на пуговицах и кнопках. Слава богу, что дело не дошло до кнопок панорамного телевизора и холодильника! К счастью, оторванные застежки, пуговицы и кнопки робот пришил на свои прежние места — хотя казалось, что в такой путанице это просто невозможно. Однако П 266 заставил меня изрядно понервничать, да еще отнял у меня уйму времени. А теперь приходит счет на 300 марок 12 пфеннигов! Не знаю что и думать. С моей стороны было бы излишне напоминать Вам, что окна так и остались грязными. Жду незамедлительного объяснения.

С уважением
Тилл Маркхаузен
1055 Берлин
Шёнхаузер-аллее 200

Господину Тиллу Маркхаузену
1055 Берлин
Шёнхаузер-аллее 200

Глубокоуважаемый господин Маркхаузен!

В ответ на Ваше письмо от 27.5 с.г. сообщаем, что Ваши претензии справедливы, и приносим наши искренние извинения. Произошло досадное недоразумение. Робот П 266 будет немедленно проверен. Во исправление случившегося пришлем Вам в четверг, 24.6, в 9 часов, нужного робота. Позвоните, пожалуйста, если Вас не устраивает этот срок.

Всегда к вашим услугам!
Бюро роботоуслуг
Шеф-кибер д-р Элек Трон

В бюро роботоуслуг
108 Берлин
Центральный парк 13/16

Господин д-р Трон!

В третий раз направляю Вам свою жалобу, и теперь мне уже не до шуток! О, мне следовало бы научиться на горьком опыте! Но всему виной моя доверчивость, я хотел дать Вам последний шанс и разорвал написанное уже письмо с отказом от всех Ваших услуг. Вряд ли Вам интересно знать, как мне не хотелось демонстрировать свои грязные окна моей доброй знакомой, визита которой я так долго ждал! Теперь я понимаю, что это было бы наименьшим злом. Разумеется (я сознательно употребляю это слово), и на этот раз ко мне явился не мойщик, а электронщик, взявшийся за мой панорамный телевизор. Я впустил его потому, что в отличие от своих предшественников он был убийственно вежлив и держал в манипуляторе тряпку для пыли. Он слегка прошелся ею по экрану, а затем начал разбирать сам телевизор, сославшись на то, что я якобы просил заменить ручки управления и наладить резкость объемного изображения. На все мои возражения он не реагировал: пропускал их мимо ушей. На сей раз робот был невозмутим как дипломат, но так же упрям, как и его предшественники. Разобрав телевизор «по винтикам», он укатил на кухню и взялся за холодильник. Остановить его мне не удалось. Я уже подумывал утихомирить его парой ударов молотка, но кто бы собрал потом телевизор? Помня Вашего пришивальщика пуговиц П 266, я надеялся, что и электронщик также все приведет в порядок. К тому же он заверял меня, что беспокоиться не о чем. О да, он собрал и холодильник, и панорамный телевизор, но не спрашивайте как. С тех пор на меня веет с экрана ледяным холодом, а в холодильнике идет реклама жареных сосисок. Поздравляю, посланцы Вашего комбината бытовых услуг действуют раз от разу все эффективнее. Первый удовольствовался партией в шашки, второй более или менее устранил ущерб, им же самим нанесенный, а третий, так называемый Э-спец. 59, привел в негодность мою аппаратуру. И тут же выставил счет на целых 99 марок 98 пфеннигов! Даже капитальный ремонт насквозь проржавевшего кондиционера не стоил моему соседу таких денег! Ремонт, а не демонтаж! Я был так возмущен наглостью робота, что бросился за Вашим «Э» вдогонку и подвернул на лестнице ногу. Теперь я прикован к постели и только по этой причине не могу высказать Вам своего возмущения лично, в глаза. Вряд ли стоит упоминать, что я не намерен платить ни пфеннига. Наоборот, я настаиваю на компенсации за временную нетрудоспособность и на возмещении расходов по лечению.

Кроме того, я требую новый холодильник модели «Люкс 1а» и цветной телевизор. И не надейтесь отделаться от меня Вашими дешевыми отписками. Лишь то обстоятельство, что оформление юридических документов займет долгие месяцы, удерживает меня от подачи в суд на Ваше предприятие.

Без привета
Тилл Маркхаузен
1055 Берлин
Шёнхаузер-аллее 200

Господину Тиллу Маркхаузену
1055 Берлин
Шёнхаузер-аллее 200

Глубокоуважаемый господин Маркхаузен!

В ответ на Ваше письмо от 25.6 с. г. подтверждаем справедливость Ваших претензий и приносим наши искренние извинения. Произошло досадное недоразумение. Робот Э-спец. 59 будет немедленно проверен. Во исправление случившегося присылаем Вам во вторник, 25.7, в 10 часов, нужного робота. Пожалуйста, позвоните, если Вас не устраивает этот срок.

Всегда к Вашим услугам!
Бюро роботоуслуг
Шеф-кибер д-р Элек Трон

В бюро роботоуслуг
108 Берлин
Центральный парк 13/16

Д-р Трон!

Я больше не желаю обращаться к Вам со словами «уважаемый» и т. д. Не понимаю даже, почему я вообще пишу. Однако я ле-

жу с распухшей ногой и должен хоть как-то устроить свои дела. Спрашиваю себя и Вас: не замышляет ли Ваше предприятие довести меня до полного краха? Неужели Вы не удовлетворены нанесенным мне уроном и тем, что я болен душой и телом? Получив Ваше письмо с извинениями, которое, исключая проставленные цифры, было похоже в формулировках на прежние, как одна капля воды на другие, я испугался всерьез и попросил соседа лично зайти к Вам: иначе и на этот раз я снова бы подвергся посещению Вашего робота. Сосед вернулся с утешительными известиями: теперь все урегулировано. Ко мне придет В-С — «высококвалифицированный специалист», в его схеме ошибки исключены. На всякий случай сосед узнал номер робота, выдавшего эту информацию. Это был И 12. Действительно, машина, появившаяся сегодня, имела «на лбу», над неподвижными «глазами», номер В-С 4. Но о квалификации этого «специалиста» не может быть и речи. Эту пародию на робота-ремонтника следовало бы назвать «великий сумасшедший». Впрочем, мне не до смеха — так зло надо мной подшутили. И П 266, и Э 59, и В-С 4 — не ремонтники, а свихнувшиеся роботы-разрушители. Последний явился ко мне, чтобы совершенно вывести из строя кондиционер, вполне прилично работавший до сих пор. Ни холодильник, ни телевизор он не заменил и даже не привел их в нормальное состояние, поэтому меня поочередно бросает из тропической жары в трескучий мороз. Но самое страшное: я не могу отключить установку. Я лежу в плавках на диване, изнывая от жары, а затем лезу в шубе под перину своей прабабушки, в то время как на моих ресницах растет иней. В отчаянии я попытался позвонить в аварийную службу, но провода в моем видеофоне то ли расплавились от жары, то ли переломились от холода. Сосед вчера уехал, поэтому сейчас я могу надеяться только на то, что домой вернутся жильцы с нижнего или верхнего этажа и выручат меня из беды. Однако когда Ваш кошмарный В-С положил передо мной счет на 2006 марок 28 пфеннигов (который я, скатав в шарик, запустил ему в лоб), мне стал внезапно понятен принцип Ваших налетов. В своем заказе на мойщика окон я сообщил, что предложенный Вами срок меня не устраивает, поскольку я договорился сыграть партию в шашки с соседом: в письме от 8 мая я упомянул оторванную пуговицу, а затем обмолвился насчет холодильника, телевизора и кондиционера. Эти ненароком, совсем в другой связи упомянутые детали Вы использовали для того, чтобы прислать мне в дом Ваши исчадия ада. Но поскольку, несмотря на случившееся, мне не хочется думать, что Вы действуете по злому умыслу (для этого я просто не вижу причины), то я подозреваю, что ваш роботопарк — в совершенно безнадежном состоянии, а потому направляю жалобу в Министерство бытовых услуг. Я по горло сыт Вашими штучками. Ремонт моих бытовых приборов я поручаю другому предприятию, а счет перешлю Вам для оплаты. Но чтобы Вам опять не стукнула в голову идея напустить на меня одного из Ваших дефективных роботов, я не упоминаю ни одного дополнительного предмета из моего обихода, ни одной второстепенной вещицы. И чтобы Вы знали точно: пусть только один из Ваших роботов объявится у меня — я разрублю его топором, несмотря на больную ногу.

Тилл Маркхаузен
1055 Берлин
Шёнхаузер-аллее 200

Господину Тиллу Маркхаузену
1055 Берлин
Шёнхаузер-аллее 200

Глубокоуважаемый господин Маркхаузен!

В ответ на Ваше письмо от 27.7 с. г. подтверждаем справедливость Ваших претензий и приносим наши искренние извинения. Произошло досадное недоразумение. Робот В-С 4 будет немедленно проверен. Во исправление случившегося пришлем Вам в среду, 18.8., в 10.30, нужного робота. Пожалуйста, позвоните, если Вас не устраивает этот срок.

Всегда к Вашим услугам!
Бюро роботоуслуг
Шеф-кибер д-р Элек Трон

В Министерство бытовых услуг
108 Берлин
Унтер-ден-Линден 1

Глубокоуважаемый господин министр!

Два дня назад, 16.8.2011, я обратился к Вам с просьбой о помощи, поскольку бюро роботоуслуг вновь сообщило мне о предстоящем визите одного из своих роботов. Я до сих пор не получил ответа, поэтому, чтобы не пересказывать еще раз все обстоятельства дела, ссылаюсь на свое прежнее письмо. У меня уже нет ни сил, ни времени, я переживаю тяжелую депрессию в своей разоренной квартире. Хотя робот, запланированный на сегодня, уже удалился, кто знает, кого еще пришлет эта преступная организация. Понятия не имею, как этому воспрепятствовать. Сегодняшний робот оказался великаном с гигантским топором в манипуляторе. Чтобы не попасть ему под горячую руку, мне пришлось выскочить на лестницу. Робот разрубил всю мою мебель и в слепом безрассудстве уничтожил бытовые приборы, включая кондиционер, установленный позавчера другой фирмой. (Счет еще не оплачен!) Затем собрал обломки и выставил счет, который я прикладываю к письму в качестве вещественного доказательства. За вандализм этого кибера бюро роботоуслуг требует заплатить 4000 марок!

Глубокоуважаемый господин министр!

Прошу Вас, нет, взываю к Вам: помогите! Не дайте свершиться самому страшному, остановите д-ра Трона и его так называемое «бюро услуг», призовите их к порядку и защитите меня! Жду Вашего ответа с нетерпением отчаявшегося человека.

С глубоким уважением
Тилл Маркхаузен, обладатель значка «Зеленая акция» (удостоен за тринадцать добровольных выходов на безвозмездную работу в Народный парк)

Господину Тиллу Маркхаузену
1055 Берлин
Шёнхаузер-аллее 200

Глубокоуважаемый господин Маркхаузен!

Вчера мы получили запрос из Министерства относительно Ваших жалоб на наше

предприятие. Хотя Ваша критика не учитывает больших успехов, которых мы добились в обслуживании населения за годы нашего существования, мы должны признать ее в Вашем частном случае правильной. Поэтому мы приносим извинения за поведение наших роботов и проливаем свет на некоторые недоразумения. Вследствие огромной перегрузки наш шеф-кибер вышел на несколько месяцев из-под контроля и допустил ошибки в управлении персоналом. Он присвоил себе имя (д-р Элек Трон), носить которое, он, робот, вообще не имеет права, и самостоятельно завел переписку с некоторыми клиентами. Заметив наконец ошибку, мы отдали шеф-кибера в ремонт. Рассчитываем на Ваше понимание, хотя вымыть Ваши окна мы все еще не имеем возможности. По вопросу нанесенного ущерба обратитесь, пожалуйста, в наше страховое бюро: 102 Берлин, Гартенштрассе 3. Просим, однако, запастись терпением, поскольку из-за отпусков работа в бюро идет несколько медленнее, чем хотелось бы. В надежде, что избавили Вас от Ваших забот, остаемся:

Всегда к Вашим услугам!
Ваше бюро роботоуслуг
Карл-Хайнц Шёнфлис, директор

P. S. Убедительно просим Вас самое позднее до 26.8 с. г. оплатить выставленные счета: № 119 на 68,23 М, № 211 на 300,12 М, № 327 на 999,98 М, № 412 на 2006,28 М и № 489 на 4001,03 М; всего — 7385,64 М.

В противном случае мы будем вынуждены востребовать данную сумму с помощью нашего автоматического юриста Ю 11.

Перевод В. СЕНАТОРОВА

ГЕРХАРД БРАНСТНЕР

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ АНЕКДОТЫ

из жизни замечательного изобретателя Франка и его закадычного друга Йошки

Такт посредством контакта

С некоторых пор Франк стал пользоваться наплечным вертолетом, поэтому, навещая своего друга Йошку, он уже не стучал к нему в дверь, а просто влетал в окно, будто стрекоза.

— Технический прогресс лишает человека возможности распоряжаться самим собой, — сказал Йошка своему гостю, когда тот снова появился без стука. — Каждый может ворваться к другому без спроса, когда ему заблагорассудится. Началось это с телефона, а чем кончится, даже не знаю.

— Психокоммуникатором, — подсказал Франк. — Я слышал, что скоро такие аппараты будут у всех. Тогда каждый сможет в любое время узнать, какое у тебя настроение. Причем не только без разрешения, но даже без твоего ведома.

— Но если всякий, кто захочет, будет лезть мне в душу, значит, человеческой личности и впрямь пришел конец! — сокрушенно воскликнул Йошка.

— Напротив, — возразил Франк, — произойдет подлинное раскрытие личности в глубочайшем смысле этого слова. Ведь другому не понять, что он тебе противен, если ты скрываешь свои чувства. А посредством психокоммуникатора каждый узнает, как обстоит дело в действительности, и будет из этого исходить.

— Трудно свыкнуться с мыслью, что любой человек сможет заглянуть в тебя, будто господь бог, — задумчиво проговорил Йошка. — Но если меня перестанут будить телефонными звонками и не будут залетать ко мне в окна, то я, пожалуй, привыкну.

Геометрическая теология

Однажды Франку и Йошке довелось побывать в одном далеком и весьма мрачном уголке вселенной, где жили боязливые люди, поклонявшиеся тираническому божеству.

—Давай-ка проверим, — сказал Франк своему другу, — как у здешних жителей обстоят дела с логикой? Если все в порядке, то им еще можно помочь.

У первого же встречного Франк с подобающей серьезностью спросил, где находится господь бог.

— Над нами, — гласил ответ.

— По вертикали? — уточнил Франк.

Инопланетянин помедлил, а потом сказал:

— Строго по вертикали. Иначе он не был бы над нами.

Тогда Франк отошел на несколько шагов в сторону.

— Теперь один из нас остался без бога, — сказал он, — ибо в одно и то же время бог не может находиться над каждым из нас строго по вертикали.

Инопланетянин поднял глаза вверх, потом

© Verlag Das Neue Berlin, 1980.

как-то странно взглянул на Франка и снова посмотрел вверх.

Йошка поспешил к ракете, чтобы прогреть двигатель. Он чуял недоброе. Однако Франк на ракету не торопился, а когда пришел, то вид у него был самый довольный.

— Наконец-то, — воскликнул Йошка, — а то я уже начал бояться за тебя.

— Совершенно напрасно, — сказал Франк. — Я успокоил инопланетянина, объяснив ему, что лучше верить в бога, который находится не прямо над ними, а наискосок.

— Но ведь это означает, что ты еще больше укрепил их веру, которую вначале сам пошатнул, — удивился Йошка.

— Напротив,— ответил Франк.— Вертикального бога свалить трудно. А покосившийся бог долго и сам не устоит.

Полнота жизни

Йошка завтракал, когда к нему неожиданно ворвался его друг Франк и положил на стол банан. Йошка взял банан.

— Надо же, банан на молнии!— удивился Йошка.

— Мое новое изобретение! — заявил Франк с гордостью.

Оправившись от потрясения, Йошка сказал:

— А ведь кожуру можно снимать и без молнии.

— Но без молнии нельзя надеть ее обратно, — ответил Франк.

— Зачем же надевать ее обратно?

— Если существует возможность, — пояснил Франк, — то найдутся условия для ее реализации. Чего мы только не делаем лишь потому, что существует возможность. Есть, есть в этом какой-то особый соблазн.

— Ты прав, — сказал Йошка. — Жизнь полна бананов на молнии.

За чистоту родного языка

Франк и Йошка, побывав на разных планетах, насмотрелись всякого и считали, что во вселенной их ничем уже не удивишь.

Однажды они прилетели на звезду, которую до тех пор обходили своим вниманием. Тамошний климат показался им холодноватым, зато в остальном было вполне нормально.

Когда умолкли все торжественные речи, которыми встретили звездоплавателей, и пошли разговоры о том о сем, Франку вдруг почудилось, будто его автоматический переводчик опять забарахлил — он вдруг начал переводить с какого-то другого языка.

Франк тщательно осмотрел прибор и, не обнаружив дефекта, полюбопытствовал, отчего на здешней планете пользуются двумя разными языками.

— Обычно мы пользуемся одним языком, а именно — своим собственным, — пояснили ему.— Но для официальных мероприятий мы прибегаем к иноязычной речи, дабы не портить родной язык.

— Звучит убедительно, — заметил другу Йошка. — Однако почему нам рассказывают об этом на чужом языке?

Франк пожал плечами:

— Наверное, на родном языке это было бы неубедительно.

Чудо доверчивости

Франк и Йошка мчались по бескрайним просторам вселенной, возвращаясь на землю, и вдруг повстречали звездолет, потерпевший аварию. Франк тут же пересел в одноместную ракету и отправился к звездолету. Вернулся он совершенно растерянным.

— Почему так скоро? — испугался Йошка. — Что случилось? Уж не засел ли на звездолете нечистый?

— Наоборот, — сказал Франк, — на звездолете оказались такие простодушные и доверчивые инопланетяне, каких никто еще не выдывал. Они верят всему, что ни скажешь, каждому слову. Страшно даже рот раскрыть.

— Ты хочешь сказать, — удивился Йошка, — что у тебя там язык отнялся?

— Да, — подтвердил Франк. — Абсолютная доверчивость инопланетян делает их совершенно беззащитными перед любым обманом. Но она же и самая надежная их защита. И хотел бы сболтнуть что-нибудь, да совесть не позволяет, а потому, прежде чем сказать хоть слово, подумаешь, подумаешь и совсем замолчишь.

Йошка от души расхохотался:

— Веселенькая история. Только я ни одному твоему словечку не верю.

— Проверь сам, — сказал Франк, — боюсь, тебе будет не до смеха.

Йошка отправился на звездолет и вернулся назад такой же растерянный.

— И впрямь невероятно, — вымолвил он, когда немного успокоился. — Даже угроза смертной казни за малейшую ложь не сделает человека таким честным, как чужая доверчивость. Тут уж лучше молчать; а то обманешь ненароком. Руки и те в карманы спрячешь, чтобы не сделать неверного жеста.

— И все же, спрашивается,— сказал Франк, — как в таком случае помочь инопланетянам с починкой звездолета? Давай сделаем вид, будто мы немые. А руки займем работой.

Поскольку Йошка ничего другого предложить не мог, на том и порешили; помогли инопланетянам и полетели на землю.

— Об инопланетянах, пожалуй, никому рассказывать не стоит, — задумчиво проговорил Франк. — Нам никто не поверит, пока не увидит их собственными глазами.

Каждому свое

Однажды Йошка ожидал своего друга, улетевшего на другую планету. Франк задерживался, поэтому, когда он вернулся, Йошка прямо-таки сгорал от любопытства.

— Ты не слишком торопился домой, — сказал он другу.

— Что верно, то верно, — ответил Франк.

— Мне там очень понравилось. Надеюсь, что со временем мы все так заживем.

— Неужели у них многобрачие? — изумился Йошка.

— Да! — подтвердил Франк. — Но единобрачие тоже есть, и вообще чего там только нет... Я познакомился с супружеской парой, где жена была замужем еще и за приятелем мужа, а ее собственный муж был женат на супруге того приятеля.

— Браво! — воскликнул Йошка. — Но как же быть с идеальным браком будущего?

— На той планете,— пояснил Франк,— не считают нужным идеализировать ни одну из возможных форм отношений... Идеалом для каждого служит та форма, которая более других соответствует его натуре.

— Видно, я совершенно неправильно представлял себе будущее, — сознался Йошка.

— Настоящее, пожалуй, тоже, — заметил Франк.

Перевод Б. ХЛЕБНИКОВА

Афоризмы разных лет

Афоризм — это остроумное дитя, плод любви искусства и философии. От философии у него манера спрашивать, от искусства — манера отвечать.

Афоризм не терпит сносок.

Перспектива зависит от точки зрения.

Тень нельзя показать, не сопоставляя ее со светом.

Лесть — это агрессия на коленях.

Только тот, кто знает, где нельзя смеяться, знает, где нужно смеяться.

Наивный идет извилистыми путями напрямую — пройдоха виляет по прямым дорогам.

Старые истины не требуют доказательств. Поэтому иногда нужно выдвигать новые утверждения, иначе мы разучимся доказывать.

Ответ, исчерпавший вопрос, обретает этим право на десять новых вопросов.

Положительное большей частью совершается коллективно, отрицательное — индивидуально. Это мы видим хотя бы по тому, что человек охотно обедает в обществе.

Не только трагедия, но и комедия может быть написана без юмора и быть всегонавсего шуткой. Но как трагичное без юмора остается лишь печальным, так и комичное без юмора бывает лишь чем-то веселым.

Смех социален. Смеющийся отшельник — дурак.

Где много говорят о малом, мало думают о многом.

Как у каждого съедобного гриба есть похожий на него несъедобный двойник, так и у каждой правды есть удивительно похожее на нее заблуждение.

Часто ошибку нельзя обнаружить только потому, что ее поглотила другая, еще большая ошибка.

Тот, кто плетется за историей, никогда не увидит ее лица.

Историю делают люди, которых делает история.

Если бы мы могли смеяться над ошибками, которые еще сделаем!

Пока робот отличается умом, а не характером, мы его не боимся.

Перевод ВЛАДИМИРА ЛЕБЕДЕВА

РИХАРД КРИСТ

НАУЧНЫЙ ПОДХОД К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

Когда мы по привычке задаем вопрос: «Как поживаешь?»— то ничего другого не ожидаем услышать, как привычное, с оттенком извечного недовольства: «Так себе».

Поэтому я был весьма удивлен, когда мой приятель Циберкопф весело ответил: «Великолепно! Дело в том, что я перестал читать газеты...»

— Разве это возможно? — поразился я.

— Вернее сказать, теперь я читаю в газетах только о политике. От журналов я отказался, радио и телевизор отключил. С тех пор я чувствую себя превосходно.

— А, это потому, что раньше тебе приходилось по два-три раза читать и слушать одно и то же, а теперь у тебя больше свободного времени и ты можешь позаботиться о здоровье?

— О здоровье? Да, о здоровье-то и речь, только дело не во времени. Ты же знаешь, я очень впечатлительный человек.

Я подтвердил, что он всегда был болезненно мнителен.

© Verlag der Nation, 1979.

Циберкопф ничуть не обиделся.

— Совершенно верно, настоящий ипохондрик. Стоило мне прослышать о какой-либо болезни, как я тотчас же находил ее у себя. А кругом только и говорят что о болезнях. Например, я очень люблю копченое мясо. И вдруг читаю: «Копчености вредны для здоровья».

Ладно, думаю, выпью-ка я лучше стаканчик молока. Разворачиваю утреннюю газету: «Молоко способствует образованию камней в мочевом пузыре». Кофе? «Повышает давление». Тогда, может быть, чай с сахаром? Что же говорится об этом в журнале? «Сахар разрушает зубную эмаль». Хорошо. Буду пить только несладкий чай. Но мой еженедельник предостерегает: «Теин вызывает недостаток железа в организме». Может быть, хоть глоток воды по утрам? «Только хорошо прокипяченной,— советует доктор фон Пилюлей по радио,— и по возможности обызвествленной».

Сливочное масло из-за холецистита я давно уже заменил растительными жирами. Кстати, как подозревают, маргарин тоже содержит канцерогенные вещества, и его собираются отнести к числу вредных продуктов. Что же остается? Рыба? Сначала ее рекламирует телеповар в утренней программе, а в вечерней научной передаче сообщается, что «в рыбе много вредных веществ, как, впрочем, и в овощах».

— Ты вообще-то хоть что-нибудь ешь? — спросил я с беспокойством.

— Одно время я перешел было на алкоголь, пока не прочитал в молодежном журнале, что алкоголь убивает клетки мозга. Мне оставалось одно утешение — моя трубка. Но в журнале для пчеловодов я наткнулся на статью о том, что курение трубки вызывает рак губы и что к трагическим последствиям могут привести также комариные укусы. Теперь уже не сижу, как прежде, на террасе. Я не работаю в саду, потому что даже малейшая царапина может загноиться. Я и слышать не хотел об отоплении, потому что воскресное приложение к журналу предупредило меня о вреде печного дыма. Когда в дождливую погоду я однажды пошел в кино, а в киножурнале говорилось о радиоактивной загрязненности облаков, то потом я едва отважился дойти до дома.

В конце концов я стал жить совершенным затворником, даже вне времени, так как снял ручные часы из-за светящегося циферблата.

— Что же тебя связывает с жизнью?

— Ну, кое-что еще оставалось,— сказал Циберкопф, подмигивая.— Но потом я както прочел в книге для молодоженов, что через поцелуи передается кариес. Вот тутто и пришел конец моей ипохондрии. Потому что без еды и питья, курения, даже без часов и без работы в саду человек еще может обойтись — без работы уж по крайней мере — но без любви?!

— И теперь у тебя все в порядке?

— За исключением кариеса,— ответил Циберкопф и улыбнулся.

Перевод ЕЛЕНЫ КАЩЕЕВОЙ

РУДИ ШТРАЛЬ

ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК

Действующие лица:

Он, 30 лет.
Она, 25 лет.

Он стоит в телефонной будке на улице и набирает номер. Слышны долгие гудки. В ее однокомнатной квартире звонит телефон. Чуть помедлив, она снимает трубку.

Он (*нетерпеливо*). Алло?

Она. Да?

Он. Это ты? Наконец-то дома! Ты не представляешь, какой день пытаюсь тебя поймать!

Она. И точно — не представляю. Каждый вечер я сидела безвылазно дома. Всю эту неделю.

Он. Верно, на этой неделе я был страшно занят. На работе полнейший завал — пускают АСУ, никакого продыха! Но всю прошлую неделю...

Она. Ах перестань, пожалуйста. Я и ту неделю дома сидела. Кроме субботы и воскресенья.

Он. Вот видишь!

Она. Но ты же знаешь, что по воскресеньям я у родителей!

Он. Извини, забыл. Только не сердись больше.

Она. Ладно, не буду.

Он. Вообще-то, как жизнь?

Она. Ничего, нормально.

Он. Вот и молодец. Ходила куда-нибудь — там в театр, кино?

Она. Я уже тебе сказала: всю неделю я сидела дома!

Он. Ну правильно, правильно...

Она. Думала, появишься. Или хотя бы позвонишь.

Он. Вот я и звоню.

Она. Первый раз за три недели!

Он. Так ведь запарка же на работе... А ты, значит, все дуешься? Я же чувствую! Знаешь, ты права. Вот что, обещаю: как бы я ни опаздывал на собрание или еще куда-нибудь, обязательно звякну тебе. Договорились?

Она. А, все равно забудешь.

Он. Клянусь!

Она. Знаю я твои клятвы! Ты что, простужен?

Он. Нет, с чего ты взяла?

Она. Голос у тебя какой-то странный.

Он. Это в будке стекло разбито. Елки-палки, неужели уже без четверти восемь?

Она. Да.

Он. Тогда все — я полетел. Пока!

Она. Постой, я думала...

Он. Что думала?

Она. Ты придешь сегодня?..

Он. Абсолютно исключено. Ты будешь смеяться, но как раз сейчас я бегу с одного собрания на другое. *(С некоторым беспокойством.)* Что-нибудь случилось?

Она. Нет, ничего.

Он. Какой-то у тебя странный голос...

Она. Ах, знаешь...

Он. Что?

Она. Ну ладно, раз уж ты так торопишься...

Он. Пара минут у меня еще есть. Если за превышение скорости мне залепят в права вторую отметку, виновата будешь ты. Давай выкладывай быстрее, что там у тебя?

Она. Хорошо. До этой вашей АСУ у тебя было не слишком много времени на меня.

Он. Раньше мы готовились к ее пуску. Кроме того...

Она. Что «кроме того»?

Он. Кроме того, я женат! Ты с самого начала знала!

Она. Да, но ты говорил, что это ровно ничего не значит и не помешает нашим отношениям.

Он. Я и сейчас того же мнения, но сама понимаешь — дела, дела! Проклятье, теперь мне и вправду пора! Я с тобой полностью согласен: все это не телефонный разговор. На днях я непременно заскочу и...

Она *(резко)*. Нет!

Он. Что-о?

Она. Я уже слышать не могу это твое вечное «заскочу»!

Он. Но, дорогая!..

Она. Будь раз в жизни честным: тебе давно наплевать на нашу любовь!

Он. Да? А почему я все время рвусь к тебе?

Она. Вот именно, что «рвешься»! Видимся раз в две-три недели и то по часу!

Он. А как ты думаешь: почему я прихожу?

Она. Откуда я знаю? По привычке, наверное. Или чтобы самоутвердиться. Разумеется, всегда на бегу, в спешке...

Он. Сегодня у меня, чувствую, вообще отберут права... *(Раздраженно.)* Разве мы не договаривались, что не будем связывать друг друга?

Она. Верно, но только...

Он. Что «только»?

Она. Только я не предполагала, насколько это мучительно — ждать!

Он. Я тоже. Слава богу, раньше я никогда жене не изменял.

Она. Ой, так ли уж никогда?

Он. Не цепляйся к каждому слову! Во всяком случае, я ее...

Она. А Елена?

Он *(после паузы, недоуменно)*. Это ты о ком?

Она. О Елене. Из Бухареста. Ты сам рассказывал.

Он. Прости, но я пока не понимаю. Что я тебе рассказывал?

Она. Что в Бухаресте ты познакомился с девушкой по имени Елена и потом с ней...

Он *(перебивает ее)*. Но я сроду не бывал в Бухаресте!

Она *(ехидно)*. Где же в таком случае ты учился?

Он. Как где? В Лейпциге! Вместе с тобой!

Она. У тебя и точно сегодня отберут права! Ты, наверное, пьян? Я не то что в Лейпциге — я вообще нигде не училась!

Он *(озадаченно)*. Но ты же практикуешь?!

Она. Это в качестве кого же?

Он. В качестве зубного врача! *(Возмущенно.)* Послушай, Мартина...

Она. Меня зовут Астрид. *(Делает глубокий вздох; без тени сомнения.)* Ты, видимо, не туда попал.

Он. Но как же так? Все сходится, кроме...

Она. Курьез! Забудь. *(Поправляется.)* Забудьте...

Он. Бургер. Вольфган Бургер.

Она *(механически)*. Очень приятно.

Он. Мне тоже. *(Начинает смеяться, сквозь смех.)* То-то я думаю, что это с тобой творится... то есть я хотел сказать — с вами!..

Она. Я и сама себе удивляюсь.

Он. Что? Что?

Она. А, не имеет значения. Прощайте, господин Бургер. *(Хочет положить трубку.)*

Он. Минуточку! Послушайте, Астрид, как вы смотрите на то, если мы отметим эту забавную историю чашечкой кофе?

Она *(не веря своим ушам)*. Когда, прямо сейчас?

Он. Ну разумеется! Если не возражаете, я забегу к вам ненадолго. *(Слегка смутившись.)* То есть я хотел сказать...

Она *(смеясь)*. Все в порядке, я поняла. Но, кажется, вы ужасно спешите?

Он. Ах, да! Совсем забыл... Ну ничего, в крайнем случае попробую уладить свои дела по телефону...

Она. По телефону?

Он. Нет, я...

Она. Вы даже не представляете, как я вам благодарна!

Он. Благодарны? Вы — мне? За что?

Она. Подумайте на досуге. Наверняка догадаетесь. Счастливо! *(Кладет трубку.)*

Он *(качая головой)*. Вот это фокус! Уму непостижимо! *(Снова набирает номер и после долгих гудков, услышав щелчок, кричит в трубку.)* Мартина? Это ты? Наконец-то дома! Ты даже вообразить себе не можешь, какой день я пытаюсь тебя поймать!

Перевод ЮРИЯ ГИНЗБУРГА

ПОЭТИЧЕСКАЯ МОЗАИКА

ВИЛЬГЕЛЬМ ТКАЧИК

Чудо

На свете ничего чудесней нету
того, что за день в нем событий ровно
столько,
чтобы как раз хватило на газету.

Ведь больше их могло бы быть, к примеру.
Редактору тогда пришлось бы худо.
Но, видимо, событья знают меру.

А вы как объясните это чудо?

МАНФРЕД ШТРОЙБЕЛЬ

Кнопка

Как мне жалко ЭВМ.
Ведь она одна совсем!

Нету папы, нету мамы,
только цифры да программы.

Скучно даже автомату
без сестренки или брата.

В ЭВМ мильон деталей,
но одной ей недодали.

В вычислительной машине
кнопки нет посередине.

Нету кнопки, что как раз
есть у каждого из нас.

КЛАУС МЁКЕЛЬ

Современный мотивчик

Липа листья распушила.
Кружит головы весна.
Ах, куда спешит Сибилла,
так красива и юна?

Так полны глаза девичьи
счастьем, так они чисты,
что ликуют хоры птичьи,
улыбаются цветы.

О прелестное созданье,
сразу видно по всему,
что на первое свиданье
ты торопишься к Нему.

До чего мила Сибилла,
до чего легко идет...

Из суда. Где получила
полчаса назад —
РАЗВОД.

© Mitteldeutscher Verlag, 1976.
© Eulenspiegel Verlag, 1982.
© Neue deutsche Literatur, 1982.

КИТО ЛОРЕНЦ

Ежи в парикмахерской

Под утро придя совершенно без сил,
один парикмахер жене говорил:

«Такого еще не бывало со мной...
Я кончил работу, собрался домой,
как вдруг в мастерскую степенно и тихо
вошли, поздоровавшись, еж и ежиха,
за ними вразвалочку и не спеша
вошли два косматых подростка-ежа,
а следом еще сразу трое ежей,
совсем малышей.

Последней вошла и уселась на стуле,
ворча недовольно, ежиха-бабуля.

А после меня попросил папа-ежик
подстричь всю семью непременно «под
ежик».
Однако бабуля ему возразила,
сказав, что она завиваться решила
и что вообще несусветная дичь
«под ежик» цветущую женщину стричь.
Короче, она бы хотела назавтра
прическу иметь под названием «афро».

И я до полуночи их семерых
«под ежик», как папа потребовал, стриг,
а после, дойдя совершенно до точки,
бабуле крутил до утра завиточки...

За стрижку, завивку, укладку и сушку
ежи дали восемь сушеных волнушек,
но так как я был совершенно без сил,
то я их забыл...»

Перевод Б. ХЛЕБНИКОВА

К нашим иллюстрациям

Хорст Янсен и его «Московская сюита»

В пестрой панораме западногерманской художественной жизни график Хорст Янсен занимает место поистине уникальное. «Последним романтиком» называет художника пресса, подчеркивая ностальгическое ощущение минувшего, пронизывающее его работы, выраженную в них программную верность традициям европейского искусства конца XVIII—XIX веков. Специфически «музейный» колорит его рисунков позволил последней по времени его крупной выставке органически вписаться в экспозицию венской Альбертины, прославленного собрания старинной графики. Знаменательно, что речь шла о событии в практике Альбертины из ряда вон выходящем — впервые были выставлены работы живущего немецкого мастера, и исключением из правила предстал именно такой романтик-«ретроспективист», как Янсен.

Родившийся в 1929 году художник постоянно живет и работает в Гамбурге. Если не считать недолгих «лет странствий», когда молодой график изучал собрания главных западноевропейских музейных центров, он почти не покидал родного города. Янсену в художественных кругах ФРГ сопутствует репутация принципиального домоседа, человека достаточно замкнутого, фанатически преданного лишь собственному творчеству («Суровый отшельник с нежным пером» — называлась одна из рецензий на венскую выставку).

Листы Янсена, рождающиеся зачастую в процессе почти непрерывного, страстного «потока рисования», одухотворены памятью о мастерах немецкого Ренессанса и просвещения, о романтических гротесках Франсиско Гойи, швейцарца Иоганна Фюсли. Стихия свободного, прихотливого штриха пером или карандашом подчас окрашивается у художника в тона черной меланхолии, некоей современной гофманиады. Но среди моря тревог, близкого сардонической графике Виктора Гюго, возникают и острова просветленной тишины.

Таким оазисом тишины, воплотившим в себе самые светлые и жизнеутверждающие черты дарования Янсена, стала его «Московская сюита», сложившаяся в основном в 1981 году. Навеянная русской литературной классикой (слово «московская» здесь условно, точнее было бы ее именовать «русской»), она предстает данью глубокого уважения к гуманистическим традициям искусства Пушкина и Жуковского, Гоголя и Тургенева, Достоевского и Льва Толстого. Данью особенно впечатляющей, если вспомнить, что Янсен никогда не бывал в нашей стране, а вся сюита — от портретов писателей до русских березок — плод чисто литературных ассоциаций. Основой для портретов писателей, их подруг и вдохновительниц,— например, А. П. Керн, А. Г. Достоевской — служат широко известные иконографические образцы (Янсен и не скрывает этого, сопровождая, в частности, портрет Пушкина пометкой: «по Тропинину»), но претворяет их художник в собственной бравурной манере, придавая им облик мечтательного воспоминания. Литературные образы и типажи, часто приглушенные почти монохромно, перемежаются букетами цветов, выплывающими из трепетного узорочья цветных линий (подлинно музыкальную органику сюиты помогло зрителям почувствовать гёттингенское издательство «Аркана», выпустившее ее отдельным факсимильным изданием).

«Я могу рисовать только то, что люблю»,— подчеркнул художник в одном интервью, размышляя о своей работе. Символом этой проникновенной памяти, воплощением творческого диалога эпох становится янсеновский «Лев Толстой», сияющий неистовой, как бы насквозь проницающей мир голубизной взгляда. И по-своему глубоко знаменательно, что звучащее здесь собеседование с прошлым служит сегодня насущной идее международного взаимопонимания: в год его создания рисунок этот был подарен Советскому Союзу, а затем вынесен на плакат крупной выставки западногерманского искусства, прошедшей в Москве и Ленинграде.

В лучших образцах искусство Янсена, поэзия его графики выходят из круга чисто «музейных» ретроспекций — культурные ценности минувшего утверждают здесь свою актуальность и жизненность.

М. СОКОЛОВ

Среди книг

Издано в СССР

ЛЮДИ И БЕСЫ

Человек и его тень. Сборник повестей. Перевод с китайского. Составление, предисловие, комментарии А. Н. Желоховцева. Москва. «Молодая гвардия», 1983.

Название сборника напоминает об известной книге Шамиссо, герой которой, Петер Шлемиль, продав собственную тень, испытывает мучения и страдания. Злоключения героя повести китайского писателя Лю Биньяня связаны с тем, что он не может отделаться от своей тени. У немецкого романтика тень — символ, у китайского реалиста она не призрак, не плод воображения автора. Это бумажная, анкетная тень, которой наделяли в Китае в период господства левацкой идеологии живых людей — вся их вина состояла в стремлении честно и добросовестно работать, в нежелании называть круг квадратом, а оленя — лошадью.

По свидетельствам китайской печати, и сейчас в Китае далеко не всем, кто в годы «культурной революции» обрел черную тень, удается легко с ней расстаться. Кое-кто в Китае мечтает о возврате «потерянного рая», когда люди не знали, где укрыться от наглого, бесцеремонного разгула леваков. Тень «культурной революции» и сегодня омрачает жизнь китайского общества. Китайская литература помогает сегодня народу, по крайней мере его читающей части, осознать все то зло, которое причинила «культурная революция». При этом многие писатели не ограничиваются художественным или документальным изображением зла, но стремятся докопаться до его социально-политических и исторических корней.

К числу таких произведений относятся очерки, рассказы и повести известного писателя Лю Биньяня, который в конце 50-х годов был обречен на двадцатилетнее молчание.

Герой повести Лю Биньяня «Человек и его тень», инженер-гидростроитель Чжэн Бэнчжун, горит желанием быть полезным родине, народу. Его не страшит никакой труд. Он со страстью творца берется за решение сложных технических задач и без всякого чванства исполняет самую тяжелую и черную работу. Казалось бы, в стране, где ощущается острая нехватка специалистов, такие инженеры, как Чжэн Бэнчжун, должны цениться на вес золота. Но леваки, стоявшие в те годы у власти, делают все, чтобы помешать ему работать в полную силу. Дело в том, что в 50-х годах он, как и многие другие китайцы, открыто говорил о тех недостатках и пороках, которые партия призывала вскрывать и искоренять. В результате его заклеймили как «правого элемента». Трагичность положения таких невинных людей, как это показывает Лю Биньянь, была в том, что они сами верили в собственную преступность, не отрицали своей вины и хотели своим трудом искупить ее. Но их усилия пропадали даром. Если Чжэн Бэнчжун пытался повысить квалификацию рабочих, леваки обвиняли его «в злостных попытках» разложить рабочий класс. Слово «специалист» стало в ту пору ругательным словом, ибо главный идеолог леваков предписал, что «невежды должны управлять специалистами». Как они это делали на практике, хорошо показывает Лю Биньянь. Леваки заявляли тогда, что главное назначение фабрик и заводов — вести классовую борьбу, а того, кто занимался делом, заботился о нуждах и интересах производства, зачисляли в разряд чуждых контрреволюционных элементов со всеми вытекающими из этого последствиями. Однако и в те мрачные годы, когда, казалось, сама земля должна была омертветь, а люди утратить не только надежду и совесть, но и превратиться в

бессловесных скотов, находились честные, добрые люди, которые пытались помочь инженеру использовать его опыт и знания в интересах дела. Даже в самых худших условиях находились люди, которые вели себя достойно. Однако сила и власть были не на их стороне.

Автор повести «Человек и его тень» показывает несостоятельность тех, кто пытался представить активных деятелей «культурной революции» как людей честных в своих намерениях и чистых по своей природе. Лю Биньянь обнажает их существо дармоедов и стяжателей, которые, провозглашая лозунг «служить народу», пеклись лишь о своих корыстных интересах. Очень характерен приведенный на страницах книги разговор инженера с бюрократами: здравой логике и убедительной аргументации человека, всей душой болеющего за народное дело, они не могут противопоставить ничего, кроме скудных и убогих шаблонных фраз, типичных для левацкой демагогии тех лет. Для стоявших у власти леваков стало привычным делом на конкретные вопросы, требующие практического решения, отвечать официальными лозунгами, столь же звонкими, сколь и пустыми. Лю Биньянь пишет, что для этих руководителей заниматься конкретной практической работой было мучительным и раздражающим делом, потому они и недовольны теми переменами, которые стали происходить в Китае с конца 70-х годов. Благодаря этим переменам бумажная тень, которая «двадцать с лишним лет господствовала над своим прежним хозяином, окутывала, омрачала, извращала, давила и попирала настоящего живого человека», наконец-то отделилась от него, и инженера стали ценить не по его фальшивой тени, а по его делам.

Герой Лю Биньяня выходит из своих злоключений несломленным. Таким же стойким предстает перед читателем и герой повести Лю Синьу «Жезл счастья» школьный дворник Ши Ихай. Это не активный борец против «культурной революции». Он необразован, но в отличие от образованных учителей, которые считают, что надо выполнять любые указания, даже самые бессмысленные, «тупой, бесчувственный и никчемный» дворник поступает лишь так, как требует его совесть. Свое несогласие с «культурной революцией» он не выражает открыто. Он молча исполняет свою работу, что в те годы означало бросать вызов «высочайшим указаниям». Дворник Ши Ихай— это тот «молчаливый Китай», который в свое время заговорил в лучших произведениях китайских писателей Лу Синя и Лао Шэ.

В повести «Жезл счастья» «культурная революция» предстает как жестокая, бессмысленная кампания против людей, сохранивших чувство чести, доброту и сострадание. «Вы вот часто говорите о классовой борьбе,— рассуждает дворник в беседе с учителем, от чьего имени ведется рассказ,— но ведь классовая борьба — это борьба человека против человека, а не человека против собаки, разве я не прав? Тогда надо знать меру, не нужно делать, чтобы уже человеческого-то ничего не оставалось...» Эта позиция честного труженика, гуманизм которого столь же естествен, как и его трудолюбие, противостоит бездушию, бесчеловечности заправил «культурной революции», и вполне логично, что неграмотный старик своим поведением, своими поступками взращивает в учителе «неподдельную красоту человечности». Выведенный писателем образ Ши Ихая, сохранившего достоинство в годы «величайшей смуты», как бы оттеняет низость тех, кто пытался отказом от всего человеческого, ценой предательства друзей и товарищей спасти свою шкуру и удержаться на волнах «культурной революции». В повести Лю Синьу правдиво воссоздаются «события того десятилетия, которые все бы хотели предать забвению, но забыть о которых свыше наших сил».

Призрак «культурной революции» неотступно преследует нас и в повести Ван Мэна «Мотылек». В центре ее — судьба крупного партийного работника с ее взлетами и падениями. Писатель знакомит нас со своим героем, заместителем министра Чжан Сыюанем, в тот момент, когда беды уже пролетели над его головой и он снова занимает важный пост и пользуется всеми благами жизни. Но видения прошлого не дают ему покоя. Перед его глазами развертывается лента воспоминаний о прошлом, в котором были и светлые и темные дни. Исследуя нравственное перерождение, падение и возрождение своего героя, Ван Мэн заставляет читателя о многом задуматься. В лучшие годы своей жизни Чжан Сыюань успешно продвигается вверх по служебной лестнице и пользуется благами, предоставленными ему властью, но при этом теряет любимую жену, лишается сына, который порывает с отцом как с чуждым элементом. Политический опыт приучил Чжан Сыюаня послушно исполнять указания, поступающие сверху, искренне бороться с врагами, настоящими и мнимыми. И он больше доверял бумаге, чем своим глазам. Его не мучили угрызения совести, когда жена была «выявлена» и «уличена» как «правый антисоциалистический элемент». При этом, как подмечает Ван Мэн, ему и в голову не приходило, что он сам может оказаться жертвой политической травли. И хотя «у него екнуло сердце», когда в 1966 году началась «культурная революция», он тем не менее воспринял ее как радостное событие. «Да, эта кампания,— думал Чжан Сыюань,— хотя и беспощадна, но величественна и священна». «К тому же он искренне верил, что все это делается для защиты от ревизионистов, все это — революционные меры, цель которых перестроить общество, перестроить Китай». Ход событий развеял иллюзии героя, в результате «революционных мер» он из непоколебимого революционера превратился в «черного бандита», «предателя», «шпиона», от которого отрекается собственный сын. Чжан Сыюань лишается всего, он оказывается в деревне, где еще сохранились добрые и разумные люди. Встречи и беседы с ними просветляют сознание оторвавшегося от людей партийного чиновника, и когда его реабилитируют и возвращают на высокий руководящий пост, он становится иным — более человечным.

Ван Мэн напоминает читателю о том, насколько развратила, разложила человече-

ское общество «культурная революция», когда «ложь превратилась в реальность, реальность превратилась в кошмарный сон», когда «общественными делами занимались ради личных дел, личные дела выдавались за общественные». Страх перед повторением «культурной революции» еще не прошел, и герой повести Ван Мэна думает про себя: «О чем еще заботиться? Чего еще желать? Да чтобы исчез страх. Да чтобы не менялась политика, да чтобы вот так и работать и не вцепляться друг другу в горло, а тогда и жизнь понемногу станет лучше».

Материалы китайской печати говорят о том, что не все в Китае разделяют убеждения героя повести Ван Мэна и самого автора. С точки зрения леваков, улучшение жизни крестьян попахивает реставрацией капитализма, отходом от «революционной линии», которую они проводили в течение десяти лет. Их приучили к тому, что почетна лишь бедность, которая служит надежным залогом перехода к коммунизму. Они привыкли ругать «хвосты капитализма», не представляя себе разницы между социализмом и капитализмом. Герой повести Ван Мэна, которого жизнь, как пишет автор, кое-чему научила, свои надежды на будущее Китая связывает с новой политикой, с новым курсом.

У читателей повести Ван Мэна может возникнуть впечатление, что «культурная революция» имела и некоторые положительные черты. Именно в это время его герой получил возможность ближе узнать думы и настроения простых людей, почувствовать их нужды и тяготы и благодаря этому перевоспитаться и выйти из горнила испытаний обновленным, более чутким к запросам народных масс. Не знаю, хотел ли Ван Мэн вызвать подобные мысли у читателей, но нам известны решения VI пленума ЦК КПК, который четко и недвусмысленно заявил об антисоциалистическом, антинародном характере «культурной революции». И сейчас китайская печать пишет о тех выдвиженцах «культурной революции», которые хотели бы уверить людей в том, что в «культурной революции» было немало хорошего и положительного.

Удачно включение в сборник сатирической повести Чэнь Мяо «Неофициальная история крупного писателя». Автор этого талантливого произведения подвергает анатомическому анализу историю карьеры одного из мошенников, которым «культурная революция» предоставила парниковые условия для созревания и расцвета. Сила повести Чэнь Мяо в ее достоверности. Она читается как подлинный документ. В ней проглядывают знакомые нам по китайским газетам живые черты активных деятелей «культурной революции», подвизавшихся на фронте литературы и искусства.

Писатель, обладающий прекрасным даром юмора, не жалеет красок для того, чтобы создать портрет своего героя Чжуан Чжуна — бездарного графомана, который сумел попасть в струю «культурной революции» и на ее волне проникнуть в среду подручных писак, руководителей этой кампании. Доносительство на близких, на учителей было одним из важных средств самосохранения и продвижения в Китае в те годы, и главный персонаж повести Чэнь Мяо пользуется этим способом, демонстрируя верность и преданность «пролетарскому штабу культурной революции». Но Чэнь Мяо был бы далек от правды, если бы нарисовал путь своего героя легким, без рытвин и ухабов. Нет, он показывает, как приходится без конца крутиться и изворачиваться Чжуан Чжуну, чтобы удержать свои позиции «преданного и верного писателя». Ему надо поспевать за изменениями политического курса, внимательно следить за капризами своенравной начальницы Цзян Цин и ее приспешников, вовремя отмежевываться от того, что говорил вчера, а главное — изо дня в день разоблачать и вскрывать замыслы противников левого курса, своевременно доносить на тех, кого можно было безнаказанно оболгать. В повести ярко воспроизведена царившая в «пролетарском штабе» атмосфера интриг, сплетен, слухов, взаимного подсиживания, угодничанья перед власть имущими. Вместе с тем Чэнь Мяо рисует образ честного, прямого писателя, который подвергается репрессиям, поношениям, но остается верным совести и правде.

Прочитанные нами повести различны и по стилю и по содержанию. Писатели поразному изображают своих героев, но все они оценивают «культурную революцию» как трагедию, отбросившую страну назад и принесшую колоссальный вред обществу. И никто из них не хочет повторения этой трагедии. Читателю же они помогают поверить, что в борьбе со злом он не так уж беспомощен и бессилен, что бесы и тени могут восторжествовать лишь на время, но в конечном счете побеждают живые люди, люди труда и разума. Но победа эта дается, как свидетельствуют писатели, дорогой ценой.

Несколько слов о переводе. Чтобы довести до иностранного читателя особенности современной китайской прозы, надо обладать не только знанием языка, но и иметь представление о социально-политических реалиях периода «культурной революции». Если китайскому читателю понятны намеки и полунамеки авторов, то они не производят нужного впечатления на иностранца. Переводы произведений, вошедших в рецензируемый сборник, выполнены, в общем, на хорошем уровне. Но, к сожалению, встречаются досадные погрешности. Так, у В. Семанова, перевод которого в целом удачен, получается, что герой повести «Неофициальная история крупного писателя» пишет письмо по поводу смерти вождя за месяц до его кончины (с. 276). Спорным представляется перевод китайского слова «редкий», «редкостный» эпитетом «крупный». Небрежно, можно сказать неряшливо, сделан Ю. А. Сорокиным перевод повести Ван Мэна. Он страдает ошибками, буквализмами. Некоторые названия китайских учреждений, лозунги кампаний, проводимых в Китае, переводчик переводит по-своему, тем самым затрудняя понимание сути событий.

Л. ДЕЛЮСИН

БЕСЦЕННЫЕ УРОКИ

Рольф Флос. Уроки танцев. Перевод с немецкого Е. Михелевич. Предисловие И. Голика, Москва, «Радуга», 1983.

Вопреки названию в романе Рольфа Флоса о танцах нет ни слова. Речь идет об уроках, которые преподает герою книги, Хагену Тауцу, сама жизнь,— об уроках мастерства, ответственности и опыта. Прочитав книгу, понимаешь, что ее название иронично: вот какие, мол, у нас танцклассы.

Действие романа развертывается в ГДР 1957 года, в сложное время восстановления и становления, отрицания и приятия нового общественного устройства. Возраст героя (ему 20 лет) параллелен «возрастным» особенностям этого периода в развитии молодой республики. Это пора колебаний и поисков, мужания и выбора. Писатель остро чувствует специфические трудности первых, переходных, лет—резкие перепады экономики, неустойчивость мироощущения. зыбкость, казалось бы, прочных основ традиционной культуры — и говорит обо всем этом с читателем как с близким другом, как с самим собой.

Молодой рабочий Хаген Тауц уже расстался с юношескими иллюзиями и смотрит на окружающее трезвым взглядом, не всегда находя подтверждение своим прямым впечатлениям в прессе. «У каждого на уме — как бы найти местечко потеплее. Либо у них в сборочном подобралась одна шваль, либо журналисты безбожно врут».

Старый мир, давно сформировавшаяся психология не так просто сдают свои позиции, и Хаген не может не видеть этого, но сам он уже новый человек, пусть его характер и не вполне сформировался. Есть в нем нечто такое, что позволяет старшему поколению видеть в таких, как он, почти искупителя национальной вины. И не только потому, что сам Хаген чист (у него не надо спрашивать, что он делал на этой войне — он был еще мал), но и потому, что подобные люди и в нацистское время оставались чистыми, если вообще сохраняли жизнь. Хаген — духовный преемник тех, кто предпочел пытки и смерть в концлагере всем соблазнам нацистского рейха. Для него вопрос личной ответственности перед людьми — это вопрос, реально существующий и имеющий однозначное решение. Когда речь идет о чести, о совести, Хаген бескомпромиссен, он органически не способен на подлость. И все конфликты, возникающие у него на производстве, в сущности, порождаются этой его чертой. Он бы и хотел иногда покривить душой для сохранения хороших служебных отношений, промолчать, уклониться, но цельность натуры не позволяет этого. Особенно ярко это проявляется в эпизоде с трансформаторной установкой. Напарник Хагена уронил в нее жестянку, что может когда-нибудь привести к взрыву, хотя это не так уж и вероятно Хаген какую-то минуту колеблется, но с соседнего двора доносится детский голос. И дело даже не в том, что ему вспомнилась виденная в детстве разбитая снарядом коляска. Просто для него человеческая жизнь — это ценность, через которую он не может перешагнуть ради чего бы то ни было, и уж тем более ради собственного благополучия. И он делает единственно верный шаг, хотя знает, какие сложности ждут его бригаду из-за демонтажа установки. А читатель верит, что герой принял бы такое решение, даже и не услышав детского голоса.

Вина другого становится его виной. Он берет ответственность на себя и молча старается исправить чужую ошибку, как свою. Для Хагена важно дело, таково его мироощущение. Он в этом мире отвечает за все.

И невольно вспоминаешь емкое, выразительное «здесь, сейчас» из «Выходных данных» Германа Канта. В психологически тяжелой, предаварийной ситуации, когда весь день идет напряженнейшая работа, на героя валятся все новые и новые беды, не исключая оговора, а он все-таки бросается на помощь Анке, появившейся очень некстати. Здесь, сейчас человеку нужна его помощь, и освободить себя от этой ответственности он не может.

В полной мере дает Флос ощутить и романтику труда — то удовлетворение, которое дает работа, выполненная с высоким профессионализмом. Казалось бы, электромонтаж, ну что тут романтичного? Но вот Хаген и Меркель, его шеф, в нелегких условиях монтируют электроустановку, и описание даже технических подробностей того, что они делают, увлекает читателя, потому что Меркель — истинный мастер, а Хаген — талантливый ученик. Флос знаком с производством не понаслышке, он прекрасно владеет материалом, и изображение производственных процессов становится у него фактом художественной литературы. В детстве Хаген хотел стать географом, но он поступился своими надеждами ради родителей, всю жизнь мечтавших купить собственный домик. Но, подчинившись необходимости, он сумел найти в своей профессии и возможности осуществить былую мечту о путешествиях

Одна из удач романа — живая и рельефная фигура коммуниста Меркеля. Он работает, поучая, ворча и важничая, но все это получается настолько обаятельно, что даже далекий от проблем электрификации читатель увлекается и кое-чему учится.

Меркель показан как любитель вкусно поесть и поговорить красиво, но, что гораздо важнее, он — тонкий знаток человеческих возможностей и слабостей, а также прекрасный организатор, не теряющийся в самых сложных и непредвиденных ситуациях. За долгие годы, постоянно требовавшие находчивости, выдумки, риска и ловкости, он стал прямо-таки специалистом по неожиданностям. Читательские симпатии Меркель завоевывает не сразу. Впервые на страницах книги он появляется как франт, балагурщик в цеху, где все работают. И лишь потом, узнав, как работает он сам, мы начинаем понимать его истинную сущность. Этот человек на своем месте. И чем дальше развивается действие романа, тем больше мы убеждаемся, что Меркель — истинный представитель рабочего класса. Мастер-виртуоз.

Флос избегает прямых рассуждений, он

не объясняет поступки своих персонажей, а наоборот, раскрывает их сущность через действие. Поэтому и лирическая линия дана в романе скрыто. Хаген любит, любит по-настоящему, но о своей любви сам он не говорит. В отличие от Меркеля Хаген чуждается патетики, но один за молчанием, другой за красноречием скрывают душевное богатство.

Вновь и вновь возвращается Флос к проблеме выбора. Как жить и, в частности, где жить? Соблазн избежать трудностей данного исторического момента, просто покинув страну, оказывался слишком сильным для людей определенного склада характера. Зачем преодолевать трудности и что-то создавать, когда можно перебраться на готовое? Такие люди не заботились о будущем и ловили удобный случай. Тем же, кто, подобно Хагену, решил остаться, бесспорно, приходилось нелегко, но они сами были хозяевами и творцами своей судьбы.

Хаген едет в западный сектор с Анке к ее брату. Она надеется, что уговорит его вернуться. Но в глубине души Хаген опасается за Анке: у нее дома не слишком хорошо, и вдруг ей захочется «поставить крест на прежней жизни со всеми ее неудачами»? Хаген и сам «ощутил на себе силу притяжения Запада... Никто и не узнает, куда ты девался и в какой точке Германии или любой другой страны осел. Тут у каждого есть шанс одним ударом обрубить неудавшееся прошлое и начать жить сначала». Ведь и у Хагена в то время не все ладилось.

Перед поездкой Хаген внимательно слушает напутственные слова прораба Зиндера — чтобы знать, что сказать брату Анке, а в сущности ища ответа для себя. В чем основные преимущества нового строя? В чем его сила и правда? На Хагена особенное впечатление производит один, казалось бы, наивный аргумент Зиндера: «Когда-нибудь не будет у нас ни самоуправства, ни подхалимства...» И рабочий Хаген понимает глубокий смысл этих незамысловатых слов. Речь идет об обществе, в котором рабочая гордость (в это верит герой) должна быть основой рабочего сознания, и никто и ничто не сможет омрачить радость, которую дает человеку любимая работа.

Поэтому счастливый конец романа обусловлен всем его содержанием. Человек, нашедший себя и свое призвание, не может ощущать себя несчастным. «Сбылись ли его ожидания? Этого он пока не знал, но, сидя в теплом купе, было приятно сознавать, что где-то там, в луковых полях, стоит нечто, сработанное его руками, и что это нечто ближайшие десять — двадцать лет будет работать, издавая глухое урчание».

Предисловие И. Голика кратко, но четко обрисовывает место романа в потоке современной литературы ГДР. Очерчивая творческий путь Рольфа Флоса, писателя новой формации, видящего в гражданственности критерии нравственности, И. Голик, в частности, пишет: «Через все произведения Рольфа Флоса проходит эта идея связи времен, в особенности преемственности поколений рабочего класса. Писатель естественно и органично вводит в свою прозу мысль о бессмертии революционных традиций, гуманистических, прогрессивных идеалов. Эта мысль звучит и в философских размышлениях героев о мире, о будущем, и в описаниях совместного труда. «Уроки танцев» служат весомым подтверждением этой оценки.

АЛЕКСАНДРА СПАЛЬ

КОШКА ДЛЯ ОДИНОКИХ ВЕЧЕРОВ

Сильвио Блаттер. А тоска все сильней... Перевод с немецкого С. Фридлянд. Послесловие В. Седельника. Москва, «Радуга», 1983.

В середине 60-х годов в швейцарской прессе развернулась широкая дискуссия, начатая Максом Фришем. Известный писатель упрекал соотечественников-коллег в том, что они слишком мало уделяют внимания внутренним проблемам своей страны. В упреке Фриша была, несомненно, немалая доля истины. При всем том, что повседневность постоянно оказывалась в поле зрения швейцарских прозаиков, слишком часто они замыкались в кругу узких камерных тем, описывая — в который раз! — неврозы и разочарования представителей интеллигенции и мелкой буржуазии в полном соответствии с требованиями западной литературной моды.

Роман молодого швейцарского писателя Сильвио Блаттера «А тоска все сильней...» отличается актуальностью проблематики и широтой изображения — как раз тем, что сплошь и рядом отсутствовало в швейцарской прозе, обращенной к сегодняшней действительности. Время действия романа — семь январских дней 1976 года, что и определяет композицию книги: семь дней — семь глав, каждая из которых в свою очередь состоит из четырех разделов, посвященных одному из тех шести персонажей, что в совокупности образуют коллективного главного героя романа.

...Лур Хегли — внебрачный сын, а затем и сирота — с малых лет оказывается на положении изгоя в обществе благополучных и самодовольных филистеров. Перед ним по сути дела две дороги: подчиниться требованиям кодекса буржуазной благопристойности, смириться раз и навсегда с ролью «человека третьего сорта» или же взбунтоваться против унижающего порядка вещей. Лур выбирает последнее. Впрочем, по сути это не бунт, а проявление полной растерянности и отчаяния. Вместе с компанией таких же, как и он, озлобленных и неприкаянных, он гоняет по округе на мотоцикле — «как в кино», — развлекаясь то хулиганством, то мелким грабежом. Одно из таких приключений и приводит Лура за решетку.

В судьбе Лура Блаттер усматривает серьезнейшую социальную проблему и пытается осмыслить истоки и смысл «нигилизма самых юных». Лур — лидер местной молодежи — сознает свое бессилие перед лицом всемогущей общественной системы. Но, читаем в романе, «и беспомощность хочет себя выразить». И Лур

«из беспомощности выбрал разрушительную модель поведения».

Не правда ли, что-то хорошо нам знакомое? Подобных молодых людей мы уже не раз встречали на страницах современных западных романов. Дело в том, что сама западная действительность порождает таких молодых людей, для которых разрушение становится самоцелью, а ненависть преобладающей, если не единственной, эмоцией. Путь, выбранный Луром, ведет в тупик. Сам себя он разрушает, а обществу его эскапады не страшны. Совершенно прав один из персонажей романа, вспоминая давнюю истину: «С целой системой одиночке не справиться».

Из тюрьмы Лура вызволяет Пеп. Он из «благополучной», набожной католической семьи. Если Лура тяготит нищета, удел изгоя, то Пеп, напротив, из тех, кто «устал от благополучия». Он пытается протестовать против размеренного течения дней в среде «умеренности и аккуратности». Но и его протест, увы, столь же невнятен и безадресен. Жить, как живет он, нельзя. Это он сознает. Но как же все-таки надо жить, он понять не может. Как мы знаем, очередной «подвиг» Лура привел его за тюремную решетку. Впрочем, снова оказавшись на свободе благодаря помощи Пепа, он не чувствует себя свободным. Для многих персонажей Блаттера сама социальная система, буржуазный уклад выступают в виде тюрьмы, где оковы невидимы, но оттого не менее прочны, и побег из такой тюрьмы совершить куда сложней...

Тяжкое давление буржуазной системы на души героев романа рождает во многих из них стремление вырваться за ее пределы, найти иной способ существования. Молодая работница кондитерской фабрики Маргрит ждет ребенка. И немало страниц романа посвящено мыслям Маргрит о будущем ребенка. Но наряду с этим в героине исподволь формируется новое отношение к жизни: необходимо найти свое место на земле, свое призвание, иначе не принесут счастья ни материальный комфорт, ни стабильное положение, столь ценимые ее мужем, служащим в банке.

Похоже, что свободолюбие и дух протеста заложены в швейцарцах, что называется, от природы — достаточно вспомнить историю этой небольшой страны. И Блаттер старается передать этот дух, сочетающийся в ряде его персонажей с уважением к буржуазно-мещанским добродетелям. С этой точки зрения, думается, интересна эволюция, которую переживает отец одной из героинь романа — Анны Виллигер, получивший в армии прозвище Долговязый. Призванный в армию во время первой мировой войны, он, общаясь с однополчанами, бывшими в мирное время рабочими, проникается мыслью о бездумности своего прежнего сытого бытия. Крестьянин, сын и внук крестьян, он начинает задаваться вопросами: кому, собственно, нужна война, в которой его принуждают участвовать, да и вообще «с какой стати рабочий класс так долго позволял себя угнетать и эксплуатировать»?

Его двоюродный племянник Ханс Виллигер, школьный учитель и летописец этого края, в своей хронике восстания северных кантонов в 30-х годах прошлого столетия очень близко подходит к марксистскому пониманию истории. И хотя события, о которых пишет Виллигер, внешне не перекликаются с современностью (среди тогдашних бунтарей нет предков персонажей Блаттера, хроника локальна во времени и пространстве), романисту она потребовалась для того, чтобы подчеркнуть разницу между умонастроениями представителей поколений, разделенных дистанцией почти в полтора века. И если в те давние времена оказалось (вспомним выражение Энгельса), что «колыбель свободы есть не что иное, как центр варварства и питомник иезуитов», то нынешние жители кантона уже не уповают лишь на бога и церковь.

Даже кроткая Анна Виллигер, работница кондитерской фабрики, усердная прихожанка местной церкви, начинает ощущать, что с миром творится что-то неладное. И если ее отец Долговязый «любил свою страну, как любят родину, но не доверял своей родине как государству», то Анна, выброшенная с фабрики предпринимателями, не может найти в себе подобной «любви». Своеобразным символом ее жизненной неудачи становится бродячая кошка, подобранная ею на кладбище,— «кошка для одиноких вечеров».

Так о чем же этот роман? Только ли о тупиках и безысходности, отчаянии и саморазрушении, выпадающих на долю многих героев Блаттера? В финале автор, сведя всех героев в больнице, где умирает Анна, где рожает Маргрит, где оказывают помощь раненому Луру, подводит итог своему повествованию. Ханс Виллигер спрашивает мужа Маргрит: «Если бы тебе сейчас предложили выразить свои чувства в одном слове, какое бы ты слово выбрал?» — «Надежда»,— отвечает ему Херберт. Да, несмотря на условия существования, в корне враждебные живому, человеческому, доброму, герои Блаттера не утрачивают надежды. А пока жива надежда, жив и человек.

А. БОРИСОВ

Издано за рубежом

«ВЫЯВЛЯТЬ ЛОТОСЫ ДУШИ...»

Д. М а а м. Газар шороо. Ш-р дэвтэр (Халагдах цагийн онгонд). Улаанбаатар, Улсын хэвлэлийн газар, 1982.
Д. М а а м. Земля. III книга. 1982.

Земля, родная земля... Древние говорили: человек рождается из земли, в землю и уходит. Вот почему история каждого народа — это ис-

тория о том, как народ берег землю, где он жил, как сражался за эту землю, не жалея жизни. Вполне закономерно, что на земле, политой кровью патриотов, вырастают цветы поэзии, увековечивающие их память...

В романе Д. Маама «Земля» воссоздана эпоха начала XX века, когда запылала гневом монгольская земля, народ поднялся против гнета и реакционной политики маньчжуров,— эпоха социальных битв и постепенного накопления заряда революционной борьбы.

Как следует из высказываний теоретиков и ученых, авторы теоретических трудов считают, что одной из главных тенденций развития современной социалистической литературы является развитие исторического романа. Писатели показывают неразрывную связь времен, поколений и традиций, они размышляют над историческими судьбами личности, народа, страны.

Д. Маам, твердо придерживаясь принципа историзма, отказался от «осовременивания» сюжета и, используя самые различные художественные средства, написал весьма поучительную и нужную книгу для сегодняшнего читателя.

В этом романе действуют представители всех классов и групп общества: от простолюдина до хана. В романе создана целая галерея положительных персонажей: старика Санжи, Дагдана, Базара, Олтрова — и отрицательных: Жамсаран, Даш, Лянь Ючао, Магсар и др. Этот роман можно сравнить с величественной многоплановой симфонией, в которой слышатся и лирическая и героическая, и радостная и трагическая мелодии.

Выражаясь языком исторических хроник, Д. Маам в совершенстве овладел искусством «раскрывать сердечный покров и выявлять лотосы души»; другими словами — он проявил себя как прекрасный мастер в раскрытии диалектики чувств, и это особенно ярко ощущаешь в третьей части его эпопеи, «Земля», названной им «Краски изменчивого времени».

Разные слои населения по-разному отнеслись к только что провозглашенной автономии Монголии. Табунщик: «Итак, наши степи, наконец, освободились от зависимости от маньчжуров... и навсегда избавились от своей горькой, тяжкой доли. Я, Дагдан,— счастливый человек». Глава хошуна: «Я, Содномдовдон,— счастливый человек. Никак нельзя уменьшить подарки Богдо... если я отдам ему что он захочет... он пожалует мне чин вана и гэгэна! Это значит — я буду наследным князем!»

Богдогэгэн по имени Жебцзундамбахутухта: «Светская и духовная власть, данная мне, означает, что на монгольской земле я — единовластный правитель, Будда на земле. Такой власти не было, пожалуй, даже у Чингисхана!»

Если в книгах других писателей Богдогэгэн изображался несколько упрощенно, то Д. Мааму удалось вывести емкий образ политического деятеля и живого человека. Он показал его как реальную историческую личность, выступавшую против политики Китая, подобной «мечу, обернутому ватой», и стремившуюся к самостоятельности Монголии. «...Это государство не только мое, но и ваше, ноены!.. Если на земле Монголии только мы будем править своим народом, без внешнего вмешательства, разве это не будет вдвойне нам полезно?» — так обращается он к своим приближенным.

Советский мастер исторического романа Алексей Толстой считал, что главное — показать в историческом романе формирование личности внутри эпохи. Роман «Земля» — не только художественно воссозданная история общества, но и история духовного роста человека, который жил и боролся в конкретно-исторических условиях. Пример тому — и жизненный путь Дагдана по кличке Бык, который становится полноправным аратом Дагданом, и биография Хангай Базара.

Народный заступник Хангай Базар — один из наиболее ярких образов романа. По поводу персонажей, напоминающих благородных разбойников, у нас в Монголии существуют разные мнения. Есть исследователи, которые выступают против присутствия их в исторических романах. Действительно, нет ничего похвального в том, когда они переходят из одного романа в другой. Между тем подобные фигуры — не только национальное явление нашей литературы. Взять, например, известного героя замечательного романа «Дата Туташхиа» грузинского писателя Ч. Амирэджиби. У наших зрителей имел большой успех советский многосерийный фильм, поставленный по этому роману.

Некоторые главы романа «Земля» носят внешне автономный, независимый характер и напоминают народные сказания. (Однако стоит вырвать из контекста любую завершенную главу, и нарушается структура произведения и авторский замысел). Этот прием генетически связан с традицией дальневосточной классической литературы и отражает специфику авторской манеры, используемой для более яркого отражения исторического прошлого.

Трудно поймать коня мысли петлей из слов, тем более трудно воссоздать образ мыслей и действий людей далекого прошлого так, чтобы это было близко и понятно современному человеку. Проблема стиля и лексики исторических романов — тема горячих споров литературоведов. Сочный, образный язык романа «Земля» не только сохранил специфику народной речи данной эпохи, но и хорошо понятен сегодняшнему читателю.

Подобно тому как жители великой реки увековечили славу своего края — М. Шолохов в романе «Тихий Дон», а Ч. Лодойдамбы в романе «Прозрачный Тамир»,— так и житель степи Д. Маам волшебным пером воссоздал незабываемую картину родных мест.

Отметим также, что произведения, правдиво рисующие прошлое и отражающие главную тенденцию общественного развития, настраивают на осмысление непрерывности истории народа и проблем его нравственной жизни, воспитывают высокие гражданские и интернациональные чувства. В этом — философский и исторический смысл трех книг романа Д. Маама «Земля».

Ц. ХАСБААТАР
Журнал «ЦОГ»

Пари о посмертной славе рискованны. Утверждение о том, что тебя будут читать через пятьдесят лет после твоей смерти, свидетельствует столь же о робости характера, сколь о чрезмерной гордости. Однако, как бы там ни было, Стендаль такое пари держал и выиграл его самым блестящим образом. Это подтвердили многочисленные коллоквиумы и публикации, отметившие столетие со дня его рождения.

Почему же сегодня читают этого автора, к которому при жизни публика и критика относились сравнительно равнодушно? Объяснения могут быть различны, но одно из них заключается в том, что Стендаль мало печатался: всего несколько критических работ, рассказы о путешествиях, статьи в иностранных журналах, новеллы, которые выходили под псевдонимом, и, наконец, три романа, подписанные его собственным именем. Попробуйте-ка сравнить их с длинным списком книг Жорж Санд, Бальзака или литературной продукцией Виктора Гюго! Кроме того, надо добавить, что Стендаль был автором скромным, далеким от парижской литературной жизни, служебные обязанности принуждали его быть сдержанным, к тому же ему и не хотелось выставлять себя напоказ: как к такому человеку могло прийти признание?

И тем не менее признание пришло. Кажущееся «бесплодие» писателя на самом деле скрывало неутомимое перо. Благодаря постоянной, скрытой от глаз людских работе этот писатель, мало заботящийся о публикациях, обожающий мистификации, охотно заимствующий чужие высказывания, оставил после своей смерти груду рукописей, какие находят у писателей, всю жизнь занимающихся каторжным трудом литератора, не проводящих ни дня без строчки. Многочисленные увлекательные сочинения открылись взору новых читателей и критиков, стиль простой и естественный отвечал их вкусам. Стендаль презирал пристрастия своей эпохи. Как вспоминают, он не выносил слог Шатобриана и рекомендовал молодым читать Фенелона.

Он не был романистом в обычном смысле слова. Поразительно, но в книгах писателя доля вымысла невелика. И в этом вторая причина его посмертной славы. Стендаль постоянно избирал самого себя в качестве объекта размышлений. Он хотел как можно глубже узнать Бейля, этого удивительного человека, одержимого демоном книгоиздания и в то же время всечасно «занятого несчастной любовью», не способного сопротивляться страстям. Он был зачарован собственной тайной, своим «я»— этим, как говорил Мальро, «всему предпочитаемым чудовищем»; тайна сия утопает во мраке, но она втягивает нас в лабиринт бесконечного поиска, хотя объект незаметно ускользает. Именно с этой точки зрения стоит рассматривать объемистый «Дневник» писателя и различные варианты его автобиографии. Стендаль оставил читателям будущих времен самый неожиданный и самый захватывающий из всех литературных персонажей — свое «я» или, точнее, легенду о самом себе.

Он горевал ночами, не находя ответа на вопрос, кто же он на самом деле, но он точно знал, что привлечет внимание читателей будущего к фактам жизни юного Анри Бейля или Брюлара. Как настоятельно подчеркивала Беатрис Дидье («Стендаль — автобиограф»), с этим персонажем, повествующим о себе, мы находим значительно больше общего, чем с вымышленными фигурами романов. Последние, кем бы они ни были, всегда скрыты плотной завесой и живут на определенном расстоянии от рассказчика. Автобиография же приглашает нас к соучастию. Читатель вступает в обычно скрытый мир писателя. Персонаж романа может нас оттолкнуть, вызвать у нас антипатию, автор автобиографии, напротив, сразу же становится нашим другом, он обращается к нам как частное лицо, он оказывает нам честь своим доверием, он нам льстит. Притягательность интимных записей состоит в том, что возможны аналогии, так как исследуются ситуации, хорошо нам известные: детство, взаимоотношения родственников, различные привязанности.

Таким образом, Стендаль вдвойне выиграл свое пари, он предложил на суд читателей после смерти собственную личность и целую серию загадок. Самая удивительная из них — герой-рассказчик, говорящий о себе столь охотно и искренне, тем не менее лжет, потому что писатель всегда остается пленником собственного воображения, людей, которых он любил или ненавидел. Возникает проблема: где же граница между вымышленным и реальным? Напомним, что Бейль стал вожделенным объектом для критики психоаналитического направления, и заодно отметим, что среди работ, появившихся в 1983 году, в год его юбилея, а также в сообщениях на конференциях в Серизи, Гренобле и Париже много внимания уделялось именно подсознанию писателя. Среди новых критических книг психоаналитического направления следует назвать работу Филиппа Бертье «Стендаль и святое семейство» и другую, менее подробную книгу Курта Рэнже «Душа и страница».

Всем известно знаменитое определение, данное Стендалем роману,— «это зеркало, которое несут по большой дороге». Рэнже истолковывает его так: несущий зеркало пытается заглянуть в него. Для этого он разворачивает зеркало к себе — таков Стендаль, наблюдавший за Бейлем, он видит себя в процессе создания произведения.

Рукописи, личные экземпляры его книг усеяны замечаниями и многочисленными пометками на полях, относящимися ко многим сторонам творчества, они помогают более глубоко познать человека и в то же время позволяют проникнуть в лабораторию писателя. Маргиналии стали новым источником исследований его творчества, они помогли изучить собственное отношение писателя к своим книгам (отметим, что новое издание его «Дневников» в серии «Плеяда», дополненное с помощью Викто-

ра Дель-Литто сводом его замечаний на полях, составляет два тома вместо одного!).

Мы подошли к вопросу о природе творчества. Жизнь Бейля нас интересовала бы много меньше, если бы он не был автором двух или трех чудесных литературных произведений, потому что восторженность Бейля нас иногда раздражает. Но как же все-таки создавались его великие романы? Вот что интересно.

Размышляя о его биографии, мы ищем какую-нибудь разоблачительную деталь, объясняющую нам его интуицию, источник его плодовитости. Новое значение приобрели некоторые факты его жизни. Уточненные даты становятся символами, молниями, высвечивающими темный замысел произведений.

Особенно примечательным событием года Стендаля стало подготовленное Анн-Мари Мененже издание «Люсьена Левена», большого, посмертно опубликованного романа, который многие считают третьим шедевром писателя; судьба его и вправду необычна.

Общеизвестно, что воображение Стендаля нуждалось в толчке, который мог ему дать какой-нибудь текст, вспомните известный ему из газет процесс Берте и созданный затем роман «Красное и черное» или историю Алессандро Фарнезе, воссозданную в «Пармской обители». Поводом для «Люсьена Левена» стала рукопись приятельницы Стендаля Жюли Готье, автора романа «Лейтенант». Она попросила Стендаля прочитать рукопись и вынести свое суждение. У Стендаля, как это часто случалось прежде, появляется желание переписать книгу, что он и делает. Он «переписывает» одну часть текста и, диктуя, останавливается на XVIII главе, чтобы возвратиться к своему «Анри Брюлару». Потом он снова вернется к рукописи и будет работать над ней вплоть до осени 1836 года. «Пересмотренная» им часть будет опубликована Р. Коломбом под названием «Зеленый охотник». У меня есть «Неизданные повести Стендаля», опубликованные в издательстве «Кальман-Леви» в 1902 году, в предисловии к ним говорится: «Рукопись, впервые изданная под названием «Зеленый охотник», состояла из законченных пяти томов большого сочинения, написанного в 1833 и 1834 годах, исправленного в 1836 году, а также из отдельных разрозненных набросков, которые не могут быть воспроизведены».

Какая находка! Слово «набросок» может лишь заставить нас улыбнуться. «Отдельные разрозненные наброски» оказались необычайным богатством. Рукописи опубликованных при жизни писателя романов исчезли. А эта последняя вдруг предлагает нам характерное для писателя обилие замечаний, размышлений, планов, более или менее законченных вариантов, которые сопровождают его работу. Их так много, что последовательное приведение в порядок текста Анн-Мари Мененже (он представляется особенно интересным в свете открытий Дель-Литто) помогло ей составить своего рода дневник рождения замысла романа, различных этапов его создания, написать волнующий документ, позволяющий не только глубже познать Люсьена Левена, но и сам процесс творчества Стендаля и его эстетические взгляды.

Анн-Мари Мененже доказала также, что различные перипетии его романа можно связать как с некоторыми фактами его биографии (наивный «Зеленый охотник», например, привел к «Анри Брюлару»), так и с различными политическими событиями его эпохи,— все это позволяет читать его произведение, особенно вторую его часть, как хронику событий 1835 года. Чтение газет поставляло исторические факты, а их усвоение и изучение стимулировало воображение писателя.

И снова очень важно внимание к датам. Оно позволило Анн-Мари Мененже выдвинуть получившую одобрение гипотезу о причине первой остановки в создании романа. Диктовка книги «Зеленый охотник» прекратилась 23 сентября 1835 года. Почему? По политическим соображениям, утверждает Анн-Мари Мененже. Июльская революция 1830 года заставила Стендаля отправиться в Чивитавеккью, но уже в 1835 году он мог предчувствовать падение власти Луи Филиппа и приход республиканцев, иными словами, либеральный режим и свободу печати. Однако состоявшееся 28 июля неудавшееся покушение некоего Фиечи на короля усилило королевский режим. Надежда на свободы исчезла. Королевская власть укрепляла свои позиции: были проведены сентябрьские выборы, введен закон о цензуре прессы, предусмотрены более строгие меры по отношению к преступникам. Именно в этот момент Стендаль прервал работу над рукописью, ведь он воспринял эти события как приговор своим надеждам на публикацию романа.

И могла ли его книга быть опубликованной в том виде, в котором она была написана? Едкая сатира на политические нравы, изобличение выборной системы и представителей администрации, уколы в адрес армии — все это делало издание книги невозможным для чиновника, состоящего на государственной службе. «Чтобы зарабатывать на жизнь, я должен служить, поэтому я не смогу напечатать роман...» («Завещание»). И наконец, встает еще один вопрос: был ли этот роман продуман писателем до конца?

Анн-Мари Мененже отвечает на этот вопрос утвердительно, подчеркивая при этом разницу между словами «продумать до конца» и «закончить». Роман был продуман до конца, он читается слитно, как единое целое. Это неоспоримо. Но он не был закончен в смысле его окончательной отделки. Стендаль не пересмотрел роман с точки зрения формы. Книга осталась без финала, так как эпилог или третья часть существуют лишь только в набросках.

По этому поводу можно спорить. С моей точки зрения, нагромождение набросков говорит не в пользу сочинителя. Кроме того, я заметил (так же как Филипп Бертье в «Стендале и святом семействе»), что произведение, по мере того как мы близимся к его концу, преображается, становясь историей Левена-отца. Случайно ли забыт молодой человек? Отцы, как известно, в произведениях Стендаля создают для молодых людей психологические препятствия, счастливая развязка вообще не соответствует

темпераменту Стендаля. А этот роман представляет собой как бы опровержение традиционной тематики писателя. Господин Левен — добрый отец, а Люсьен — любящий и почтительный сын, по крайней мере в начале... Это поразительно.

Теперь вернемся к эпилогу. Так ли уж важно, что он остался незаконченным? Как и Мененже, я этого не считаю. Пусть читатель сам поразмышляет о конце этой великой любовной истории, на пути которой встает столько препятствий. Этапы развития страстного чувства нам важнее, чем их завершение или, как заявляет Люсьен, пародируя Паскаля, «обладание зайцем не самое совершенное счастье охотника».

В «Люсьене Левене» можно также увидеть совсем неожиданный аспект гения Стендаля. В предыдущих романах преобладало действие. В этом же романе на первом плане — анализ, вся его книга развернута в сторону внутренней жизни персонажей, к механизму общественной жизни того времени. Можно даже сказать, что это один из самых бальзаковских романов Стендаля, и следует прибавить, что он предвосхищает интроспективное видение Пруста. «Люсьен Левен» — и социальный роман, и роман воспитания, и если даже он не является законченным, как «Красное и черное» или «Пармская обитель», то он наверняка самый насыщенный с точки зрения содержания в нем современных идей.

Исключительно интересный критический аппарат, созданный Анн-Мари Мененже, обогащает текст Стендаля, располагая читателя к размышлениям об эпохе, в которую это произведение было написано. Критик рассмотрела «Люсьена Левена» в разрезе тех микрособытий, которые, к сожалению, быстрее всего забываются, но которые так нас волнуют, потому что помогают лучше познать этого неразгаданного до конца писателя.

РОБЕР АНДРЕ
г. Париж

НЕПРАВОЕ ПРАВОСУДИЕ

René Reggiani. Il triangolo rovasciato. Roma, Sansoni, 1983.

Рене Реджани. Опрокинутый треугольник. 1983.

Еще недавно так называемые «желтые» романы (по цвету обложек наиболее распространенного в Италии детективного чтива) не достигали отметки, от которой начиналась настоящая литература. И на римском вокзале еще не так давно можно было видеть рекламу: «От Рима до Милана скорым поездом пять часов езды, но если вы возьмете в дорогу детективный роман издательства «Мондадори», то доедете до Милана за полтора часа». Реклама эта лишь подчеркивала сущность «детектива» как разновидности легковесного жанра, призванного помочь читателю убить время, но не больше.

Однако в последнее время в литературных жанрах Италии происходят определенные сдвиги, и на книжных прилавках все чаще попадаются книги (в том числе и в желтых обложках), которые, хотя и принадлежат к жанру детективной литературы, отличаются тем не менее остротой общественной и философской проблематики и содержат принципиальную критику существующего положения вещей. Среди них такие остросюжетные романы, как «Исчезновение Майораны» Леонардо Шаши, «Во имя розы» Умберто Эко, «Опрокинутый треугольник» Рене Реджани, которые привлекли к себе широкое внимание. Для всех этих книг, отнюдь не похожих друг на друга, характерно и нечто общее — формальные приемы детектива их авторы используют для постановки серьезных политических, мировоззренческих и социальных вопросов.

Роман Рене Реджани начинается вроде бы весьма тривиально: в служебном помещении «Опрокинутого треугольника» (так символически названа Центральная телестудия Италии) обнаруживают труп Гертруды Гуадальберти, бывшей жены одного из руководителей этого важнейшего учреждения, занимающегося формированием общественного мнения в стране. Преступление расследует полицейский комиссар Ренато Агостини. Казалось бы, все здесь происходит как в других, не выходящих за рамки обыденного, детективных романах.

Но нет. Рене Реджани умело переводит разговор на другие рельсы. Что это, частный случай? Одно из множества уголовных преступлений? «Каждая жертва преступления,— рассуждает комиссар Агостини,— непременно в чем-то виновна, ибо нарушила какое-нибудь табу». Какие же табу нарушила Гертруда Гуадальберти? По мере того как клубок начинает постепенно распутываться, мы узнаем, что Гертруда отличалась на работе «чрезмерной смелостью и излишней проницательностью». Более того, выясняется, что она пристально наблюдала за деятельностью руководителей телестудии — так называемого Супердиректора, своего бывшего мужа, других «баронов и феодалов», поделивших власть в «Опрокинутом треугольнике».

Власть же эта не терпит инакомыслящих, а тем более людей бунтующих. «Мы свою работу умеем делать, — говорит один из сослуживцев Гертруды,— мы должны уметь ее делать. Не то что вы, господа бароны. Хотя по-своему вы и правы. Ваши покровители — партийные деляги — измываются над страной, ведут ее к гибели. И вы для них — настоящая находка. Вы всегда бываете на высоте, когда речь идет о том, чтобы поддержать, расширить, защитить их власть. Это уж точно».

Чтобы понять эту филиппику, стоит вспомнить реальное положение дел в итальянском радио и телевидении. В настоящее время эти каналы массовой информации практически захвачены правящими партиями, которые почти не позволяют оппозиционным силам выходить в эфир. В руководстве итальянского телевещания появились своеобразные «удельные князья»

или «бароны», как их называет Рене Реджани, которые поделили между собой власть в зависимости от политического веса той правящей партии, которую они представляют. Вот почему одно из требований итальянских коммунистов заключается в том, чтобы «превратить итальянское телевидение в действенное и демократически управляемое орудие правдивой информации, в предприятие, в котором были бы справедливо представлены различные политические партии».

Но вернемся к роману «Опрокинутый треугольник», обличительный пафос которого нарастает с каждой страницей. Писатель отчетливо понимает, что положение на Центральной телестудии зависит от положения в Италии в целом. «Эта телестудия,— говорит один из сотрудников Агостини,— лишь микрокосмос макрокосмоса страны: то, что запрещено одним, разрешается другим». Так вырисовывается в романе тот классовый рубеж, который отграничивает управляемых от управляющих. Попрание прав и свободы человека доходит до его физического уничтожения.

Рене Реджани не ставит все точки над «i». Мы так и не узнаем, кто убил Гертруду Гуадальберти, хотя подозрения падают и на Супердиректора, и на бывшего супруга жертвы преступления. Но это и не столь важно. Главное здесь — разоблачение темного мира деляг и стоящих за ними политических сил, управляющих процессом загрязнения человеческих мозгов. Конкретные же причины конкретного, но единичного преступления, как признается в конце романа комиссар Агостини, «придется похоронить в сыпучих песках неправого правосудия».

Г. СМИРНОВ

Из месяца в месяц

АРГЕНТИНА

НЕИЗДАННОЕ ХУЛИО КОРТАСАРА

Осенью этого года в одном из мадридских издательств выходит новая книга выдающегося аргентинского писателя Хулио Кортасара, скончавшегося в феврале в Париже.

В эту книгу под названием «Аргентина: годы за колючей проволокой» войдут неиздававшиеся тексты Кортасара, его высказывания, а также рукописи, посвященные родной стране писателя времен господства военной диктатуры.

Как сообщила газета «Гранма», издатель книги, личный друг Кортасара, Хулио Мунник в интервью для печати отметил, что значительное место в сборнике займут материалы о проблемах эмиграции из Аргентины в годы реакционного режима.

БОЛГАРИЯ

СОВРЕМЕННИКИ И УЧИТЕЛЯ

В этом году болгарская литературная общественность отмечает юбилейные даты трех видных представителей болгарской литературы, значение творчества которых с каждым годом, прошедшим после их смерти, осознается все яснее и глубже.

В Софийском Народном театре имени И. Вазова состоялось торжественное собрание, посвященное 80-летию со дня рождения Георгия Караславова, автора романов «Дурман», «Сноха», эпопеи «Простые люди» и других произведений, широко издававшихся в стране и за рубежом.

«Георгий Караславов, — сказал в своем докладе на собрании академик П. Зарев, — одно из самых значительных явлений в болгарской литературе. В его личности воплотились устремления рабочего класса, духовные силы нашего народа. Сформировавшийся и творивший под непосредственным влиянием идей Болгарской коммунистической партии, Георгий Караславов не знал сомнений, колебаний, отклонений от намеченного направления. Всегда твердо придерживавшийся своей политической позиции, он был духовным выразителем здоровых творческих сил пролетариата».

Свидетельством актуальности его произведений стал новый спектакль театра «София» по его повести «Танго», разоблачающей фашизм.

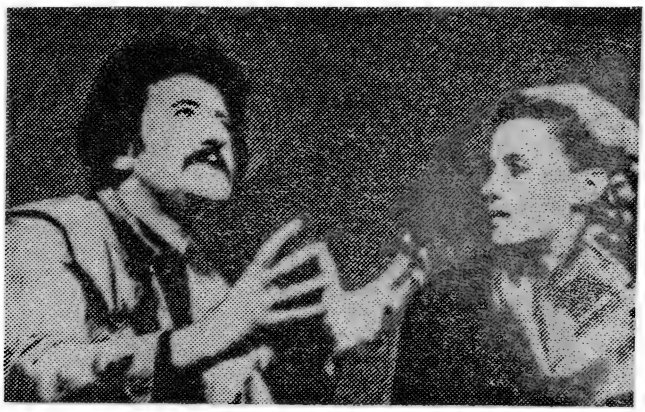
Время позволяет открыть новые грани творчества другого замечательного прозаика, автора исключительно популярного романа-эпопеи «Табак» Димитра Димова, сопоставить этих столь различных художников. Никто из писателей не сделал так много, не внес такого большого вклада в развитие нашей прозы, как Г. Караславов и Д. Димов, подчеркивается в статье, опубликованной в журнале «Септември» в связи с 75-лети-

---

Спектакль «Праздник», поставленный по пьесе Николая Хайтова в Народном театре им. И. Вазова, отмечен тремя первыми премиями на состоявшемся недавно VII Национальном смотре болгарской драмы и театра. Премии удостоен не только драматург, но и режиссер-постановщик Крикор Азарян, а также исполнитель главной роли, актер Велко Кынев. Пьеса, как отмечает еженедельник «Народна култура», рисует широкую картину жизни болгарского села. В центре происходящего — человек трудной судьбы, настоящий коммунист Александр Марков. Игра Велко Кынева, сумевшего избежать штампов и создать убедительный образ положительного героя, получила высокую оценку театральной критики.

На снимке: сцена из спектакля.

(Еженедельник «Народна култура»)



ем со дня рождения Д. Димова.

Развивая традиции критического реализма, отмечается в статье, Д. Димов ввел в нашу социалистическую литературу типический образ, в котором отразилась историческая обреченность определенных слоев общества, и создал вместе с тем галерею героев, которые, распутывая трагический клубок классовых противоречий, пронесли как знамя идеи революции.

«Димитр Димов убедительно доказал, что социалистический реализм — не свод догматических норм и правил, а постоянный поиск и открытие во имя высшего идеала».

Печать отмечает и еще одну юбилейную дату — 80-летие со дня рождения Атанаса Далчева, известного советскому читателю по сборнику, в который вошли его стихи и прозаическое произведение «Фрагменты».

Газета «Отечествен фронт» помещает высказывания молодых поэтов, многому научившихся у Далчева.

«Одно из интересных явлений в европейской поэзии периода между двумя мировыми войнами, — пишет И. Цанев, — лирика Далчева, с годами не теряет своей свежести и привлекательности. То же самое относится к его критике и эссеистике. Он был не только большим поэтом, но и человеком независимой и честной мысли, оригинальных идей, высокой культуры».

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

«КОСТЮМЕР»

Режиссер Петер Йейтс, долгое время работавший в американском кинематографе (наиболее известный из его фильмов — «Бездна»), вернулся в национальное кино; фильм под названием «Костюмер», снятый им по одноименной пьесе Роналда Харвуда, был выдвинут на соискание премии «Оскар».

Написанная сравнительно недавно пьеса Харвуда, поднимающая сложные вопросы в искусстве, обошла подмостки многих театров как в Англии, так и за ее пределами. Фильм же Йейтса, по отзывам критики, — редкий пример того, как драматургическое произведение обретает яркое воплощение на экране.

Герой фильма — актер (он же и директор труппы) на излете своей сценической карьеры. С одной стороны — усилия продержаться с труппой «на плаву» (идет вторая мировая война), бремя возраста, тайные муки творчества, неудовлетворенное честолюбие. С другой — тщеславие, самовлюбленность, деспотизм, а порой и жестокость по отношению к окружающим, не исключая и преданного костюмера Нормана (Том Кортни), единственного, кто способен вывести его из состояния творческого бессилия. (В свое время Роналд Харвуд сам работал в качестве костюмера у сэра Доналда Вулфита, одного из последних «великих» актеров-антрепренеров; несомненно, утверждают критики, в основу его пьесы лег богатый автобиографический материал.)

На снимке: Альберт Финни в фильме «Костюмер».

(Газета «Таймс»)

Трагедию стареющего актера, сложность и противоречивость его характера, по мнению критиков, блестяще передал Альберт Финни, исполняющий в фильме главную роль. Подобная роль, пишет рецензент «Таймс», могла бы соблазнить актера на использование внешних эффектов, а Финни достиг в ней подлинных глубин.

ВЕНГРИЯ

ПАМЯТИ МАХТУМКУЛИ

В 1983 году в Советском Союзе широко отмечалось 250-летие со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули (Фраги).

Вышел однотомник «Избранное» Махтумкули и в Венгрии, в издательстве «Европа». Перевод стихотворений принадлежит известному венгерскому поэту Дежё Тандори. В этом издании принимали участие известный современный тюрколог Имре Башки и знаток туркменского языка и литературы Жужа Какук — составитель.

Имре Башки выступил в этом сборнике как автор подстрочников, примечаний, а также обстоятельного послесловия, представляющего собой по сути очерк истории туркменской литературы, где рассказывается и о творчестве Махтумкули. Следует отметить приводимые им сведения о принципах стихосложения Махтумкули, которое тесно связано с особенностями тюркских языков и родственно венгерскому стихосложению.

Примечательно это издание еще и тем, что в него включены переводы известного венгерского ориенталиста Армина Вамбери.

В 1863 году Вамбери побывал в Средней Азии и привез оттуда копию одного из диванов Махтумкули — рукописной книги, состоящей из 260 страниц. По ней и были сделаны переводы, опубликованные в 1879 году в двух научных журналах, соответственно на немецком и венгерском языках.

Помимо этих двух научных изданий Вамбери публиковал стихи Махтумкули и в других сборниках, о чем подробно рассказано Дьёрдем Радо в книге «Литература уральских и тюркских народностей Советского Союза в Венгрии», вышедшей в издательстве «Академиа».

Ежемесячник «Кёньввилаг», представляя «Избранное» Махтумкули венгерскому читателю, писал на своих страницах: «Это издание посвящается 250-летию со дня рождения Махтумкули. В нем собраны лирические и философские миниатюры, стихотворения, написанные по мотивам народных легенд и сказаний.

Выдающийся туркменский поэт XVIII века рассказывает о любви, о родине, о себе самом. Размышляет о нравственности и о мире соответственно своим представлениям человека XVIII столетия».

Книга оформлена художником Каталин Ленер. Ее изящный, графически тонкий рисунок на супере, напоминающий силуэт мечети, — это рисунок «образного намека», настолько художественно точного, что сразу вводит читателя в атмосферу Востока.

ГДР

ФЕСТИВАЛЬ ПРОЛЕТАРСКОГО ИСКУССТВА

Очередной, 20-й фестиваль пролетарского искусства состоялся в городе Гера. В нем приняли участие профессиональные и самодеятельные коллективы, писатели, артисты, художники.

Большой интерес вызвало совместное выступление хоровых ансамблей, которые исполнили песни, посвященные 35-летию Германской Демократической Республики. Свои новые спектакли показали народные театры. Были организованы выставки рисунков известных художников и любительских фотографий, просмотры любительских фильмов.

На больших книжных базарах демонстрировались

По мотивам романа Бернгарда Зеегера «Гармонист» (см. «ИЛ», 1981, № 8) на студии ДЕФА создан фильм под названием «Человек с серьгой в ухе». Режиссер фильма — Иоахим Хазлер. Главные роли исполняют Оана Пелеа и Владимир Гайтан.
«Это фильм о судьбе человека, который обрел свою истинную родину»,— пишет газета «Нойес Дойчланд».
На снимке: кадр из фильма.

(Газета «Нойес Дойчланд»)

новые книги писателей. Перед читателями выступили Армин Мюллер, Руди Штраль, Клаус Бойхлер, Хельга и Гансгеорг Майер (о присуждении К. Бойхлеру, Хельге и Гансгеоргу Майер премий Свободных немецких профсоюзов см. «ИЛ», 1984, № 9).

РАССКАЗЫ ГЕРБЕРТА ЙОБСТА

Издательство «Ферлаг дер национ» выпустило сборник рассказов известного прозаика Герберта Йобста «Перемена обстановки».

Имя Герберта Йобста хорошо известно и немецким и советским читателям главным образом благодаря автобиографическому циклу из четырех романов «Нелегкая жизнь Адама Пробста» (две первые части тетралогии переведены на русский язык). В журнале «Иностранная литература» опубликован ряд критических материалов о писателе.

Новая книга Йобста показывает его в несколько необычном для него жанре «малой прозы». В сборнике—девять рассказов, из которых четыре посвящены второй мировой войне, а четыре послевоенной мирной жизни. Особняком стоит рассказ, давший название книге: он охватывает большой период времени — действие начинается в довоенное время, а кончается после войны.

«В героях Герберта Йобста нет ничего «героического», — пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд». — В основном это молодые люди, которых искалечила фашистская идеология и которым предстоит начинать жизнь заново... Как в романах, так и в этих небольших рассказах Герберт Йобст показал себя зрелым мастером».

«Йобст пишет очень поразному: то с большой грустью, то с юмором», — отмечает рецензент журнала «Ное дойче литератур».

«Рассказы Герберта Йобста написаны хорошим, образным языком, — пишет рецензент еженедельника «Зоннтаг». — Иногда они очень поэтичны, часто писатель выступает и как сатирик... Эту книгу можно считать новой удачей автора. Читатели прочтут ее с интересом».

ИНДИЯ

ФИЛЬМ ЖЕСТОКОЙ ПРАВДЫ

Газета «Джан юг» поместила большую рецензию своего кинокритика Иогендры Матхура на фильм режиссера Говинда Нихалани «Полуправда», поставленный по сценарию известного драматурга Виджая Тендулькара.

В центре фильма — образ полицейского инспектора. Герой картины далек от ставшего привычным в индийском кино стереотипа полицейского-балагура и добряка: получивший первые жизненные уроки от солдафона-отца, инспектор беспощаден в обращении с преступниками.

Но вот на глазах у инспектора начинает твориться что-то непонятное. Он задерживает опасного преступника, а на следующий же день «по указанию свыше» того освобождают. Он честный блюститель порядка, гроза преступного мира, а ему приказывают охранять того, кого он только что задерживал, когда тот выставляет свою кандидатуру на очередных выборах в муниципалитет. Молча сцепив зубы, переносит инспектор все унижения и обиды.

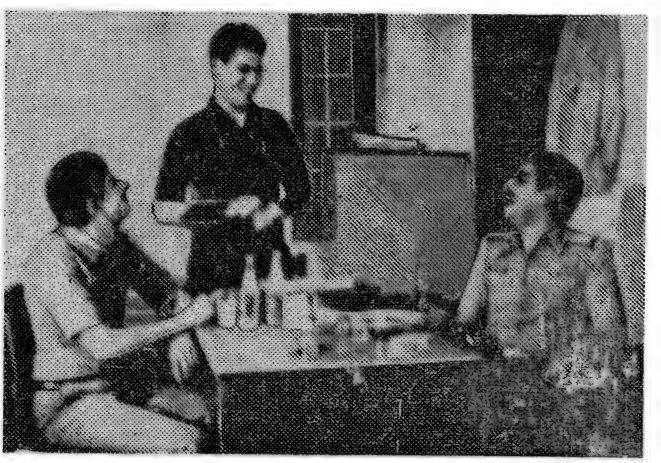
Однако терпению его приходит конец, когда, попав в затруднительное положение, он вынужден обратиться к тому, кого еще недавно ловил, а затем охранял. Тот готов помочь, но при одном условии — полное и беспрекословное повиновение ему лично. В ярости инспектор убивает высокопоставленного преступника, а потом отдает себя в руки полиции.

Как отмечает кинокритик, картина производит неизгладимое впечатление своей жестокой жизненной правдой.

Рецензент отмечает великолепную игру всего актерского ансамбля, особо выделяя исполнителей глав-

На снимке: кадр из фильма «Полуправда».

(Газета «Джан юг»)



На снимке: исполнительница главной роли в фильме «Полуправда» Смита Патил.

(Газета «Джан юг»)

ных ролей — известного киноактера Омпури и выдающуюся актрису Смиту Патил.

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА

Более 500 человек из 40 стран мира приняли участие в международной конференции по художественному переводу, которая проходила в Дели в марте 1984 года. Эта встреча, организованная рядом литературных учреждений, расценивается как одно из крупнейших событий в литературной жизни индийской столицы за последние годы.

В дни конференции проходили встречи поэтов и писателей, чьи произведения переводились на иностранные языки или которые сами занимались переводом. Так участники одной из них рассказывали о своих творческих поисках, выступали с оценкой перевода литературных произведений.

Основное внимание на конференции было уделено изучению иностранных языков, способствующих приобщению Индии к сокровищам мировой культуры. Большое место заняло также обсуждение проблемы взаимодействия различных литератур Индии. Индия — многоязычная страна, в которой 15 языков официально признаны конституцией и 22 — Литературной Академией. Большинство из них — языки древние. Но вследствие острого недостатка переводчиков художественной литературы даже наиболее значительные произведения, создаваемые в одной части страны, остаются неизвестными читателям других частей страны.

Литературная Академия, Национальный трест книги и ряд других организаций, таких, например, как Жюри по премиям Гьянпитх, пытаются найти пути к разрешению этой проблемы. Их первостепенной задачей является создание и подготовка кадров переводчиков художественной литературы.

ИНДОНЕЗИЯ

ВО ВРЕМЯ ОНО

«Во время оно. Антология праиндонезийской литературы» — так называется сборник избранных произведений на обиходном малайском языке, изданный в Джакарте выдающимся индонезийским писателем Прамудьей Анантой Туром. Сборник вышел в том самом издательстве «Хаста митра», которое опубликовало первые две книги тетралогии Прама («ИЛ»,1981, № 8), написанные им в одном из концлагерей острова Буру и вскоре после публикации запрещенные за «тонкое и скрытое протаскивание идеологии марксизма-ленинизма».

В антологию вошло семь повестей и рассказов, написанных в конце прошлого — начале нынешнего века местными журналистами и литераторами, по большей части метисами, адресовавшимися в своем творчестве к немногочисленной полуобразованной на европейский лад прослойке разноплеменного городского населения Нидерландской Ост-Индии, которая была не в ладах с классическим малайским языком. Отметив, что отобранные авторы по-разному относились к колониальной действительности (наиболее прогрессивным из них был Х. Коммерс), составитель воздерживается от критического разбора их произведений. «В своих книгах они заявили о себе как личности, и, таким образом, состоялось их рождение в качестве свободных людей, а это и было самое главное», — пишет Прам. Писатель надеется продолжить публикацию произведений полузабытых авторов — провозвестников современной индонезийской литературы.

КОНЕЦ ПАСТОРАЛИ

Нелегкая участь деревенского мальчугана Расуса, его возмужание и освобождение от детских и отроческих иллюзий составляют фабульную основу вышедшего недавно романа Ахмада Тохари «Танцовщица из Дуку Пару». В воображении рано осиротевшего подростка образ матери сливается с образом его подружки — девушки-сироты Сринтил, которая по решению деревенской сходки назначается местной танцовщицей, а тем самым и деревенской жрицей свободной любви. Душевный кризис Расуса, оказавшегося первым избранником Сринтил, разрешается лишь с его уходом из Дуку Пару. Родная деревня становится ему ненавистна, а позднее безразлична «вместе со всеми почитаемой могилой ее основателя, нищетой, руганью, мерными звуками бамбукового гонга и танцами ронгенг».

От многих других произведений, в которых идеализируется сельская жизнь яванцев, роман Ахмада Тохари отличается поистине беспощадным реализмом. «Картина, предстающая перед нами, выглядит более чем мрачно: вместо колышимых ветерком пальмовых крон автор рисует растрескавшуюся землю, вместо рисовых полей — посадки маниока, вместо жизненной мудрости — идиотизм, вместо глубоких религиозных чувств — лицемерие, вместо веселых, смеющихся детишек — маленьких людей с большими проблемами»,— так резюмирует содержание романа Х. Майер на страницах нового голландского журнала «Орион».

ИРЛАНДИЯ

ПЬЕТРО АННИГИОНИ — ИЛЛЮСТРАТОР ДЖОЙСА

Специалист по творчеству Джеймса Джойса Ричард Браун весьма одобрительно отозвался об отдельном издании самого известного рассказа писателя «Мертвые», вышедшего с иллюстрациями видного итальянского художника Пьетро Аннигиони. Книга, пишет Р. Браун на страницах литературного приложения к «Таймс», — чудо полиграфического искусства. Для издания была изготовлена особым ручным способом специальная бумага.

Пьетро Аннигиони, пишет Р. Браун, — художник, крайне внимательно отбирающий авторов, которых собирается иллюстрировать. Его недавней и очень удачной работой были иллюстрации к «Шинели» Гоголя. Как заметил сам художник, существует определенная художественная и стили-

На снимке: гравюра Пьетро Аннигиони, на которой изображены Габриель Конрой и Фредди Мэлинз — персонажи рассказа Джеймса Джойса «Мертвые».

(Еженедельник «Таймс литерари сапплмент»)

стическая преемственность между творчеством русского и ирландского писателей.

Пьетро Аннигиони выполнил четыре гравюры — по числу частей рассказа — к «Мертвым». Их серьезность и эмоциональная глубина нарастают по мере того, как нарастает внутренний динамизм текста.

Р. Браун считает, что по манере исполнения гравюры Аннигиони восходят к работам Крукшенка и Доре, есть в них, однако, и что-то от легкого рисунка Анри Матисса. В какой-то степени, продолжает Р. Браун, исследователи, видящие в джойсовском тексте лишь изощренную словесную игру, будут удивлены толкованием, предложенным Аннигиони. Всеми гравюрами Аннигиони доказывает, сколь зрительно осязаемы и материально точны образы Джойса.

На снимке: рисунок Федерико Феллини к фильму «Казанова».

ИТАЛИЯ

ИНТЕРВЬЮ О КИНО

Вслед за знакомой уже нашему читателю книгой Федерико Феллини «Делать фильм», опубликованной в журнале «Иностранная литература» (1981, № 9—11), в Италии вышла другая — «Интервью о кино», представляющая как бы продолжение предыдущей работы. Это действительно интервью почти на двухстах книжных страницах, которое Феллини дал видному итальянскому журналисту Джованни Граццини. Граццини, кинокритик миланской газеты «Корьере делла сера», секретарь синдиката кинокритиков Италии, в настоящее время занимающий пост руководителя учебного института — Римского Экспериментального киноцентра, не раз представлял итальянскую прессу на международных московских кинофестивалях, автор многих статей и рецензий о советском кинематографе. Газетные и журнальные рецензии Граццини, собранные по годам, периодически выходят отдельными книгами. Его перу принадлежат также работы: «Ева после Евы. Женщина в итальянском кино» и «Карманный словарь кинозрителя».

Феллини кратко характеризует поставленные им фильмы: от ранних лет до таких этапных произведений, как «Дорога», «Сладкая жизнь», «8½», и последних работ — «Амаркорда», «Репетиции оркестра». «И плывет корабль», делится с Граццини своими планами (например, Феллини хотелось бы экранизировать Дюма — «Трех мушкетеров» или «Графа Монте-Кристо», поставить фильм о большой, сильной любви), он говорит о несбывшихся замыслах — среди них давно задуманный проект фильма «Путешествие Масторны». Феллини выражает свое отношение ко многим проблемам киноискусства, современным режиссерам, фильмам, телевидению. Особое место занимают высказывания о ближайших сотрудниках Феллини — сценаристах-писателях, таких, как Туллио Пинелли, Эннио Флайано, Тонино Гуэрра, а особенно — об умершем друге-композиторе Нино Роте.

Феллини делится с нынешним напряженным положением в мире и в самой Италии. Он гневно осуждает политический терроризм, отвергает всяческие попытки его оправдания. Только в самоотверженной, непрерывной работе художник видит свое спасение от хаоса современной итальянской действительности.

ПОТОМКИ МАННОВСКОГО АШЕНБАХА И ТОНИО КРЕГЕРА

Литературный дебют Винченцо Черами состоялся в 1976 году. Его первый роман «Маленький мещанин», или «Буржуа маленький, маленький», и по сей день стоит в ряду наиболее значительных достижений итальянской прозы последнего десятилетия (на одном из международных кинофестивалей в Москве советские зрители познакомились с талантливой экранизацией этого романа, сделанной Марио Моничелли). За годы, прошедшие со дня публикации «Маленького мещанина», Черами не раз заявлял о себе не только как прозаик, но и как киносценарист.

Последняя его книга носит название «Стеклянный юнец». Если в рецензиях на первый роман отмечались гоголевские традиции в творчестве Черами, то теперь говорят о связи с новеллистикой Томаса Манна. Это преднамеренная перекличка с Томасом Манном: одному из центральных персонажей повести «Смерти в Венеции» дано даже имя манновского героя — Густав Ашенбах. Да и сюжет «Стеклянного юнца» перекликается с сюжетом «Смерти в Венеции». Однако если можно так выразиться, перекличка эта полемическая.

Черами переносит действие из дворцов Венеции в небольшой пансионат «Капинера». Вместо буржуазно-аристократических семей из разных стран Европы здесь среда «мелких буржуа», «маленьких мещан», которую с таким мастерством и беспощадностью воссоздал Черами и в предыдущих своих произведениях. Вместо красавца Тадзио — глупая дурнушка Лючия. И наконец, вместо пользующегося почетом и уважением писателя, который ищет обновления, второй молодости, а находит смерть, у Черами Ашенбах — старый язвенный больной. В отличие от новеллы Манна не он, а на него обращает свои взоры подросток Стефано, и именно Стефано, а не старик Ашенбах идет к своему жизненному финишу — к смерти.

Стефано и Ашенбаха роднит чувство неудовлетворенности окружающим миром, и оба не видят способа преодолеть эту неудовлетворенность. Смерть Стефано — своеобразное спасение: в этом мире ему не избежать трагической участи быть как все, «очень мелким буржуа», «маленьким мещанином».

В своей рецензии на новое произведение Черами, помещенной в «Унита», Оттавио Чекки вспоминает не только «Смерть в Венеции», но и другую новеллу Томаса Манна — «Тонио Крёгер»: «Мучения этого юнца... могла бы хорошо понять умная Лизавета Ивановна, которая, выслушав внимательно своего друга Тонио, выносит приговор: «Вы обыватель на ложном пути, Тонио Крёгер! Заблудший обыватель...»

КИТАЙ

ДРАГОЦЕННОЕ НАСЛЕДИЕ ЦИ БАЙШИ

В этом году в КНР торжественно отмечалось 120-летие со дня рождения Ци Байши, великого китайского художника и каллиграфа. «Я был беден в юности, в детстве работал пастушонком, затем плотником. Я часто отправлялся работать, не имея даже самой скромной пищи. Я был чрезвычайно предан литературе и искусству. Более восьмидесяти лет моей жизни, близящейся к столетию, я занимался ими, результатом чего явились тысячи картин и стихов», — писал о себе художник. Он провел долгие годы в скитаниях по Китаю, но после 57 лет поселился в Пекине. Считается, что к 60 годам Ци Байши достиг неповторимого индивидуального своеобразия и стал уникальным явлением в китайской живо-

писи и мирового изобразительного искусства.

Художник прославился изображением цветов, птиц, насекомых и рыб, а также пейзажами и изображением людей. «Совершенство лежит между сходством и несходством; чрезмерное сходство ведет к пошлости, а несходство — к обману»,— говорил художник.

В 1953 году Ци Байши был удостоен звания народного художника, а в 1956-м стал лауреатом Международной премии Мира.

После провозглашения КНР в 1949 году, несмотря на преклонный возраст, старый мастер работает с большой активностью. Именно в 50-е годы Ци Байши были созданы шедевры каллиграфического и живописного искусства, сформулированы в стихах важнейшие суждения о природе художественного творчества вообще и своем искусстве в частности.

Известный китайский писатель Мао Дунь назвал Ци Байши певцом жизни, имея в виду жизнелюбивое творчество художника. Такой характер оно приобрело под влиянием самой натуры Ци Байши, сущности его взглядов на жизнь, его восприятия света, красок, форм, биения пульса жизни.

Крупнейший поэт современного Китая Ай Цин опубликовал в газете «Гуанмин жибао» свои воспоминания о встречах с художником в Пекине в последние годы жизни великого мастера.

Ай Цин называет глаза Ци Байши «микроскопами». Его точность, верность природе в изображении насекомых, рыб и цветов была недостижимо детальной. Художник удивительно чувствовал форму и обладал феноменальной динамической памятью.

Ци Байши никогда никого не копировал и вообще не любил рисовать то, что до него хорошо рисовали другие.

У Ци Байши было множество учеников. Даже великий артист Мэй Ланьфан просился в ученики, «становясь на колени и отбивая поклоны». Но самым выдающимся учеником стал Ли Кэжань. Его картину с буйволом и мальчиком Ци Байши в 87-летнем возрасте высоко оценил и написал к ней стихи.

Когда художнику было 77 лет, «прорицатель» сказал ему, что у него неблагоприятный год рождения, и он долго не проживет. Чтобы обмануть судьбу, Ци Байши прибавил себе два года, поэтому подписи на его картинах после 1937 года неверны: возраст указан с надбавкой на два года.

В настоящее время искусство Ци Байши признано в КНР классическим драгоценным культурным наследием. Стихи художника также получили признание и были изданы отдельным сборником.

В Советском Союзе о Ци Байши писали неоднократно. В частности, большой раздел посвящен ему и в «Китайских записях» Н. Т. Федоренко, которому довелось много раз встречаться с художником и в чьих записях Ци Байши предстает во всем своем радостном нетускнеющем таланте.

На снимке: одна из работ Ци Байши.

КУБА

ЮБИЛЕЙ ПОЭТЕССЫ

Исполнилось 60 лет кубинской поэтессе Карильде Оливер Лабре. В Матансасе, на ее родине, состоялось чествование, организованное кубинским Союзом писателей и деятелей культуры Кубы.

Карильда Оливер Лабра рано начала печататься, и уже в двадцать три года получила первое поощрение — вторую премию на конкурсе латиноамериканской поэзии в Лондоне. Впоследствии ее книги не раз отмечались различными премиями, но больше всего поэтесса ценит Национальную премию 1950 года, когда в жюри конкурса входил Николас Гильен. В интервью корреспонденту «Гранмы» поэтесса говорила о своем восхищении происходившими на Кубе переменами, о том, какой восторг у нее вызывает успешная кампания культурного преобразования в стране, о глубоком уважении, питаемом ею к Фиделю Кастро, которому она еще до революции, в 1957 году, посвятила свою «Песнь Фиделю». В своем интервью она привела слова Хосе Марти о том, что истинную свободу обретает только образованный человек. Карильда Оливер Лабра также не могла не сказать о своей любви к родному Матансасу, всегда вдохновлявшему ее поэзию.

НОВАЯ КУБИНСКАЯ КОМЕДИЯ

На Международном кинофестивале в Картахене первую премию получил первый художественный фильм Роландо Диаса «Птицы сами летят на ружье». Прежде он снимал документальные фильмы. Новый — комедия, посвященная семейным проблемам, в ней много невероятных событий, юмора и иронии.

В интервью, данном после присуждения премии, Роландо Диас сказал, что у него задумано еще три-четыре фильма о повседневной жизни простых людей, о проблемах, возникающих в семье. Он добавил, что богатая событиями кубинская действительность — неисчерпаемый кладезь сюжетов и художнику не грозит опасность повториться.

МОНГОЛИЯ

СЪЕЗД МОНГОЛЬСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

6—7 июня 1984 года в Улан-Баторе состоялся VII съезд монгольских писателей.

С докладом «Формирование нового человека — строителя социализма и задачи литературы» выступил председатель Правления Союза писателей Д. Цэдэв.

В его докладе, в частности, говорится о том, что литераторы Монголии глубоко сознают возросшую роль художественного слова, его влияние на общественную жизнь и поэтому исполнены чувства гражданской ответственности.

Он отметил, что внимание читателей, критиков и исследователей сегодня привлекают такие романы, как «Первый год республики» Л. Тудэва, «Гнев сердца» Ж. Пурэва, «Земля» Д. Маама, «Мудрая Мандахай» Ш. Нацагдоржа. Усилия монгольских писателей в разработке исторической темы в литературе приобретают особую актуальность в нынешних условиях обострения идеологической борьбы, попыток великоханьских гегемонистов фальсифицировать историю Монголии.

В этом году Монголия достойно отмечает 45-летие со дня победы на Халхин-Голе. Теме войны посвящены романы Ц. Цэдэнжава — «Степные барханы», Н. Банзрагча — «Халхин-Гол», Ж. Лодоя — «Битва», С. Дашдоорова — «Поющие барханы».

Большую пользу писателям в разработке темы современности оказали командировки, организованные Союзом писателей совместно с соответствующими ведомствами в степные районы, сельскохозяйственные

объединения, промышленные предприятия.

По-прежнему стабильно развивается другой жанр прозы — повесть. За последнее пятилетие монгольский читатель получил более 150 повестей на разные темы. В числе лучших в докладе названы повести С. Эрдэнэ «Голубеющие горы вдали» (о жизни основоположника современной монгольской литературы Д. Нацагдоржа), «Горячий камень» Д. Тарвы (о самоотверженном труде рабочих Монголии в годы Великой Отечественной войны), «Приглашение» П. Пурэвсурэна и «Встретимся в Эрдэнэте» С. Надмида (об отношениях старшего и младшего поколений строителей и рабочих флагмана монгольской индустрии города Эрдэнэта).

Д. Цэдэв отмечает определенные успехи и в развитии традиционного и наиболее отточенного прозаического жанра — рассказа, в том числе юмористического. Рассказ Ш. Цэнд-Аюуша «Незнакомый малыш» был удостоен золотой медали на Международном конкурсе юмора в Болгарии (1982). Наряду с опытными сатириками М. Гурсэдом и Ц. Доржготовом в этом жанре активно работают молодые талантливые писатели Ж. Барамсай и Г. Дамба.

Значительное место в докладе Д. Цэдэва отведено поэзии. Среди 150 поэтических сборников, вышедших в последние пять лет, положительную оценку критики получили стихотворные сборники Б. Явуухулана «Любовь к женщине», Д. Пурэвдоржа «Звезда на ладони», С. Дашдоорова «Пестрые холмы родного кочевья», П. Пурэвсурэна «Дар солнца» и др.

Целая плеяда молодых поэтов пришла в литературу в 70-е годы, их творчество принесло струю новаторства, стремление бороться с застывшими, окостенелыми приемами в поэзии.

Как и прежде, монгольские писатели придают большое значение книгам для детей. Вклад в детскую литературу вносят такие писатели, как Д. Содномдорж, У. Баасанжав, М. Чимид.

Большое внимание Союз писателей МНР уделяет развитию литературно-художественной критики. За отчетный период вышло почти 30 книг по литературоведению и около 200 критических статей и рецензий.

Докладчик подчеркнул, что и переводчики художественной литературы с честью выполняют свои обязанности в деле осуществления выдвинутой на XVIII съезде МНРП задачи всестороннего сближения с Советским Союзом и другими братскими странами. Достоянием монгольских читателей стали переводы произведений писателей из 100 стран; 70 процентов переведенных книг принадлежат перу советских авторов. В 1984 году за многолетнюю плодотворную работу по переводу советской литературы на монгольский язык С. Бадра был удостоен премии Союза писателей СССР. Д. Цэдэв отмечает также плодотворную переводческую работу Ц. Хасбатара, Г. Амара, Г. Акима, П. Чойжила, Т. Содномдаржи, М. Цэдэндоржа.

Актуальные вопросы развития современной монгольской литературы были затронуты и в выступлениях писателей на съезде: С. Удвал, Л. Тудэва, Ц. Дамдинсурэна, Д. Пурэвдоржа, С. Эрдэнэ.

Коллектив столичного Театра юного зрителя имени Монгольского ревсомола преподнес зрителям подарок. Здесь состоялась премьера спектакля «Последнее прощание» по пьесе драматурга Ч. Нацагдоржа. В новом спектакле показана жизнь обычной монгольской семьи наших дней. На примере взаимоотношений родителей и детей этой семьи авторы постановки затрагивают проблемы воспитания молодежи. С едким сарказмом в спектакле высмеивается, в частности, мещанский образ жизни.

Режиссер постановки — Л. Лхасурэн. Главную роль исполняет лауреат Государственной премии МНР артист Ц. Тумурбатар.

На снимке: сцена из спектакля.

(Газета «Утга зохиол урлаг»)

ПОЛЬША

МУЗЕЙ МАРИИ ДОМБРОВСКОЙ

«Я живу в Варшаве уже тридцать четыре года, в одном и том же доме, на той же самой улице. Большую часть жизни я прожила здесь, и здесь было создано большинство моих произведений. Жить так долго на одном месте, когда другие люди сменили за это время десятки квартир, городов, казалось бы, скучно и однообразно. Однако, если бы я написала книгу только об одном доме, в ней бы отразилась героическая история города, история Польши, история его обитателей, их непростых судеб...»

Так писала Мария Домбровская в 1951 году.

В доме на Польной улице была создана тетралогия «Ночи и дни», выдающееся произведение критического реализма XX века. В 1954 году Домбровская покинула этот дом с его прекрасными лепными потолками и старинными печными изразцами — он ветшал, приходил в упадок, и его должны были снести. И вот тогда почитатели творчества Домбровской стали бороться за сохранение дома и открытие в нем музея выдающейся писательницы. Инициативу открытия музея поддержал Варшавский литературный музей, обладающий ценными материалами об авторе произведений, которые стали польской классикой.

Весной этого года музей был открыт.

Комната, где работала Мария Домбровская, обставлена мебелью, которая была здесь при жизни писательницы: книжные полки, письменный стол с пишущей машинкой, в которую заложена страничка с автобиографией, напечатанной Домбровской собственноручно.

В музее собраны документы и фотографии, связанные с жизнью и творчеством Марии Домбровской, многочисленные издания ее произведений, вышедшие в Польше и за рубежом, книги ее коллег с их автографами, ее любимые книги.

Большой интерес представляет дневник матери писательницы и дневник ее дяди, которые в какой-то мере послужили толчком к написанию тетралогии «Ночи и дни».

Мало кто знает, пишет корреспондент «Трибуны люду», что Мария Домбровская занималась живописью. В каждую поездку она брала с собой альбом, в котором рисовала все, что привлека-

На снимке: Ежи Биньчицкий в главной роли в фильме «Знахарь».

(Еженедельник «Пшеглёнд тыгоднёвы»)

ло ее внимание. Теперь эти рисунки украшают стены музея.

ТЕАТР ИЛИ КИНО?

Еженедельник «Пшеглёнд тыгоднёвы» взял интервью у известного актера театра и кино Ежи Биньчицкого, знакомого советскому зрителю по многосерийному фильму «Ночи и дни», в основу которого легла тетралогия Марии Домбровской, и по фильму «Знахарь».

На вопрос корреспондента о том, что для него важнее: кино или театр, Ежи Биньчицкий ответил, что театр гораздо значительнее кино. Он позволяет актеру создать более глубокий, объемный образ, в театре актер находится в непосредственном контакте со зрителями, которые в какой-то мере являются сотворцами спектакля. Кинокамера не может запечатлеть всю гамму мимики и жестов, многообразие актерских интонаций, и поэтому создаваемый образ теряет свою многозначность. Особенно это заметно в экранизации литературных произведений. Даже в самой лучшей из них, какой является «Ночи и дни» Ежи Антчака, пришлось отказаться от многого, из-за чего характеры получились менее глубокими и объемными, чем в эпопее Марии Домбровской.

На вопрос о том, что является залогом успеха: владение актером своей профессией или хорошо подобранная роль, Биньчицкий ответил, что работа актера в кино совсем иная, чем работа в театре. В кино огромную роль играет техника, зачастую там важнее всего хороший ракурс, а не творческие возможности актера, в театре актер весь в действии, а перед камерой он пассивен, вот почему в кино зачастую используют людей совершенно случайных и обходят действительно хороших актеров. Так что, несмотря на огромную популярность, которую создает фильм, для большинства настоящих актеров театр является более благородным поприщем служения искусству.

ПОРТУГАЛИЯ

ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ В ВИЛА-ВИСОЗЕ

В небольшом городке провинции Алентежу впервые состоялись Поэтические встречи. Со всей страны съехались поэты в Вила-Висозу, на родину трех крупных португальских поэтов: Жозе Дуру, Флорбелы Эспанки и Мануэла де Фонсеки.

Критик Васко Риобом отметил, что всем троим, несмотря на разный подход к вопросам духовной жизни человека, присуще полное неприятие буржуазных ценностей мира, где правят деньги.

На форуме было сделано около пятидесяти докладов, обсуждались проблемы современной португальской поэзии, в частности поэзии для детей, положение поэта в обществе. Говорилось также о португалоязычной поэзии в Африке и Латинской Америке, преподавании литературы в школах, затрагивались вопросы, связанные с изданием поэтических книг.

Как сообщает португальская газета «Диарио», была утверждена премия имени Флорбелы Эспанки, которую компетентное жюри присудило Жозе Жоржи Летрии, выбрав его произведение «Разгадка синевы» среди ста сорока стихотворений, представленных на конкурс.

РУМЫНИЯ

«ЛИРИКА М. Ю. ЛЕРМОНТОВА»

Книга Ливии Которчи «Лирика М. Ю. Лермонтова», вышедшая в этом году в издательстве «Жунимя», пополняет число работ, в которых прослеживается, как отмечает румынская критика, важная и плодотворная для литературной истории и критики тенденция — склонность исследователей к анализу теоретических проблем, охватывающих поэтику и стилистику, философию и теорию языка. Эта склонность у Ливии Которчи позволила ей, как пишет в еженедельнике «Ромыния литераръ» специалист по русской литературе Е. Логиновская, «предложить свое, современное прочтение творчества одного из самых известных в Румынии русских поэтов, в произведениях которого читатели, переводчики, исследователи открывают все новые и новые грани».

Автор книги охватывает почти все темы лирики поэта, дает обширный анализ поэтического синтаксиса, рассматривает лирические жанры, систему образов. Выявляя основные направления поэтических поисков Лермонтова, Л. Которча определяет ряд сфер, в которых с особой силой реализуется лирическое «я» поэта, организация его поэтической речи. Наиболее удачна в этом смысле, как подчеркивает Е. Логиновская, глава, посвященная патриотической лирике. Большое внимание уделяется в книге музыкальности лермонтовского стиха, значению его звуковой стороны, мелодики, что, по мнению рецензента, позволяет Л. Которче дать тонкий и убедительный анализ стихотворных текстов. Рассматривая как поэтические, так и прозаические и драматические произведения Лермонтова, Л. Которча, как отмечается, глубоко раскрывает сложный мир русского поэта.

НОВОЕ О И. Л. КАРАДЖАЛЕ

На сценах театров страны с успехом идет пьеса «Твой Караджале» — о классике румынской литературы Йоне Луке Караджале (1852—1912). Впервые постановка была осуществлена в Национальном театре г. Крайовы режиссером М. Корништяну, который и является автором пьесы. Основой для нее послужила главным образом переписка Караджале, а также некоторые моменты биографии писателя, отрывки из его статей, рассказов, пьес.

В рецензиях, опубликованных в газете «Скынтейя», еженедельнике «Ромыния литераръ», отмечается, что М. Корништяну удалось

На снимке: сцена из спектакля «Твой Караджале» в театре г. Пятра-Нямц.

(Еженедельник «Ромыния литерарэ»)

«смонтировать» сложный разнородный материал в «цельный драматический текст». Пьеса, как явствует из этих рецензий, не только раскрывает новые грани личности самого Караджале, но и отражает социальные условия, в которых складывался его художественный мир, общественно-политическую ситуацию в Румынии конца XIX — начала XX века, породившую караджалевских героев (известных и советским зрителям по постановкам московских театров), чьи имена стали нарицательными, как воплощение политиканства, лживости, фразерства.

М. Корништяну, как подчеркивается в прессе, используя материалы, связанные с жизнью и творчеством Караджале, сохранил дух его произведений и сумел передать современный писателю мир таким, каким тот видел его сам. В пьесе действуют многие современники Караджале, известные политические деятели, писатели.

Как отмечалось в прессе, спектакль «Твой Караджале», тепло принимаемый зрителями, прочно входит в репертуар румынских театров, занимая место рядом с пьесами самого писателя.

США

КОЕ-ЧТО О ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ ЖЕНЫ СЕНАТОРА

«Одной из самых смешных книг нынешнего года» назвал рецензент журнала «Тайм» роман «Демократия» (издательство «Саймон энд Шустер»), принадлежащий перу Джоан Дидион (см. «ИЛ», 1977, № 10; 1980, № 5).

Главная героиня романа — Инес-Кристиан Виктор, дочь преуспевающего бизнесмена, главы солидного «торгового дома», обосновавшегося на Гавайских островах, и жена энергичного сенатора-демократа, мечтающего занять президентское кресло. В основе сюжетных линий романа, отмечает рецензент, лежат, причудливо перемешавшись, факты из личной жизни Жаклин Кеннеди и Нэнси Рейган, поданные в откровенно сатирическом виде. Когда Инес была еще семнадцатилетней девчонкой, она страстно полюбила Джека Ловетта, который потом исчез на какое-то время из ее жизни. А когда они встретились вновь, Инес была уже замужем за влиятельным сенатором Виктором, а сам Джек Ловетт стал «тайным агентом ЦРУ», имеющим «особые интересы» где-то в Юго-Восточной Азии. Как жена сенатора Инес вынуждена много времени посвящать светским обязанностям — давать бесконечные интервью, выступать в телевизионных шоу. ...Не имея возможности встречаться на американской земле, Инес и Джек назначают свидания в аэропортах разных стран мира.

Эта «история любви», о которой Дидион рассказывает с нескрываемой иронией, заканчивается в 1975 году в осажденном Сайгоне, накануне вывода американских войск из Южного Вьетнама.

По словам известной писательницы Мэри Маккарти, чью рецензию поместил еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью», этот «американский роман», как гласит его подзаголовок, имеет мало общего со своим тезкой — романом Генри Адамса «Демократия» (1880), где разоблачались грязные аферы коррумпированного правительства президента У. Гранта. Впрочем, как и в романе Г. Адамса, продолжает

М. Маккарти, слово «демократия» в романе Дж. Дидион имеет глубоко иронический смысл. Правда, Дидион показывает, что теперь, в отличие от событий столетней давности, когда идеалы американской демократии попирались отдельными нечистыми на руку политиками, самая политическая система Америки — «демократия» — подточена в своей основе червем коррупции и беззаконных политических, финансовых и прочих махинаций в духе Уотергейта. «Демократия» Дидион — не политический роман. Но, заостряя внимание на закулисной, бытовой «механике» политической жизни Америки, писательница проливает свет на то, как работает сегодня «американская демократия».

«ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ»

Так называется одиннадцатый роман Джона Апдайка, вышедший в нью-йоркском издательстве «Кнопф». Время действия новой книги — конец 60-х годов. Место действия — небольшой приморский городок Иствик в штате Род-Айленд.

Три подруги, устав вконец от однообразной скуки семейной жизни, уходят от своих мужей и начинают жить в свое удовольствие, впервые получив возможность делать все что хочется и ни от кого не зависеть. Александра Споффорд осуществляет свою давнишнюю мечту — становится скульптором-миниатюристом и целыми днями лепит из глины забавные фигурки. В Джейн Смарт просыпается музыкальный талант, и она проводит долгие летние дни за пюпитром, играя на виолончели. А Сьюки Ружмонт, которая всегда находится в курсе всех событий в Иствике, ведет в местной газете колонку «светских новостей». Каждую неделю по средам они собираются вместе — обсудить свои текущие дела да перемыть косточки соседям. Эти их «среды», по наблюдению рецензента журнала «Тайм», Апдайк изображает в шутливо-мистическом ключе — как шабаш ведьм. В трех женщинах и вправду появляется что-то от ведьм из шекспировского «Макбета», когда они начинают замышлять злые козни против опостылевших им иствикских обывателей. Они даже способны вызывать всякую нечисть и управлять стихиями. Однажды, например, когда Александра захотела выгулять свою собаку на городском пляже, она устроила маленький ураган, чтобы прогнать с глаз долой загорающих ротозеев.

Так бы и продолжалась эта беззаботная идиллия «иствикских ведьм». Но вот в одном заброшенном доме поселился некий Дэррил ван Хорн, о котором по городку сразу поползли таинственные слухи. Говорили, что он установил в саду ог-

ромную лохань с кипящей водой, где умывался каждое утро... Заинтересовавшись загадочным незнакомцем, «иствикские ведьмы» расценили его проделки как смелый бунт против иствикских обывателей. И скоро «ведьмы» составили компанию Дэррилу в его сатанинских оргиях.

Постепенно читатель начинает понимать, отмечает рецензент, что «Иствикские ведьмы» — это карикатура-аллегория того аморального безумия, которое охватило Америку в «бурные шестидесятые». И еще — пародия на воинствующий феминизм той поры. В конце концов в романе торжествует старый добрый идеал буржуазной семейной жизни: Дэррил, предав своих подруг, женится и обретает счастье в тихой гавани.

Подобный финал имеет особый смысл «в нынешнем идеологическом климате», пишет рецензент, имея в виду усиление неоконсервативных тенденций в общественной и идейной жизни США 80-х годов, которым отдал дань Апдайк в своей новой книге.

ТУНИС

«ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО»

Журнал «Кисас» опубликовал рецензию на новый роман молодого прозаика Абдель-Кадера Бельхаджа Насра «Его Величество».

В романе рассказывается о сложных взаимоотношениях между тремя молодыми людьми и двумя девушками, которых объединяет работа в системе «Его Величества» — радио Туниса.

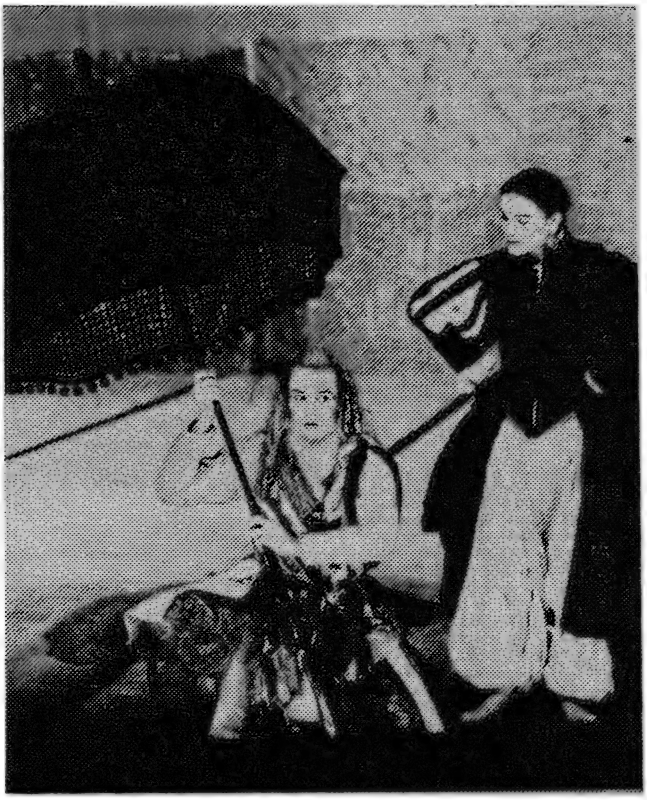
Главный герой романа, Ганем, долгое время мечтал работать на радио, но когда его мечта сбылась, он почувствовал, что эта работа «убивает таланты и препятствует благородным устремлениям»; что сам он становится жертвой несправедливости и притеснений. В этой удушливой атмосфере Ганем чувствует себя очень одиноким. Мрачное настроение юноши не может рассеять даже полюбившая его очаровательная Сальсабиль, коллега по работе.

По мнению рецензента, ценность романа не только в тонком анализе чувств героев и занимательности сюжета, но и в острой социальной проблематике, которую он затрагивает.

ФРАНЦИЯ

ШЕКСПИР НА СЦЕНЕ «ТЕАТР ДЮ СОЛЕЙ»

Шекспир давно интересовал Ариану Мнушкину, создателя и руководителя парижского театрального коллектива «Театр дю солей» (театр солнца). Известный итальянский театральный деятель Паоло Грасси, называвший А. Мнушкину «Жанной д'Арк сегодняшнего европейского театра», писал в своей книге «Мой театр»: «Незабываем ее шекспировский «Сон в летнюю ночь», где было поразительно использовано сценическое пространство».



На снимке: сцена из спектакля «Двенадцатая ночь».

(Журнал «Театер хойте»)

В 1968 году ею была поставлена «Двенадцатая ночь». Недавно на Мюнхенском театральном фестивале этот спектакль был показан вновь. Пустая сцена, оформленная в восточном стиле, звучит восточная музыка. Минимум декораций, реквизита: большой зонт — пожалуй, единственная деталь, символизирующая дом, своеобразное убежище для влюбленных. По мнению А. Мнушкиной, любовная игра в Иллирии только кажется идиллической, на самом деле она достаточно беспощадна... Появляются актеры в гриме японских самураев, масках театра кабуки. В шутовские сцены введены элементы комедии дель арте и клоунских антре, каждый жест строго продуман и ритуализирован.

В 1982 году «Ричард II» в постановке А. Мнушкиной получил «Гран при» критики. Цель спектакля, по словам обозревателя журнала «Театер хойте», «сделать доступными современному зрителю страсти людей Возрождения средствами ритуального театра Востока. Это помогает воссоздать атмосферу феодального общества, церемониал дуэлей и битв».

В первые месяцы 1984 года парижане увидели первую часть «Генриха IV» в переводе и постановке Арианы Мнушкиной. Спектакль длился пять часов с одним антрактом. Задача режиссера — «показать еще один остров из шекспировского космоса, перекинуть мостки между европейским и восточным театром». Интересен был актер Жорж Биго, исполнявший в «Двенадцатой ночи» герцога Орсино, а в «Генрихе IV» — принца Генриха. Шекспир, по словам А. Мнушкиной, «это Гималаи, которые я хотела бы покорить».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

РУССКАЯ КЛАССИКА НА СЦЕНАХ ТЕАТРОВ ЧЕХОСЛОВАКИИ

В Чехословакии никогда не уменьшается интерес к русской театральной классике. Особой популярностью пользуются пьесы А. П. Чехова. В нынешнем театральном се-

зоне они идут в нескольких театрах страны.

«Пьеса без названия» («Платонов») поставлена в Государственном театре Ф. К. Шальды в городе Либерце. «Дядя Ваня» идет в Театре им. Словацкого национального восстания в Мартине — одном из ведущих театров Словакии.

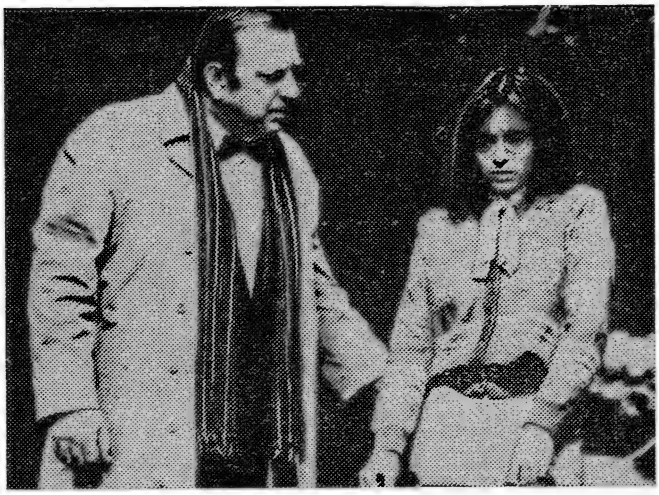
На экспериментальной сцене Латерна магика Национального театра в Праге осуществили постановку по рассказу Чехова «Черный монах». Автор инсценировки — Иржи Фрид, режиссер — Эвальд Шорм. «Создателям спектакля удалось... показать нам еще незнакомого Чехова... «Черный монах» стал очередным шагом в поисках новых творческих путей Латерны магики»,— пишет журнал «Филм а дивадло».

Поэтический ансамбль театра Новая сцена в Братиславе осуществил постановку пушкинских «Маленьких трагедий». Перевод принадлежит перу известного словацкого поэта Милана Руфуса. Режиссер постановки — Марта Гогалова. В спектакле заняты в основном молодые актеры. В рецензии на спектакль, помещенной в десятом номере журнала «Филм а дивадло», Милан Поляк пишет: «Счастье для актера — играть настоящего трагического героя, счастье для зрителя — смотреть настоящую трагедию, почувствовать ее, внутренне слиться с нею и найти к ней свое собственное отношение». Рецензент отмечает интересное, насыщенное театрализованностью режиссерское воплощение и особенно искреннюю и свежую игру молодых актеров.

Театр в словацком городе Зволоне носит имя выдающегося писателя Йозефа Грегор-Тайовского. В последние годы там поставлено несколько новых интересных спектаклей. Среди них и русская драматургическая классика — «Волки и овцы» А. Н. Островского в переводе Яна Ференчика, режиссер — Ольга Матуш. В спектакле много ценных творческих находок, он открыл новые грани в даровании актеров театра.

Другой словацкий театр имени известного писателя и историка Йонаша Заборского в городе Прешове обратился к пьесе А. Н. Островского «Таланты и поклонники». Перевод Яноша Ференчика. Режиссер спектакля — Ян Симканич.

Наряду с интересом к русскому классическому театральному наследию в Чехословакии огромен интерес к современной советской драматургии. С большим успехом идет «Старший сын» Александра Вампилова на сцене уже упоминавшегося Театра им. Словацкого национального восстания. Отличный перевод пьесы, сделанный Владимиром Стрниско, был одной из причин успеха спектакля. Режиссеру Вильяму Гряделю и актерам как старшего, так и младшего поколения удалось донести до зрителя неповторимый вампиловский юмор, передать всю человечность, ранимость и нежность его героев.



На снимке: сцена из спектакля «Старший сын» по одноименной пьесе А. Вампилова в Театре им. Словацкого национального восстания (г. Мартин).

(Журнал «Филм а дивадло»)

НОВАЯ КНИГА О ЛАЦО НОВОМЕСКОМ

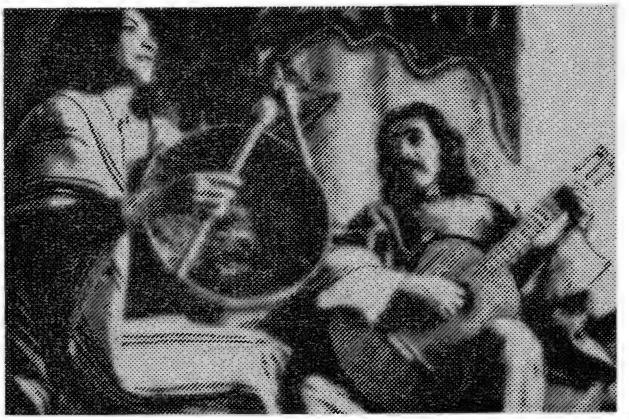
Личность замечательного словацкого поэта, публициста и общественного деятеля Лацо Новомеского давно привлекала внимание исследователей. Уже в 1946 году появилась первая книга, посвященная его творчеству. Многие историки и литературоведы в своих работах, исследуя поэзию и публицистическую деятельность Лацо Новомеского, пытались с помощью его творчества осветить ход современной словацкой истории, закономерность развития словацкой социалистической литературы, ее место в мировой литературе.

Сейчас исследования о Лацо Новомеском обогатились еще одной работой. Это книга Штефана Друга «Добрый день, человек». Автор хорошо знал Лацо Новомеского, он был его коллегой по Институту литературоведения Словацкой Академии наук. Штефан Друг исследовал все архивные материалы и различные документы о политической и журналистской деятельности Лацо Новомеского, изучил его необычайно богатую корреспонденцию, встречался с родственниками и соратниками поэта.

Первоначальным намерением автора было написать книгу для молодежи. Обращаясь к молодому читателю, Штефан Друг хотел в живой и интересной форме познакомить их с Лацо Новомеским, замечательной личностью отечественной литературы и истории. Поэтому он дал своей книге подзаголовок: «Биографический рассказ о молодости Лацо Новомеского». Таким образом автор достаточно четко определяет жанровое направление и жанровые особенности своей книги «Однако,— пишет рецензент Милош Томчик в журнале «Словенски погляды»,— книга получилась в равной мере интересной и для молодого, и для взрослого читателя. Избранная Штефаном Другом форма рассказа позволила ему приблизить своего героя к нашему современнику, показать ему ту борьбу, которая велась в 20 — 30-е годы за революционную ориентацию чешской и словацкой литературы, изобразить молодую революционную интеллигенцию, ее отношение к коммунистической партии, к советской литературе, ввести читателя-современника в атмосферу грозных дней фашистской опасности, показать борьбу передовых революционных групп против этой опасности».

Далее Милош Томчик пишет о прекрасном художественном оформлении книги. «Ладислав Ванчо очень умело использовал сохранившиеся иллюстрации, карикатуры, фотографии, которые публиковались в журналах в период между двумя войнами... К ним он присоединил целый ряд репродукций, обложек и титульных страниц из поэтических сборников Лацо Новомеского».

ЧИЛИ
ПАТРИОТИЧЕСКИЕ СИЛЫ



«Чили в памяти и в сердце»,— так писала газета «Юманите» о выступлении чилийских прогрессивных деятелей в Культурном центре им. Помпиду, где были заслушаны лекции о трагически погибшем президенте Альенде, о великом чилийском поэте Пабло Неруде, 80-летие которого отмечалось в этом году. С интересом было встречено выступление чилийских актеров Изабель и Анхеля Пара (на фото).

(Газета «Юманите»)

ШВЕЙЦАРИЯ

«НЕ ТАКАЯ УЖ ХОРОШАЯ СТРАНА»

Так назвал свой новый роман швейцарский писатель Сильвио Блаттер. Блаттер обратил на себя внимание несколько лет назад романом «А тоска все сильней...» (Рецензию см. в «ИЛ», 1984, № 10), где много размышлялось о том, что значит для человека привязанность к родным местам, к родной природе.

В новой книге он как бы продолжает ту же тему. Место действия прежнее — небольшой городок Фрайамт в кантоне Ааргау. Знакомы читателю и многие персонажи. Но достаточно сравнить заглавия, чтобы понять, как изменилось мироощущение автора.

В романе не выделено какой-либо центральной сюжетной линии, ни одного из персонажей не назовешь главным, отмечает в газете «Франкфуртер альгемайне» критик Йозеф Квак. Книга разделена на пять глав, каждая названа по одной из картин знаменитого цикла Брейгеля «Времена года». Подробно, день за днем, автор прослеживает жизнь десятка с небольшим людей в течение одного года. И оказывается, что не многие чувствуют себя хорошо в этом городке, среди прекрасной природы.

Лишается своего участка крестьянин, обманутый земельными спекулянтами. Он вынужден уехать в Канаду. Вместе с ним покидает родные места его брат, священник, которому не стало житья в родных местах, после того как здесь узнали о его любви. Жена фабриканта, погибшего в автомобильной катастрофе, оставляет городок, надеясь начать новую жизнь в Цюрихе. Одна из самых колоритных фигур романа — старый торговец лошадьми — бежит из дома для престарелых, мечтая попасть за океан.

Что же случилось с «любовью к родным местам?» Об этом в романе рассуждает художник Пабло. Для него важней всего «вечный», «неизменный» уклад сельской провинциальной жизни. Но местный учитель, работающий над исследованием о фашистских тенденциях в довоенной Швейцарии, видит, как изменяется, в зависимости от исторических условий, сам характер патриотизма.

Автор избегает лишь «черно-белых красок», отмечает рецензент. Он прежде всего фиксирует симптомы очевидного неблагополучия, но каких-либо выводов не предлагает. Роман, как пишет Блаттер, должен «регистрировать состояния». С этой задачей автор справился, считает рецензент. Книга фиксирует «характерные настроения в характерной для Швейцарии среде».

◆

Авторы этого номера

ЭНЦО РУССО — ENZO RUSSO (род. в 1946 г.)

Итальянский писатель. Выпустил серию детективных и приключенческих повестей для подростков, объединенных общей героиней — школьницей. В 1974 г. опубликовал роман «Досье Америка-2» («Dossier America-2») в жанре политической фантастики, в 1976 г.— роман «Дело Монтекристо» («Caso Montecristo»), принесший ему признание как мастера «детектива по-итальянски».

Роман Энцо Руссо «Логово горностаев» вышел в Милане в 1977 г. («La tana degliermellini», Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1977).

БОГЕМСКАЯ АГЛАЯ СЕРГЕЕВНА

Советский переводчик с итальянского. В числе ее переводов — роман Ренаты Вигано «Товарищ Аньезе» (1951), сборник статей и рецензий «Федерико Феллини» (1968), сценарий Ф. Феллини «Репетиция оркестра» (1983), книга Ч. Дзаваттини «Слова через край» (1983).

ВЕРШИНИН ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1926 г.)

Советский переводчик с итальянского. В его переводе публиковались романы Альберто Моравиа «Равнодушные», Итало Кальвино «Барон на дереве», Леонарда Шаши «Каждому свое», Карло Монтелло «Пожар в земельной управе», пьесы Эдуардо де Филиппо. В «Иностранной литературе» напечатаны повести Л. Малербы «Сальто-мортале» (1976, № 5), К. Бернари «Горькая любовь» (1979, № 4), роман Н. Сальваладжо «Затопленная площадь» (1980, № 12). Переводческая деятельность Л. Вершинина была отмечена в Италии премией «Моранцано д'Арженто».

РОБЕРТ БЛАЙ — ROBERT BLY (род. в 1926 г.)

Американский поэт. Окончил Гарвардский университет. Автор десяти сборников стихов: «Молчание снежных полей» («Silence in the Snowy Fields», 1962), «Фигура в потоке света» («The Light Around the Body», 1967), «Во сне мы тянемся друг к другу руками» («Sleepers Joining Hands», 1973), «Это дерево будет расти здесь и через тысячу лет» («This Tree Will Be Here for a Thousand Years», 1978) и др.

Предлагаемые стихи взяты из книги Р. Блая «Человек в черном пальто оглядывается» («The Man in the Black Coat Turns». The Dial Press, 1981).

Статья «В поисках американской музы» («In Seach of American Muse») взята из еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью» от 22 января 1984 г.

ДУДИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1916 г.)

Советский поэт, лауреат Государственных премий СССР и РСФСР, Герой Социалистического Труда. Автор многих книг стихов, среди них: «Переправа» (1943), «Дорога гвардии» (1944), «Мосты. Стихи из Европы» (1958), «Время» (1974), «Дерево для аиста» (1980), «Окно» (1981), «Три круга» (1984) и другие. Перу М. Дудина принадлежат также книги: переводов «Все вместе» (1980) и публицистических заметок о литературе и искусстве (1984). В 1976 г. вышло собрание сочинений в трех томах.

РАШИД БУДЖЕДРА — RACHID BOUDJEDRA (род. в 1941 г.)

Алжирский писатель. Автор нескольких поэтических сборников, романов «Отвержение» («La répudiation», 1969), «Солнечный удар» («L'insolation», 1972), «1001 год ностальгии» («1001 années de nostalgie», 1979), «Обладатель кубка» («Le vainqueur de coupe», 1981), «Ломка» («Le démantèlement», 1982), повести «Упрямая улитка («L'escargot entêté», 1977), многих сценариев (лауреат премий Канского и др. фестивалей). Подробнее о его творчестве см. в разделе «Критика» статью С. Прожогиной «Пока не сбудутся мечты...», стр. 180.

В этом номере в журнальном варианте печатается роман Рашида Буджедры «Идеальное место для убийства» («Topographie idéale pour une agression caractérisée», Paris, Denoël Editions, 1975). Полностью роман будет опубликован издательством «Радуга».

ВОЛЕВИЧ ИРИНА ЯКОВЛЕВНА

Советская переводчица с французского. В ее переводе публиковались романы Пьера Салá «Тристан», Жана Жубера «Красные сабо», пьесы Жана Жироду «Амфитрион 38», «Электра», рассказы А. Моруа, А. Вюрмсера, А. Корнелюса, педагогические трактаты Ж.-Ж. Руссо и др. произведения.

ХАНС ЛИДМАН — HANS LIDMAN (1910 — 1976)

Шведский писатель, автор романов, повестей, книг о природе. В русском переводе издана книга «В лесах бескрайних» (1966). «Иностранная литература» напечатала рассказы из сборника «Звезда Лапландии» (1975, № 10), в 1976 г. сборник вышел отдельным изданием.
Публикуемые рассказы взяты из книги «Полярная ночь» («Polarnatt. Oslo, Gyldendal, 1978).

У ЦЗАО (У ПИНСЯН)

Известная китайская поэтесса XIX века, автор сборников лирических стихотворений в жанре цы: «Цветы за шторой», «Обитель, что к северу от ароматных гор и к югу от гор под снегом», откуда взяты предлагаемые стихи.
Переводы ее стихотворений на русский язык публикуются впервые.

БАСМАНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ (род. в 1918 г.)

Советский поэт-переводчик. В его переводах с китайского вышли книги: Синь Цицзи «Стихи» (1962), Ли Цинчжао «Строфы из граненой яшмы» (1970 и 1974), «Цветет мэйхуа. Классическая поэзия Китая в жанре цы» (1979).
Переводы М. Басманова и его статьи о китайской поэзии неоднократно печатались в антологиях китайской поэзии, на страницах «Иностранной литературы» и других журналов.

БАЛАШОВА ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА

Советский литературный критик, доктор филологических наук. Автор книг «Творчество Арагона» (1964), «Французский роман 60-х годов» (1965), «Активность реализма. Литературно-критические дискуссии на Западе» (1982) и ряда статей в периодической печати, в том числе в «Иностранной литературе».

ПРОЖОГИНА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА

Советский литературовед, доктор филологических наук. Автор книг «Литература Марокко и Туниса» (1968), «Франкоязычные литературы стран Магриба (Алжир, Марокко, Тунис)» (1973), «Магриб: франкоязычные писатели 60—70-х годов» (1980) и ряда работ по истории и теории литератур стран Северной Африки.

В подборке «К 40-летию Освобождения Белграда» публикуются статьи югославских писателей и деятелей культуры:

САША БОЖОВИЧ

Участница народно-освободительной борьбы с 1941 г., врач по профессии. Автор книги воспоминаний «Тебе, моя Долорес», откуда взята публикуемая глава «Мой Белград» («Tebi moja Dolores», Белград, 1979).

ВЕЛИБОР ГЛИГОРИЧ (1899—1977)

Литературовед, критик, публицист, член Сербской Академии наук и искусств (в годы 1965—1971 — президент). В 1941—1945 гг.— узник концентрационных лагерей: сначала в Сербии, затем с 1943 г. в Германии, о чем рассказал в книге воспоминаний «Обитель смерти» («Kyha смрти», 1952). Автор многих книг по истории национальной литературы и театра.
Публикуемый очерк взят из сборника «Книга и жизнь» («Книга и живот». Белград, 1976).

РАДОНЯ ВЕШОВИЧ (род. в 1924 г.)

Поэт, прозаик, публицист, член Черногорской Академии наук и искусств, лауреат нескольких литературных премий. Участник Народно-освободительной борьбы с 1941 г. Автор многих поэтических сборников. В русском переводе вышла его книга воспоминаний «Колонна и горизонты» (1976).
Глава «Битва за Белград» взята из второго, дополненного издания этой книги («Колона и видици», Белград, 1981).

ИВО АНДРИЧ (1892—1975)

Прозаик, общественный деятель и дипломат. Академик, Герой Социалистического Труда СФРЮ, лауреат премии Антифашистского веча Народного освобождения Югославии и Нобелевской премии по литературе. Произведения И. Андрича — романы «Мост на Дрине», «Травницкая хроника», «Барышня», его повести и рассказы — неоднократно издавались в Советском Союзе.
Очерки «Тот день» и «Дедушкин дневник» публикуются по текстам белградской газеты «Политика» (1946, январь, октябрь).

ПЕТЕР ВАЙС — PETER WEISS (1916 — 1982)

Немецкий писатель и драматург. Эмигрировал из фашистской Германии в 1934 г. С 1945 г.— гражданин Швеции. Приобрел широкую известность после появления пьес «Преследование и убийство Жан-Поля Марата...» («Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats...», 1964) и «Дознание» («ИЛ», 1966, № 5), построенной на документальном материале процесса над палачами Освенцима. В «Иностранной литературе» напечатана

также его пьеса «О том, как господин Мокинпотт от своих злосчастий избавился» (1968, № 12). Перу П. Вайса принадлежит пьеса «Диспут» («Discurs...», 1967) об американской агрессии во Вьетнаме, роман «Эстетика Сопротивления» («Die Ästhetik des Widerstands», 1975) и др. произведения. Очерк «Место, которое мне было уготовано» перепечатывается из книги П. Вайса «Статьи, очерки, дневники, рабочие заметки» («Aufsätze Journale Arbeitspunkte». Berlin, Henschelverlag, 1979).

ГЮНТЕР ВАЛЬРАФ — GÜNTER WALLRAFF (род. в 1942 г.)

Немецкий журналист и писатель (ФРГ); работает в документальном жанре. Первая его книга очерков «Ты нам нужен. О фабриках и заводах Западной Германии» («Wir brauchen dich») вышла в 1966 г. С тех пор он опубликовал несколько книг, пьес, большое количество репортажей.

«Иностранная литература» напечатала его очерки «Во власти Молоха» (1972, № 11), «Гюнтер Вальраф contra Шпрингер и Крупп» (1973, № 5), «Португалия: как был раскрыт заговор» (1976, № 10—11).

В этом номере журнал публикует материалы, являющиеся окончанием цикла работ Г. Вальрафа (см. «ИЛ» 1981, № 6, 10, 11), посвященных газете «Бильд», где он сам работал, и деятельности крупнейшего газетно-журнального концерна ФРГ Акселя Шпрингера (« Das BILD-Handbuch bis zum Bildausfall». Konkret Literatur Verlag, 1981).

◆

Поправка. На 4-й странице обложки журнала № 9 допущена опечатка. В объявлении о подписке на газету «Известия» 4-ю строку сверху следует читать: «Оформление подписки будет проводиться по 31 октября».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Г. П. ЗЛОБИН, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Е. Н. Черняев.** Техниче[illegible] [illegible]дактор **[illegible] П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., д. 41, [illegible]лефо[illegible] [illegible]-47.

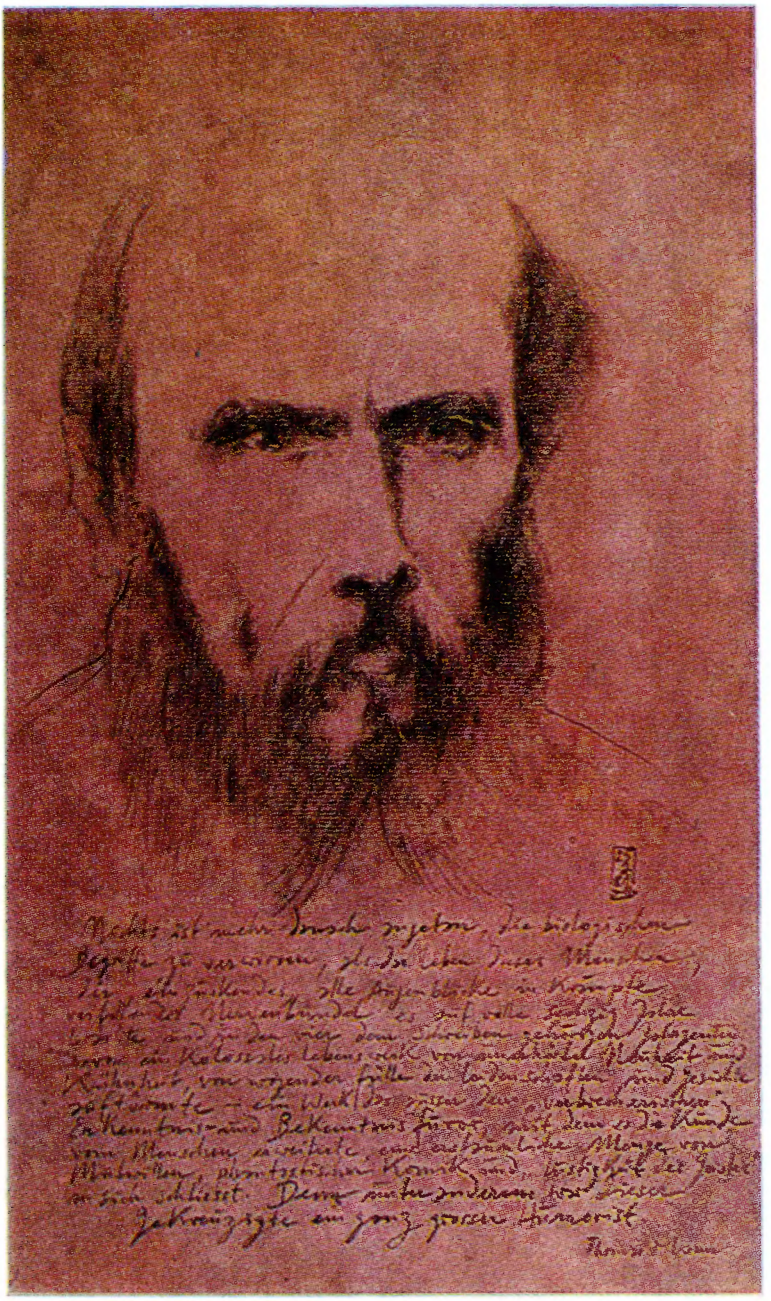
Издательство «Известия Советов народны[illegible] [illegible]атов СС[illegible]
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 27. 07. 84. Подписано в печать 11.09.84. А [illegible]. Фо[illegible] 70×108 1/16.
Высокая печать. Бумага кн. журн. Печ. л. 16. Усл. печ. [illegible] -отт. 23,8.
Уч.-изд. 26,49.

Тираж 372 000 экз. (1-й завод: 1 — 332000 экз.). [illegible]

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



Цена 1 руб. 80 коп. ИНДЕКС 70394